ПУШКИН

5

Пушкинский кабинет ИРЛИ

А. С. ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, А. В. ЛУНАЧАРСКОГО,
П. Н. САКУЛИНА, В. И. СОЛОВЬЕВА,
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО и П. Е. ЩЕГОЛЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1934 ЛЕНИНГРАД

Пушкинский кабинет ИРЛИ

А. С. ПУШКИН

ТОМ ПЯТЫЙ

КРИТИКА • ИСТОРИЯ ПУБЛИЦИСТИКА

(НЕОПУБЛИКОВАННОЕ
И ПОДГОТОВЛЯВШЕЕСЯ К ПЕЧАТИ)

РЕДАКЦИЯ
Ю. Г. ОКСМАНА и П. Е. ЩЕГОЛЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1934 ЛЕНИНГРАД

Пушкинский кабинет ИРЛИ

16-я типография треста «Полиграфкнига», Трехпрудный пер., 9

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПОРТРЕТ ПУШКИНА РАБОТЫ А. Л. ЛИНЕВА.
(конца 30-х годов XIX в.)

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ОТ РЕДАКЦИИ

Критико-публицистические, исторические и автобиографические тексты, включенные в пятый и шестой томы «Полного собрания сочинений А. С. Пушкина», разбиты в настоящем издании на две части, из которых первую составляют произведения, приготовленные к печати самим Пушкиным, а вторую—статьи незаконченные и неотделанные, материалы записных книжек, черновые заметки, планы, дневники и автобиографические наброски.

Публикации первой части распределены по двум большим отделам: 1. Журнальные статьи и заметки и 2. Исторические исследования и материалы. Тексты же второй части размещены по рубрикам: 1. Литературно-критические и полемические наброски; 2. Исторические и социально-экономические заметки; 3. Пояснительные заметки к собственным произведениям и планы неосуществленных публикаций; 4. Материалы записных книжек, черновые «мыслей и замечаний», анекдоты; 5. Дневники и автобиографические наброски; 6. Записки официального назначения. В приложениях к тому даны критические заметки Пушкина, сохранившиеся на полях некоторых из прочитанных им книг и одного письма, запись воспоминаний П. В. Нащокина, выписка о Поле-Поттере, важнейшие вари-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

анты и дополнения к текстам основных отделов и, наконец, статьи, принадлежность которых Пушкину еще недостаточно документирована.

Критическое изучение всех дошедших до нас рукописных и печатных фондов пушкинских текстов позволило, во-первых, ввести в состав настоящих томов ряд произведений (как известных, так и неизданных), до сих пор не вводившихся в «Полное собрание сочинений» Пушкина, и, во-вторых, освободить значительнейшую часть публикаций от всех тех цензурно-полицейских, редакторских и типографских извращений, которыми обезображена была журнальная, историческая и автобиографическая проза Пушкина во всех предыдущих ее изданиях.

Существенной правке по первоисточникам подверглись в настоящих томах не только отдельные слова и строки, но и целые произведения, ибо, как пришлось нам установить, даже в последнем академическом издании вместо подлинных статей Пушкина печатались нередко сочинения его современников или позднейшие заметки и пересказы П. В. Анненкова, случайные наброски разных лет объединялись в одну статью, а цельные записи расщеплялись на части, без всяких оснований включавшиеся в другие писания, ничем не связанные ни с ними, ни между собою. Особенно значительны изменения, внесенные в издание полного собрания сочинений Пушкина, выпущенное в 1930—1931 гг. в качестве приложения к журналу «Красная нива», и в настоящее издание—в прежние воспроизведения текстов «Опыта отражания некоторых не-литературных обвинений», заметок «О народности в литературе», «О русском дворянстве», статей о Баратынском, о Байроне, об «Истории русского народа» Полевого (наброски т. н. третьей статьи), «Table Talk», «Путешествия из Москвы в Петербург» (до

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сих пор печаталось под названием «Мысли на дороге» — во избежание запретных аналогий с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева), «Камчатских дел», «Записок Моро де Бразе», «Воображаемого разговора с Александром I», проектов предисловия к «Борису Годунову», плана издания «Русских исторических песен», набросков статей для «Современника», афористических записей 30-х годов, заметок на полях «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова и мн. др. Из набросков, ранее вовсе неизвестных в печати, публикуются: план «Введения» в «Историю Петра Великого», французские заметки по истории Украины, «О народном представительстве в 1789 г.», «Je suppose sous un gouvernement despotique», «Les seigneurs féodaux», памфлетная заметка о Надеждине («Многие недовольны нашей журнальной полемикою»), материалы «О Камчатке», заметки при чтении «Введения» к «Деяниям Петра Великого» И. И. Голикова и конспект данных последнего о событиях 1709 г., выписка о Поле-Поттере, извещение об утрате адреса одного из подписчиков на «Современник».

Полностью включены и все те критико-публицистические и исторические заметки Пушкина, которые оставались до последнего времени на страницах старых журналов (статья о «Карелии» Ф. Глинки, «письмо А. Б. в «Современнике», примечание к «Прогулке по Москве», рецензия на «Записки Чухина» Булгарина, запись в альбом А. Ваттемара) или автографы которых вошли в научный оборот уже в годы революции (публикации текстов из собраний П. В. Анненкова, Л. Н. Майкова, А. Ф. Онегина, В. И. Яковлева и др.). На основании бесспорных текстологических и биографических данных существенно изменена нами и традиционная датировка многих статей и заметок Пушкина.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Все прижизненные публикации Пушкина печатаются с теми подписями и датами, которыми они были снабжены в изданиях 1824—1836 гг. («Александр Пушкин», «А. П.», «Р.», «Ст. Арз.», «Н. К.», «Феофилакт Косичкин», «Издатель», «Изд.», «The Reviewer» и проч.).

Статьи и наброски, печатающиеся с автографов, воспроизводятся в их последних редакциях, причем из зачеркнутых строк и слов отмечаются в прямых скобках [ ] только те, которые не имеют беловых вариантов или устранены самим Пушкиным по соображениям цензурного, интимно-бытового или литературно-тактического порядка. В ломаные скобки < > заключены названия статей, самим Пушкиным не озаглавленных, слова, чтение которых предположительно, а также все вставки и пояснения редактора.

Все тексты настоящих томов, первоначально опубликованные в 10-й и 11-й книгах приложения к «Красной ниве», в настоящем издании вновь просмотрены и дополнены.

В работе над подготовкой к печати текстов V и VI томов, кроме его редакторов Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева, принимали участие: С. М. Бонди, Т. Г. Зенгер, Б. В. Томашевский, Д. П. Якубович, Н. К. Козмин, Л. Б. Модзалевский, Н. О. Лернер, В. Л. Комарович и С. А. Рейсер. Аннотированный указатель текстов и источников их публикаций составлен Т. Г. Зенгер. Переводы иноязычных заметок принадлежат А. А. Смирнову.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

1824—1837

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ В ЖУРНАЛАХ 1824—1829 гг.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ СЫНА ОТЕЧЕСТВА[1]

В течение последних четырех лет мне случалось быть предметом журнальных замечаний. Часто несправедливые, часто непристойные, иные не заслуживали никакого внимания, на другие издали отвечать было невозможно. Оправдания оскорбленного авторского самолюбия не могли быть занимательны для публики; я молча предполагал исправить в новом издании недостатки, указанные мне каким бы то ни было образом, и с живейшей благодарностью читал изредка лестные похвалы и ободрения, чувствуя, что не одно, довольно слабое, достоинство моих стихотворений давало повод благородному изъявлению снисходительности и дружелюбия.

Ныне нахожусь в необходимости прервать молчание. Князь П. А. Вяземский, предприняв из дружбы ко мне издание *Бахчисарайского фонтана*, присоединил к оному *Разговор между Издателем и Антиромантиком*, разговор вероятно вымышленный: по крайней мере, если между нашими печатными классиками многие силою своих суждений

[1] < «Сын отечества», 1824 г., № 18. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сходствуют с Классиком Выборгской стороны, то, кажется, ни один из них не выражается с его остротой и светской вежливостью.

Сей разговор не понравился одному из судей нашей словесности. Он напечатал в 5 № *Вестника Европы* второй разговор между Издателем и Классиком, где между прочим прочел я следующее: «*Изд.* Итак, разговор мой вам не нравится?— *Класс.* Признаюсь, жаль, что вы напечатали его при прекрасном стихотворении Пушкина, думаю и сам автор об этом пожалеет».

Автор очень рад, что имеет случай благодарить князя Вяземского за прекрасный его подарок. *Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова* писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения.

Не хочу или не имею права жаловаться по другому отношению, и с искренним смирением принимаю похвалы неизвестного критика.

Александр Пушкин.

Одесса.

О Г-ЖЕ СТАЛЬ И О Г. А. М<УХАНО>ВЕ[1]

Из всех сочинений г-жи Сталь книга: *Десятилетнее изгнание* должна была преимущественно обратить на себя внимание русских. Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новости и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы,— все приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины. Вот что сказано об ней в одной ру-

[1] < «Моск. телеграф», 1825 г., № 12. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кописи: «Читая ее книгу *Dix ans d'exil*, можно видеть ясно, что, тронутая ласковым приемом русских бояр, она не высказала всего, что бросалось ей в глаза[1]. Не смею в том укорять красноречивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу, вечному предмету невежественной клеветы писателей иностранных». Эта снисходительность, которую не смеет порицать автор рукописи, именно и составляет главную прелесть той части книги, которая посвящена описанию нашего отечества. Г-жа Сталь оставила Россию, как священное убежище, как семейство, в которое она была принята с доверенностию и радушием. Исполняя долг благородного сердца, она говорит об нас с уважением и скромностию, с полнотою душевною хвалит, порицает осторожно, *не выносит сора из избы*. Будем же и мы благодарны знаменитой гостье нашей: почтим ее славную память, как она почтила гостеприимство наше...

Из России г-жа Сталь ехала в Швецию по печальным пустыням Финляндии. В преклонных летах, удаленная от всего милого ее сердцу, семь лет гонимая деятельным деспотизмом Наполеона, принимая мучительное участие в политическом состоянии Европы, она не могла, конечно, в сие время (в осень 1812 года) сохранить ясность души, потребную для наслаждения красотами природы. Не мудрено, что почернелые скалы, дремучие леса и озера наводили на нее уныние.

Недоконченные ее записки останавливаются на мрачном описании Финляндии...

Г. А. М.[2], *пробегая снова книжку г-жи Сталь*,

---

[1] Речь идет о большом обществе Петербургском, прежде 1812 г. *Соч.*

[2] < «Сын отечества», № 10. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

набрел на сей последний отрывок и перевел его довольно тяжелою прозою, присовокупив к оному следующие *замечания на грезы г-жи Сталь*: «Не говоря уже об обличении ветренного легкомыслия, отсутствия наблюдательности и совершенного неведения местности, невольно поражающих читателей, *знакомых с творениями автора книги о Германии*, я в свою очередь был поражен самим рассказом, во всем подобном пошлому пустомельству тех *щепетильных французиков*, *которые*, *немного времени тому назад*, *являясь с скудным запасом сведений и богатыми надеждами в Россию*, *так радостно принимались щедрыми и подчас неуместно-добродушными нашими соотечественниками (только по образу мыслей не нашими современниками)*».

Что за слог и что за *тон!* Какое сношение имеют две страницы Записок с Дельфиною, Коринною, Взглядом на французскую революцию и пр., и что есть общего между *щепетильными* (?) *французиками* и дочерью Неккера, гонимою Наполеоном и покровительствуемою великодушием русского императора?

«Кто читал творения г-жи Сталь», продолжает г. А. М., «в коих так часто ширяется она и пр..., тому точно покажется странным, как беспредельные леса и пр.... не сделали другого впечатления на автора Коринны, кроме скуки от единообразия!»—За сим г. А. М. ставит в пример самого себя. «Нет! никогда», говорит он, «не забуду я волнения души моей, расширявшейся для вмещения столь сильных впечатлений. Всегда буду помнить утра... и пр.»—Следует описание северной природы, слогом, совершенно отличным от прозы г-жи Сталь.

Далее советует он покойной сочинительнице, *посредством какого-либо толмача*, *расспросить извозчиков своих о точной причине пожаров* и пр.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Шутка о близости волков и медведей к Абовскому университету отменно не понравилась г-ну А. М., но г. А. М. и сам расшутился. «Ужели», говорит он, «400 студентов, там воспитывающихся, готовят себя в звероловы? В этом случае, академию сию могла бы она точнее назвать псарным двором? Ужели г-жа Сталь не нашла другого *способа отыскивать причин*, замедляющих ход просвещения, как, перерядившись Дианой, заставить читателя рыскать вместе с собою в лесах финляндских, по порошам за медведями и волками, и зачем их искать в берлогах?.. Наконец от *страха, наведенного на робкую душу нашей барыни*, и пр.»

О сей *барыне* должно было говорить языком вежливым образованного человека. Эту *барыню* удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной.

Уважен хочешь быть, умей других уважить.

Ст<арый> Арз<амасец>.

9 июня 1825.

О ПРЕДИСЛОВИИ Г-НА ЛЕМОНТЕ К ПЕРЕВОДУ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА[1]

Любители нашей словесности были обрадованы предприятием графа Орлова, хотя и догадывались, что способ перевода, столь блестящий и столь недостаточный, нанесет несколько вреда басням неподражаемого нашего поэта. Многие с большим нетерпением ожидали предисловия г-на Лемонте; оно в самом деле очень замечательно, хотя и не совсем удовлетворительно. Вообще там, где автор должен был необходимо писать по наслышке, суждения его могут иногда показаться ошибочны-

[1] < «Моск. телеграф», 1825 г., № 17. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ми; напротив того, собственные догадки и заключения удивительно правильны. Жаль, что сей знаменитый писатель едва коснулся до таких предметов, о коих мнения его должны быть весьма любопытны. Читаешь его статью[1] с невольной досадою, как иногда слушаешь разговор очень умного человека, который, будучи связан какими-то приличиями, слишком много не договаривает и слишком часто отмалчивается.

Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь на уверения русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилен разнообразными оборотами.

Мнения сии не трудно было оправдать. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.*

Г. Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуж-

[1] По крайней мере в переводе, напечатанном в Сыне Отечества. Мы не имели случая видеть французский подлинник.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на порабощенный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка; он один остался неприкосновенною собственностию несчастного нашего отечества.

В царствование Петра I-го начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастию, явился Ломоносов.

Г. Лемонте в одном замечании говорит о всеобъемлющем гении Ломоносова; но он взглянул не с настоящей точки на великого сподвижника великого Петра.

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник... Первый углубляется в историю отечества,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

утверждает правила общественного языка его, дает законы и образы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка.

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни, но если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему преложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения[1]. Они останутся вечными памятниками русской словесности; по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему; но странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и требовать,

---

[1] Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над *славянщизнами* Ломоносова, как важно советует он ему перенимать *легкость и щеголевитость речений изрядной компании!* Но удивительно, что Сумароков с большою точностию определил в одном полустишии истинное достоинство Ломоносова-поэта.

Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен!
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, etc.

<Наконец пришел Малерб и первый во Франции и т. д>.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чтоб человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики. Как будто нужны для славы великого Ломоносова мелочные почести модного писателя!

Упомянув об исключительном употреблении французского языка в образованном кругу наших обществ, г. Лемонте столь же остроумно, как и справедливо, замечает, что русский язык чрез то должен был непременно сохранить драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений. Не хочу оправдывать нашего равнодушия к успехам отечественной литературы, но нет сомнения, что если наши писатели чрез то теряют много удовольствия, по крайней мере язык и словесность много выигрывают. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей XVIII столетия? Общество M-es du Deffand, Boufflers, d'Epinay, очень милых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали *не для благосклонной улыбки прекрасного пола*.

Строгий и справедливый приговор французскому языку делает честь беспристрастию автора. Истинное просвещение беспристрастно. Приводя в пример судьбу сего прозаического языка, г. Лемонте, утверждает, что и наш язык, не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать *европейской своей общежительности*. Русский переводчик оскорбился сим выражением; но если в подлиннике сказано civilisation Européenne[1], то сочинитель чуть ли не прав.

[1] <европейская цивилизация>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснились; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны.

Г. Лемонте, входя в некоторые подробности касательно жизни и привычек нашего Крылова, сказал, что он не говорит ни на каком иностранном языке и только понимает по-французски. *Неправда!* резко возражает переводчик в своем примечании. В самом деле, Крылов знает главные европейские языки и, сверх того, он, как Альфиери пятидесяти лет выучился древнему греческому. В других землях такова характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах; но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается.

В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно-народного поэта, дабы познакомить Европу с литературою севера. Конечно ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие (naiveté, bonhomie) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличитель-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов.

Н. К.

12 августа.

P. S. Мне показалось излишним замечать некоторое явные ошибки, простительные иностранцу, например, сближение Крылова с Карамзиным (сближение, ни на чем не основанное), мнимая неспособность языка нашего к стихосложению совершенно метрическому и проч.

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ[1]

Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности.

Ученый без дарования подобен тому бедному мулле, который изрезал и съел Коран, думая исполниться духа Магометова.

Однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного.

Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причиною незнание отечественного языка: но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Баратынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа,

[1] <«Северные цветы» на 1828 г.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

одарив их тонким умом и чувствительностию самою раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, недосягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстроивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... Исключения редки.

Мне пришла в голову мысль, говорите вы: не может быть. Нет, N. N., вы изъясняетесь ошибочно; что-нибудь да не так.

Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешки. Эгоизм может быть отвратительным, но он не смешон, ибо отменно благоразумен. Однако есть люди, которые любят себя с такою нежностию, удивляются своему гению с таким восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет всю смешную сторону энтузиазма и чувствительности.

Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах.

Примеры невежливости.

В некотором азиатском народе мужчины каждый день, восстав от сна, благодарят бога, создавшего их не женщинами.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Магомет оспоривает у дам существование души.

Во Франции, в земле, прославленной своею учтивостию, грамматика торжественно провозгласила мужеский род благороднейшим.

Стихотворец отдал свою трагедию на рассмотрение известному критику. В рукописи находился стих:

Я человек и шла путями заблуждений...

Критик подчеркнул стих, усомнясь, может ли женщина называться человеком? Это напоминает известное решение: женщина не человек, курица не птица, прапорщик не офицер.

Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей, и т. п.

Тредьяковский пришел однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! меня Александр Петрович так ударил в правую щеку, что она до сих пор у меня болит».— «Как же, братец, отвечал ему Шувалов, у тебя болит правая щека, а ты держишься за левую».— «Ах, ваше высокопревосходительство, вы имеете резон», отвечал Тредьяковский и перенес руку на другую сторону. Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал оду у придворного пииты Василия Тредьяковского; но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростию оплошного стихотворца.

Один из наших поэтов говорил гордо: пускай в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж прозы

Пушкинский кабинет ИРЛИ

не найдется. Байрон не мог изъяснить некоторые свои стихи. Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая—от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения.

«Всё, что превышает геометрию, превышает нас», сказал Паскаль. И вследствие того написал свои философические мысли.

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème[1]. Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедии... Что это значит? можно ли сказать, что хороший завтрак лучше дурной погоды?

Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux[2]. Хорошо было сказать это в первый раз; но как можно важно повторять столь великую истину? Эта шутка Вольтера служит основаньем поверхностной критике литературных скептиков; но скептицизм во всяком случае есть только первый шаг умствования. Впрочем некто заметил, что и Вольтер не сказал: également bons[3].

Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка, и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора, и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра, и еще не игранной и не напечатанной. Забавная словесность!

---

[1] <Один безупречный сонет стоит длинной поэмы. >
[2] <Все жанры хороши, за исключением скучного. >
[3] <Одинаково хороши. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Л., состаревшийся волокита, говорил: Moralement je suis toujours physique, mais physiquement je suis devenu moral![1]

Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии.

Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятие о чести (point d'honneur), очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри. Юный Феодор, уничтожив сию спесивую дворянскую опозицию, сделал то, на что не решились ни могучий Иоанн III, ни нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов.

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. «Государственное правило», говорит Карамзин, «ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному». Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения... Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в

---

[1] <Морально я остался плотским, но плотски я сделался моральным.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage![1]

Сказано: Les sociétés secrètes sont la diplomatie des peuples[2]. Но какой же народ вверит права свои тайным обществам и какое правительство, уважающее себя, войдет с оным в переговоры?

Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которой не видал бы собственными глазами. Однакож в Дон Жуане описывает он Россию; зато приметны некоторые погрешности противу местности. Например, он говорит о грязи улиц Измаила; Дон Жуан отправляется в Петербург в *кибитке, беспокойной повозке без рессор по дурной каменистой дороге*. Измаил взят был зимою в жестокий мороз. На улицах неприятельские трупы прикрыты были снегом, и победитель ехал по ним, удивляясь опрятности города: «помилуй бог, как чисто!» Зимняя кибитка не беспокойна, а зимняя дорога не камениста. Есть и другие ошибки, более важные.—Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю. В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях. Сон Сарданапалов напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во вре-

---

[1] <Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью. >
[2] <Тайные общества суть дипломатия народов. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мя Суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он Петра Великого. В 1813 году Байрон намеревался через Персию приехать на Кавказ.

Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушными, и с великим характером, всегда откровенным.

Не знаю где, но не у нас,
Достопочетный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой,—
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова об Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решились тонким, и пр.

Пушкин.

Coquette, prude. Слово кокетка обрусело, но prude не переведено и не вошло еще в употребление. Слово это означает женщину, чрезмерно щекотливую в своих понятиях о чести (женской)—недотрогу. Таковое свойство предполагает нечистоту воображения, отвратительную в женщине, особенно молодой. Пожилой женщине позволяется многое знать и многого опасаться, но невинность есть лучшее украшение молодости. Во всяком случае, *прюдство* или смешно или несносно.

Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только

Пушкинский кабинет ИРЛИ

со времени кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья; со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке.

Должно стараться иметь большинство голосов на своей стороне: не оскорбляйте же глупцов.

Появление Истории Государства Российского (как и надлежало быть) наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3.000 экземпляров разошлось в один месяц, чего не ожидал и сам Карамзин. Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени нигде ни о чем ином не говорили. Признаюсь, ничего нельзя вообразить глупее светских суждений, которые удалось мне слышать; они были в состоянии отучить хоть кого от охоты к славе. Одна дама (впрочем очень милая), при мне открыв вторую часть, прочла вслух: «Владимир усыновил Святополка, однакож не любил его»... *Однако*! зачем не *но?* однако! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина?» В журналах его не критиковали: у нас никто не в состоянии исследовать, оценить огромное создание Карамзина. К<аченовски>й бросился на предисловие. Н<икита Муравьев>, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие (предисловие!) М<ихаил Орлов>в письме к В<яземскому> пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян; т. е. требовал от истори-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ка не истории, а чего-то другого. Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина; зато почти никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет, во время самых лестных успехов, и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Примечания к Русской Истории свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно заключен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Многие забывали, что Карамзин *печатал свою Историю в России*. Повторяю, что История Государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

Французская словесность родилась в передней и далее гостиной не доходила.

(Извлечено из неизданных записок.)

ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ[1]

Tantae ne animis scholasticis irae![2]

Распря между двумя известными журналистами [и тяжба одного из них с цензурою] наделала шуму. Постараемся изложить исторически все дело sine ira et studio[3].

В конце минувшего года *редактор* Вестника Европы, желая в следующем, 1829 году потрудиться еще и в качестве *издателя*, объявил о том публике,

---

[1] <«Северные цветы» на 1830 г., В квадратных скобках помещаются строки, исключенные из первопечатного текста цензурой.>

[2] <Возможен ли такой гнев в душах ученых мужей!>

[3] <Без гнева и пристрастия.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

все еще худо понимающей различие между сими двумя учеными званиями. Убедившись единогласным мнением критиков в односторонности и скудости Вестника Европы, сверх того *движимый глубоким чувством сострадания при виде беспомощного состояния литературы*, он обещал *употребить наконец свои старания, чтобы сделать журнал сей обширнее и разнообразнее.* Он надеялся *отныне далее видеть, свободнее соображать и решительнее действовать.* Он собирался пуститься в *неизмеримую область бытописания, по которой Карамзин*, как всем известно, *проложил тропинку, теряющуюся в тундрах бесплодных.* «Предполагаю работать сам», говорил почтенный редактор, «не отказывая однако ж и другим литераторам участвовать в трудах моих». Сии поздние, но тем не менее благие намерения, сия похвальная заботливость о русской литературе, сия великодушная снисходительность к сотрудникам тронули и обрадовали нас чрезвычайно. Приятно было бы нам приветствовать первые труды, первые успехи знаменитого редактора Вестника Европы. Его глубокие знания (думали мы), столь известные нам по слуху, дадут плод во время свое (в нынешнем 1829 году). Светильник исторической его критики озарит вышепомянутые тундры области бытописаний, а законы словесности, умолкшие при звуках журнальной полемики, заговорят устами ученого редактора. Он не ограничит своих глубокомысленных исследований замечаниями о главном листе *Истории Государства Российского*, или даже рассуждениями о *куньих мордках*, но верным взором обнимет наконец творение Карамзина, оценит истину его разысканий, укажет источники новых соображений, дополнит недосказанное. В критиках собственно-литературных мы не будем слышать то брюзгливого ворчанья какого-нибудь старого

Пушкинский кабинет ИРЛИ

педанта, то непристойных криков пьяного семинариста. Критики г. Каченовского должны будут иметь решительное влияние на словесность. Молодые писатели не будут ими забавляться, как пошлыми шуточками журнального гаера. Писатели известные не будут ими презираемы, ибо услышат окончательный суд своим произведениям, оцененным ученостью, вкусом и хладнокровием.

Можем смело сказать, что мы ни единой минуты не усомнились в исполнении планов г. Каченовского, изложенных поэтическим слогом в газетном объявлении о подписке на Вестник Европы. Но г. Полевой, долгое время наблюдавший литературное поведение своих товарищей-журналистов, худо поверил новым обещаниям Вестника. Не ограничиваясь безмолвными сомнениями, он напечатал в 20-й книжке Московского Телеграфа прошедшего года статью, в которой сильно напал он на почтенного редактора Вестника Европы. Дав заметить неприличие некоторых выражений, употребленных, вероятно, неумышленно г. Каченовским, он говорит:

«Если бы он (Вестник Европы), старец по летам, признался в незнании своем, принялся за дело скромно, поучился, бросил свои смешные предрассудки, заговорил голосом беспристрастия, мы все охотно уважали бы его сознание в слабости, желание учиться и познавать истину, все охотно стали бы слушать его».

Странные требования! В летах Вестника Европы уже не учатся и не бросают предрассудков закоренелых. Скромность, украшение седин, не есть необходимость литературная; а если сознания, требуемые г. Полевым, и заслуживают какое-нибудь уважение, то можно ли нам оные слушать из уст почтенного старца без болезненного чувства стыда и сострадания?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Но *что* сделал до сих пор издатель Вестника Европы?» продолжает Полевой. «Где *его* права, и на какой возделанной *его трудами* земле он водрузит свои знамена: где, за каким океаном эта обетованная земля? Юноши, обогнавшие издателя Вестника Европы, не виноваты, что они шли вперед, когда издатель Вестника Европы засел на одном месте и неподвижно просидел более 20 лет. Дивиться ли, что теперь Вестнику Европы видятся чудные распри, грезятся кимвалы бряцающие и медь звенящая?»

На сие ответствуем:

Если г. Каченовский, не написав ни одной книги, достойной некоторого внимания, не напечатав в течение 26 лет ни одной замечательной статьи, снискал однако ж себе бессмертную славу, то чего же должно нам ожидать от него, когда наконец он примется за дело не на шутку? Г. Каченовский просидел 26 лет на одном месте,—согласен: но как могли юноши обогнать его, если он ни за чем и не гнался? Г. Каченовский ошибочно судил о музыке Верстовского: но разве он музыкант? Г. Каченовский перевел *Терезу и Фальдони*: что за беда?

Доселе казалось нам, что г. Полевой неправ, ибо обнаруживается какое-то пристрастие в замечаниях, которые с первого взгляда являются довольно основательными. Мы ожидали от г. Каченовского возражений неоспоримых или благородного молчания, каковым некоторые известные писатели всегда ответствовали на неприличные и пристрастные выходки некоторых журналистов. Но сколь изумились мы, прочитав в 24 номере Вестника Европы следующее примечание редактора к статье своего почтенного сотрудника, г. Надоумки (одного из великих писателей, приносящих истинную честь и своему веку и журналу, в коем они участвуют).

Пушкинский кабинет ИРЛИ

« Здесь приличным считаю объявить, что преи раться с Бенигною я не имею охоты, отказавшись навсегда от бесплодной полемики, а теперь не имею на то и права, предприняв другие меры к охранению своей личности от игривого произвола сего Бенигны и всех прочих. Я даже не читал бы статьи Телеграфической, если б не был увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и к достоинству места, при котором имею счастие продолжать оную. *Рдр*».

Сие загадочное примечание привело нас в большое беспокойство. Какие *меры к охранению своей личности от игривого произвола г. Бенигны* предпринял почтенный редактор? что значит *игривый произвол г. Бенигны!* что такое: *был увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и достоинству места?* (Впрочем смысл последней фразы доныне остается темен, как в логическом, так и в грамматическом отношении).

Многочисленные почитатели Вестника Европы затрепетали, прочитав сии мрачные, грозные, беспорядочные строки. Не смели вообразить, на что могло решиться рыцарское негодование Михаила Трофимовича. К счастию, скоро всё объяснилось. [Оскорбленный, как издатель Вестника Европы, г. Каченовский решился требовать защиты законов, как ординарный профессор, статский советник и кавалер, и явился в цензурный комитет с жалобою на цензора, пропустившего статью г. Полевого.]

Успокоясь на счет ужасного смысла вышеупомянутого примечания, мы сожалели о бесполезном действии почтенного редактора. Все предвидели последствия оного. В статье г. Полевого личная честь г. Каченовского не была оскорблена. Говоря с неуважением о его занятиях литературных,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

издатель Московского Телеграфа не упомянул ни о его службе, ни о тайнах домашней жизни, ни о качествах его души.

[Новое лицо выступило на сцену: цензор С. Н. Глинка явился ответчиком. Пылкость и неустрашимость его духа обнаружились в его речах, письмах и деловых записках. Он увлек сердца красноречием сердца и, вопреки чувству уважения и преданности, глубоко питаемому нами к почтенному профессору, мы желали победы храброму его противнику, ибо польза просвещения и словесности требует степени свободы, которая нам дарована мудрым и благодетельным Уставом. В. В. Измайлов, которому отечественная словесность уже многим обязана, снискал себе новое право на общую благодарность свободным изъяснением мнения столь же умеренного, как и справедливого.]

Между тем, ожесточенный издатель Московского Телеграфа напечатал другую статью, в коей дерзновенно подтвердил и оправдал первые свои показания. Вся литературная жизнь г. Каченовского была разобрана по годам, все занятия оценены, все простодушные обмолвки выведены на позор. Г. Полевой доказал, что почтенный редактор пользуется славою ученого мужа, так сказать, на честное слово; а доныне, кроме переводов с переводов и кой-каких заимствованных кое-где статеек, ничего не произвел. Скудость, более достойная сожаления, нежели укоризны! Но что всего важнее, г. Полевой доказал, что Михаил Трофимович несколько раз дозволял себе личности в своих критических статейках, что он упрекал издателя Телеграфа винным его заводом (пятном ужасным, как известно всему нашему дворянству!), что он неоднократно с упреком повторял г. Полевому, что сей последний купец (другое столь же ужасное обвинение!), и всё сие в непристойных

Пушкинский кабинет ИРЛИ

оскорбительных выражениях. Тут уже мы приняли совершенно сторону г. Полевого. Никто, более нашего, не уважает истинного, родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном; но в мирной республике наук, какое нам дело до гербов и пыльных грамот? Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны пред законами критики. Князь Вяземский уже дал однажды заметить неприличность сих аристократических выходок; но не худо повторять полезные истины.

Однако ж, таково действие долговременного уважения! И тут мы укоряли г. Полевого в запальчивости и неумеренности. Мы с умилением взирали на почтенного старца, расстроенного до такой степени, что для поддержания ученой своей славы принужден он был обратиться к русскому букварю и преобразовать оный удивительным образом. Утешительно для нас, по крайней мере, то, что сведения Михаила Трофимовича в греческой азбуке отныне не подлежат уже никакому сомнению.

С нетерпением ожидали мы развязки дела. Наконец [решение главного управления цензуры] водворило спокойствие в области словесности и прекратило распрю миром, равно выгодным для победителей и побежденных...

<ЗАМЕТКА О «РОМЕО И ДЖЮЛЬЕТЕ» ШЕКСПИРА>[1]

Многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены.

---

[1] <«Северные цветы» на 1830 г. В редакционном примечании указано: «Извлечено из рукописного сочинения А. С. Пушкина».>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Трагедия: *Ромео и Джюльета*, хотя слогом своим и совершенно отделяется от известных его приемов, но она так явно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что ее должно почесть сочинением Шекспира. В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и concetty [1]. Так понял Шекспир драматическую местность. После Джюльеты, после Ромео, сих двух очаровательных созданий шекспировской грации, Меркутио, образец молодого кавалера того времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркутио есть замечательнейшее лицо изо всей трагедии. Поэт избрал его в представители итальянцев, бывших модным народом Европы, французами XVI века.

[1] <«Кончетти» — с блеском выраженные, тонкие мысли.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» 1830—1831 гг.

1. В отделе «Библиография». 1830 г.

ИЛИАДА ГОМЕРОВА,

переведенная Н. Гнедичем, членом Императорской Российской Академии и пр.—2 ч. С. П. б., в типографии Императорской Российской Академии 1829 (в 1-й ч. XV—354, во 2-й—362. стр. в боль. 4-ю д. л.)

Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожиданный перевод Илиады! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие: с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сочинение Николая Полевого. Том I.—М. в типогр. Августа Семена, 1829. (LXXXII—368 стран., в 8-ю д. л.) В конце книги приложена таблица, содержащая в себе генеалогическую роспись русских князей с 862 по 1055 год.

Статья I

Мы не охотники разбирать заглавия и предисловия книг, о коих обязываемся отдавать отчет публике; но перед нами первый том *Истории Русского Народа*, соч. г. Полевым, и поневоле должны остановиться на первой строке посвящения: *г-ну Нибуру, Первому историку нашего века.* Спрашивается: кем и каким образом г. Полевой уполномочен назначать места писателям, заслужившим всемирную известность? должен ли г. Нибур быть благодарен г. Полевому за милостивое производство в первые историки нашего века, не в пример другим? Нет ли тут со стороны г. Полевого излишней самонадеянности? Зачем с первой страницы вооружать уже на себя читателя, всегда недоверчивого к выходкам авторского самолюбия и предубежденного против нескромности? Самое посвящение, вероятно, не помирит его с г. Полевым. В нем господствует единая мысль, единое слово *Я*, еще более неловкое, чем ненавистное *Я*. Послушаем г. Полевого: «В то время, когда образованность и просвещение соединяют все народы союзом дружбы, основанной на высшем созерцании жребия человечества, когда высокие помышления, плоды философских наблюдений и великие истины прошедшего и настоящего составляют общее наследие различных народов и быстро разделяются между обитателями отдаленных одна от другой

---

[1]Раздается в книжном магазине А. Смирдина. Подписная цена за все 12 томов 40 руб., с пересылкой 45 рублей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стран... «тогда—что б вы думали? «*я осмеливаюсь поднести вам мою Историю Русского народа*».

Belle conclusion et digne de l'exorde! [1]

Далее: «Я не поколебался писать историю России после Карамзина; утвердительно скажу, что я верно изобразил историю России; я знал подробности событий, я чувствовал их, как русский; я был беспристрастен, как гражданин мира». Воля ваша: хвалить себя немножко можно, зачем терять хоть единый голос в собственную пользу? Но есть мера всему. Далее: «Она (картина г-на Полевого) достойна вашего взора (Нибурова). Пусть приношение мое покажет вам, что в России столько же умеют ценить и почитать вас, как и в других просвещенных странах мира». Опять! как можно самому себя выдавать за представителя всей России? За посвящением следует предисловие. Вступление в оное писано темным, изысканным слогом и своими противоречиями и многословием напоминает философическую статью о русской истории, напечатанную в *Московском Телеграфе* и разобранную с такой оригинальной веселостию в *Славянине*.

Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, что он поступил по крайней мере неискусно, напав на *Историю Государства Российского* в то самое время, как начинал печатать *Историю Русского Народа*. Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника. Он отдалил бы от себя нарекания, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть

[1] <Прекрасное и достойное начала окончание.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветренному невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно.

Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофтегмами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его не удовлетворителен, там недоставало ему источников: он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления своею иноческою простотою дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял, как краски, но не полагал в них никакой существенной важности. «Заметим, что сии апофтегмы», говорит он в предисловии, столь много критикованном и столь еще мало понятом, «бывают для основательных умов или полу-истинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действия и характеров». Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели. Историк, добросовестно рассказав происшествие, выводит одно заключение, вы другое, г-н Полевой никакого: *вольному воля*, как говорили наши предки.

Г. Полевой замечает, что 5-я глава XII-го тома была еще недописана Карамзиным, а начало ее, вместе с первыми четырьмя главами, было уже переписано и готово к печати, и делает вопрос: «*Когда же думал историк?*»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На сие ответствуем:

Когда первые труды Карамзина были с жадностию принимаемы публикою, им образуемою, когда лестный успех следовал за каждым новым произведением его гармонического пера, тогда уже думал он об истории России и мысленно обнимал свое будущее создание. Вероятно, что XII том не был им еще начат, а уже историк думал о той странице, на которой смерть застала последнюю его мысль... Г-н Полевой, немного подумав, конечно сам удивится своему легкомысленному вопросу. Р.

(Продолжение обещано.)

Статья II

Действие В. Скотта ощутительно во всех отраслях ему современной словесности. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста. Он указал им источники совершенно новые, неподозреваемые прежде, несмотря на существование исторической драмы, созданной Шекспиром и Гете.

Г-н Полевой сильно почувствовал достоинства Баранта и Тьерри и принял их образ мнений с неограниченным энтузиазмом молодого неофита. Пленяясь романтическою живостью истины, выведенной перед нас в простодушной наготе летописи, он фанатически отвергнул существование всякой другой истории. Судим не по словам г-на Полевого, ибо из них невозможно вывести никакого положительного заключения; но основываемся на самом духе, в котором вообще писана *История Русского Народа*, на старании г-на Полевого сохранить драгоценные краски старины и частых его заимствованиях у летописей. Но желание отличиться от Карамзина слишком явно в г-не Поле-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вом, и как заглавие его книги есть не что иное, как пустая пародия заглавия *История Государства Российского*, так и рассказ г-на Полевого слишком часто не что иное, как пародия рассказа историографа.

История Русского Народа начинает живым географическим изображением Скандинавии и нравов диких ее обитателей (подражание Тьерри); но, переходя к описанию стран, Россиею ныне именуемых, и народов, некогда там обитавших, г-н Полевой становится столь же темен в изложении своих этнографических понятий, как в философических рассуждениях своего предисловия. Он или повторяет сбивчиво то, что было ясно изложено Карамзиным, или касается предметов, вовсе чуждых Истории Русского Народа, и, утомляя внимание читателя, говорит поминутно: «Итак мы видим... Из этого следует... Мы в нескольких словах означили главные черты великой картины...», между тем, как мы ничего не видим, как из этого ничего не следует и как г-н Полевой в весьма многих словах означил не главные черты великой картины.

Желание противоречить Карамзину поминутно завлекает г-на Полевого в мелочные придирки, в пустые замечания, большею частию несправедливые. Он то соглашается с Татищевым, то ссылается на Розенкампфа, то утвердительно и без доказательства повторяет некоторые скептические намеки г-на Каченовского. Признав уже достоверность похода к Царюграду, он сомневается, имел ли Олег с собою сухопутное войско. «Где могли пройти его дружины», говорит г-н Полевой, «не чрез Булгарию по крайней мере». Почему же нет? какая тут физическая невозможность? Оспоривая у Карамзина смысл выражения: *на ключ*, он пускается в догадки, ни на чем неосновательные. Быть может, и Карамзин ошибся в применении своей

Пушкинский кабинет ИРЛИ

догадки: ключ (символ хозяйства), как котел у казаков, означал, вероятно, общее хозяйство, артель[1]. В древнем договоре Карамзин читает: *милым ближникам*, ссылаясь на сгоревший Троицкий список. Г-н Полевой, признавая, что в других списках поставлено libita librarii[2] *милым и малым*,— подчеркивает, однако ж, слово *сгоревший* читает *малым* (малолетным, младшим) и переводит: *дальним* (дальним, ближним!). Не говорим уже о довольно смешном противоречии, но что за мысль отдавать наследство дальним родственникам мимо ближайших?

Первый том *Истории Русского Народа* писан с удивительной опрометчивостию. Г-н Полевой утверждает, что дикая поэзия согревала душу скандинава, что песнопения скальда воспламеняли его, что религия усиливала в нем врожденную склонность к независимости и презрению смерти (склонность к презрению смерти!), что он гордился названием *Берсеркеро*, и пр.; а чрез три страницы г-н Полевой уверяет, что не слава вела его в битвы; что он ее не знал, что недостаток пищи, одежды, жадность добычи были причинами его походов. Г-н Полевой не видит еще государства Российского в начальных княжениях скандинавских витязей, а в Ольге признает уже мудрую образовательницу системы скрепления частей в единое целое, а у Владимира стремление к единовластию. В уделах г-н Полевой видит то образ восточного самодержавия, то феодальную систему, общую тогда в Европе. Промахи, указанные в *Московском Вестнике*, почти невероятны.

Г-н Полевой в своем предисловии весьма искусно

---

[1] *Стряпчий с ключом* ведал хозяйственною частию Двора. В Малороссии *ключевать* значит управлять *хозяйством*.

[2] <по произволу переписчика>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дает заметить, что слог в истории есть дело весьма второстепенное, если уже не совсем излишнее; он говорит о нем почти с презрением.

Maître renard peut-être on vous croirait...[1] По крайней мере, слог есть самая слабая сторона *Истории Русского Народа*. Невозможно отвергать у г-на Полевого ни остроумия, ни воображения, ни способности живо чувствовать, но искусство писать до такой степени чуждо ему, что в его сочинении картины, мысли, слова, всё обезображено, перепутано и затемнено.

P. S. Сказав откровенно наш образ мыслей насчет *Истории Русского Народа*, не можем умолчать о критиках, которым она подала повод. В журнале, издаваемом ученым, известным профессором, напечатана статья[2], в коей брань доведена до исступления; более чем в 30 страницах грубых насмешек и ругательства нет ни одного дельного обвинения, ни одного поучительного показания, кроме ссылки на мнение самого издателя, мнение весьма любопытное, коему доказательств с нетерпением должны ожидать любители отечественной истории. *Московский Вестник*... (et tu autem, Brute!)[3] сказал свое мнение насчет г-на П. еще с большим, непростительнейшим забвением своей обязанности, непростительнейшим, ибо издатель *Московского Вестника* доказал, что чувство приличия ему сродно и что, следственно, он добровольно пренебрегает оным. Ужели так трудно нашей братье критикам сохра-

---

[1] <Сударыня лисичка, быть может, вам поверят.>

[2] Выписки, коими наполнена сия статья, в самом деле *пойдут в пример галиматьи*, но и самый текст почти от них не отличается.

[3] <«И ты, Брут!»>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нить хладнокровие? Как не вспомнить, по крайней мере, совета старинной сказки:

То же бы ты слово
Да не так бы молвил

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ.

Соч. М. Н. Загоскина.—М. в типогр. Н. Степанова, 1829.—3 части с виньетками на заглавных листах (в I-й части 255, во II-й части 166, в III-й 263 стр. в 12 д. л.).

В наше время под словам *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея!.. подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины, не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости. В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. Под *беретом*, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает накрахмаленный галстух нынешнего dandy[1]. Готические героини воспитаны у Madame Campan, а государственные люди XVI-го столетия читают Times и Journal des débats. Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни! Однако ж сии бледные произведения читаются в Европе. Потому ли, что люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени и, следственно, не в состоянии заменить нелепости романических анахронизмов? потому ли, что изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для вооб-

[1] <щеголя.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ражения, притупленного однообразной пестротою настоящего, ежедневного?

Спешим заметить, что упреки сии вовсе не касаются *Юрия Милославского*. Г. Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши—все это угадано, все это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать, в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной веселости в изображении характеров Кирши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея! Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического. Автор не спешит своим рассказом останавливаться на подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не утомляет внимания читателя. Разговор (живой драматический везде, где он простонароден) обличает мастера своего дела. Но неоспоримое дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим. Речь Минина на нижегородской площади слаба: в ней нет порывов народного красноречия. Боярская дума изображена холодно. Можно заметить два-три легких анахронизма и некоторые погрешности противу языка и *костюма*. Напр., новейшее выражение: *столбовой дворянин* употреблено в смысле человека знатного рода (*мужа честна*, как говорят летописцы); *охотиться*, вместо: *ездить на охоту*; *пользовать*, вместо *лечить*. Эти два последние выражения не простонародные, как, видно, полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества. *Быть в ответе*, значило в старину: *быть в посольстве*. Некоторые пословицы употреблены автором не в их первобытном смысле: *из сказки слова не выкинешь*, вместо *из песни*.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В песне слова составляют стих, и *слова не выкинешь*, не испортив *склада*; сказка—другое дело. Но сии мелкие погрешности и другие, замеченные в 1-м номере *Московского Вестника* нынешнего года[1], не могут повредить блистательному, вполне заслуженному успеху *Юрия Милославского*.

ДЕННИЦА,

Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем. — М. в Универс. типогр. 1830. (LXXXIV—256 стр., в 16-ю д. л., с гравир. заглав листком)[2]

В сем альманахе встречаем имена известнейших из наших писателей, также стихотворения нескольких дам: украшение неожиданное, приятная новость в нашей литературе.

Но замечательнейшая статья сего альманаха, статья, заслуживающая более, нежели беглый взгляд рассеянного читателя, есть *Обозрение Русской Словесности* 1829 *года*, сочинение г-на Киреевского. Автор принадлежит к молодой школе московских литераторов, школе, которая основалась под влиянием новейшей немецкой философии и которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гете, и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями всего прекрасного. Несколько критических статей г. Киреевского были напечатаны в *Московском Вестнике* и обратили на себя внимание малого числа истинных ценителей дарования. Вероятно, *Обзор* г. Киреевского сделает большое впечатление не

---

[1] *Московский Вестник* будет издаваться в нынешнем году в том виде, в каком издавался он в 1827 и 1828. Сей журнал почти постоянно отличается статьями любопытными, дельными критиками и благонамеренностию. Прежние сотрудники продолжают участвовать в сем издании. Продается у А. Ф. Смирдина. Цена 10 р.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

потому, что мысли в нем зрелее (что, впрочем, неоспоримо, несмотря на слишком систематическое умонаправление автора), но потому только, что некоторые из его мнений выражены резко и неожиданно

Г. Киреевский, ставя успехи гражданственности выше славы воинских подвигов, в начале статьи своей признает издание нового Цензурного Устава «важнейшим событием для блага России в течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, важнее взятия Арзерума и той славной тени, которую бросили русские знамена на стены царьградские». Он приписывает сему Уставу уже заметное движение в текущей словесности прошедшего года. «Наши журналы заимствовали более из журналов иностранных; переводы, хотя по большей части дурные, передавали нам более следов умственной жизни наших соседей, и оттого вся литература наша неприметно приближалась более к жизни обще-европейской. Самые перебранки наших журналов, их неприличные критики, их дикий тон, их странные личности, их вежливости *негородские*—все это было похоже на нестройные движения распеленатого ребенка; движения, необходимые для развития силы, для будущей красоты и здоровья».

Сначала, рассматривая характер словесности XIX-го столетия, г. Киреевский говорит о тех писателях, кои по его мнению определили дух нашей литературы; но прежде посвящает красноречивую страницу памяти того, «кто *подвинул на полвека образованность нашего народа*, кто всю жизнь употребил во благо отечества, кому и сам Карамзин обязан, может быть, своею первою образованностью. «Он умер недавно (говорит г. Киреевский), почти всеми забытый, близ той Москвы, которая была свидетельницею и средоточием его

Пушкинский кабинет ИРЛИ

блестящей деятельности. Имя его едва известно теперь большей части наших современников, и если бы Карамзин не говорил об нем, то, может быть, многие, читая эту статью, в первый раз услышали бы о делах Новикова и его товарищей, и усомнились бы в достоверности столь близких к нам событий. Память об нем почти исчезла; участники его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности; многих уже нет; но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно приносит плоды и ждет благодарности потомства.

«Новиков не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде него, по свидетельству Карамзина, были в Москве две книжные лавки, продававшие ежегодно на 10 тысяч рублей; через несколько лет их было уже 20, и книг продавалось на 200.000. Кроме того, Новиков завел книжные лавки в других и в самых отдаленных городах России; распускал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важными; заставлял переводить книги полезные, повсюду распространял участников своей деятельности и скоро не только вся Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя и не надолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: рождения *общего мнения*».

Признав филантропическое влияние Карамзина за характер первой эпохи литературы XIX-го столетия, идеализм Жуковского за средоточие второй, и Пушкина, поэта действительности, за представителя третьей, автор приступает к обозрению словесности прошлого года.

«XII том *Истории Российского Государства*, последний плод трудов великих, последний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского, кажется, еще превзошел прежние силою красно-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

речия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога. Вообще достоинство его Истории растет вместе с жизнью протекших времен. Чем ближе к настоящему, тем полнее раскрывается перед нами судьба нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совести нашего народа».

В число исторических сочинений г. Киреевский включает и поэму *Полтаву*. «В самом деле», говорит он, «из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней лица и происшествия.—Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину». Признавая в сей поэме большую зрелость таланта, он осуждает в ней недостаток единства интереса, «*единственного из всех единств, коего несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики*». Этим изъясняет он малый успех, который имела последняя и едва ли не лучшая из поэм А. Пушкина.

«Жуковский», продолжает автор, «напечатал в прошедшем году свое *Море*, *Песнь победителей*, из Шиллера, и связанные отрывки из *Илиады*. Здесь в первый раз увидели мы в Гомере такое качество, которого не находили в других переводах; что у других напыщенно и низко, то здесь просто и благородно; что у других бездушно и вяло, здесь сильно, мужественно и трогательно; здесь всё тепло, всё возвышенно, каждое слово от души. Может быть, это-то и ошибка, если прекрасное может быть ошибкою».—Автор имел в виду Кострова; в прошлом году мы не гордились еще *Илиадою* Гнедича.

«*Море* Жуковского живо напоминает всю преж-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нюю его поэзию. Те же звуки, то же чувство, та же особенность, та же прелесть. Кажется, все струны прежней его лиры отозвались здесь в одном душевном звуке. Есть однако отличие: что-то больше задумчивое, нежели в прежней его поэзии».

Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим. Но Хомяков написал *Ермака* и сия трагедия уже заслуживает особенной критической статьи.

Глубокое чувство умиления внушило молодому критику несколько трогательных строк. Он говорит о своем друге, о *лучшем из избранных*, о покойном Веневитинове.

«Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение), кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, единственно одушевлявшего их существа, кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической,—тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслию, каждая мысль согрета сердцем; которого мечта не украшается искусством, но сама собою родится прекрасная; которого лучшая песнь—есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармонической души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием. От того все прекрасное было ему родное; от того в познании самого себя находил он решение всех тайн искусства, и в собственной душе прочел начертание высших законов, и созерцал красоту создания. От того

Пушкинский кабинет ИРЛИ

природа была ему доступною для ума и для сердца, он мог:

В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть.

«Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели игрою воображения. Это доказывает, что он был рожден еще более для философии, нежели для поэзии. Прозаические сочинения его, которые печатаются и скоро выйдут в свет, еще подтвердят всё сказанное нами».

Тут критик сильно и остроумно доказывает преимущественную пользу немецких философов на тех из наших писателей, которые, не отличаясь личным дарованием, тем яснее показывают достоинство чужого или приобретенного. «Здесь господствуют два рода литераторов: одни следуют направлению французскому, другие немецкому. Что встречаем мы в сочинениях первых? *Мыслей* мы не встречаем у них (ибо мысли, собственно французские, уже стары, след. не мысли, а общие места: сами французы заимствуют их у немцев и англичан). Но мы находим у них *игру слов*, редко, весьма редко, и то случайно соединенную с остроумием, и *шутки*, почти всегда лишенные вкуса, часто лишенные всякого смысла. И может ли быть иначе?—Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества; а многие ли из наших писателей имеют счастие принадлежать к нему?

«Напротив того в произведениях литераторов, которые напитаны чтением немецких умствователей, почти всегда найдем мы что-нибудь достойное уважения, хотя тень мысли, хотя стремление к этой тени».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В князе Вяземском г. Киреевский видит доказательство, что истинный талант блестит везде, во всяком направлении, под всяким влиянием. «Однако ж», говорит автор, «и князь Вяземский, несмотря на все свои дарования, несмотря на то, что мы можем назвать его остроумнейшим из наших писателей, еще выше там, где, как в *унынии*, голос сердца слышнее ума».

Автор не соглашается с мнением людей, утверждающих, что французское направление господствует также и в произведениях Баратынского. Он видит в нем поэта самобытного, *своеобразного*. «Чтобы *дослышать* все *оттенки лиры* Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, не замеченного с первого взгляда,—верный признак поэзии сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении, многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту мерность изящную, эту благородную *щеголеватость*?—Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка».

Автор справедливо ставит *Эду*, одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии, выше *Бального вечера*, поэмы более блестящей, но менее изящной, менее трогательной, менее вольно и глубоко вдохновенной. Определяя характер поэзии барона Дельвига, критик говорит: «Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездушно. Только подражание из любви может быть поэтическим и даже творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих себя? и не от того ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

соответствующие требованиям нашего духа?—Вот отчего новейшие всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним; скажу более: нет ни одного истинно-изящного перевода древних классиков, где бы не легли следы такого состояния души, которого не знали наши праотцы по уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны христианству; романическая любовь, подарок арабов и варваров; уныние, дитя севера и зависимости; всякого рода фанатизм, необходимый плод борьбы вековых неустройств Европы с порывами к улучшению; наконец перевес мысленности над чувствами и оттуда стремление к единству и сосредоточению...» и пр.

Рассуждая о некоторых произведениях драматической музы нашей, автор с такою веселостию изображает состояние сцены, что мы, не разделяя вполне его мнения, не можем однако ж не выписать сего оригинального места.

«Вообще наш театр представляет странное противоречие с самим собою: почти весь репертуар наших комедий состоит из подражаний французам, и, несмотря на то, именно те качества, которые отличают комедию французскую ото всех других: вкус, приличность, остроумие, чистота языка и всё, что принадлежит к необходимостям хорошего общества,—всё это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вместо того, чтобы быть зеркалом нашей жизни, служит увеличительным зеркалом для одних лакейских наших, далее которых не проникает наша комическая муза. В лакейской она—*дома*, там ее и гостинная, и кабинет, и уборная; там проводит она весь день, когда не ездит на запятках делать визиты музам соседних государств, и чтобы Русскую Талию изобразить похоже, надобно представить ее в ливрее и в сапогах.

«Таков общий характер наших оригинальных

Пушкинский кабинет ИРЛИ

комедий, еще не измененный немногими, редкими исключениями. Причина этого характера заключается отчасти в том, что от Фонвизина до Грибоедова[1] мы не имели ни одного истинного комического таланта, а известно, что необыкновенный человек, как необыкновенная мысль, всегда дают одностороннее направление уму; что перевес силы уравновешивается только другою силою; что вред гения исправляется явлением другого, противодействующего.

«Между тем можно бы заметить нашим комическим писателям, что они поступают нерасчетливо, избирая *такое* направление. За простым народом им не угнаться, и как ни низок язык их, как ни богаты неприличностями их удалые шутки, как ни грубы их фарсы, которым хохочет раёк; но они никогда не достигнут до своего настоящего идеала, и все комедии их—любой извозчик убьет одним словом».

Исчисляя переводы, явившиеся в течение 1829 года, автор замечает, что шесть иностранных поэтов разделяют преимущественно любовь наших литераторов: Гете, Шиллер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич.

Пропустив некоторые сочинения, более или менее замечательные, но не входящие в область чистой литературы, автор обращается к сочинениям в роде повествовательном. Прошлый год богат был оным: но *Иван Выжигин* бесспорно более всех достоин был внимания по своему чрезвычайному успеху. Два издания разошлись менее чем в один год; третье готовится. Г. Киреевский произносит ему строгий и резкий выговор[2], не изъясняя однако ж удовлетворительно неимоверного успеха нравственно-сатирического романа г. Булгарина.

---

[1] Кажется, автор выразился ошибочно. Не хотел ли он сказать: *кроме Фонвизина и Грибоедова?*

[2] См. Денница, Обозр. Русской словесности, стр. LXXII.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

...«Замечательно», говорит г. Киреевский, «что в прошедшем году вышло около 100.000 экземпляров азбуки русской, около 60.000 азбуки славянской, 60.000 экземпляров катехизиса, около 15.000 азбуки французской, и вообще учебные книги расходились в этом году почти целою третью более, нежели в прежнем. Вот что нам нужно, чего недостает нам, чего по справедливости требует публика».

Спешим окончить сие слишком уже пространное изложение. Г. Киреевский, вкратце упомянув о журналах, о духе их полемики, об альманахах, о переводах некоторых известных сочинений, заключает свою статью следующим печальным размышлением: «Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к словесностям других государств, если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: «Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?»—Что будем отвечать ему?—

«Мы укажем ему на Историю Российского Государства; мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова, и—где еще найдем мы произведение достоинства европейского?

«Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего отечества!»—

Мы улыбнулись, прочитав сей меланхолический эпилог. Но заметим г-ну Киреевскому, что там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое *Обо-*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

зрение Словесности, там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко.

КАРЕЛИЯ, ИЛИ ЗАТОЧЕНИЕ МАРФЫ ИОАННОВНЫ РОМАНОВОЙ

Описательное стихотворение в четырех частях. Федора Глинки.—СПБ, в типографии Х. Гинце, 1830 (VIII—112 стр. в 8-ю д. л.)[1].

Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в станцах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностию, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной,— всё дает особенную печать его произведениям. Поэма *Карелия* служит подкреплением сего мнения. В ней, как в зеркале, видны достоинства и недостатки нашего поэта. Мы верно угодим нашим читателям, написав несколько отрывков, вместо всякого критического разбора[2].

[1] Продается у издателя, книгопродавца Ив. Вас. Непейцына в д. Г. М. Балабина, под № 26-м. Цена экз. 6 р., с пересылкою 7 р.

[2] В № 6-м Литер. Газеты было вкратце изложено содержание сей поэмы.—Издатель, г. Непейцын, заслуживает всякую похвалу за старательное и отлично-красивое издание оной.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

(Монах рассказывает Марфе Иоанновне о прибытии своем в Карелию.)

«В страну сию пришел я летом.
Тогда был небывалый жар,
И было дымом все одето:
В лесах свирепствовал пожар.
В Кариолландии горело!..
От блеска не было ночей,
И солнце грустно без лучей,
Как раскаленный уголь, тлело!
Огонь пылал, ходил стеной.
По ветвям бегал, развевался,
Как длинный стяг перед войной;
И страшный вид передавался
Озер пустынных зеркалам...
От знойной смерти убегали
И зверь, и вод жильцы, и нам
Тогда казалось, уж настали
Кончина мира, гибель дней,
Давно на Патмосе в виденьи
Предсказанные. Всё в томленьи,
Снедалось жадностью огней,
Порывом вихрей разнесенных;
И глыбы камней раскаленных
Трещали.—Этот блеск, сей жар
И вид дымящегося мира
Мне вспомянули песнь Омира:
В его стихах *лесной пожар*.
Но осень нам дала и тучи,
И ток гасительных дождей;
И нивой пепел стал зыбучий,
И жатвой радовал людей!..

«Дика Карелия, дика!
Надутый парус челнока
Меня промчал по сим озерам;
Я проходил по сим хребтам,
Зеленым дебрям и пещерам:
Везде пустыня; здесь и там
От Саломейского пролива
К семье Сюйсарских островов,
До речки, с жемчугом игривой[1],

[1] В речке Повенчанке находят жемчуг, иногда довольно окатистый и крупный.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

До дальних северных лесов;
Нигде ни городов, ни башен
Пловец унылый не видал.
Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал;
И мертво все... пока Шелойник
В Онегу, с свистом, сквозь леса
И нагло к челнам, как разбойник,
И рвет на соймах паруса,
Под скрыпом набережных сосен.—
Но живописна ваша осень
Страны Карелии пустой:
С своей палитры, дивной кистью,
Незъяснимой пестротой
Она златит, малюет листья:
Янтарь, и яхонт, и рубин
Горят на сих древесных купах.
И кудри алые рябин
Висят на мраморных уступах.
И вот, меж каменных громад,
Порой я слышу шорох стад
Бродящих лесовой тропою,
И под рогатой головою
Привески звонкие брянчат...

«Край этот мне казался дик:
Малы, рассеяны в нем селы,
Но сладок у лесной Карелы
Ее бесписменный язык.
Казалось, я переселился
В края Авзонии опять:
И мне хотелось повторять
Их речь: в ней слух мой веселился
Игрою звонкой буквы Л.
Еще одним я был обманут:
Вдали, для глаз, повсюду ель
Да сосна, и под ней протянут
Нагих и серых камней ряд.
Тут, думал я, одни морозы,
Гнездо зимы. Иду... Вдруг... розы!
Всё розы весело глядят!
И север позабыл я снова.
Как девы милые, в семье,
Обсядут старика седова,
Так розы в этой стороне,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Собравшись рощей молодою,
Живут с громадою седою.

«Сии места я осмотрел
И поражен был. Тут сбывалось
Великое!.. Но кто б умел,
Кто б мог сказать, когда то сталось?
Везде приметы и следы
И вид премены чрезвычайной
От ниспадения воды—
С каких высот? осталось тайной ..
Но север некогда питал,
За твердью некоей плотины,
Запасы вод; доколь настал
Преображенья час!—И длинный,
Кипучий, грозный, мощный вал
Сразился с древними горами;
Наземный череп растерзал,
И стали щели—озерами.
Их общий всем, продольнй вид
Внушал мне это заключенье.
Но ток, сорвавшись, всё кипит.
Забыв былое заточенье,
Бежит и сыплет валуны
И стал. Из страшного набега
Явилось—зеркало страны—
Новорожденная Онега!

«Здесь поздно настает весна:
Глубоких долов, меж горами,
Карела дикая полна;
Там долго снег лежит буграми
И долго лед над озерами
Упрямо жмется к берегам.
Уж часто видят, по лугам
Цветок синеется подснежный,
И мох цветистый оживет
Над трещиной скалы прибрежной;
А серый безобразный лед
(Когда глядим на даль с высот)
Большими пятнами темнеет
И от озер студеным веет...
И жизнь молчит, и по горам
Бедна карельская береза;
И в самом мае, по утрам,
Блистает серебро мороза...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мертвеет долго всё... Но вдруг
Проснулось здесь и там движенье;
Дохнул какой-то теплый дух
И вмиг свершилось возрожденье:
Помчались лебедей полки
К приютам ведомым влекомых;
Снуют по соснам пауки;
И тучи, тучи насекомых
В веселом воздухе жужжат.
Взлетает жавронок высоко,
И от черемух аромат
Лиется долго и далеко...
И в тайне диких сих лесов
Живут малиновки семьями;
В тиши бестенных вечеров
Луга и бор и дичь бугров
Полны кругом их голосами.
Поют... поют... поют они
И только с утром замолкают:
Знать, в песне высказать желают,
Что в теплой видели стране,
Где часто провождали зимы;
Или, предчувствием томимы,
Что скоро, из лесов густых,
Дохнет, как смерть, неотвратимый,
От беломорских стран пустых,
Губитель роскоши и цвета:
Он вмиг, как недуг, всё сожмет;
И часто, в самой неге лета,
Природа смолкнет и замрет!

«По Суне плыли наши челны,
Под нами стлались небеса
И опрокинулися в волны
Уединенные леса.
Спокойно всё на влаге светлой,
Была окрестность в тишине,
И ясно на глубоком дне.
Песок виднелся разноцветной,
И, за грядою серых скал,
Прибрежных нив желтело злато
И с сенокосов ароматом
Я в летний роскоши дышал.
Но что шумит?.. В пустыне шопот
Растет, растет, звучит, и вдруг—
Как будто конной рати топот,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Дивит и ужасает слух!
Гул, стук!—Знать где-то строят грады!
Свист, визг!—Знать целый лес пилят!
Кружатся, блещут звезд громады,
И вихри влажные летят
Холодной, стекловидной пыли:
«Кивач!.. Кивач!.. Ответствуй, ты ли?..»
И выслал бурю он в ответ!..
Кипя над четырьмя скалами,
Он, с незапамятных нам лет,
Могучий исполин, валами
Катит жемчуг и серебро;
Когда ж хрустальное ребро
Пронзится горними лучами,
Чудесной радуги цветы
Его опутают, как ленты;
Его зубристые хребты
Блестят—пустыни монументы.
Таков Кивач, таков он днем!
Но, под зарею летней ночи,
Вдвойне любуются им очи:
Как будто хочет небо в нем
На тысячи небес дробиться,
Чтоб после снова целым слиться
Внизу, на зеркале реки...
Тут буду я! Тут жизнь теки!..
О, счастье жизни сей волнистой!
Где ты?—В чертоге ль богача,
В обетах роскоши нечистой,
Или в Карелии лесистой,
Под вечным шумом Кивача?..»

Духи основали свое царство в пустынях *лесной Карелы.* Вот как поэт наш изображает их.

В тех горах
Живут селениями духи:
Точь в точь, как мы! В больших домах,
Лишь треугольником их кровли;
Они охотники до ловли,
И всё у них, как и у нас:
Есть чернь и титул благородных;
Суды, расправы и приказ,
Но нет балов, торговок модных,
Карет, визитов, суеты,
И бестолкового круженья;
Нет мотовства и разоренья,
Так, стало, нет и нищеты!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Счет, вес и мера без обмана,
И у судейского кафтана
У них не делают кармана.—
Я не могу уверить вас,
Имеют ли они Парнас,
Собранья авторов и залы
Для чтения.—«А есть журналы?»
Нет-с!—Ну, и ссоры меньше там:
Литературные нахалы
Не назовут по именам
И по отечествам, чтоб гласно,
Под видом критики ругать:
То с здравым смыслом несогласно!
И где, кто б мог закон сыскать,
Который бы людей уволил
От уз приличия? И им,
Как будто должное, дозволил
По личным прихотям своим,
Порою ж и по ссоре личной,
Кричать, писать, ругать публично?..
Зато уж в обществе духов—
Вон там, на тех скалах огромных—
Все так приязнены, так скромны!..
От человеческих грехов
Подчас им бедным очень душно!
И если станет уж и скучно
Смотреть на глупости земных,
На наши шашни и проказы,
То псов с собой четвероглазых
И в лес! И вот лесов *честных*
Приняв образ, часто странный,
То, выше ели, великаны,
То наравне, в траве, с травой!
Проказят, резвятся, хохочут,
Зовут, обходят и морочат...
Иди к ним, с умной головой,
Начитанный теорик,—что же?
Тебе ученость не поможет:
Ты угоришь: всё глушь да мрак:
А духи шепчут: «ты дурак!
Сюда, мудрец, вот омут грязный!»
Не так ли иногда приказный,
Раскинув практику свою,
Из справки в справку ходит, ходит,
И часто в бестолочь заводит
И толковитого судью?...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

2. В отделе «Смесь»- 1830 г.

<О НЕКРОЛОГИИ ГЕНЕРАЛА Н. Н. РАЕВСКОГО>

В конце истекшего года вышла в свет *Некрология генерала от кавалерии Н. Н. Раевского*, умершего 16 сентября 1829. Сие сжатое обозрение, писанное, как нам кажется, человеком, сведущим в военном деле, отличается благородною теплотою слога и чувств. Желательно, чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека. С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного <автора> некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812-м году!.. Отечество того не забыло.

<О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА Б. КОНСТАНА «АДОЛЬФ»>

Князь Вяземский перевел и скоро напечатает славный роман Бенж. Констана. *Адольф* принадлежит к числу *двух или трех романов*,

> В которых отразился век,
> И современный человек
> Изображен довольно верно
> С его безнравственной душой,
> Себялюбивый и сухой,
> Мечтаньям преданной бесмерно,
> С его озлобленным умом,
> Кипящим в действии пустом[1].

Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона. С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом

[1] *Евг. Онегин*, гл. VII.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении, перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы.

<О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ>

В одном из наших журналов дают заметить, что *Литературная Газета* у нас не может существовать по весьма простой причине: *у нас нет литературы.* Если б это было справедливо, то мы не нуждались бы и в критике; однако ж произведения нашей литературы, как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству. Критика в наших журналах или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с корректором и проч. «Очистите место для новой статьи моей», пишет сотрудник. «С удовольствием», отвечает издатель. И это всё напечатано. Недавно в одном журнале было упомянуто *о пороxе.* «Вот уже вам будет порох!» сказано в замечании наборщика; а сам издатель возражает на сие:

Могущему пороку—брань,
Бессильному—презренье.

Эти семейственные шутки должны иметь свой ключ и вероятно очень забавны; но для нас они покамест не имеют никакого смысла.

Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблю-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дения важнее наблюдений литературных. В прошлом году напечатано несколько книг (между прочим *Иван Выжигин*), о коих критика могла бы сказать много поучительного и любопытного. Но где же они были разобраны, пояснены? Не говоря уже о живых писателях, Ломоносов, Державин, Фон-Визин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих. Впрочем, *Литературная Газета* была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов.

<О ЗАПИСКАХ САМСОНА>

Французские журналы извещают нас о скором появлении Записок Самсона, парижского палача. Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений.

После соблазнительных *Исповедей* философии XVIII века явились политические, не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее. Когда нам и это надоело, явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями. Но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы и Современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменного каторжника. Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи. Недоставало палача в числе новейших лите-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

раторов. Наконец и он явился, и к стыду нашему скажем, что успех его *Записок* кажется несомнительным.

Не завидуем людям, которые, основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторению сказаний, вероятно, безграмотного Самсона. Но признáемся же и мы, живущие в веке признаний, с нетерпеливостию, хотя и с отвращением, ожидаем мы *Записок парижского палача*. Посмотрим, что есть между им и людьми живыми? На каком зверином реве объяснит он свои мысли? Что скажет нам сие творение, внушившее графу Мейстру столь поэтическую, столь страшную страницу? Что скажет нам сей человек, в течение сорока лет кровавой жизни своей присутствовавший при последних содроганиях стольких жертв, и славных, и неизвестных, и священных, и ненавистных? Все, все они—его минутные знакомцы—чредою пройдут перед нами по гильотине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль. Мученики, злодеи, герои—и царственный страдалец, и убийца его, и Шарлотта Корде, и прелестница Дю-Барри, и безумец Лувель, и мятежник Бертон, и лекарь Кастен, отравлявший своих ближних, и Папавуань, резавший детей: мы их увидим опять в последнюю, страшную минуту. Головы, одна за другою, западают перед нами, произнося каждая свое последнее слово... И, насытив жестокое наше любопытство, книга палача займет свое место в библиотеках, в ожидании ученых справок будущего историка.

<«О РАЗГОВОРЕ У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙ» ФОНВИЗИНА>

Недавно в одном из наших журналов изъявили сомнение: точно ли *Разговор у Княгини Халдиной*, напечатенный в 3-м № *Литер. Газеты*, есть со-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чинение Фонвизина. Во-первых: родной племянник покойного автора ручается в достоверности оного; во-вторых, не так легко, как думают, подделаться под руку творца *Недоросля* и *Бригадира*: кто хотя немного изучал дух и слог Фонвизина, тот узнает тотчас их несомненные признаки и в *Разговоре*. Статья сия замечательна не только как литературная редкость, но и как любопытное изображение нравов и мнений, господствовавших у нас лет сорок тому назад. Княгиня Халдина говорит Сорванцову *ты*, он ей также. Она бранит служанку, зачем не пустила она гостя в уборную. «Разве ты не знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться?»—Да ведь стыдно, В. С.,—отвечает служанка. «Глупа, радость», возражает княгиня. Всё это, вероятно, было списано с натуры. Мы и тут узнаем подражание нравам парижским. Изображение Сорванцова достойно кисти, нарисовавшей семью Простаковых. Он записался в службу, чтобы ездить цугом. Он проводит ночи за картами и спит в присутственном месте, во время чтения запутанного дела. Он чувствует нелепость деловой бумаги и соглашается с мнением прочих из лености и беспечности. Он продает крестьян в рекруты и умно рассуждает о просвещении. Он взяток не берет из тщеславия, и хладнокровно извиняет бедных взяткобрателей. Словом, он истинно русский барич прошлого века, каковым образовали его природа и полупросвещение. Здравомысл напоминает Правдина и Стародума, хотя в нем и менее педантства. Прочитав *Разговор у княгини Халдиной*, пожалеешь невольно, что не Фонвизину досталось изображать новейшие наши нравы.

<О СТАТЬЯХ КНЯЗЯ ВЯЗЕМСКОГО>

Некоторые журналы, обвиненные в неприличности их полемики, указали на князя Вяземского,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

как на начинщика брани, господствующей в нашей литературе. Указание неискреннее. Критические статьи к. Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion) и ловкостию самого софизма. Эпиграмматические же разборы его могут казаться обидными самолюбию авторскому, но к. Вяземский может смело сказать, что личность его противников никогда не была им оскорблена: они же всегда преступают черту литературных прений и поминутно, думая напасть на писателя, вызывают на себя негодование члена общества и даже гражданина. Но должно ли на них негодовать?— Не думаем. В них более извинительного незнания приличий, чем предосудительного намерения.— Чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств. Люди светские имеют свой образ мыслей, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странною, и он чуть ли не будет прав.

Доказательством, что журналы наши никогда не думали выходить из границ благопристойности, служит их добродушное изумление при таковых обвинениях и их единогласное указание на того, чьи произведения более всего носят на себе печать ума светского и тонкого знания общежития.

<ОБЪЯСНЕНИЕ К ЗАМЕТКЕ ОБ ИЛИАДЕ>

В одном из московских журналов выписывают объявление об *Илиаде*, напечатенное во 2-м №

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Литературной газеты, и говорят, что сие *воззвание на счет* (?) труда г-на Гнедича обнаруживает дух партии, которая в литературе не должна быть терпима. В доказательство чего дают заметить, что в *Литературной газете* сказано: «Русская Илиада должна иметь важное влияние на отечественную словесность»; а что в предисловии к своему переводу Н. И. Гнедич похвалил гекзаметры барона Дельвига.

Вот лучшее доказательство правила, слишком пренебрегаемого нашими критиками: ограничиваться замечаниями чисто-литературными, не примешивая к оным догадок на счет посторонних обстоятельств, догадок большею частию столь же несправедливых, как и неблагопристойных. Объявление о переводе *Илиады* писано мною и напечатано во время отсутствия барона Дельвига. Принужденным нахожусь сказать, что нынешние отношения барона Дельвига к Н. И. Гнедичу *не суть дружеские*: но как бы то ни было, это не может повредить их взаимному уважению. Н. И. Гнедич, по благородству чувств, ему свойственному, откровенно сказал свое мнение насчет таланта барона Дельвига, похвалив произведения музы его. Пример утешительный в нынешнюю эпоху русской литературы[1].

Александр Пушкин.

<О ЗАПИСКАХ ВИДОКА>

В одном из № *Лит. Газеты* упоминали о *Записках парижского палача*; нравственные сочине-

[1] Ужели перевод *Илиады* столь незначителен, что Н. И. Гнедичу нужно покупать себе похвалы? Если же нет, то неужели критик, по предполагаемой приязни с переводчиком, должен непременно бранить труд его, чтобы показать свое беспристрастие?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ния Видока, полицейского сыщика, суть явление не менее отвратительное, не менее любопытное.

Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека.

Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом (un bon Français), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! Он уверяет, что служил в военной службе, и как ему не только дозволено, но и предписано всячески переодеваться, то и щеголяет орденом Почетного Легиона, возбуждая в кофейнях негодование честных бедняков, состоящих на половинном жалованье (officiers à la demi-solde). Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой). Он с удивительной важностию толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях, отчасти надеясь на их презрение, отчасти по рассчету: суждения Видока о Казимире де ла Вине, о Б. Констане должны быть любопытны именно по своей нелепости.

Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих *врагов* доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений: раздражительность, смеш-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ная во всяком другом писаке, но в Видоке утешительная, ибо видим из нее, что человеческая природа, в самом гнусном своем уничижении, всё еще сохраняет благоговение перед понятиями, священными для человеческого рода.

Предлагается важный вопрос:

Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч. не оскробляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем, нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?

3. В отделе «Библиография». 1831 г.

VIE, POÉSIES ET PENSÉES DE JOSEPH DELORME

(Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма).— Париж, 1829 (I т. в 16-ю д. л.).

LES CONSOLATIONS, POÉSIES PAR SAINTE-BEUVE

(Утешения. Стихотворения Сент-Бева).—Париж, 1830 (I том в 18-ю д. л.)

Года два тому назад книжка, вышедшая в свет под заглавием Vie, poésies et pensées de J. Delorme, обратила на себя в Париже внимание критиков и публики. Вместо предисловия, романическим слогом описана была жизнь бедного молодого поэта, умершего, как уверяли, в нищете и неизвестности. Друзья покойника предлагали публике стихи и мысли, найденные в его бумагах, извиняя недостатки их и заблуждения самого Делорма его молодостию, болезненным состоянием души и физическими

Пушкинский кабинет ИРЛИ

страданиями. В стихах оказывался необыкновенный талант, ярко отсвеченный странным выбором предметов. Никогда ни на каком языке голый сплин не изъяснялся с такою сухою точностию; никогда заблуждения жалкой молодости, оставленной на произвол страстей, не были высказаны с такой разочарованностию. Смотря на ручей, осененный темными ветвями дерев, Делорм думает о самоубийстве и вот каким образом:

Pour qui veut se noyer, la place est bien choisie.
On n'aurait qu'à venir un jour de fantaisie,
A cacher ses habits au pied de ce bouleau,
Et, comme pour un bain, à descendre dans l'eau:
Non pas en furieux, la tête la première;
Mais s'asseoir, regarder; d'un rayon de lumière
Dans le feuillage et l'eau suivre le long reflet,
Puis, quand on sentirait ses esprits au complet,
Qu'on aurait froid, alors, sans plus traîner la fête,
Pour ne plus la lever, plonger avant la tête.
C'est là mon plus doux voeu, quand je pense à mourir.
J'ai toujour été seul à pleurer, à souffrir;
Sans un coeur près du mien j'ai passé sur la terre;
Ainsi que j'ai vécu, mourons avec mystère,
Sans fracas, sans clameurs, sans voisins assemblés.
L'alouette, en mourant, se cache dans les blés;
Le rossignol, qui sent défaillir son ramage,
Et la bise arriver, et tomber son plumage.
Passe invisible à tous, comme un écho du bois:
Ainsi je veux passer. Seulement, un... deux mois.
Peut-être un an après, un jour... une soirée,
Quelque pâtre inquiet d'un chèvre égarée,
Un chasseur descendu vers la source, et voyant
Son chien qui s'y lançait sortir en aboyant,
Regardera: la lune avec lui qui regarde
Eclairera ce corps d'une lueur blafarde,
Et soudain il fuira jusqu'au hameau, tout droit.
De grand matin venus, quelques gens de l'endroit,
Tirant par les cheveux ce corps méconnaissable,
Cette chair en lambeaux, ces os chargés de sable,
Mélant des quolibets à quelques sots récits,
Deviseront longtemps sur mes restes noircis,
Et les brouetteront enfin au cimetière;
Vîte on clouera le tout dans quelque vieille bière,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Qu'un prêtre aspergera d'eau bénite trois fois;
Et je serai laissé sans nom, sans croix de bois![1]

У друга его, Виктора Гюго, рождается сын; Делорм его приветствует:

Mon ami, vous voilà père d'un nouveau-né;
C'est un garçon encor; le ciel vous l'a donné
Beau, frais, souriant d'aise à cette vie amère;
A peine il a coûté quelque plainte à sa mère.
Il est nuit; je vous vois... A doux bruit, le sommeil
Sur un sein blanc qui dort a pris l'enfant vermeil,
Et vous, père, veillant contre la cheminée,
Recueilli dans vous même, et la tête inclinée,
Vous vous tournez souvent pour revoir, ô douceur!
Le nouveau-né, la mère, et le frère et la soeur,
Comme un pasteur joyeux de ses toisons nouvelles,
Ou comme un maître, au soir, qui compte ses javelles.
A cette heure si grave, en ce calme profond,
Qui sait, hors vous, l'abyme où vorte coeur se fond,
Ami? qui sait vos pleurs, vos muettes caresses;
Les trésors du génie épanchés en tendresses;
L'aigle plus gémissant que la colombe au nid;
Les torrents ruisselants du rocher de granit,
Et, comme sous les feux d'un été de Norvège,
Au penchant des glaciers mille fontes de neige?

---

[1] <Для того, кто хочет утопиться, место очень подходящее.
В любой день стоит только придти сюда,
Спрятать одежду под этой березой
И, словно для купанья, погрузиться в воду:
Не как безумец, вниз головой,
Но присесть, поглядеть вокруг; следить
За отражением длинного луча света на листве и на воде;
Затем, когда почувствуешь, что дух исчерпал себя до конца,
И озябнешь, тогда, не затягивая праздника,
Погрузить голову, чтобы больше не поднимать ее.
Вот моя любимая мечта, когда я задумываю умереть.
Я всегда одиноко плакал и страдал;
Ничье сердце не билось рядом с моим, когда я проходил
жизненый путь.
Так же, как я жил, пусть я умру—тайно,
Без шума, без криков, без толпы собравшихся соседей.
Жаворонок, умирая, прячется во ржи,
Соловей, чувствуя, что голос его ослабевает,
И приближается холодный ветер, и падает его оперение,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Vivez, soyez heureux, et chantez-nous un jour
Ces secrets plus qu'humains d'un inneffable amour!
— Moi, pendant ce temps-là, je veille aussi, je veille,
Non près des rideaux bleus de l'enfance vermeille,
Près du lit nuptial arrosé de parfum,
Mais près d'un froid grabat, sur le corps d'un défunt.
C'est un voisin, vieillard goutteux, mort de la pierre;
Ses nièces m'ont requis, je veille à leur prière.
Seul, je m'y suis assis dès neuf heures du soir,
A la tête du lit une croix en bois noir,
Avec un Christ en os, pose entre deux chandelles
Sur une chaise, auprès, le buis cher aux fidèles
Trempe dans une assiette, et je vois sous les draps
Le mort en long, pieds joints, et croisant les deux bras.
Oh! si, du moins, ce mort m'avait durant sa vie
Eté longtemps connu! s'il me prenait envie
De baiser ce front jaune une dernière fois!
En regardant toujours ces plis raides et droits,
Si je voyais enfin remuer quelque chose,
Bouger comme le pied d'un vivant qui repose,
Et la flamme bleuir! si j'entendais crier
Le bois de lit!.. ou bien si je pouvais prier!
Mais rien: nul effroi saint; pas souvenir tendre,
Je regarde sans voir, j'écoute sans entendre;
Chaque heure sonne lente, et lorsque, par trop las
De ce calme abattant et de ces rêves plats,

Исчезает из жизни незаметно для всех, как лесное эхо:
Я так же хочу исчезнуть. Только через месяц или два,
Может быть, через год, однажды вечером,
Пастух в поисках за заблудившейся козой,
Или охотник, спустившись к ручью и заметив,
Что его собака, бежавшая туда, возвратилась с лаем,
Взглянет, и луна, с ним вместе смотрящая,
Осветит тусклым сиянием это тело —
И внезапно бросится бежать прямо к поселку.
Несколько местных жителей придут ранним утром,
Вытянут за волосы неузнаваемое тело,
Эти обрывки мяса и кости, отягченные песком,
И, примешивая шутки к каким-нибудь глупым россказням,
Долго будут совещаться над моими почерневшими останками
И, наконец, повезут на тачке на кладбище;
Поскорее заколотят их в какой-нибудь старый гроб,
Который священник трижды окропит святой водой,
И меня оставят без имени, без деревянного креста!>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Pour respirer un peu je vais à la fenêtre
(Car au ciel de minuit le croissant vient de naître),
Voilà, soudain, qu'au toit lointain d'une maison.
Non pas vers l'orient, s'embrasse l'horizon
Et j'entends résonner, pour toute mélodie,
Des aboiements de chiens hurlant dans l'incendie[1].

Между сими болезненными признаниями, сими мечтами печальных слабостей и безвкусными подражаниями давно осмеянной поэзии старого Ронсара, мы с изумлением находим стихотворения, исполненные свежести и чистоты. С какой меланхо-

[1] <Мой друг, небо опять даровало вам мальчика,
И вот вы отец новорожденного;
Прекрасного, свежего, радостно улыбающегося этой горькой жизни.
Он стоил лишь несколько стонов своей матери.
Ночь; я вижу вас... При нежных звуках сон
Обнял розового ребенка на белой спящей груди,
А вы, отец, бодрствующий у камина,
Задумавшись и склонив голову,
Вы часто оборачиваетесь, чтобы вновь увидеть,—о счастье!—
Младенца, мать, и брата, и сестру,
Как пастух, радующийся новым ягнятам,
Или как хозяин, ввечеру считающий стойки сжатого хлеба.
В этот торжественный час, в этой глубокой тишине,
Кто, кроме вас, знает бездну, в которой тает ваше сердце, друг?
Кто знает ваши слезы, ваши немые ласки, сокровища гения, изливающиеся в нежности,
Стон орла, более глубокий, чем стоны голубки в гнезде,
Иль поток, струящийся с гранитной скалы,
Иль бесчисленные ручьи от снега,
Тающего под вноем норвежского лета на склонах ледника?
Живите, будьте счастливы и когда-нибудь пропойте
Нам эти сверхчеловеческие тайны невыразимой любви.
А я в это время также бодрствую,
Не у голубых занавесей розового детства,
Не у брачного ложа, орошенного благовониями,
Но у холодного одра, над телом усопшего.
Это—сосед, подагрический старик, умерший от каменной болезни;
<

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лической прелестью описывает он, например, свою музу:

Non, ma Muse n'est pas l'odalisque brillante
Qui danse les seins nus à la voix sémillante,
Aux noirs cheveux luisants, aux longs yeux de houri;
Elle n'est ni la jeune et vermeille Péri,
Dont l'aile radieuse éclipserait la queue
D'un beau paon, ni la fée à l'aile blanche et bleue,
Ces deux rivales soeurs, qui, dès qu'il a dit *oui*,
Ouvrent mondes et cieux à l'enfant ébloui.
Elle n'est pas non plus, ô ma Muse adorée!
Elle n'est pas la vierge ou la veuve éplorée,

Его племянницы позвали меня, и я бодрствую по их просьбе.
Я сижу здесь один уже с девяти часов вечера.
У изголовья кровати стоит на стуле
Между двумя свечами крест черного дерева с костяным распятием;
Рядом с ним веточка букса, дорогая сердцу верующих,
Мокнет в тарелке, и я вижу под простынями
Мертвого, во всю длину, со сжатыми ногами и скрещенными руками.
О! если бы, по крайней мере, я долгое время знал
Этого мертвеца при жизни! Если бы мне хотелось
Поцеловать этот желтый лоб в последний раз!
Если бы, глядя всё время на эти жесткие прямые складки,
Я бы, наконец, увидел, что что-то шевелится
И движется подобно ноге отдыхающего человека,
И что пламя голубеет! Если бы я услышал,
Как заскрипела кровать!.. или если бы я мог молиться!
Но нет: никакого священного ужаса, никакого нежного воспоминания.
Я смотрю и не вижу, слушаю и не слышу.
Каждый час бьет медленно, и когда, слишком усталый
От этого удручающего спокойствия и этих глупых грез,
Я подхожу к окну, чтобы немного подышать
(Так как на полночном небе только что родился серп месяца),
Внезапно над далекой крышей дома,
Не на востоке, загорается небосклон,
И я слышу вместо песни
Лай собак, воющих на пожар.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Qui d'un cloître désert, d'une tour sans vassaux,
Solitaire habitante, erre sous les arceaux,
Disant un nom; descend aux tombes féodales;
A genoux, de velours inonde au loin les dalles,
Et le front sur un marbre, épanche avec des pleurs
L'hymne mélodieux de ses nobles malheurs.
Non.—Mais quand seule au bois votre douleur chemine,
Avez-vous vu, là-bas, dans un fond, la chaumine
Sous l'arbre mort; auprès, un ravin est creusé;
Une fille en tout temps y lave un linge usé.
Peut-être à votre vue elle a baissé la tête,
Car, bien pauvre qu'elle est, sa naissance est honnête.
Elle eût pu, comme une autre, en de plus heureux jours
S'épanouir au monde et fleurir aux amours;
Voler en char; passer aux bals, aux promenades;
Respirer au balcon parfums et sérénades;
Ou, de sa harpe d'or éveillant cent rivaux,
Ne voir rien qu'un sourire entre tant de bravos.
Mais le ciel dès l'abord s'est obscurci sur elle,
Et l'arbuste en naissant fut atteint de la grêle:
Elle file, elle coud, et garde à la maison
Un père vieux, aveugle et privé de raison[1].

---

[1] <Нет, моя муза—не блистающая звонкоголосая одалиска
С продолговатыми глазами гурии, с черными блестящими волосами,
Пляшущая с обнаженной грудью;
Это не юная и розовая Пери,
Сверкающие крылья которой затмили бы хвост прекрасного павлина,
Не белокрылая и голубокрылая фея,—
Эти две сестры-соперницы, которые открывают миры и небеса
Ослепленному светом ребенку, лишь только он скажет *да*.
Она—о моя обожаемая муза!—
Не дева иль плачущая вдова.
Одинокая обитательница пустынного монастыря
Или башни без вассалов, которая бродит под сводами,
Произнося чье-то имя; спускается в рыцарские гробницы;
Склоняя колени на плиты, широко расстилает бархат платья
И, приникнув челом к мрамору, изливает со слезами
В мелодичном гимне свои благородные несчастия.
Нет.—Но, когда ваша скорбь одиноко бредет по лесу,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Правда, что всю прелестную картину оканчивает он медицинским описанием чахотки; муза его харкает кровью:

. . . . . une toux déchirante
La prend dans sa chanson, pousse en sifflant un cri,
Et lance les graviers de son poumon meurtri[1].

Совершеннейшим стихотворением изо всего собрания, по нашему мнению, можно почесть следующую элегию, достойную стать наряду с лучшими произведениями Андрея Шенье.

Toujours je la connus pensive et sérieuse;
Enfant, dans les ébats de l'enfance joyeuse
Elle se mêlait peu, parlait déjá raison;
Et quand ses jeunes soeurs couraient sur le gazon,
Elle était la première à leur rappeler l'heure,
A dire qu'il fallait regagner la demeure;
Qu'elle avait de la cloche entendu le signal,
Qu'il était défendu d'approcher du canal,

Видали ли вы, там, в глубине, хижину,
Под высохшим деревом? Рядом с нею вырыта канавка;
Девушка постоянно моет там изношенное белье.
Может быть, при виде вас, она опустит голову,
Так как, несмотря на всю свою бедность, она—почтенного рода;
Она могла бы, как многие другие, в более счастливые дни
Блистать в свете и цвести для любви;
Мчаться в экипаже; бывать на балах, на гуляньях;
Вдыхать на балконе ароматы и серенады;
Или, своей золотой арфой пробуждая сотни соперников,
Видеть лишь одну улыбку среди бесчисленных рукоплесканий.
Но небо с самого начала потемнело над нею,
И деревню, едва родившись, было побито градом:
Она прядет, шьет и ухаживает дома
За старым, слепым и безумным отцом.>

[1] <Раздирающий кашель
Прерывает ее песнь, испускает крик со свистом
И извергает кровяные сгустки из ее больной груди.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

De troubler dans le bois la biche familière,
De passer en jouant trop près de la volière:
Et ses soeurs l'écoutaient. Bientôt elle eut quinze ans,
Et sa raison brilla d'atraits plus séduisants:
Sein voilé, front serein où le calme repose,
Sous de beaux cheveux bruns une figure rose,
Une bouche discrète au sourire prudent,
Un parler sobre et froid, et qui plaît cependant;
Une voix douce et ferme, et qui jamais ne tremble,
Et deux longs sourcils noirs qui se fondent ensemble.
Le devoir l'animait d'une grave ferveur;
Elle avait l'air posé, réfléchi, non rêveur:
Elle ne rêvait pas comme la jeune fille
Qui de ses doigts distraits laisse tomber l'aiguille,
Et du bal de la veille au bal du lendemain
Pense au bel inconnu qui lui pressa la main.
Le coude à la fenêtre, oubliant son ouvrage,
Jamais on ne la vit suivre à travers l'ombrage
Le vol interrompu des nuages du soir,
Puis cacher tout d'un coup son front dans son mouchoir
Mais elle se disait qu'un avenir prospère
Avait changé soudain par la mort de son père;
Qu'elle était fille aînée, et c'était raison
De prendre part active aux soins de la maison.
Ce coeur jeune et sévère ignorait la puissanse
Des ennuis dont soupire et s'émeut l'innocence.
Il réprima toujours les attendrissements
Qui naissent sans savoir, et les troubles charmants,
Et les désirs obscurs, et ces vagues délices,
De l'amour dans les coeurs naturelles complices.
Maîtresse d'elle-même aux instants les plus doux,
En embrassant sa mère, elle lui disait *vous*,
Les galantes fadeurs, les propos pleins de zèle
Des jeunes gens oisifs étaient perdus chez elle;
Mais qu'un coeur éprouvé lui contât un chagrin,
A l'instant se voilait son visage serein:
Elle savait parler de maux, de vie amère,
Et donnait des conseils comme une jeune mère.
Aujourd'hui la voilà mère, épouse à son tour;
Mais c'est chez elle encor raison plutôt qu'amour.
Son paisible bonheur de respect se tempère;
Son époux déjà mûr serait pour elle un père;
Elle n'a pas connu l'oubli du premier mois,
Et la lune de miel qui ne luit qu'une fois,
Et son front et ses yeux ont gardé le mystère
De ces chastes secrets qu'une femme doit taire.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Heureuse comme avant, à son nouveau devoir
Elle a réglé sa vie... Il est beau de la voir,
Libre de son ménage, un soir de la semaine,
Sans toilette, en été, qui sort et se promène
Et s'asseoit à l'abri du soleil étouffant,
Vers six heures, sur l'herbe, avec sa belle enfant.
Ainsi passent ses jours depuis le premier âge,
Comme des flots sans nom sous un ciel sans orage,
D'un cours lent, uniforme, et pourtant solennel;
Car ils savent qu'ils vont au rivage éternel.
Et moi qui vois couler cette humble destinée
Au penchant du devoir doucement entraînée,
Ces jour purs, transparents, calmes, silencieux,
Qui consolent du bruit et reposent les yeux,
Sans le vouloir, hélas! je retombe en tristesse;
Je songe à mes longs jours passés avec vitesse,
Turbulents, sans bonheur, perdus pous le devoir,
Et je pense, ô mon Dieu qu'il sera bientôt soir! [1]

---

[1] <Я всегда знавал ее задумчивой и серьезной;
Ребенком она редко принимала участие
В забавах веселого детства; она уже была рассудительна,
И когда ее маленькие сестры бегали по траве,
Она первая напоминала им о времени,
О том, что пора уже возвращаться домой,
Что она услышала призыв колокола,
Что запрещено подходить к каналу,
Пугать в роще ручную лань,
Играя подбегать слишком близко к птичнику,—
И сестры слушались ее. Скоро ей исполнилось пятнадцать лет,
И ее разум украсился очарованиями более соблазнительными:
Прикрытая грудь, ясное чело, на котором почиет спокойствие,
Розовое лицо под прекрасными темными волосами,
Скромный рот со сдержанной улыбкой.
Холодный и трезвый разговор, который, однако, нравится,
Нежный и твердый голос, никогда не дрожащий,
И черные, сходящиеся брови.
Чувство долга рождало в ней важное усердие.
Она выглядела рассудительной, выдержанной, не мечтательной;
Она не мечтала, как молодая девушка,
Рассеянно роняющая из рук иглу

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Публика и критики горевали о преждевременной кончине таланта, столь много обещавшего, как вдруг узнали, что покойник жив и, слава богу здоров. Сент-Бев, известный *уже Историей Французской Словесности в XVI столетии* и ученым изданием Ронсара, вздумал под вымышленным именем И. Делорма напечатать первые свои поэтические опыты, вероятно, опасаясь нареканий и строгости нравственной цензуры. Мистификация, столь печальная, своею веселою развязкою должна была повредить успеху его стихотворений; однако ж новая школа с восторгом признала и присвоила себе нового собрата.

В *Мыслях* И. Делорма изложены его мнения касательно французского стихосложения. Кри-

---

И думающая от вчерашнего до завтрашнего бала
О прекрасном незнакомце, пожавшем ей руку.
Никогда не видел никто, чтобы, облокотившись на окно
И позабыв работу, она следила сквозь ветви
Неровный бег вечерних облаков,
А потом внезапно прятала бы лицо в платок.
Нет, она говорила себе, что счастливое будущее
Внезапно изменилось со смертью отца,
Что она—старшая дочь, и потому должна
Принимать деятельное участие в домашних заботах.
Это юное и строгое сердце не знало власти
Тоски, от которой вздыхает и волнуется невинность.
Она всегда подавляла разнеживающую грусть,
Возникающую бессознательно, очаровательные тревоги
И темные желания, все те смутные волнения,
Этих естественных пособников любви.
Владея вполне собой, она в самые нежные мгновения,
Обнимая свою мать, говорила ей *вы*.
Приторные комплименты и пылкие фразы
Праздных молодых людей для нее тратились попусту.
Но когда измученное сердце рассказывало ей свое горе,
Ее ясное чело тотчас омрачалось:
Она умела говорить о страданиях, о горькой жизни,
И давала советы, как молодая мать.
Теперь она сама мать и жена,
Но это скорее по рассудку, чем по любви.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тики хвалили верность, ученость и новизну сих замечаний. Нам показалось, что Делорм слишком много придает важности нововведениям так называемой *романтической* школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества. Нет сомнения, что стихосложение французское самое своенравное и, смею сказать, неосновательное. Чем, например, оправдаете вы исключения *гиатуса* (hiatus), который французским ушам так нестерпим в соединении двух слов (как: a été oó aller) и которого они же ищут для гармонии

Ее мирное счастье умиряется уважением;
Ее муж, уже не молодой, мог бы быть для нее отцом;
Она не знала забвенья первого месяца,
Этого медового месяца, сияющего только однажды,
И чело ее, и глаза сохранили неприкосновенность
Целомудренных тайн, о которых женщина должна молчать.
Счастливая попрежнему, она сообразует свою жизнь
С новыми обязанностями... Отрадно видеть ее,
Когда, освободившись от хозяйства, раз в неделю,
Вечером, часов в шесть, не наряжаясь, летом, она выходит погулять
И садится в тени от палящего солнца
На траву, с своим прекрасным ребенком.
Так текут ее дни с ранних лет,
Как безыменные волны под безоблачным небом,
Медленным, однообразным, но торжественным потоком,
Ибо они знают, что стремятся к вечному берегу.
И при виде того, как тихо течет эта скромная доля,
Кротко уступая влечению долга,
Эти чистые, прозрачные, спокойные, молчаливые дни,
Которые успокаивают от шума и на которых отдыхают глаза,
Невольно, увы, я вновь впадаю в грусть;
Я думаю о моих быстро ушедших долгих днях,
Бурных, бессчастных, потерянных для долга,
И, о боже, думаю о том, что скоро настанет вечер!>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

собственных имен: Zaïre, Aglaë, Eléonore. Заметим мимоходом, что законом о *гиатусе* одолжены французы латинскому *эллизиуму*. По свойству латинского стихосложения слово, кончающееся на гласную, теряет ее перед другою гласною.

Буало заменил сие правило законом об гиатусе:

> Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée
> Ne soit en son chemin par une autre heurtée[1].

Во-вторых: как можно вечно рифмовать для глаз, а не для слуха? Почему рифмы должны согласоваться в числе (единственном или множественном), когда произношение в том и в другом одинаково? Однако ж нововводители всего этого еще не коснулись; покушения же их едва ли счастливы.

В прошлом году Сент-Бев выдал еще том стихотворений, под заглавием: Les Consolations. В них Делорм является исправленным советами приятелей, людей степенных и нравственных. Уже он не отвергает отчаянно утешений религии, но только тихо сомневается; уже он не ходит к Розе, но признается иногда в порочных вожделениях. Слог его также перебесился. Словом сказать, и вкус и нравственность должны быть им довольны. Можно даже надеяться, что в третьем своем томе Делорм явится набожным, как Ламартин, и совершенно порядочным человеком.

К несчастию должны мы признаться, что, радуясь перемене человека, мы сожалеем о поэте. Бедный Делорм обладал свойством чрезвычайно важным, не достающим почти всем французским поэтам новейшего поколения, свойством, без которого нет истинной поэзии, т. е. *искренностию вдохновения*. Ныне французский поэт систематически ска-

---

[1] <Остерегайтесь, как бы в слишком поспешном беге
Гласная не столкнулась на своем пути с другою.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

зал себе: soyons religieux, soyons politiques, а иной даже: soyons extravagants[1] и холод предначертания, натяжка, принужденность отзываются во всяком его творении, где никогда не видим движения минутного, вольного чувства, словом: где нет истинного вдохновения. Сохрани нас боже быть поборниками безнравственности в поэзии (разумеем слово сие не в детском смысле, в коем употребляют его у нас некоторые журналисты)! Поэзия, которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели кроме самой себя, кольми паче не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный, воспалительный состав. Но описывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность, так, как анатомия не есть убийство: и мы не видим безнравственности в элегиях несчастного Делорма, в признаниях, раздирающих сердце, в стесненном описании его страстей и безверия, в его жалобах на судьбу, на самого себя...

Р.

[1] <Будем религиозны, будем заниматься политикой... будем экстравагантны.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ В АЛЬМАНАХЕ И ЖУРНАЛАХ 1831—1833 гг.

<ЗАМЕТКА О «ПОЛТАВЕ»>[1]

Habent sua fata libelli[2]. Полтава не имела успеха. Вероятно она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому же, это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся.

Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи—и вот каким образом.

Они во-первых объявили мне, что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика, и что следственно любовь Марии к старому Гетману (ЛВ исторически доказанная) не могла существовать.

«Ну что ж что ты Честон? Хоть знаю, да не верю». Я не мог довольствоваться этим объяснением: любовь есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте. Вспомните предания мифологические, превращения Ови-

---

[1] <Опубликовано в «Деннице», альманахе на 1831 г., с заголовком «Отрывок из рукописи Пушкина (Полтава)».>

[2] <Книги имеют свою судьбу.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дневы, Леду, Филлиру, Пазифаю, Пигмалиона— и признайтесь, что все эти вымыслы не чужды поэзии. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?.. А Мирра, внушившая италиянскому поэту одну из лучших его трагедий?..

Мария (или Матрена) увлечена была, говорили мне, тщеславием, а не любовию: велика честь для дочери генерального судии быть наложницею гетмана!—Далее говорили мне, что мой Мазепа *злой и глупой стариклшка*. Что изобразил я Мазепу злым, в том я каюсь: добрым я его не нахожу, особливо в ту минуту, когда он хлопочет о казни отца девушки им обольщенной. Глупость же человека сказывается или из его действий, или из его слов: Мазепа действует в моей поэме точь в точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер.—Заметили мне, что Мазепа слишком у меня злопамятен, что малороссийский гетман не студент и за пощечину или за дерганье усов мстить не захочет. Опять история, опровержденная литературной критикой,—опять *хоть знаю, да не верю!* Мазепа, воспитанный в Европе в то время, как понятия о дворянской чести были на высшей степени силы, Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае.

В этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный. Дернуть ляха или казака за усы всё равно было, что схватить россиянина за бороду. Хмельницкий за все обиды, претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, получил в возмездие, по приговору Речи Посполитой, остриженный ус своего неприятеля (см. Летопись Конискаго).

Старый гетман, предвидя неудачу, наедине с наперсником, бранит в моей поэме молодого Карла и называет его, помнится, мальчишкой и су-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

масбродом: критики важно укоряли *меня* в неосновательном мнении о шведском короле. У меня сказано где-то, что Мазепа ни к кому не был привязан: критики ссылались на *собственные слова* гетмана, уверяющего Марию, что он любит ее *больше славы, больше власти*. Как отвечать на таковые критики?

Слова *усы, визжать, вставай, Мазепа, ого, пора*,—показались критикам *низкими*, бурлацкими выражениями. Как быть!

В Вестнике Европы заметили, что заглавие поэмы ошибочно, и что вероятно не назвал я ее Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо,—но была тут и другая причина: эпиграф. Так и Бахчисарайский Фонтан в рукописи назван был *Харемом*, но меланхолический эпиграф (который конечно лучше всей поэмы) соблазнил меня.

Кстати о Полтаве критики упомянули однакож о Байроновом Мазепе; но как они понимали его! Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой истории Карла XII. Он поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и за то посмотрите, что он из нее сделал. Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое проявляется во всех почти произведениях Байрона, но которого (на беду одному из моих критиков) как нарочно в Мазепе именно и нет. Байрон и не думал о нем: он выставил ряд картин одна другой разительнее—вот и всё. Но какое пламенное создание! Какая широкая, быстрая кисть!

Если ж бы ему под перо попалась история обольщенной дочери и казненного отца, то, вероятно, никто бы не осмелился после него коснуться сего ужасного предмета.

<1830>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ТОРЖЕСТВО ДРУЖБЫ ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ АЛЕКСАНДР АНФИМОВИЧ ОРЛОВ[1].

In arenam cum aequalibus descendi·

Cic.[2]

Посреди полемики, раздирающей бедную нашу словесность, *Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин* более десяти лет подают утешительный пример согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных. Сей назидательный союз ознаменован почтенными памятниками. *Фаддей Венедиктович* скромно признал себя учеником *Николая Ивановича*; *Н. И.* поспешно провозгласил Фаддея Венедиктовича ловким своим товарищем. Ф. В. посвятил *Николаю Ивановичу* своего *Дмитрия Самозванца*; *Н. И.* посвятил *Фаддею Венедиктовичу* свою *Поездку в Германию*. *Ф. В.* написал для *Грамматики Николая Ивановича* хвалебное предисловие[3], *Н. И. в Северной Пчеле* (издаваемой *Гг. Гречем и Булгариным*) напечатал хвалебное объявление об *Иване Выжигине*. Единодушие истинно трогательное!—Ныне *Николай Иванович*, почитая *Фаддея Венедиктовича* оскорбленным в статье, напечатанной в № 9 *Телескопа*, заступился за своего товарища со свойственным ему прямодушием и горячностию. Он напечатал в *Сыне Отечества* (№ 27) статью, которая, конечно, заставит молчать дерзких противников *Фаддея Венедиктовича*; ибо *Николай Иванович* доказал неоспоримо:

---

[1] <Опубликовано с редакционной отметкой «Сообщено в «Телескопе», 1831 г., № 13.

[2] <Я вышел на арену вместе с равными мне. Цицерон.>

[3] Смотри *Грамматику Греча*, напечатанную в типографии *Греча*.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

1) Что М. И. Голенищев-Кутузов возведен в княжеское достоинство в июне 1812 г. (с. 65).

2) Что не сражение, а план сражения, составляет тайну главнокомандующего: (с. 65).

3) Что священник выходит навстречу подступающему неприятелю с крестом и святою водою: (с. 65).

4) Что секретарь выходит из дому в статском изношенном мундире, в треугольной шляпе, со шпагою, в белом изношенном исподнем платье: (с. 65).

5) Что пословица: vox populi—vox dei[1] есть пословица латинская, и что она есть истинная причина французской революции: (с. 65).

6) Что *Иван Выжигин* не есть произведение образцовое, но, *относительно*, явление приятное и полезное: (с. 62).

7) Что *Фаддей Венедиктозич* живет в своей деревне близ Дерпта, и просил его (*Николая Ивановича*) не посылать к нему вздоров: (с. 68).

И что следственно: *Ф. В. Булгарин своими талантами и трудами приносит честь своим согражданам:* что и доказать надлежало!

Против этого нечего и говорить: мы первые громко одобряем *Николая Ивановича* за его откровенное и победоносное возражение, приносящее столько же чести его логике, как и горячности чувствований.

Но дружба—(сие священное чувство)—слишком далеко увлекла пламенную душу *Николая Ивановича*, и с его пера сорвались нижеследующие строки:

— «*Там—(в № 9 Телескопа)—взяли две глупейшие вышедшие в Москве—(да, в Москве)—книжонки, сочиненные каким-то А. Орловым*».

---

[1] <Голос народа—голос божий.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

О, Николай Иванович, Николай Иванович! Какой пример подаете вы молодым литераторам? Какие выражения употребляете вы в статье, начинающейся сими строгими словами: «*у нас издавна, и по справедливости, жалуются на цинизм, невежество и недобросовестность рецензентов*»? Куда девалась ваша умеренность, знание приличия, ваша известная добросовестность? Перечтите, *Николай Иванович*, перечтите сии немногие строки и вы сами, с прискорбием, сознаетесь в своей необдуманности!

— «*Две глупейшие книжонки... какой-то А. Орлов!..*» Шлюсь на всю почтенную публику: какой критик, какой журналист решился бы употребить сии неприятные выражения, говоря о произведениях живого автора. Ибо, слава богу: почтенный мой друг *Александр Анфимович Орлов*—жив! Он жив, несмотря на зависть и злобу журналистов; он жив, к радости книгопродавцев, к утешению многочисленных его читателей!

— «*Две глупейшие книжонки!..*» Произведения *Александра Анфимовича*, разделяющего с *Фаддеем Венедиктовичем* любовь российской публики, названы: *глупейшими книжонками!*—Дерзость неслыханная, удивительная, оскорбительная не для моего друга—(ибо и он живет в своей деревне, близ Сокольников; и он просил меня не посылать к нему всякого вздору); но оскорбительная для всей читающей публики![1]

— «*Глупейшие книжонки!*» Но чем докажете вы сию глупость? Знаете ли вы, *Николай Иванович*, что более 5000 экземпляров сих *глупейших книжонок* разошлись и находятся в руках читающей публики, что *Выжигины г. Орлова* пользуются благосклонностию публики наравне с *Выжиги-*

---

[1] См. *Разбор Денницы* в С<ыне> О<течества.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ными г. Булгарина; а что образованный класс читателей, которые гнушаются теми и другими, не может, и не должен судить о книгах, которых не читает?

Скрепя сердце, продолжаю свой разбор.

— «*Две глупейшие* — (глупейшие!) — *вышедшие в Москве*—(*да, в Москве*)—*книжонки*»...

В Москве, да, в Москве!.. Что же тут предосудительного? К чему такая выходка противу первопрестольного града?.. Не в первый раз заметили мы сию странную ненависть к Москве в издателях *Сына Отечества и Северной Пчелы.* Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной, о Москве, пострадавшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от всякого сброду.

Москва до ныне центр нашего просвещения: в Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих: ubi bene, ibi patria[1], для коих всё равно: бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить всё русское—были б только сыты.

Чем возгордилась петербургская литература?.. *Г. Булгариным*?.. Согласен, что сей великий писатель, равно почтенный и дарованиями и характером, заслужил бессмертную себе славу; но произведения *г. Орлова* ставят московского романиста если не выше, то, по крайней мере, наровне с петербургским его соперником. Несмотря на несогласие, царствующее между *Фаддеем Венедиктовичем и Александром Анфимовичем*, несмотря на справедливое негодование, возбужденное во мне неосторожными строками *Сына Отечества*, постараемся сравнить между собою сии два блистательные солнца нашей словесности.

---

[1] <Где хорошо, там и родина.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Фаддей Венед. превышает *Александра Анфимовича* пленительною щеголеватостию выражений; *Александр Анф.* берет преимущественно над *Фад. Венедиктовичем* живостию и остротою рассказа.

Романы *Фаддея Венед.* более обдуманы, доказывают большее терпение в авторе[1] (и требуют еще большего терпения в читателе); повести *Александра Анф.* более кратки, но более замысловаты и заманчивы.

Фаддей Венед. более философ; *Александр Анф.* более поэт.

Фад. Венедиктович гений; ибо изобрел имя *Выжигина*, и сим смелым нововведением оживил пошлые подражания *Совестдраму* и *Английскому Милорду; Александр Анф.* искусно воспользовался изобретением *г. Булгарина* и извлек из оного бесконечно разнообразные эффекты!

Фаддей Венед., кажется нам, немного однообразен; ибо все его произведения не что иное, как *Выжигин* в различных изменениях: *Иван Выжигин*, *Петр Выжигин*, *Дмитрий Самозванец или Выжигин XVII столетия*, *собственные записки и нравственные статейки*—всё сбивается на тот же самый предмет. *Александр Анф.* удивительно разнообразен! Сверх несметного числа *Выжигиных*, сколько цветов рассыпал он на поле словесности! *Встреча Чумы с Холерою; Сокол был бы Сокол, да Курица его съела, или Бежавшая Жена; Живые Обмороки*, *Погребение Купца*, и проч. и проч.

Однако же беспристрастие требует, чтоб мы указали сторону, с коей *Фаддей Венед.* берет неоспоримое преимущество над своим счастливым соперником: разумею нравственную цель его сочинений. В самом деле, любезные слушатели,

---

[1] «Гений есть *терпение* в высшей степени», сказал известный Бюффон.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

что может быть нравственнее сочинений г. *Булгарина*? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под. *Г. Булгарин* наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него—*Ножевым*, взяточник *Взяткиным*, дурак *Глаздуриным*, и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова—*Хлопоухиным*, Димитрия Самозванца—*Каторжниковым*, а Марину Мнишек *княжною Шлюхиной*; зато и лица сии представлены несколько бледно.

В сем отношении, *г. Орлов* решительно уступает *г. Булгарину*. Впрочем, самые пламенные почитатели *Фаддея Венед.* признают в нем некоторую скуку, искупленную назидательностию; а самые ревностные поклонники *Александра Анф.* осуждают в нем иногда необдуманность, извиняемую, однакож, порывами гения.

Со всем тем *Александр Анф.* пользуется гораздо меньшею славою, нежели *Фаддей Венед.* Что же причиною сему видимому неравенству?

Оборотливость, любезные читатели, оборотливость *Фаддея Венедиктовича*, *ловкого товарища Николая Ивановича. Иван Выжигин* существовал еще только в воображении почтенного автора, а уже *в Северном Архиве*, *Северной Пчеле и Сыне Отечества* отзывались об нем с величайшею похвалою. Г. Ансело в своем путешествии, возбудившем в Париже общее внимание, провозгласил сего, еще несуществовавшего, *Ивана Выжигина*, лучшим из русских романов. Наконец *Иван Выжигин* явился; и *Сын Отечества*, *Северный Архив и Северная Пчела* превознесли его до небес. Все кинулись его читать; многие прочли до конца; а между тем похвалы ему не умолкали в каждом номере *Сев. Архива*, *Сына Отеч. и Сев. Пчелы.* Сии усердные журналы ласково приглашали покупа-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

телей; ободряли, подстрекали ленивых читателей; угрожали местью недоброжелателям, недочитавшим *Ивана Выжигина*, из единой низкой зависти.

Между тем какие вспомогательные средства употреблял *Александр Анфимович Орлов?*

Никаких, любезные читатели!

Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского язвка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках.

Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых.

Он не заманивал унизительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей.

Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии.

Он не отвечал ни на одну критику; он не называл своих противников дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и тому под.

Но—обезоружил ли тем он многочисленных врагов? Ни мало. Вот как отзывались о нем его собратия.

«Автор вышеисчисленных творений сильно штурмует нашу бедную русскую литературу и хочет разрушить русский Парнас не бомбами, но каркасами, при помощи услужливых издателей, которые щедро платят за каждый манускрипт знаменитого сего творца, по двадцати рублей ходячею монетою, как уверяли нас знающие дело книгопродавцы. Автор есть муж—*из ученых*, как видно по латинским фразам, которыми испещрены его творения, а сущность их доказывает, что он, как сказано в *Недоросле*: «убоясь бездны премудрости, вспять обратился».—Знаменитое лубочное произведение: *мыши кота хоронят или небылицы в лицах*, есть Илиада в сравнении с творениями г. Ор-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лова, а *Бова Королевич*—герой, до которого не возвысился еще почтенный автор... Державин есть у нас *Альфа*, а г. Орлов *Омега* в литературе, то есть, последнее звено в цепи литературных существ, и потому *заслуживает внимание, как всё необыкновенное*[1]... Язык его, изложение и завязка могут сравниться только с отвратительными картинами, которыми наполнены сии чада безвкусия, и с смелостью автора. Никогда в Петербурге подобные творения не увидели бы света, и ни один из петербургских уличных разносчиков (не говорим о книгопродавцах) не взялся бы их издавать. По какому праву г. Орлов вздумал наречь своих холопей: Хлыновских степняков, Игната и Сидора детьми Ивана Выжигина, и еще в то самое время, когда автор Выжигина издает другой роман под тем же названием?.. Никогда такие омерзительные картины не появлялись на русском языке. Да здравствует московское книгопечатание!» (*Сев. Пч.* 1831. № 46).

Какая злонамеренная и несправедливая критика! Мы заметили уже неприличие нападений на Москву; но в чем упрекают здесь почтенного *Александра Анфимовича?..* В том, что за каждое его сочинение книгопродавцы платят ему по 20 рублей? Что же! Бескорыстному сердцу моего друга приятно думать, что, получив 20 рублей, доставил он другому 2000 выгоды[2]; между тем, как некоторый петербургский литератор, взяв за свою рукопись 30 000, заставил охать погорячившегося книгопродавца!!!

Ставят ему в грех, что он знает латинский язык. Конечно: доказано, что *Фаддей Венедиктович* (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает

---

[1] Важное сознание! прошу прислушать!

[2] Историческая истина!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

по латыне; но ужели сему незнанию обязан он своею бессмертною славою?

Уверяют, что г. *Орлов из ученых*. Конечно: доказано, что г. *Булгарин* вовсе не учен, но опять повторяю: разве невежество есть достоинство столь завидное?

Этого недовольно: грозно требуют ответа от моего друга: как дерзнул он присвоить своим лицам имя, освященное самим *Фаддеем Венедиктовичем*?—Но разве *А. С. Пушкин* не дерзнул вывести в своем *Борисе Годунове* все лица романа *г. Булгарина*, и даже воспользоваться многими местами сего романа в своей трагедии (писанной, говорят, пять лет прежде и известной публике еще в рукописи)?

Смело ссылаюсь на совесть самих издателей *Сев. Пчелы*: справедливы ли сии критики? виноват ли *Александр Анфимович Орлов?*

Но еще смелее ссылаюсь на почтенного *Николая Ивановича*: не чувствует ли он глубокого раскаяния, оскорбив напрасно человека с столь отличным дарованием, *не состоящего с ним ни в каких сношениях, вовсе его не знающего и не писавшего о нем ничего дурного?*[1]

Феофилакт Косичкин.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИЗИНЦЕ Г. БУЛГАРИНА И О ПРОЧЕМ[2]

Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно, как *Про-*

---

[1] <«Сын отечества», № 27, стр. 60.>

[2] <Опубликовано с ред. отметкой «Сообщено» в «Телескопе» 1831 г., № 15.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лаз с Высоносом, говоря в похвальбу себе и в утешение:

Ведь кажется у нас по полной оплеухе.

Нет: рассердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного. Для поддержания же себя в сем суровом расположении духа, перечитываю я тщательно мною переписанные в особую тетрадь статьи, подавшие мне повод к таковому ожесточению. Таким образом, пересматривая на днях антикритику, подавшую мне случай заступиться за почтенного друга моего *А. А. Орлова*, напал я на следующее место:

— «*Я решился на сие*»—(на оправдание г. Булгарина) — «*не для того, чтоб оправдать и защищать Булгарина, который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов*» (см. № 27 *Сына Отечества*, издаваемого г.г. *Гречем и Булгариным*).

Изумился я, каким образом мог я пропустить без внимания сии красноречивые, но необдуманные строки! Я стал по пальцам пересчитывать всевозможных рецензентов, у коих менее ума в голове, нежели у г. *Булгарина в мизинце*, и теперь догадываюсь, кому *Николай Иванович* думал погрозить мизинчиком *Фаддея Венедиктовича*.

В самом деле, к кому может отнестись это затейливое выражение? Кто наши записные рецензенты? Вы, г. издатель *Телескопа?* Вероятно, мстительный *мизинчик* указует и на вас: предоставляю вам самим вступиться за свою голову[1]. Но кто же другие?

---

[1] До мизинцев ли мне? *Изд.*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Г. Полевой? Но несмотря на прежние разборы, на письма Бригадирши, на насмешки славного Грипусье, на недавнее прозвище Верхогляда и проч. и проч., *всей Европе известно*, что *Телеграф* состоит в добром согласии с *Северной Пчелой и Сыном Отечества: мизинчик* касается не его.

Г. Воейков? Но сей замечательный литератор рецензиями мало занимается, а известен более изданием Хамелеонистики, остроумного сбора статей, в коих выводятся, так сказать, на чистую воду некоторые, так сказать, литературные плутни. Ловкие издатели *Северной Пчелы* уж верно не станут, как говорится, класть ему пальца в рот, хотя бы сей палец был и знаменитый, вышеуказанный *мизинчик*.

Г. Сомов? Но кажется Литературная Газета, совершив свой единственный подвиг—совершенное уничтожение (литературной) славы г. *Булгарина*,— почиет на своих лаврах, и г. *Греч*, вероятно, не станет тревожить сего счастливого усыпления, щекотя Газету проказливым *мизинчиком*.

Кого же оцарапал сей мизинец? Кто сии рецензенты, у коих—и так далее? Просвещенный читатель уже догадался, что дело идет обо мне, *о Феофилакте Косичкине*.

Всему свету известно, что никто постояннее моего не следовал за исполинским ходом нашего века. Сколько глубоких и блистательных творений по части политики, точных наук и чистой литературы вышло у нас из печати в течение последнего десятилетия—(шагнувшего так далеко вперед)—и обратило на себя справедливое внимание завидующей нам Европы! Ни одного из таковых явлений не пропустил я из виду; обо всяком, как известно, написал я по одной статье, отличающейся ученостию, глубокомыслием и остроумием. Если долг беспристрастия требовал, чтоб

Пушкинский кабинет ИРЛИ

я указывал иногда на недостатки разбираемого мною сочинения, то может ли кто-нибудь из г. русских авторов жаловаться на заносчивость или невежество *Феофилакта Косичкина?* Может быть, по примеру *г. Полевого* я слишком лестно отзываюсь о самом себе; я мог бы говорить в третьем лице и попросить моего друга подписать имя свое под сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковыми уловками и гг. русские журналисты, вероятно, не укорят меня в шарлатанстве.

И что ж! *Г. Греч* в журнале, с жадностию читаемом во всей просвещенной Европе, дает понимать, будто бы в мизинце его товарища более ума и таланта, чем в голове моей! Отзыв слишком для меня оскорбительный! Полагаю себя в праве объявить *во услышание всей Европы*, что я ничьих мизинцев не убоюсь; ибо, не входя в рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои—(каждый особо и все пять в совокупности)—готовы воздать сторицею, кому бы то ни было. Dixi![1]

Взявшись за перо, я не имел однакож целию объявить о сем почтеннейшей публике; подобно нашим писателям-аристократам (разумею слово сие в его ироническом смысле)—я никогда не отвечал на журнальные критики: дружба, оскорбленная дружба призывает опять меня на помощь угнетенного дарования.

Признаюсь: после статьи, в которой так торжественно оправдал и защитил я *А. А. Орлова*—(статьи, принятой московскою и петербургскою публикою с отличной благосклонностию)—не ожидал я, чтоб *Северная Пчела* возобновила свои нападения на благородного друга моего и на первопрестольную столицу. Правда, сии нападения уже гораздо слабее прежних, но я не умолкну, доколе

[1] <Я сказал.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

не принужу к совершенному безмолвию ожесточенных гонителей моего друга и непочтительного *Сына Отечества*, издевающегося над нашей древнею Москвою.

Северная Пчела (№ 101), объявляя о выходе нового Выжигина, говорит: «Заглавие сего романа заставило нас подумать, что это одно из многочисленных подражаний произведениям нашего *блаженного г. А. Орлова*, знаменитого автора——— Притом же всякое произведение московской литературы, носящее на себе печать изделия книгопродавцев *пятнадцатого класса*———приводит нас в *невольный* трепет».—«*Блаженный г. Орлов*»... Что значит *блаженный Орлов*? О! конечно: если блаженство состоит в спокойствии духа, не возмущаемого ни завистью, ни корыстолюбием; в чистой совести, не запятнанной ни плутнями, ни лживыми доносами; в честном и благородном труде, в смиренном развитии дарования, данного от бога: то добрый и небогатый *Орлов* блажен и не станет завидовать ни богатству плута, ни чинам негодяя, ни известности шарлатана!!! Если же слово *блаженный* употреблено в смысле, коего здесь изъяснять не стану, то удивляюсь охоте некоторых людей, старающихся представить смешными вещи, вовсе не смешные, и которые даже не могут извинять неприличия мысли остроумием или веселостию оборота.

Насмешки над книгопродавцами пятнадцатого класса обличают аристократию чиновных издателей, некогда осмеянную так называемыми аристократическими нашими писателями. Повторим истину, столь же неоспоримую, как и нравственные размышления г. *Булгарина*: «чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному мараке. Фильдинг и Лабрюер не были ни статскими советниками, ни даже коллежскими ас-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сесорами. Разночинцы, вышедшие в дворянство, могут быть почтенными писателями, если только они люди с дарованием, образованностию и добросовестностию, а не фигляры и не наглецы».

Надеюсь, что сей умеренный мой отзыв будет последним и что почтенные издатели *Северной Пчелы*, *Сына Отечества* и *Северного Архива* не вызовут меня снова на поприще, на котором являюсь редко, но не без успеха, как изволите видеть. Я человек миролюбивый, но всегда готов заступиться за моего друга; я не похожу на того китайского журналиста, который, потакая своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо всякому: «этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми порядочными людьми, марает меня своим товариществом; но что делать? он человек деловой и расторопный!»

Между тем полагаю себя в праве объявить о существовании романа, коего заглавие прилагаю здесь. Он поступит в печать или останется в рукописи, *смотря по обстоятельствам*.

Настоящий
Выжигин

Историко-нравственно-сатирический
роман XIX века.

Содержание.

Глава I. Рождение Выжигина в кудлашкиной кануре. Воспитание ради Христа. Глава II. Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон. Глава III. Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Глава IV. Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. Глава V. Ubi bene, ibi patria. Глава VI. Московский пожар. Выжигин грабит Москву. Глава VII. Выжигин перебегает. Глава VIII. Выжигин без куска хлеба. Выжигин

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ябедник. Выжигин торгаш. Глава IX. Выжигин игрок. Выжигин и отставной квартальный. Глава X. Встреча Выжигина с Высухиным. Глава XI. Веселая компания. Курьезный куплет и письмо-аноним к знатной особе. Глава XII. Танта. Выжигин попадается в дураки. Глава XIII. Свадьба Выжигина. Бедный племянничек! Ай, да дядюшка! Глава XIV. Господин и госпожа Выжигины покупают на трудовые денежки деревню и с благодарностию объявляют о том почтенной публике. Глава XV. Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы. Глава XVI. Видок или маску долой! Глава XVII. Выжигин раскаивается и делается порядочным человеком. Глава XVIII и последняя. Мышь в сыре.

Ф. Косичкин.

<ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «ЛИТЕРАТ. ПРИБАВЛ. К РУССКОМУ ИНВАЛИДУ»>[1]

Сей час прочел *Вечера близ Диканьки*. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней Литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда Издатель вошел в типографию, где печатались *Вечера*, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику

[1] <«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831, № 79.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с истинно веселою книгою, а Автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если Журналисты, по своему обыкновению, нападут на *неприличие* его выражений, *на дурной тон* и проч. Пора, пора нам осмеять Les précieuses ridicules нашей словесности, людей толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера Профессора Тредьяковского.

<1831>

<О СОЧИНЕНИЯХ П. А. КАТЕНИНА>[1]

На днях вышли в свет Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина.

Издатель (г. Бахтин) в начале предисловия, весьма замечательного, упомянул о том, что П. А. Катенин, почти при вступлении на поприще словесности, был встречен самыми несправедливыми и самыми неумеренными критиками.

Нам кажется, что г. Катенин (так, как и все наши писатели вообще) скорее мог бы жаловаться на безмолвие критики, чем на ее строгость, или пристрастную привязчивость. Критики, по настоящему, еще у нас не существует: несправедливо было бы нам и требовать оной. У нас и литература едва ли существует; а на нет суда нет, говорит неоспоримая пословица. Если публика может довольствоваться тем, что называют у нас критикою, то это доказывает только, что мы еще не имеем нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах.

Что же касается до несправедливой холодности, оказываемой публикой сочинениям г. Катенина,

---

[1] <«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1833, № 26.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

то во всех отношениях она делает ему честь: во-первых, она доказывает отвращение поэта от мелочных способов добывать успехи, а во-вторых, и его самостоятельность. Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике, напротив: шел всегда своим путем, творя для самого себя, что и как ему было угодно. Он даже до того простер сию гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как скоро становилась она модною, и удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастие толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающего за собою других. Таким образом, быв один из первых апостолов романтизма и первый введши в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные, он первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования.

Первым замечательным произведением г-на Катенина был перевод славной Биргеровой Леноры. Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского, который сделал из нее то же, что Байрон в своем Манфреде сделал из *Фауста:* ослабил дух и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам Ленору в энергической красоте ее первобытного создания; он написал *Ольгу*. Но сия простота и даже грубость выражения, сия *сволочь*, заменившая *воздушную цепь теней*, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым. После *Ольги* явился *Убийца*, лучшая, может быть, из баллад Катенина. Впечатление, им произведенное, было и того хуже: убийца, в припадке сума-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сшествия, бранил месяц, свидетеля его злодеяния, *плешивым!* Читатели, воспитанные на Флориане и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики.

Таковы были первые неудачи Катенина; они имели влияние и на следующие его произведения. На театре имел он решительные успехи. От времени до времени в журналах и альманахах появлялись его стихотворения, коим, наконец, начали отдавать справедливость, и то скупо и неохотно. Между ими отличаются *Мстислав Мстиславич*, стихотворение исполненное огня и движения, и *Старая Быль*, где столько простодушия и истинной поэзии.

В книге, ныне изданной, просвещенные читатели заметят *идиллию*, где с такой прелестною верностию постигнута буколическая природа, не Геснеровская, чопорная и манерная, но древняя, простая, широкая, свободная; меланхолическую *элегию*, мастерской перевод трех песен из Inferno[1] и собрание *романсов о Сиде*, сию простонародную хронику, столь любопытную и поэтическую.—Знатоки отдадут справедливость ученой отделке и звучности гекзаметра и вообще механизму стиха г-на Катетина, слишком пренебрегаемому лучшими нашими стихотворцами.

А. Пушкин.

14 марта 1833.

[1] <«Ад» Данте.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ В «СОВРЕМЕННИКЕ» 1836 г.

I. Статьи

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕОРГИЯ КОНИСКОГО, АРХИЕПИСКОПА БЕЛОРУССКОГО,
изд. протоиереем Иоанном Григоровичем. СПб. 1835.

Георгий Кониский известен у нас краткой речью, которую произнес он в Мстиславле императрице Екатерине во время ее путешествия в 1787 году: «Оставим астрономам...» и проч. Речь сия, прославленная во всех наших реториках, ничто иное, как остроумное приветствие, и заключает в себе игру выражений, может быть, слишком затейливую: по нашему мнению, приветствие, коим высокопреосвященный Филарет встретил государя императора, приехавшего в Москву в конце 1830 года, в своей умилительной простоте заключает гораздо более истинного красноречия. Впрочем различие обстоятельств изъясняет и различие чувств, выражаемых обоими ораторами. Императрица путешествовала, окруженная всею пышностию двора своего, встречаемая всюду торжествами и празднествами; государь посетил Москву, опустошаемую заразой, пораженную скорбью и ужасом.

Но Георгий есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадле-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жит истории. Он вступил в управление своею епархией, когда Белоруссия находилась еще под игом Польши. Православие было гонимо католическим фанатизмом. Церкви наши стояли пусты или отданы были унятам. Миссионеры насильно гнали народ в униятские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отымали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей церкви, ругались над могилами православных. Георгий искал защиты у русского правительства; он доносил обо всем св. синоду и жаловался нашему посланнику, находившемуся в Варшаве. Ревность его пуще озлобила гонителей. Доминиканец Овлачинский, прославившийся ненавистью к нашей церкви, замыслил принести Георгия в жертву своему изуверству. В 1759 году Георгий, презирая опасности, ему угрожающие, поехал обозревать сетующую свою епархию. Овлачинский и миссионеры возмутили в Орше шляхту и жолнеров. Они разогнали народ, вышедший с хоругвями навстречу своему архипастырю, остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где Георгий священнодействовал. Преосвященный едва успел спастись от их сабель в стенах Кутеинского монастыря, откуда тайно вывезли его в телеге, прикрыв навозом. Другой изувер, свирепый Зеновичь, предводительствуя езуитскими воспитанниками, ночью в Могилеве напал на архиерейский дом. Буйные молодые люди вломились в ворота, перебили окна, ранили несколько монахов, семинаристов и слуг; но к счастию не нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома.

Дерзость гонителей час от часу усиливалась. Польское правительство им потворствовало. Миссионеры своевольничали, поносили православную церковь, лестью и угрозами преклоняли к унии не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

только простой народ, но и священников. Георгий снова жаловался России. Императрица Елисавета Петровна, перед самой своей кончиною, и государь Петр III, при своем восшествии на престол, требовали от польского двора, чтоб гонения над нашими единоверцами были прекращены; но избавление православия предоставлено было Екатерине II.

Георгий предстал перед нею в 1762 году в Москве, когда она короновалась, и вслед за русским духовенством принес ей вместе с поздравлениями тихие сетования народа, издревле нам родного, но отчужденного от России жребиями войны. Екатерина с глубоким вниманием выслушала печальную речь представителя будущих ее подданных, и когда, несколько времени спустя, св. синод думал вызвать Георгия и поручить в его управление Псковскую епархию, императрица на то не согласилась и сказала: «Георгий нужен в Польше».

В 1765 Георгий явился в Варшаве и пред троном Станислава с жаром заступился за тех, которые именовались еще подданными Польши. Король поражен был его словами. Он обещал свое покровительство диссидентам, и в следующем году действительно повелел «униятским архиереям, из среды своей избрав одного епископа, прислать в Варшаву, для изыскания и постановления надлежащих мер ко взаимному успокоению враждующих». Но гордые польские магнаты, презрев посредничество России и Пруссии, отвергли справедливые требования диссидентов. Вследствие сего Екатерина повелела своим войскам двинуться к Варшаве. Там, за оградою русских штыков, созван был сейм, учреждена согласительная комиссия и диссидентам возвращены их прежние права.

Георгий, один из первых членов Слуцкой конфедерации, определен был в члены сей комиссии. Он опять отправился в Варшаву и деятельно за-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нялся объяснением древних грамот, на коих основаны были права диссидентов. Он умел приобрести уважение своих противников и даже их доверенность. «Мы за вами еще живем, сказал однажды ему униятский епископ Шептицкий, а когда католики вас догрызут, то примутся и за нас». Униаты втайне готовы были отложиться от папы и снова соединиться с греко-российскою церковью. Между тем Барская конфедерация, поддерживаемая политикою Шуазеля, воспламенила новую войну. Следствием оной был первый раздел Польши. Семь областей, древнее достояние нашего отечества, были ему возвращены—и в 1773 году Георгий явился пред Екатериною, уже как подданный, радостно приветствуя избавительницу и законную владычицу Белоруссии.

С тех пор Георгий мог спокойно посвятить себя на управление своею епархиею. Просвещение духовенства, ему подвластного, было главною его заботою. Он учреждал училища, беспрестанно поучал свою паству, а часы досуга посвящал ученым занятиям. Он умер в 1795 году, будучи 77 лет от роду.

Ныне протоиерей И. Григорович издал собрание сочинений Георгия Кониского, присовокупив к книге своей любопытное и прекрасно изложенное жизнеописание Георгия Кониского.

Проповеди Георгия просты и даже несколько грубы, как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна. Политические речи его имеют большое достоинство. Лучшая из них произнесена им Екатерине, по совершении ее коронования. Помещаем здесь несколько из его отдельных мыслей:

«Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья».

★

Когда грешник, не хотящий покаяться в беззакониях своих, молится богородице и вопиет ей: *радуйся*! то при-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ветствие сие столько же оскорбляет ее, как и то иудейское *радуйся*, когда распинатели Христовы, ударяя в ланиту божественного сына ее, приглашали: *радуйся, Царю Иудейский*![1] Ибо нераскаянный грешник есть новый распинатель Христов[2]. Да ищем убо заступления и покрова ее, но оставим наперед грехи свои: ибо с грехами и из-под ризы своея изринет нас.

★

Душа бессмертная, от бренного тела, как птица из растерзанной сети, весело взлетевши, воспаряет в рай богонасажденный, где вечно цветет древо жизни, где жилище самому Христу и избранным его.

★

Телеса наши, в гробах согнившие и в прах рассыпавшиеся, возникнут от земли, как трава весною, и по соединении с душами восстанут, и укажутся всему небу, пред очами ангелов и человеков, пред очами предков наших и потомков, одни яко пшеница, другие же яко плевелы, ожидая серпов ангельских, и того места, которое назначено, особо для пшеницы, и особо для плевел.

★

Вниди в клеть твою и помолися[3]. Такая уединенная молитва и в сборе может иметь место, если молящийся уединился от всех забот и попечений и пребывает безмолвен среди молвы, его окружающей; если он, отрясши от чувств своих все страсти и вожделения, един с единым богом беседует. Авраам, ведя сына своего Исаака на заклание, говорит сопровождающим: *седите зде со ослятем, аз же и детищ пойдем до онъде, и поклонившеся, возможет вратится к вам*[4]. Так истинно молящийся страстям своим, аки рабам, повелевает оставить его и ожидать, пока он молитву свою богу, аки Исаака в жертву принесет. О, сколь отличны от сего молитвы наши! Мы и в уединении целое торжище вкруг себя собираем. Молясь, и покупаем, и продаем, и хозяйством управляем, и о лихоимстве заботимся, и друзьям ласкательствуем, и на врагов вооружаемся, и о сластях помышляем, и о сундуках своих трепещем. Подлинно, се ли молитва, и не паче ли торжище, молвы преисполненное? Где тут ум, разумеющий глаголы свои?

---

[1] Матф. 27, 28.
[2] Евр. 6, 6.
[3] Матф. 6, 6.
[4] Быт. 22, 5.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Где сердце, долженствующее прилепиться к богу? Одни уста трубят и язык, как кимвал звящает; а мысли, как птицы в воздухе, по всем странам носятся, а в сердце хладно, как бездушный труп, зарытый вместе с сокровищем нашим.

★

Иосиф, проданный братьями своими во Египет, соделавшись правителем царства, дал им в удел самую богатую землю, Гесем именуемую[1]. Сын божий, по безмерной благости своей, соединившийся с нашею природою, и таким образом соделавшийся братом нашим, дает нам не часть некую области небесной, но всё царство свое нераздельно. Небо отверсто для нас; престолы уготованы; объятия божественного брата нашего ждут нас. Пойдем, полетим к нему: но прежде должны мы сбросить с себя всю тяготу мирскую, влекущую нас к земле.

Неверующему чудесам мы смело можем сказать с блаженным Августином:„ Большее из всех чудес чудо есть то, что дванадесять человек, бесписьменных, безоружных, нищих, проповедывавших крест, победили не только владык и сильных земли, но и самих богов языческих и целый свет Христу покорили». Ты возразишь мне на сие, что сии победили мира сами были умерщвлены, и ни один почти из них не кончил жизни без мучений, без креста, меча и огня. Но вот мой краткий ответ: на то и посланы были сии победители своим воеводою: *Се аз посылаю вас, яко овцы посреде волков: предадят вы на сонмы, и на соборищах избивают вас*[2]. Особое убо чудо миру и печать истины евангельской есть страдальческая смерть посланников-победителей. Но посмотри, что с сими убиенными последовало? Цари персть их почитают и, отложив порфиру и венец, благоговейно преклоняют колена перед гробами их.

★

Нигде не читаем, чтобы язычники страдали так за своих идолов, как мученики христианские за веру Христову. Да и в нынешних богоборных сонмищах атеистов и натуралистов, в главных гнездах их, во Франции и Англии, нашелся ли хотя один такой ревнитель, который бы за безбожие свое или натурализм произвольно на муки дерзнул? У нас в России, за несколько пред сим лет, известный болярин, уличенный в безбожии, одним показанием кнута отрекся того.

---

[1] Быт. 47, 6 п.
[2] Матф. 10, 16, 17

Пушкинский кабинет ИРЛИ

★

Говорят многие: почему молитвы наши ни чудес не творят, ни лучшей перемены в нас не производят. Ах, стыдно и воспоминать молитвы наши! Об них можно то же сказать, что сказал кормчий одному бывшему на корабле беззаконнику. Когда, во время сильной и опасной бури, все плаватели обратились к молитве, и вместе с ними и оный беззаконник нечто промолвил; то кормчий остановил его сими словами: «ты, пожалуй молчи; не знает бог, что и ты с нами, и потому еще между отчаянием и надеждою находимся; а как услышит твою святую молитву, так мы и погибли». Достойна ли молитва имени своего, когда она в одних устах обращается, а ум не помнит и не знает того, что болтает язык. Читаем: *глаголы моя внуши, господи, разумей звание мое*[1], а сами ни глаголов не внушаем, ни звания нашего не разумеем. Такая молитва переменит ли нас, окаянных и грешных, в добрых и богоугодных? Грешными в церковь приходим, грешнейшими выходим.

★

Радость плотская ограничивается наслаждением; по мере, как затихает веселый гудок, затихает и веселость. Но радость духовная есть радость вечная; она не умаляется в бедах, не кончается при смерти, но переходит и по ту сторону гроба.

★

Важны ли добрые дела наши в деле спасения? Я объясню тебе вопрос сей подобием. Возьми небольшой кусок меди и понеси его на торжище; там за него ты ничего не купишь; всякой с насмешкою скажет тебе известную пословицу: «приложи копейку, то купишь калач». Но ежели тот самый металл будет иметь изображение государя твоего или другой знак его монеты, то купишь за него что тебе надобно. Так точно и дела наши. Ежели ты не имеешь веры и упования на Христа спасителя, не сомневайся признать, что они суетны. Но те самые дела совокупи с верою и упованием на него, тогда они будут важны; и если потребно тебе откупиться от грехов, или купить небесные вечные утехи, купишь ими несомненно.

★

Мы познаем разумом души; а телесные очи суть как бы очки, чрез кои душевные очи смотрят.

---

[1] Псал. 5, 2.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

★

Чужий грех на мне не лежит. Но если чужий грех содевается моим советом, согласием или неосторожным примером; тогда он не только лежит на мне, но как жернов тяготит душу мою. Горе человеку тому, говорит сам спаситель, им же соблазн приходит[1]. Действительно, грех соблазна прежде меня, прежде моей смерти, предшествует на суд божий, и уже по кончине моей следует туда же за мною. Скажу то же иными словами. Все соблазненные примером моим, и прежде меня позванные на суд божий, уже понесли туда грехи мои. Убо уже готовы для меня муки. Но тут еще не все. Я умер и перестал грешить: но все соблазненные мною, и при том все, от соблазненных мною вновь соблазняемые, оставаясь еще в сей жизни, посылают, в след за мною, бесчисленные беззакония, от единого примера моего, яко от единого блата, истекающие. Убо готовы для меня новые, сугубые мучения! Вот как ужасен грех соблазна, ужаснее многоглавой Лейнерской гидры!

Коницкий написал также несколько стихотворений Русских, Польских и Латинских. В художественном отношении они имеют мало достоинства, хотя в них и виден дух мыслящий. Следующая элегия показалась нам достопримечательна:

Серпа ожидают созрелые класы;
А нам вестники смерти—седые власы.
О! смертный, беспечный, посмотри в зерцало:
Ты сед, как пятьдесят лет тебе миновало.
Как же ты собрался в смертную дорогу?
С чем ты предстанешь правосудному богу?
Путь смертный безвестен, и полон разбоя:
Искусного, храброго требует конвоя,
Кто же тебя поведет и за тебя сразится?
Друг, проводив тебя к гробу, в дом возвратится.
Изнеможешь, пеший, таща грехов ношу!
Ах! тут-то нужно иметь подмогу хорошу,
Подмогу, какая дана Сикеоту:
Но—та дана слезам, кровавому поту.
А ты много ли плакал за грехи? Считайся.
Не весь ли век твой есть пень грехов? Признайся.
Ах! вижу, ты нагим, как родила мать:
Ни лоскута на душе твоей не сыскать!
Поверь же, не внидешь в небесны чертоги:

[1] Матф. 18, 7.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В ад тебя низринут, связав руки, ноги.
Без масла дел благих гаснет свеча веры;
Затворятся брачные буим девам двери;
Может быть, при смерти, «помяни мя» скажешь.
И тем уста свои навсегда завяжешь.
И так, доколе древа топор не коснется,
Плод добрых дел тебе принесть остается.

Но главное произведение Кониского остается до сих пор неизданным: *История Малороссии* известна только в рукописи. Георгий написал ее с целию государственною. Когда императрица Екатерина учредила Комиссию о составлении нового уложения, тогда депутат малороссийского шляхетства, Андрей Григорьевич Полетика, обратился к Георгию, как к человеку, сведущему в старинных правах и постановлениях сего края. Кониский, справедливо полагая, что одна только история народа может объяснить истинные требования оного, принялся за свой важный труд и совершил его с удивительным успехом. Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории. Не говорю здесь о некоторых этнографических и этимологических объяснениях, помещенных им в начале его книги, которые перенес он в историю из хроники, не видя в них никакой существенной важности и не находя нужным противоречить общепринятым в то время понятиям. Под словом *критики* я разумею глубокое изучение достоверных событий и ясное, остроумное изложение их истинных причин и последствий.

Смелый и добросовестный в своих показаниях, Кониский не чужд некоторого невольного пристрастия. Ненависть к изуверству католическому и угнетениям, коим он сам так деятельно противился, отзывается в красноречивых его повествованиях. Любовь к родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости. Должно заметить, что чем ближе подходит он к настоящему

Пушкинский кабинет ИРЛИ

времени, тем искреннее, небрежнее и сильнее становится его рассказ. Он любит говорить о подробностях войны и описывает битвы с удивительною точностию. Видно, что сердце дворянина еще бьется в нем под иноческою рясою (Кониский происходил от старинного шляхетского роду и этим вовсе не пренебрегал, как видно даже из эпитафии, вырезанной над его гробом и сочиненной им самим). Множество мест в Истории Малороссии суть картины, начертанные кистию великого живописца. Дабы дать о нем некоторое понятие тем, которые еще не читали его, помещаем здесь два отрывка из его рукописи.

Введение унии.

«По истреблении гетмана Наливайки таким неслыханным варварством, вышел от сейму или от вельмож, им управлявших, таков же варварский приговор и на весь народ русской. В нем объявлен он отступным, вероломным и бунтливым и осужден в рабство, преследование и всемерное гонение. Следствием сего Нероновского приговора было отлучение навсегда депутатов русских от сейма национального и всего рыцарства, от выборов и должностей правительственных и судебных, отбор старостств, деревень и других ранговых имений от всех чиновников и урядников русских, и самих их уничтожение. Рыцарство русское названо хлопами, а народ, отвергавший унию, схизматиками. Во все правительственные и судебные уряды малороссийские посланы поляки с многочисленными штатами; города заняты польскими гарнизонами, а другие селения их же войсками; им дана власть всё то делать народу русскому, что сами захотят и придумают, а они исполняли сей наказ с лихвою, и что только замыслить может своевольное, надменное и пьяное человечество, делали то над несчастным народом русским без угрызения совести; грабительства, насилие женщин и самых детей, побои, мучительства и убийства превзошли меру самых непросвещенных варваров. Они, почитая и называя народ невольниками, или ясыром польским, всё его имение признавали своим. Собиравшихся вместе нескольких человек для обыкновенных хозяйских работ или праздностев тотчас с побоями разгоняли, на разговорах их пыт-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ками истязывали, запрещая навсегда собираться и разговаривать вместе. Церкви русские силою и гвалтом обращали на унию. Духовенство римское, разъезжавшее с триумфом по малой России для надсмотра и понуждения к униятству, вожено было от церкви до церкви людьми, запряженными в их длинные повозки по двенадцати человек и более. На прислуги сему духовенству выбираемы были поляками самые красивейшие из девиц. Русские церкви несогласовавшихся на унию прихожан отданы жидам в аренду, и получена за всякую в них отправку денежная плата от одного до пяти талеров, а за крещение младенцев и похороны мертвых от одного до четырех талеров. Жиды, яко непримиримые враги христианства, сии вселенские бродяги и притча в человечестве, с восхищением принялись за такое надежное для них сквернопрыбытчество, и тотчас ключи церковные и веревки колокольные отобрали к себе в корчмы. При всякой требе христианской повинен ктитор итти к жиду торжиться с ним, и по важности отправы, платить за нее и выпросить ключи; а жид при том, насмеявшись довольно богослужению христианскому и прехуливши всё, христианами чинимое, называя его языческим или по их гойским, приказывал ктитору возвращать ему ключи, с клятвою, что ничего в запись не отказано.

Страдание и отчаяние народа увеличилось новым приключением, сделавшим еще замечательную в сей земле эпоху. Чиновное шляхетство малороссийское, бывшее в воинских и земских должностях, не стерпя гонений от поляков и не могши перенесть лишения мест своих, а паче потеряния ранговых и нажитых имений, отложилось от народа своего и разными происками, посулами и дарами закупило знатнейших урядников римских, сладило и задружило с ними, и мало по мало согласилось первее на унию, потом обратилось совсем в католичество римское. Впоследствии, сие шляхетство, соединяясь с польским шляхетством свойством, сродством и другими обязанностями, отреклось и от самой породы русской и всемерно старалось изуродовать природные названия свои, приискать и придумать к ним польское произношение и назвать себя природными поляками. Почему и доднесь между ними видны фамилии совсем русского названия, каковых у поляков не бывало, и в их наречии быть не могло, например: Проскура, Чернецкий, Кисель, Волович, Сокирка, Комар, Жупан и премногие другие, а с прежнего Чаплины названия Чаплинский, с Ходуна Ходневский, с Бурки Бурковский и так далее. Следствием переворота сего было то, что имения сему шляхетству и должности их возвращены, а ранговые утверж-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дены им в вечность и во всем сравнены с польским шляхетством. В благодарность за то приняли и они в рассуждении народа русского всю систему политики польской, и подражая им, гнали преизлиха сей несчастный народ. Главное политическое намерение состояло в том, чтобы ослабить войска малороссийские и разрушить их полки, состоящие из реестровых казаков: в сем они и успели. Полки сии, претерпев в последнюю войну не малую убыль, не были дополнены другими от скарбу и жилищ казаков. Запрещено чинить всякое в полки вспоможение. Главные чиновники воинские, перевернувшись в поляки, сделали в полках великие ваканции. Дисциплина военная и весь порядок опущены и казаки реестровые стали нечто пресмыкающееся без пастырей и вождей. Самые курени казацкие, бывшие ближе к границам польским, то от гонения, то от ласкательств польских, последуя знатной шляхте своей, обратились в поляки и в их веру, и составили известные и поныне околицы шляхетские. Недостаточные реестровые казаки, а паче холостые и мало привязанные к своим жительствам, а с ними и все почти охочекомонные, перешли в Сечь Запорожскую и тем ее знатно увеличили и усилили, сделав с тех пор, так сказать, сборным местом для всех казаков, в отечестве гонимых; а напротив того знатнейшие запорожские казаки перешли в полки малороссийские и стали у них чиновниками, но без дисциплины и регулы; отчего в полках их видимая сделалась перемена».

Казнь Остраницы.

«На место замученного Павлюги, выбран в 1638 году гетманом полковник Нежинский Стефан Остраница, а к нему придан в советники из старого и заслуженного товарищества Леон Гуня, коего благоразумие в войске отменно уважаемо было. Коронный гетман Лянцкоронский с войсками своими польскими не переставал нападать на города и селения малороссийские и на войска, их защищавшие, и нападения его сопровождаемы были грабежом, контрибуциями, убийствами и всех родов бесчинствами и насилиями. Гетману Остранице великого искусства надобно было собрать свои войска, везде рассеянные и всегда преследуемые поляками и их шпионами; наконец собрались они скрытыми путями и по ночам к городу Переяславлю, и первое предприятие их было очистить от войск польских приднепровские города, на обоих берегах сея реки имеющиеся, и восстановить безопасное сообщение жителей и войск обеих сторон. Успех соответствовал предприятию

Пушкинский кабинет ИРЛИ

весьма удачно. Войска польские, при городах и внутри их бывшие, не ожидая никак предприятий казацких, по причине наведенных им страхов последнею зрадою и лютостию, над Павлюгою и другими чинами произведенною, ликовали в совершенной беспечности, и потому они везде были разбиты; а упорно защищавшиеся истреблены до последнего. Аммуниция их и артиллерия достались казакам, и они, собравшись в одно место, вооруженные наилучшим образом, пошли искать гетмана Лянцкоронского, который с главным войском польским собрался и укрепился в стане при реке Старице. Гетман Остраница тут его застал и атаковал своим войском. Нападение и отпор были жестокие и превосходящие всякое воображение. Лянцкоронский знал, какому он подвержен мщению от казаков за злодейство, его вероломством и зрадою произведенное над гетманом их Павлюгою и старшинами, и для того защищался до отчаяния; а казаки, имея всегда в памяти недавно виденные ими на позорище в городах отрубленные головы их собратий, злобились на Лянцкоронского и поляков до остервенения, и потому вели атаку свою с жестокостию, похожею на нечто чудовищное; и наконец, сделавши залп со всех ружей и пушек и произведши дым почти непроницаемый, пошли и поползли на польские укрепления с удивительною отвагою и опрометчивостию, и вломясь в них, ударили на копья и сабли с слепым размахом. Крик и стон народный, треск и звук оружия уподоблялись грозной туче, всё повергающей. Поражение поляков было повсеместно и самое губительное. Они оборонялись одними саблями, не успевая заряжать ружьев и пистолетов, и шли задом до реки Старицы, а тут, повергаясь в нее в беспамятстве, перетопились и загрязли целыми толпами. Гетман их Лянцкоронский с лучшею немногою конницею, завременно бросился в реку, и, переправившись через нее, пустился в бег, не осматриваясь и куда лошади несли. Стан польский, наполненный мертвецами, достался казакам с превеликою добычею, состоящею в артиллерии и всякого рода оружии и запасах. Казаки по сей славной победе, воздевши руки к небесам, благодарили за нее бога, поборающего за невинных и неправедно гонимых. Потом отдавая долг человечеству, погребли тела убиенных и сочли польских мертвецов 11 317, а своих 4 727 человек, и в том числе советника Гуню. Управившись с похоронами и корыстьми, погнались за гетманом Лянцкоронским, и настигнув его в местечке Полонном ожидающего помощи из Польши, тут атаковали его, запершегося в замке. Он, не допустив казаков штурмовать замка, выслал против них навстречу церковную процес-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сию с крестами, хоругвями и духовенством русским, кои, предлагая мир от гетмана и от всея Польши, молили и заклинали богом гетмана Остраницу и его войска, чтобы преклонились они на мирные предложения. По долгом совещании и учиненных с обеих сторон клятвах, собрались в церковь высланные от обоих гетманов чиновники, и написавши тут трактат вечного мира и полной амнистии, предающей забвению всё прошедшее, подписали его с присягою на евангелии о вечном хранении написанных артикулов и всех прав и привилегий казацких и общенародных. Засим разошлись войска восвояси.

Гетман Остраница, разослав свои войска, иные по городам в гарнизоны, а другие в их жилища, сам и со старшинами генеральными, и со многими полковниками, и сотниками, заехал в город Канев для принесения богу благодарственных молений в монастыре тамошнем. Поляки, отличавшиеся всегда в условиях и клятвах непостоянными и вероломными, держали трактат с присягою, в Полонном заключенный, наровне со всеми прежними условиями и трактатами, у казаков с ними бывшими, то есть, в одном вероломстве и презорстве; а духовенство их, присвоив себе непонятную власть на дела божеские и человеческие, определяло хранение клятв между одними только католиками своими, а с другими народами бывшие у них клятвы и условия всегда им разрешало и отметало, яко схизматицкие и суду божию не подлежащие. По сим странным правилам, подлым коварством сопровождаемым, сведавши поляки чрез шпионов своих жидов о поездке гетмана Остраницы с штатом своим без нарочитой стражи в Канев, тут его в монастыре окружили многолюдною толпою войск своих, прошедших по ночам и байракам до самого монастыря Каневского, который стоял вне города. Гетман не прежде узнал о сем предательстве, как уже монастырь наполнен был войсками польскими, и потому сдался им без сопротивления. Они, перевязав весь штат гетманской и самого гетмана, всего тридцать семь человек, положили их на простые телеги, а монастырь и церковь тамошние разграбили до последка, зажгли со всех сторон и сами с узниками скоропостижно убрались и прошли в Польшу скрытыми дорогами, боясь погони и нападения от городов. Приближаясь в Варшаве, построили они узников своих пешо по два, вместе связанных, а каждому из них накинули на шею веревку с петлею, за которую ведены они конницею по городу с триумфом и барабанным боем, проповедуя в народе, что схизматики сии пойманы на сражениии, над ними одержанном; а потом заперты они в подземные тюрьмы и в оковы. Жены многих

Пушкинский кабинет ИРЛИ

захваченных в неволю чиновников, забравши с собою малолетних детей своих, отправились в Варшаву, надеясь умилостивить и подвигнуть на жалость знатность тамошнюю трогательным предстательством детей за своих отцов. Но они сим пищу только кровожадным тиранам умножили и отнюдь им не помогли; и чиновники сии, по нескольких днях своего заключения, повлечены на казнь без всяких разбирательств и ответов.

Казнь оная была еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в человечестве по лютости своей и коварству, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому дикому и самому свирепому японцу не придет во голову ее изобретение; а произведение в действо устрашило бы самых зверей и чудовищ.

Зрелище оное открывала процессия римская со множеством ксендзов их, которые уговаривали ведомых на жертву малороссиян, чтобы они приняли закон их на избавление свое в чистцу; но сии, ничего им не отвечая, молились богу по своей вере. Место казни наполнено было народом, войском и палачами с их орудиями. Гетман Остраница, обозный генеральный Сурмила и полковники Недригайло, Боюн и Риндичь были колесованы и им переломали поминутно руки и ноги, тянули с них по колесу жилы, пока они скончались: полковники Гайдаревский, Бутрим, Запалей и обозные Кизим и Сучевский пробиты железными спицами насквозь и подняты живые на сваи; есаулы полковые: Постыличь, Граун, Сутяга, Подобай, Харчевич, Чудан, Чурай и сотники: Чуприна, Околович, Сокальский, Мировович и Ворожбит прибиты гвоздями стоячие к доскам, облитым смолою, и сожжены медленно огнем; хорунжие: Могилянский, Заскреба, Скребило, Ахтырка, Потурай, Бурлей и Загнибеда растерзаны железными когтями, похожими на медвежью лапу; старшины: Ментяй, Дунаевский, Скубрей, Глянский, Завезун, Косырь, Гуртовый, Тумарь и Тугай четвертованы по частям. Жены и дети страдальцев оных, увидя первоначальную казнь, наполнили воздух воплями своими и рыданиями, но скоро замолкли... Оставшихся же по матерям детей, бродивших и ползавших около их трупов, пережгли всех в виду своих отцов на железных решетках, под кои подкидывали уголья и раздували шапками и метлами.

Главные члены человеческие, отрубленные у означенных чиновников малороссийских, как то: головы, руки и ноги развезены по всей Малороссии и развешены на сваях по городам. Разъезжавшие при том войска польские, наполнившие всю Малороссию, делали всё то над малорос-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сиянами, что только хотели и придумать могли: всех родов бесчинства, насилия, грабежи и тиранства, превосходящие всякое понятие и описание. Они между прочим несколько раз повторяли произведенные в Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сожигали на угольях детей их в виду родителей, предавая самых отцов лютейшим казням. Наконец, ограбив все церкви благочестивые русские, отдали их в аренду жидам, и утварь церковную, как то: потиры, дискосы, ризы, стихари и все другие вещи распродали и пропили тем же жидам, кои из серебра церковного поделали себе посуду и убранство, а ризы и стихари перешили на платье жидовкам; а сии тем перед христианами хвастались, показывая нагрудники, на коих видны знаки нашитых крестов, ими сорваных. И таким образом Малороссия доведена была поляками до последнего разорения и изнеможения, и все в ней подобилось тогда некоему хаосу или смешению, грозящему последним разрушением. Никто из жителей не знал и не был обнадежен, кому принадлежит имение его, семейство и самое бытие их, и долго ли оно продлится? Всякий с потерянием имущества своего искал покровительства то у попов римских и униятских, то у жидов, их единомышленников, а своих непримиримых врагов, и не мог придумать за что схватиться».

Как историк, Георгий Конисский еще не оценен по достоинству, ибо счастливый мадригал приносит иногда более славы, нежели создание истинно высокое, редко понятное для записных ценителей ума человеческого и мало доступное для большого числа читателей.

Протоиерей И. Григорович, издав сочинение великого архиепископа Белоруссии, оказал обществу важную услугу. Будем надеятся, что и великий историк Малороссии найдет себе наконец столь же достойного издателя.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

18-го января нынешнего года Российская Академия была удостоена присутствия его светлости принца Петра Ольденбургского, избранного еще в почетные члены. Непременный Секретарь, Д. И.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Языков, открыл заседание чтением краткой истории Академии.

Екатерина II основала Российскую Академию в 1783 году и повелела княгине Дашковой быть председателем оной.

Екатерина, стремившаяся во всем установить закон и незыблемый порядок, хотела дать уложение и русскому языку. Академия, повинуясь ее наказу, тотчас приступила к составлению словаря. Императрица приняла в нем участие не только словом, но и делом. Часто осведомлялась она об успехах начатого труда и, несколько раз слыша, что словарь доведен до буквы Н, сказала однажды с видом некоторого нетерпения: всё *Наш да Наш!* когда же вы мне скажете: *Ваш?* Академия удвоила старание. Через несколько времени на вопрос императрицы: что словарь? отвечали ей, что Академия дошла до буквы П. Императрица улыбнулась и заметила, что Академии пора было бы *Покой* оставить.

Несмотря на сии шутки, Академия должна была изумить государыню поспешным выполнением высочайшей ее воли: словарь окончен был в течение шести лет[1]. Карамзин справедливо удивляется таковому подвигу.

---

[1] Французская Академия, основанная в 1634 году, и с тех пор беспрерывно занимавшаяся составлением своего словаря, издала оный не прежде, как в 1694 году. Словарь обветшал, пока еще над ним трудились, говорит Вильмен. Стали его переделывать. Прошло несколько лет, и всё еще Академия пересматривала букву А. Деятельный Кольбер, удивлявшийся таковой медленности, приехал однажды в собрание Академии. Разбирали слово Ami. Но были такие споры о точном определении оного, рассуждали с такой утонченностию о том, что в слове Ami предполагается ли светская обязанность, или сердечное отношение, чувство, разделенное, или одно наружное изъявление, или усердие без вознаграждения, что министр, у коего при дворе так много было друзей, признался, что он более уж не удивляется медленности и затруднениям Академии.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Полный Словарь, изданный Академией», говорит он, «принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея словаря; мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно классического (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академий Флорентинской и Парижской».

Многие из членов Академии участвовали в издании Собеседника Любителей Российского Слова. Следующее происшествие, говорит г. Языков, достойно быть сохранено в памяти: Фонвизин доставил в Собеседник статью под названием «*Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание*». Вопросы явились в Собеседнике с весьма остроумными ответами. Приведем здесь некоторые.

В. От чего все в долгах?

О. От того, что проживают более, нежели дохода имеют.

В. От чего не только в Петербурге, но и в самой Москве перевелись общества между благородными?

О. От размножения клубов.

В. От чего главное старание большей части дворян состоит не в том, чтобы поскорее сделать детей своих людьми, а в том, чтобы поскорее сделать их гвардии унтерофицерами?

О. От того, что одно легче другого.

В. От чего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?

О. От того, что сие не есть дело всякого.

В. От чего у нас не стыдно не делать ничего?

О. Сие не ясно: стыдно делать дурное, а в обществе жить не есть не делать ничего.

В. От чего у нас начинаются дела с великим жаром и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пылкостию, потом оставляются, а не редко и совсем забываются?

О. По той же причине, по которой человек стареется.

В. В чем состоит наш национальный характер?

О. В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании, и в корне всех добродетелей, от творца человеку данных.

В. От чего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие?

О. Предки наши не все грамоте умели.

№ Сей вопрос родился от с в о б о д о я з ы ч и я, которого предки наши не имели.

Сии ответы писаны самой императрицей.

Под председательством А. А. Нартова (1802—1813) Академия издала:

1) Грамматику Российскую.
2) Сочинения и переводы Академии.
3) Словарь, расположенный по азбучному порядку.
4) Перевод Летописи Тацитовой.
5) Перевод Путешествия Младшего Анахарсиса.

В 1813 году, по смерти Нартова, А. С. Шишков, бывший в то время за границей с государем императором, назначен Председателем Российской Академии. Под его руководством Академия издала следующие книги:

1) Известия Академии, 11 книжек (1815—1823).
2) Повременное издание, 4 части (1829—1832).
3) Краткие записки, 3 книжки (1834—1836).
4) Квинтилиановы Критические Наставления (1834).
5) Собрание сочинений и переводов А. С. Шишкова, 16 частей.

Ныне Академия приготовляет третье издание своего Словаря, коего распространение час от часу становится необходимее. Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каж-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дого. [В журналах наших еще менее правописания, нежели здравого смысла][1].

Вслед за Непременным Секретарем, преосвященный Филарет представил отрывок из рукописи 1073 года, писанной для великого князя Святослава, и хранящейся ныне в Московской Синодальной Библиотеке.

«Рукопись называется И з б о р н и к, т. е. извлечение избранных мест из разных писателей.

«Она содержит наиболее предметы, относящиеся до христианского учения, но частию и метафизические по разумутого вѣка, например, о е с т е с т в е, о с о б с т в е, о л и ц и, о р а з л и ч и и, о с л у ч а н и и, о с у п р о т и в н ы х, о г л а г о л е м ы и х.

«На обороте листа 237 начинается 175 статья книги, которая говорит о тропах и фигурах. Вот ее начало.

«Георьгия Хоуровьска о образех. Творьчьстии образи суть 27 (кз):

1. Инословие. 2. Превод (metaphora). 3. Напотребиіе. 4. Пріятиіе. 5. Преходьноіе. 6. Възврат. 7. Съпрінятиіе. 8. Сънятиіе. 9. Именотвориіе (onomatopeia). 10. Сътвореніие. 11. Въименоместьство. 12. Отъимениіе (metonymia). 13. Въспятословиіе. 14. Окроугословиіе. 15. Нестатък. 16 Издрядиіе. 17. Лихоречые. 18. Притъча. 19. Приклад. 20. Отданиіе. 21. Лицетворые (олицетворение). 22. Сълог. 23. Пороуганиіе (ironia). 24. Вид. 25. Последословиіе.

«Инословиіе оубо іесть ино нечто глаголюшти а ин разоум оуказаіюшти якоже іеже іе речено от бога к зміи проклята ты и от всех зверий слово бо аки зміи есть на диавола же ино речь не змьіем нарицаіема разоумеваіем.

«Далее следуют подобные сему определения и прочих вышеисчисленных наименований, но не довольно понятные для читателя, может быть, и потому, что не довольно понимаемы были предметы составителем или переводчиком, издателями Русской Энциклопедии XI века».

Непременный Секретарь прочел главу II из устава Академии о должностях и обязанностях

---

[1] <В квадратных скобках сентенция, исключенная из печатного текста.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Академии и следующий отрывок из всеподданнейшего доклада президента Академии, при поднесении на высочайшее усмотрение проекта устава:

«Академия есть страж языка: и поэтому должно ей со всевозможною к общей пользе ревностию вооружаться против всего несвойственного, чуждого, невразумительного, темного, н е н р а в с т в е н н о г о в языке. Но сие вооружение ее долженствует быть на единой пользе Словесности основанное, кроткое, правдивое, без лицеприятия, без нападений и потворства, непохожее на те предосудительные сочинения, в которых, под мнимым разбором, пристрастное невежество или злость расточают недостойные похвалы или язвительные хулы без всякой истины и доказательств, в коих одних заключается достоинство и польза сего рода писаний».

За сим действительный член М. Е. Лобанов занял собрание чтением мнения своего *О духе словесности, как иностранной, так и отечественной.* Мнение сие заслуживает особенного разбора, как по своей сущности, так и по важности места, где оное было произнесено.

В. А. Поленов прочел *Краткое жизнеописание И. И. Лепехина*, первого Непременного Секретаря Российской Академии: статью дельную, полную, прекрасно изложенную, словом, истинно академическую.

После сего действительные члены: М. Е. Лобанов, князь П. А. Ширинский-Шихматов и Б. М. Федоров читали, один после другого, сочинения своего стихи.

Наконец князь Ширинский-Шихматов прочел написанную г. Президентом краткую статью под заглавием: *Нечто о Карамзине.*

Невозможно было без особенного чувства слышать искренние, простые похвалы, воздаваемые почтенным старцем великому писателю, бывшему некогда предметом жесткой его критики, если не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

всегда справедливой, то всегда добросовестной[1]. При сем случае А. С. Шишков упомянул о пребывании Карамзина в Твери в 1811 году, при дворе блаженной памяти государыни великой княгини Екатерины Павловны, матери его светлости принца Петра Ольденбургского. Известно, что Карамзин читал тогда в присутствии покойного государя и августейшей сестры его некоторые главы Государства Российского. «Вы слушали», пишет Историограф, в своем посвящении, «с восхитительным для меня вниманием; сравнивали давно минувшее с настоящим, и не завидовали славным опасностям Димитрия, ибо предвидели для себя еще славнейшее».

Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его славной памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли о *Древней и Новой России*, со всею искренностию прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел, и остался попрежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя и благородство патриота.

Заседание 18 января 1836 года будет памятно в летописях Российской Академии.

ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ

Скриб в Академии. Он занял кресла Арно, умершего в прошлом году.

[1] <Часть этой сентенции, от слова «бывшему» до «добросовестной» в тексте «Современника» была заменена многоточием.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Арно сочинил несколько трагедий, которые в свое время имели большой успех, а ныне совсем забыты. Такова участь поэтов, которые пишут для публики, угождая ее мнениям, применяясь к ее вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к своему искусству! Две или три басни, остроумные или грациозные, дают покойнику Арно более права на титло поэта, нежели все его драматические творения. Всем известен его *Листок*:

De ta tige d'tachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où va-tu?—Je n'en sais rien, etc[1].

Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своей смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык; у нас его перевели Жуковский и Давыдов,

Наш боец чернокудрявый
С белым локоном на лбу.

Может быть, и сам Давыдов не знает стихов, которые написал ему Арно, услыша о его переводе. Он поместил их в примечаниях к своим сочинениям[2].

---

[1] <Оторвавшись от своего стебля,
Бедный сухой листок,
Куда несешься ты?—Не знаю и т. д.>

[2] La Feuille a obtenu dans plus d'une langue les honneurs de la traduction. Celle qui en a été faite en russe par le général Davouidoff, est dit-on, remarquable par son élégance et sa fidélité. M. Davouidoff est un de ces hommes qui, nés avec le don de la poësie, ne s'y livrent que par caprice et pour se délasser de la guerre et des plaisirs. Instruit de l'honneur qu'il en avoit reçu, l'auteur de ces fables lui en adressa un exemplaire avec cet envoi:

A vous, poëte, à vous, guerrier,
Qui sablant le champagne au bord de l'Hipocrène,
Avec d'une feuille de chêne
Fait une feuille de laurier.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

При вступлении своем в Академию Скриб произнес блестящую речь, на которую столь же блистательно отвечал Вильмен, а J. Janin в своем фельетоне осмеял того и другого. В сем случае все три представителя французского остроумия были на сцене.

Речь г. Скриба.

Мм. гг.

Когда Генуэзская республика, как вам известно, дерзнула сопротивляться Людовику XIV, тогда дож ее принужден был явиться в Версаль, чтоб испросить прощение у великого короля. В то время, как удивлялся он версальским садам, где каждый шаг представляет победу искусства над природою, их шумным водопадам, апельсинным рощам и висячим террасам, его спросили: что находит он всего необыкновеннее в Версали? Дож отвечал: «мое присутствие!»

Так и я, мм. гг., видя вокруг себя все знаменитости Франции, окруженный славными воспоминаниями литературного величия, я должен бы удивляться всего более моему здесь присутствию, еслиб только одна мысль не успокоивала и не ободряла меня:

Академия, эта представительная палата литературы, желала, чтобы все роды произведений, получившие право гражданства по силе Буаловой хартии и законов вкуса, имели в недрах ее своих уполномоченных, ею утверждаемых: подобно нашим законодательным собраниям, где избранный небольшою деревнею сидит рядом с депутатом большого города, она предоставила мне вход в свое собрание и возвысила тем незначительный род сочинения, которого я представитель; я бы гордился этим позволением, еслиб автор водевилей имел право гордиться.

< Л и с т о к удостоился чести быть переведенным на несколько языков. Русский перевод его, сделанный генералом Давыдовым, замечателен, говорят, по своему изяществу и точности. Господин Давыдов—один из тех людей, которые, обладая природным даром к поэзии, предаются ей лишь из прихоти и чтобы отдохнуть от войны и наслаждений. Узнав о чести, оказанной ему г. Давыдовым, автор этих басен послал ему экземпляр их с надписью:

Вам, поэт, вам, воин,
Который, упиваясь шампанским на берегу Гиппокрены,
Превратил дубовый листок
В лист лавров.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Да, м. г., я не ошибаюсь в истинной причине моего сюда назначения! Если довольно долго испытывал я свои силы на второстепенной сцене и старался изобразить Талию в миниатюре, если иногда на театре, более возвышенном, я старался изобразить несколько картин большого размера; такие усилия не дают еще мне права почитать себя здесь одним из представителей комедии. Вы же, мм. гг., и не нуждаетесь вновых: вы имеете блистательных авторов Домашнего Тирана, Адвоката, Двух Затей, Школы Стариков; вам хотелось только, чтобы кресла Ложона не оставались надолго праздными!

В его имени вы дали Песни и грамоту на дворянство; вы захотели передать ее мне, и я только этому обстоятельству обязан честью занимать место между вами.

Может быть, этот род сочинения, повидимому столь незначительный, которого название странно слышать под классическими сводами этой залы, может быть, он достоин вашего внимания, и мне должно было бы по всей справедливости, или по крайней мере из благодарности к своему протектору, защищать его; мне бы должно рассказать вам историю водевиля (val de vire) от его колыбели до наших дней; но обязанность более важная и торжественная занимает мои мысли и останавливает на устах веселые напевы.

Много уже времени прошло с тех пор, как я в первый раз был в этой зале. Я учился тогда в Наполеоновском лицее, и на этом самом месте, где всё осталось попрежнему, нам раздавали награды. Товарищи, соперники, друзья были здесь, как и теперь! Там родные, сестры, матери! Счастлив, кто имеет мать свидетельницею своего торжества! Я тогда был счастлив! На этой стороне сидели наши учители, начальники, знаменитые литераторы и государственные люди: пальмы, назначенные в награду слабым достойнствам, раздавались тогда, как и теперь, великими талантами. Я спросил у моего соседа, как зовут президента? Он отвечал: это г. Фонтан (C'est le Grand Maître M. de Fontanes)[1]. А возле него кто с таким важным и прекрасным видом? Главный секретарь университета, г. Арно, автор Марии в Минтурне, трагедии, которой прелестные стихи мы знали наизуст... Автор Марии в Минтурне! Я привстал, чтоб посмотреть на него: думал ли я тогда, что ученик займет место своего учителя—и что приду в это святилище я—положить кипарисную ветвь на гроб раздававшего венки!

[1] <Это гросмейстер (университета), г. Фонтан.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Зачем, по крайней мере, голос сильнее и выразительнее моего не призван говорить похвальное слово этому добродетельному человеку и поэту, о котором вы сожалеете? По какому последнему для него несчастию трудная честь оценить произведения трагической его музы досталась в удел питомцу песни?

Увлеченный с юных лет непреодолимою наклонностию к поэзии, г. Арно был еще очень молод, когда издал М а р и я в М и н т у р н е, первое свое произведение; это было смелое предприятие для молодого человека 24-х лет: возбудить участие к отвратительному Марию, человеку, наполнившему Италию кровию и кознями, человеку, который обесславил себя хищением и грабительством, не имел подобно Сулле ни довольно величия души, чтоб остановиться во-время, ни довольно смелости, чтоб оставить свое поприще; но г. Арно понял, что в глазах толпы несчастием искупаются преступления. Он избрал героем не Мария гонителя, а Мария изгнанника, победителя кимвров, скитающегося беглеца; он чувствовал, что бывает на свете великое и благородное зрелище: слава в борьбе с несчастием, неудача, переносимая с мужеством—и он отгадал! Не подражая авторам, до него изображавшим этот предмет, не призывая на помощь ни посторонних интриг, ни женщин, ни трагической любви, он приступил к своему предмету с строгою простотою древности—и создал историческую картину, над которой возвышается везде великий образ Мария. И помните ли вы, мм. гг., какое впечатление производил этот раб, этот кимвр, когда он, испуганный при виде консульского чела, покрытого сорокалетнею славою, бросал кинжал и убегал повторяя:

«Я никогда не буду в состоянии умертвить Мария!»

Эта трагедия была посвящена его светлости графу Прованскому, будущему Людовику XVIII. Арно был привязан к дому его потому, что принц любил литературу и покровительство его могло быть полезно молодому поэту: в те времена оно было необходимо даже и для литературного успеха; времена изменились, и слава богу, теперь писатель не имеет надобности просить вельмож удостоить его покровительством! В своем труде находит он славу—и еще более, если возможно—свою независимость.

В начале революции граф Прованский удалился в чужие края; а Арно, подвергаясь от того многим опасностям, поспешил переехать в Англию. Странная была его участь! Покровитель, им избранный, тогдашний принц, а впоследствии король, был причиною двукратного удаления Арно

Пушкинский кабинет ИРЛИ

из Франции: в 92 году своим отъездом, в 1815 своим прибытием.

Арно старался снова возвратиться на родину. Захваченный как эмигрант в Дункирхене, он был брошен в тюрьму и освобожден из нее по приказу Комитета общественного спокойствия (Comité de salut public), который постановил, и на этот раз справедливо, что закон об эмигрантах не распространяется на литераторов, а следовательно и на автора Мария в Минтурне, поэтически предполагая, что вселенная принадлежит поэту, и что его отечество повсюду.

Наступили лучшие дни для Франции: республика еще существовала, но без кровавых топоров Децемвиров, даже без строгостей Рима и Спарты. По невоздержному вкусу к роскоши и удовольствиям, по забвению прошедшего и беспечности о будущем, можно было б назвать республику Афинскою, если б у кого только достало смелости сравнить Барраса с Периклом! Мы были тогда под правлением Директории, правлением слабым, веселым, роскошным, правлением так сказать регентства революции.

Обратившись к литературным трудам, Арно издал сперва трагедию О с к а р, где так мило выражены тихие чувства любви и дружбы; потом трагедию В е н е ц и а н ц ы, коих пятый акт есть лучший акт драмы новейших времен. Впрочем, для исторической верности, мы должны сказать, что Арно не один сочинил этот пятый акт. Сперва он дал счастливую развязку своей пьесе. Montcassin, герой ее, не умирал, а был спасен своим соперником от казни; эта развязка не понравилась одному члену института, которого Арно знал в Италии и которому читал свою трагедию. Этот член института был генерал Бонапарт, которого мнения в литературе были столь же тверды и решительны, как и в политике; он терпеть не мог Вольтера, имел несчастие не любить Расина, но Корнеля готов был сделать первым министром [1]. Бонапарт любил развязки разительные и хотел, чтоб даже и на театре все препятствия уничтожались штыком.

Конец пятого акта В е н е ц и а н ц о в был для этого человека неестественен: он находил, что счастие любовников портило развязку. Еслиб несчастие было неисправимо, говорил он г-ну Арно, то минутное ощущение, которое оно произвело во мне, осталось бы у меня до вечера, до завтра!.. Нужно, чтобы герой умер, надо непременно убить его. Убейте его! И Montcassin был казнен, по повелению Наполеона, к великому удовольствию публики, утвердившей

[1] См. Mémorial de Las Cazas <Записки Лас-Каза>.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

приговор рукоплесканиями. Бесполезно упоминать, что трагедия Венецианцы была посвящена генералу Бонапарту: это и справедливо.

Бонапарт любил Арно, и эта дружба никогда не изменялась; Арно, как надежному человеку, Бонапарт поручал образование Ионийских островов; Бонапарт принимает Арно в своем доме, в улице Шантерень, позволяя ему участвовать в домашних разговорах, которые тогда были историею; после, на адмиральском корабле, который вез в Египет кесаря и его фортуну, Бонапарт и Арно толкуют об Оссиане и Гомере; потом Бонапарт-император дает ему одно из первых мест в университете. Наполеон постоянно уважал Арно, хотя не раз мог бы жаловаться на его сатирические выходки и резкую откровенность. Тот, кто одним взглядом умел отгадать, оценить достоинство, в первый день своего прибытия в Италию рукою победителя написал на своих памятных табличках имя Арно и двадцать три года спустя после того, рукою умирающего, писал он это же имя в своем завещании, с утесов Св. Елены.

Что могу я прибавить к этому свидетельству?

После стодневного переворота Арно был изгнан, а что и того удивительнее, лишен места, которое он занимал между вами и на которое он вами был призван. Касательно стихов и поэзии Мольер сказал:

«Hors qu'un commandement exprès du roi ne vienne»...[1]

Повеление пришло и исключило Арно из института.

Во время своего изгнания, которое Арно перенес с благородством и твердостию, он сочинил последнее отделение Басен, лучшее, по моему мнению, литературное его произведение: ибо здесь он создал новый род, который останется образцом, тем более, что автор не старался подражать ни Лафонтену, ни Флориану; здесь нет веселой простоты первого, нет изящной и грациозной чувствительности второго: здесь эпиграмма, здесь сатира, здесь Ювенал, сделавшийся баснописцем—может быть, по одинаковой причине.

Не был ли Арно увлечен сам своею гиперболою? Не представлялось ли ему общество слишком порочным, а люди слишком злыми? Справедливо упрекали Флориана за излишнее множество овечек, рассыпанных в его сочинениях. Кажется, в баснях Арно не слишком ли много волков?..

В отсутствии Арно, трагедия его Германик игралась в Париже и была принята с успехом в первый день,

[1] <Если только не будет особого приказа короля.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

а на другой изгнана из театра подобно автору ее, изгнанному из Франции. Наконец, когда после пятилетней ссылки настал для него день правосудия, он возвратился в отечество и опять занял свое место между вами... Тут неожиданный случай снова и уже навсегда похитил его у вашей дружбы! Младший из его сыновей испытал жестокую потерю; отец спешил утешить сына и предпринял роковое для себя путешествие. Арно имел привычку долго прогуливаться пешком; на ходу сочинил он все свои творения. Однажды утром, по сильному жару, он проходил и просочинял более обыкновенного; усталый он воротился домой; лег на кровать и сказал дочери: поиграй на фортепиано; дочь повиновалась; отец, будто отдыхая, все более и более поникал головою: он уже был мертв, а она еще играла.

Он скончался без страдания, без предсмертных мучений, с улыбкою на устах, думая о своих утренних трудах, о детях, о друзьях, может быть, о вас, мм. гг.!

Он умер, оставив нам троих сыновей, свою и нашу надежду! Троих сыновей, которые на поприщах литературном, военном и судебном достойно поддерживают честь отцовского имени. Один из них, автор Регула, доказал, что принадлежит к одной из тех фамилий, которых слава наследственна, доказал, что аристократическое право дворянства, доставаемое авторством, подобно купленному оружием, может учреждать маиоратство.

Хотя ничто не подавало повода думать о скорой кончине Арно, но с некоторого времени здоровье его видимо слабело. Сильные удары, безжалостно направленные на человека и писателя, поколебали его крепкую, но чувствительную и раздражительную организацию.

В наши времена существует ядовитый род критики, которая достигает до сердца; ею не поскупились для Арно: и несмотря на свои седины, на прежние триумфы, он не мог, подобно Марию в Минтурне, обезоружить Кимвра.

Надобно сказать и то, весьма часто ошибались в характере Арно. В душе этого человека глубоко напечатлевались все воспоминания и добра и зла. Если он никогда не забывал нанесенного ему зла, то вечно за то носил в сердце благодеяние. Признаемся также, что по живому и острому расположению ума своего, Арно не мог удержаться от острого слова, и если прибавим к этому недостатку обыкновенную откровенность Арно, то нам будет понятно, от чего он имел столько врагов. Между тем не было человека добрее его. Не раз доказывал он это; не раз, занимая важную должность при университете, он подавал руку помощи

Пушкинский кабинет ИРЛИ

отвергнутому таланту или скромному достоинству. Арно принял в свою канцелярию нашего поэта Беранже, которого он один тогда разгадал. Разговор Арно был исполнен выражений смелых и живописных, носил на себе отпечаток той насмешливости, которая встречается в его баснях, разных стихотворениях и даже в песнях, оригинально веселых... да, мм. гг., в песнях Арно, в песнях трагического писателя! Я так горжусь этим обстоятельством, что спешу заговорить о нем: это для меня важный авторитет, это новое доказательство в пользу рода сочинения, которому я осмеливаюсь, может быть, дерзко доставить между вами право гражданства.

Для этого, мм. гг., мне бы должно развернуть перед вами то, что я назову героическими временами песни, когда она сопутствовала в сражениях Роланду и храбрым рыцарям Карла Великого, или когда с труверами и менестрелями с арфою в руках она приходила к дверям дворца и садилась за стол с владетелем замка; показать вам, потом, как она отправилась в крестовые походы и возвращалась с первыми христианскими баронами; как она, сидя у готического очага, веселым напевом о султане Саладине забавляла досуги благородных дам. Потом я бы должен был представить вам ее, когда, нежная и воинственная, с Агнессою Сорель она научала Карла VII, каким образом возвращают королевства; как она, насмешливая и щеголеватая, писала с Франциском I веселые куплеты на стеклах Шамбора, потом вдруг, фанатическая и возмутительная, с крестом лиги, или под знаменем фронды, нападала на королей, низвергала министров, переменяла парламенты; и может быть, желая изобразить историю песни, я бы неожиданно рассказал вам всю историю Франции.

В знаменитой речи, исполненной тонких и остроумных мыслей, один из первых наших драматических авторов доказывал здесь, что если бы какой-нибудь ужасный переворот истребил с лица земли все исторические документы, оставив невредимым лишь собрание наших комедий, то это собрание заменило бы все летописи. Литературная свобода Академии позволит ли мне не вполне разделять это мнение? Я не думаю, чтоб комический автор был историком: это не его назначение; не думаю, чтобы в самом Мольере можно было найти историю нашей страны. Комедия Мольера говорит ли нам что-нибудь о великих происшествиях века Людовика XIV? Есть ли в ней хотя слово о заблуждениях, слабостях и ошибках великого короля? Говорит ли она об уничтожении Нантского эдикта? Нет, мм. гг., точно так же как комедия времен Людовика XV

Пушкинский кабинет ИРЛИ

молчит о Parc-au-cerf[1], комедия времен империи—о страсти к завоеваниям! Если прибавим к этому новую невероятность (меня так часто упрекали в этом недостатке, что мне позволено будет прибавить еще тысячу первую в пользу истины) и если в свою очередь предположим, что, подобно тому наместнику Магомета, который сжег всю библиотеку александрийскую и сохранил только книгу пророка, найдется в наши времена какой-нибудь победитель калмыцкий или татарский, любитель веселостей, пристрастный к песням как Омар к Алкорану, сожжет все исторические книги, а пощадит только собрание наших песен разного рода и водевилей, напечатанных доныне, посмотрим нельзя ли будет с пособием одних этих документов восстановить главнейшие факты нашей истории? Быть может, я заблуждаюсь; быть может, это один только парадокс, но мне кажется, что с помощию этого веселого архива, этих поющих летописей, легко было бы отыскать имена, числа, происшествия, забытые комедиею, или исторические лица, пощаженные ею.

Подобная верность не возможна для комической музы, я знаю; я это говорю ей не в укоризну, а рассказываю просто как есть дело; я уверен, что ни Людовик XIV, ни Людовик XV, ни Наполеон не потерпели бы на театре великих поучений истории, и не позволили бы вывести на сцену то, что бы до них близко касалось. Нынешний комический автор в сем отношении не имеет больше преимущества перед своими предшественниками. У нас раздражительность партий заступила место раздражительности правительства; в наш век свободы мы не вольны изображать на сцене всё смешное: всякая партия защищает своих и позволяет занимать смешное лишь у соседа; самое книгопечатание, эта неограниченная власть свободных правлений, книгопечатание хочет говорить правду всему свету, но не любит, чтобы говорили ему истину. Я здесь, повторяю, не хочу укорять комедию, но напротив оправдать ее и доказать, что от нее требовали невозможного, требовали, чтоб она заступила место истории.

По крайней мере, комедия нам описывает нравы?.. Справедливо! Согласен, что она ближе к точности и истине нравоописательной, нежели к исторической; но со всем тем, исключая некоторые, весьма редкие произведения (как, например, Т у р к а р е т, образец точности), мы находим театр, по какой-то довольно странной судьбе, почти всегда

---

[1] <Олений парк.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

в прямом противоречии с обществом. Например, мм. гг., касательно нравов? Разберем эпоху регенства! Если комедия выражает постоянно общество, то комедия тех времен должна бы нам представить странные вольности и веселые сатурналий. Совсем нет, она холодна, точна, взыскательна и благопристойна. Такова комедия Детуша, она не смеется или смеется очень мало, комедия Лашоссе плачет. Под скиптром Людовика XV, или лучше под скиптром Вольтера, в ту минуту, когда разрешались эти великие вопросы, изменившие все общественные мысли и в быстром движении увлекавшие осьмнадцатое столетие, столь полное настоящим и будущим, мы видим на театре Дора, Мариво, Де Лану, т. е. остроумие, романизм и пустоту.

Во время самых жестоких периодов революции, когда трагедия, как говорили, рыскала по улицам, что представлял театр? Сцены человеколюбивые и чувствительные, как например: Ж е н щ и н ы, С ы н о в н я я Л ю б о в ь, а в январе 93 года, во время суда над Людовиком XVI, давали П р е к р а с н у ю М ы з н и ц у, комедию пастушескую и чувствительную. Во время империи, в царство славы и побед, комедия не была победительницею и воинственною! При восстановлении Бурбонов, правлении мирном, лавры, военные мундиры завладели сценою; Талия надела эполеты! А в наши времена? В эту самую минуту, в которую я говорю с вами, вообразите иностранца, нового Анахарсиса, упавшего с неба посреди нашей образованности и отправляющегося в театр, чтоб узнать точное и положительное состояние парижских нравов в 1835-м году? Как бы испугался этот почтенный иностранец! Он не посмел бы показаться в улицах Парижа невооруженный, не посмел бы сделать шага, чтоб не встретить убийства, прелюбодеяния, кровосмешения; а всё от того, что его уверили будто театр есть выражение общества.

И еслиб потом кто-нибудь взял этого иностранца за руку и ввел в наши гостинные, в наш семейный круг, с каким бы удивлением увидел он, что ни в одну эпоху, может быть, нравственность наша не была так хороша, как теперь; что кроме некоторых исключений, о которых говорят только по их редкости, никогда еще под домашнею кровлею не жило столько добродетелей. Еслиб ему сказать, что прежде высшие классы подавали пример порока, что часто сам двор ничтожил народную нравственность; если сказать ему, что теперь добродетель нисходит к нам свыше и отражается от престола на обществе: то, примирившись с этим обществом, которое он обвинял по незнанию, иностранец с радостию сказал бы: меня обманули; слава

Пушкинский кабинет ИРЛИ

богу, театр не всегда служит выражением современных нравов!

Каким же образом растолковать, мм. гг., это постоянное противоречие между театром и обществом? Случай ли этому причиною, или скорее современный вкус и наклонности, отгаданные и разработанные авторами? Вы идете в театр не за нравоучением или исправлением, а для развлечения и удовольствия. Вас увеселяет более вымысел, нежели истина! Представляя то, что вы имеете ежедневно перед глазами, нельзя вам понравиться; но то, чего не видите вы в обыкновенной жизни, всё чрезвычайное, романическое, вот что вас очаровывает,—теперь это и представляют вам.

Так во дни ужаса революции, именно потому, что вашим глазам больно было смотреть на кровавые сцены и грабительства, вы были счастливы, находя на театре человеколюбие и благотворительность, которые тогда были вымыслами...

Точно так и во времена восстановления Бурбонов вам напоминали те дни, когда вы давали Европе законы—и прошедшее утешало вас в настоящем.

Следственно театр весьма редко бывает выражением современного общества: по крайней мере, как мы видели, он часто выражает противоположное, так что должно искать происшествия в том именно, о чем театр молчит. Комедия изображает страсти всех времен, как изображали их Мольер, Данкур и Пикар, с такою веселостию, как Колен д'Арлевиль, с такою прелестью, как Андриё; она описывает редкие исключения и минутные странности; она едва приподнимает завесу и показывает нам только уголок общества; но нравы целого народа, целые эпохи, изящные или грубые, развратные или набожные, кровавые или героические, кто их нам откроет? Хороши они были или дурны, их вы найдете, мм. гг., в тех летописях, о которых я вам сейчас говорил:

Ces peintures naïves,
Des malices du siècle immortelles archives [1].

Песня! она не имела никакой выгоды скрывать истину, а появлялась напротив именно для того, чтоб высказать ее! Итак, мм. гг.,—пробежим снова те эпохи, о которых мы говорили, начнем с регетства, так мало сохраненного комическими авторами того времени, и прибегнем к песенникам:

---

[1] <В этих наивных картинках,
Бессмертных архивах лукавства века. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

не будут ли они более верными живописцами общества? Колле, например:

Chansonniers, mes confrères,
Le coeur, l'amour sont des chimères.
Dans vos chansons legères
Traitez de vieux abus
Ces vertus
Qu'on n'a plus[1].

Не бойтесь, мм. гг., я вам прочту только один куплет и то отрывками:

L'amour est mort en France,
C'est un
Défunt
Mort de trop d'aisance!
. . . . . .
Et tous ces nigauds
Qui font des madrigaux
Supposent à nos dames
Des coeurs,
Des moeurs,
Des vertus, des ames!
Et remplissent de flammes
Nos amans presque eteints,
Ces pantins
Libertins![2]

---

[1] <Братья мои песенники,
Сердце, любовь, это—химеры.
В ваших песенках
Изображайте как старый обман
Эти добродетели, которых больше нет.>

[2] <Любовь умерла во Франции.
Это
Покойник,
Умерший от слишком хорошей жизни!
. . . . . .
А все эти дурачки,
Что сочиняют мадригалы,
Предполагают у наших дам
Сердца,
Добрые нравы,
Добродетели, души!
И наполняют пламенем
Наших почти угасших любовников,—
Этих паяцов
И повес!>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Не видете ли вы, мм. гг., всего регентства в этих стихах? А что было бы, еслиб я прочитал всю песню до конца!

Хотите ли узнать общество осьмнадцатого столетия? Это общество щегольское и остроумное, рассудительное и скептическое, которое верило не в бога, а в наслаждения? Хотите ли иметь понятие о его нравах, философии и маленьких ужимках? Не спрашивайте комедию—она вам ничего не скажет! Прочтите песни Вуазенона, Буфлера и кардинала Берни.

Пойдемте далее к тем временам, когда испуганной песне приходилось изломать свирель свою: она и тут не молчит, не перестает описывать нравов своего времени; она неотлучна как верное эхо, при всякой громкой эпохе принимает звуки и передает их нам. Так в нашу революцию, разделяющуюся на две различные половины, период ужасов изображен в безбожных песнях 93 года, период геройства и славы в воинственных гимнах, которые повели наших воинов на завоевание Европы.

Я не говорю вам о славе империи—она имела историографами всех песенников той эпохи, начиная с Дезожье, первого песенника всех времен, который производил песни как Лафонтен басни.

Что касается до времен восстановления Бурбонов, то не спрашивайте о них наши театры, не ищите их в столбцах Монитёра: для этого у нас есть песни Беранже.

— В конце речи своей остроумный оратор представляет песню во всегдашнем борении с господствующею силою: он припоминает, как она воевала во времена лиги и фронды, как осаждала палаты кардиналов Ришелье и Мазарина, как дерзала порицать важного Людовика XIV, как осмеивала его престарелую любовницу, бесталантных министров и несчастных генералов; как при умном и безнравственном регенте и при слабом и холодном Людовике XV нападения ее не прекратились; как, наконец, в безмолвное время грозного Наполеона она одна возвысила свой голос, и приводит в пример известную песню:

Il ètoit un Roi d'Ivetot,
Peu connu dans l'histoire,
Se levant tard, se couchant tôt,
Passant le jour à boire.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Et couronnè par Jeanneton
D'un simple bonnet de coton etc [1].

Признаюсь: вряд ли кому могло войти в голову, чтоб эта песня была сатира на Наполеона. Она очень мила (и чуть ли не лучшая изо всех песен хваленого Béranger), но уж конечно в ней нет и тени оппозиции.

Ответ г. Вильмена, непременного секретаря Академии.

М. г.!

Ваша речь имела успех такой же, как и ваши комедии; здесь встречают вас те же рукоплескания, которые раздаются при вашем имени на всех театрах Франции и почти всей Европы. Академия это предвидела: она была уверена, что избрать вас было делом справедливости и народности. Во всех родах литературы всякая прочная слава дает право на академическое звание; никому не может быть дозволено в продолжение 20 лет безнаказанно морить со смеху публику.

Напрасно, м. г., следуя законам официальной скромности, вы бы стали унижать пред нами постоянные ваши успехи, опираясь на легкую форму ваших сочинений; всё дело в произведении вкуса не в предмете и не в форме—но в таланте. Есть песни, которые гораздо лучше эпической поэмы. Знаменитый академик, которого вы теперь занимаете место и которого вы так удачно характеризовали, после великих трагических произведений отличился особенно своею оригинальностию в эпиграммах, названных им баснею. Этот человек с умом и талантом умел бы оценить всю творческую силу, которая видна в бесчисленных и разнообразных ваших комических произведениях. Он бы не упрекнул вас ни за многих ваших сотрудников, ни за многие прелестные ваши произведения, которые принадлежат не вам одному, но которые без вас никогда бы не существовали. Арно знал, что вкус, который умеет выбирать и

[1] <Жил король в Ивето,
Мало известный в истории;
Он вставал поздно, ложился рано,
Проводил дни в попойках.
И увенчанный Жанетою
Простым ватным колпаком, и пр.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

совершенствовать, есть важная часть изобретения, что мысль вполовину принадлежит тому, кто умеет придать ей настоящую цену. Он с радостию бы принял предложенного вами ему сотрудника—Наполеона, которого краткую и страшную пиитику вы так удачно изобразили.

Только пятый акт В е н е ц и а н ц о в они создали вместе. Если сообщество не было деятельное, то виною тому не генерал Бонапарт, который в первом жару молодости и славы, между победой над Италией, управлением Францией, завоеванием Египта, занимался всем, думал обо всем вдруг, и не знал куда деваться с своими мыслями и изобретениями в ожидании императорского престола. Арно привязался к нему с похода в Италию, со времени трагедии О с к а р, которую послал он героическому обожателю Оссиана. Вскоре потом он принял участие в египетской экспедиции и последовал за кесарем в Александрию. Во время переезда на адмиральском корабле В о с т о к, который нес в себе столько ученых и военных знаменитостей, Арно беспрестанно беседовал с генералом. Говорили о войне, об искусствах, о свободе, о завоевании всего света, о литературе, о трагедии. Бонапарт часто возвращался к этому последнему предмету, для которого он составил себе целую теорию. Политика, общественная польза—вот что по его мнению могло быть единственными предметами трагедии; где дело шло о любви, о сердечных борениях, не исключая и З а и р ы, всё это он причислял к комедии. Арно противился этим нововведениям и однажды после долгого спора, когда генерал сказал ему: «Как бы то ни было, но мне хочется сочинить с вами вместе трагедию».—Охотно,—отвечал Арно,—тогда, когда мы сочиним вместе план сражения!—

Несмотря на эту короткость в обращении, которой бы многие позавидовали, несмотря на доверчивость счастливой звезде завоевателя, Арно не окончил путешествия. Долг дружбы задержал его в Мальте при начале завоевания. Но он был из первых между теми, которые призывали героя из Египта и приготовляли к тому общее мнение.

18-е брюмера Арно находился при Бонапарте одним из ревностных участников военного переворота, который основал империю, и находился при нем без всяких личных расчетов. Литератор в полном смысле слова, несколько беспечный и гордый, Арно не заботился более ни о своей будущности, ни о благосклонности свого покровителя. Сперва остался он в Мальте, а после вдали от политики и императорского двора принял на себя скромную и важ-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ную должность, где его влияние было всегда правосудно и благодетельно.

Свободные часы его были все посвящаемы литературе. Трагический автор школы Д ю с и с а в произведениях своих, он прибавил к древним формам новую степень ужаса, а иногда и простоты. Страстный обожатель Наполеона, он не воспевал его царствования. Великие властители, потрясающие сильно воображение народов, пробуждают его у поэтов уже долго после своей кончины. Одаренный умом колким и насмешливым, способным более к коварным намекам басни, нежели к панегирику, Арно выхвалял Наполеона лишь после его падения и то важным языком истории. Его пристрастие было благоговение к гению и к несчастию; оно вдохнуло ему много красноречивых страниц: он заплатил изгнанием за право написать их. Писатель мирный, враг всех общественных переворотов, он был увлечен бурей, сокрушившей династию.

По этому случаю, в продолжение некоторого времени, он мог не принадлежать более этой Академии, где он имел столько прав на свое место и куда всё его призывало. Он даже возвратился к нам при том правлении, которое так несправедливо изгнало его. Во второй раз услышал он здесь похвалы трудам, прославившим жизнь его, и таланту, которому никакая революция не могла дать отставки. Ему прочли те стихи, которыми означен был первый день его изгнания; и он нашел в рукоплесканиях и в живом соучастии публики сладкую награду своему благородному характеру.

Этот характер вместе с его славою дал ему право на место, требовавшее доверенности, которое опустело между нами после умного и почтенного А н д р и е, место которое требует бескорыстной любви к словесности, призывает иногда к защите ее достоинства и должно быть нераздельно соединено с теми благородными чувствами, которые она внушает душе человека.

Как должны мы сожалеть, что внезапная смерть прекратила эту жизнь в полной ее силе и похитила Арно посреди неоконченных трудов его! Записки, писанные им с таким остроумием и беспечностию, составляют любопытный памятник его старости, и могут выдержать эту неблагодарную и грубую критику, которая всегда ожидает последних произведений художника и поэта. Арно, как умный и нечестолюбивый зритель, замешаный в движения века, не умел ими пользоваться, но видел много вещей и всегда умел оценять их с тою сильною прямотою совести, от которой яснеет самый расчет разума. Ни собственная выгода, ни поли-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тические связи не имели влияния на верность его воспоминаний, на его нравственный инстинкт. Некоторые несчастия прежней королевской династии, может быть, нигде не были описаны с таким живым участием, как в книге Арно, изгнанного из Франции в 1815 году.

Это происходило от того, что чувства справедливости были у него врожденными; и его строки хоть носят иногда печать современных страстей, но дышат всегда откровенностию, которой нельзя не уважать.

Вы поняли и достойно оценили талант вашего предшественника; но ваше поприще, м. г., счастливое и легкое, не может сравниться с его поприщем. Вы, я знаю, уважаете музу науки, ученые труды, успехи, дорого купленные и добываемые с боя. Вы всё это знаете по слухам: для вас литература с молодости была ряд наслаждений, славою, богатством. Это весьма редкая участь, пример опасный, быть может; но его оправдывают ваш талант и характер.

Не бойтесь, м. г., я не буду долго останавливаться на этой счастливой участи; но позвольте мне найти причину ее в вопросе более общем, который вы сейчас предложили себе и разрешили умно и удачно, но может быть, не совсем справедливо. Тайна ваших постоянных успехов заключается, я думаю, в том, что вы счастливо разгадали дух нашего века; вы создали род комедий, с которою он хорошо сроднился, которая походит на него, комедию живую, развязную, быструю; не обширную изящную картину, которую изучить нам не достает времени, а ряд портретов выразительных, которые блеснут, исчезнут, но не забываются. И так, не разделяя мнения, которое вы поддерживаете, не думая, подобно вам, что театр по существу своему должен быть в противоречии с нравами, противоположным полюсом общества, что он не должен походить на публику, чтобы нравиться публике, я, признаюсь вам, придерживаюсь второго мнения и могу опровергнуть ваши доказательства вашими же комедиями.

Без сомнения, одна комедия не составляет полной истории народа; но она объясняет, пополняет эту историю. Она ничего не говорит о политических происшествиях, по крайней мере со времен Аристофана (или, если хотите, со времен Бертрана и Ратона), но она свидетельница духа и нравов народа, у которого родились эти происшествия. Не называя никого по имени, она пишет летопись каждого. Узнали б вы совершенно век Людовика XIV без Мольера? Знали ли бы вы, что был тогда двор, город и особенно Тартюф? Нет ни одной пьесы Мольера, не исключая и фантастической драмы Дон Жуана, которая бы не показала вам

Пушкинский кабинет ИРЛИ

какой-нибудь любопытной стороны народного духа в XVII столетии, не дала бы вам понятия о движении в нравах и не открыла б вам брожения мнений при мнимой тишине этой величественной эпохи?

Впоследствии, м. г., эта мелочная, жеманная драма Дората, Лану, и даже Мариво, которого вы уже слишком смешиваете с ними, уверены ли вы, что она в сильной противоположности с своим временем? XVIII-е столетие, столь полное настоящим и будущим, выражаясь вашими словами, XVIII-е столетие не походило ли в праздности высших классов, в злоупотреблениях ума, в утонченном разврате нравов на натянутую драму, которой оно рукоплескало? И даже не найдем ли мы и в других комедиях того времени, еще более слабых, верного изображения нравов, и может быть достойного наблюдения историков? Что же касается до хороших комедий той же эпохи, то они говорят много, и даже слишком много; например, Свадьба Фигаро, есть бесценное сведение для истории.

Я боюсь, м. г., следуя за вами далее, броситься ради комедии в летописи нашей революции; но и в эту эпоху, этот сентиментальный набор слов, это идолопоклонство с т а р о с т и, д о б р о д е т е л и, д е т с т в у, выводимое на театре во время политических ужасов, не было ли также чертою нравов? Тот же самый наглый обман не повторялся ли в речах трибуны и в программах народных праздников, где священные слова человечества смешивались с гнусными преступлениями;—это были проповеди и гимны новой л и г и.

Мне кажется, м. г., что театр, хорош ли он или дурен, естественен ли он или натянут, всегда, как прежде говорили и доказывали, театр есть драгоценный свидетель для истории нравов и мнений.

В нравах народа заключены его предрассудки, его воспоминания, его сожаления; для этого он иногда ходит в театр искать того, что не выражает настоящего его положения, но говорит ему о том, чего он желает, или что им потеряно. И потому я скажу, м. г., пользуясь вашим же примером: если в мирные времена в о с с т а н о в л е н и я ваши отставные полковники, ваши заслуженные храбрые солдаты были в такой милости у публики, то не от того, что эта картина противоречила духу времени; но, напротив, потому, что льстила ему, лаская обиженное народное самолюбие; проницательный политик мог бы открыть в этих представлениях, принимаемых толпою с восторгом, страсть не потушенную в течение 15 лет, и вдруг вспыхнувшую.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Да, м. г. в ваших же произведениях можно найти эту современную точность, которую вы, отняв у комедии, присвоили одной песне, и сделать вас историком против вашей воли. Впрочем, в этом деле вы приняли все возможные предосторожности: вы соединили песню с комедией, и что ни говори о вашей литературной теории,—со всех сторон вас ожидают рукоплескания.

Я признаюсь, что эта теория делается весьма правдоподобною в последних примерах вами приведенных. В наших глазах, почти в то самое мгновение, когда я говорю, исчезло было это соотношение, это сходство театра с публикою, или, лучше сказать, казалось, что один из них хотел быть развратителем другого. Но в этом отзыве общественному перевороту, в этом бесплодном брожении возмутительных голов, нет ли чего такого, чем бы можно было изъяснить эту потребность сильных потрясений, столь противоположную нашим семейственным нравам, эту потребность, редко удовлетворенную на театре и которая бы уничтожалась сама собой, скукою публики, даже без пособия цензуры? Вы сами, милостивый государь, можете судить лучше других об этом, вы не заражены эпидемиею преувеличения, этой страстию к ложному, вы умеете на свободе соединять остроумие с здравым смыслом, и не нуждаетесь в неблагопристойных сценах для драматического эффекта.

Долгие успехи научили вас этому трудному искусству, от которого вы редко отступали, несмотря на огромное количество пьес, писанных наскоро. Аристократ Буало говорил:

Il faut, même en chanson, du bons sens et de l'art [1].

Этот совет, хотя, кажется, может быть ненужным и лишним в наше время, но тем не менее может быть применен с точностию ко всем родам песни на наших театрах. Ни легкость предмета, ни свобода формы, ни шалость ума, никогда не могут избавить автора от этих двух старинных условий, требуемых Буало: здравого смысла и изящества; и если бы даже они перестали быть принадлежностию больших произведений, то все бы надобно было требовать их соблюдения от водевиля и комической оперы.

Так в прошедшем столетии человек с необработанным талантом, Седен, с помощию здравого смысла и искусства нашел новое место на наших театрах и оставил незабытые

[1] <Даже в песенке требуются здравый смысл и искусство.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

произведения. Вам, м. г., приготовленному с ранних дней изучением литературы, вам предстояло менее усилий и затруднений. К той оригинальности, без которой ни один писатель не может занять сильно публики, вы присоединили изучение хороших образцов; ваши первые произведения, повидимому, импровизированные посреди юной, беспечной веселости, всегда носили на себе отпечаток искусства и были написаны с такой же быстротою, как и со тщанием.

Вы ограничивали ваш талант тесною и легкою рамкою. Оригинальные характеры, свежие, девственные представления нравов—уже были похищены у вас прежними мастерами. Бросая наблюдательный взгляд на наше общество, вы не нашли в нем уже тех резких образов, той борьбы между состояниями, того особенного характера разных классов, столь удобных для высшей комедии; и несмотря на счастливые примеры, вы не решились испытать свою силу в этой изящной сфере искусства. Вас прельщал успех более легкий и скорый. Вместо того, чтоб сосредоточить вашу комическую силу на каком-нибудь предмете, требующем долгого размышления, вы раздробили ее на тысячу мелких блистательных очерков, возобновили ту изобретательную плодовитость испанских поэтов, которых произведения и успехи считались сотнями. Посреди общества, подведенного под один и тот же уровень, но общества деятельного, беспокойного, вы переносили на сцену его мнения, моды, причуды по мере того, как они появлялись пред вами.

Когда трудно было прямо ухватиться за минутную истину, вы часто искусно добирались до ней со стороны; для этого брали, вместо главной черты, мелочные оттенки и умели заставлять публику рукоплескать даже и тому, о чем вы молчали. Многие мелкие пьесы Мольера ценятся знатоками наравне с его большими произведениями. Вы умели быть оригинальным, подражая этим небольшим пьескам; и часто воспоминание или противоположная сторона какой-либо мысли великого поэта подавали вам средство написать целую новую пьесу.

Но особенно в наше время, под парижским горизонтом, в его шумной жизни, в его делах и удовольствиях, на бирже, в литературе, вокруг себя, в происшествиях вчерашнего вечера, вы умели схватить предметы и освятить их вдохновением. Ваш театр приблизился к тем п о с л о в и ц а м гостиных, где общество обрисовывает само себя, и говорит своим ежедневным языком. Но, пока вы писали под диктовку публики, возвращая ей, что она вам давала, сколько удачных и остроумных картин, сколько быстрых

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и живых разговоров обличали ваше участие в этой общей работе.

Вот причина, м. г., почему ваши пьесы забавляют всю Францию, переходят за границу и там переведенные, переделенные, сокращенные, увеличенные, по вкусу разных народов, поддерживают все театры от юга до севера. Везде хохотали, везде с жадностию хватались за ваши произведения. Это служит доказательством, что не костюм и минутные намеки составляют главное в этих совершенно парижских пьесах,—но что в них много истины и много веселости обще-человеческой.

Мне помнится, один знаменитый немецкий критик, слишком строгий к нашим классическим поэтам, может быть, умом и знанием завлеченный в невольный парадокс, предпочитал в полном смысле П р о с и т е л я—М и з а н т р о п у. Я уверен, что вы сами несогласны с этим мнением; но заблуждение, в которое вы ввели такого критика своею остроумною комедиею, служит новым доказательством в вашу пользу; такое заблуждение было бы невозможно, если бы не было много ума и много жизни в этих легких сценах, которые не только играют, но на которые пишут комментарии за границей. Не повторяя слов критика, я не могу однако же не обратить внимания на особенное искусство, с которым ведены ваши важнейшие пьесы, на быстрое и свободное движение вашей драмы, на верность производимых ею впечатлений (хотя разговор и бывает иногда слишком украшен или слишком мелочен), на вашу тайну обрисовывать предмет во всех возможных видах, на ваш разговорный слог, то грациозный, то простой, то трогательный и всегда остроумный.

Какое расстояние от Д и п л о м а т а до В а л е р и и, от L'interieur d'un Bureau до Michel et Christine! Какое разнообразие, иногда какое остроумное нравоучение в многочисленных пьесах, на предмет профанированный старинным театром: на брак! Одна из них, Ж е н и т ь б а п о р а с ч е т у (Le Mariage d'argent), есть настоящая комедия в пяти актах, без куплетов, без с о т р у д н и к о в, поддерживаемая драматическою целостью, единством характеров, истиною разговора, силою оставляемого ею в душе впечатления. Проза не вредит этому творению, так же как и прекрасным комедиям Лессажа и Пикара.

Не надобно спрашивать, м. г., зачем вы не пытались чаще возобновлять эту высшую комедию, которая так удалася вам; у вас не было недостатка ни в таланте, ни в источниках смешного. Даже это поприще расширилось при действии наших общественных переворотов, и вам было воз-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

можно испытать свои силы над политическою комедиею, этою крайнею вольностию театрального искусства. Между большим числом ваших успехов замечательны Bertrand et Raton, сколько по новости предмета, столько и по истине подробностей. Эта пьеса сама собою имела достоинство случайное, оцененное публикою, для которой потребность порядка была чувством народным. Она осмеивала мятеж и живо изображала, какое искусственное волнение и какие мелочные причины могут иногда возмущать спокойствие государства.

Впрочем, м, г., это поприще политической комедии, на котором вы сделали несколько шагов, скоро закрылось, и вы об этом не сожалеете. Вашему таланту, остроумному и разнообразному, не нужно отыскивать смешное в раздорах партий; вы и без этого средства умеете возбудить внимание и покупать победу. Вы еще молоды: публика ожидает от вас многого. Обратится ли ваш талант к успехам более редким, или возобновит прежние, академия во всяком случае не будет сожалеть о своем выборе. Ибо честь и жизнь литературного общества тогда только возможны, когда оно привлекает к себе все роды знаменитостей, узаконенных публикою. Это различные формы, в которых является состояние искусства в какой-либо нации. Не все приходят вдруг и не всякий принимает в этом деле одинаковое с другим участие; строгому вкусу, глубокой учености должно быть место возле смелого таланта; возле людей, посвятивших себя словесности для самой словесности, должны быть люди, для которых она лишь средство действия на трибуне, в суде и в театре. Все эти различные роды соприкасаются один к другому и соединяются: сие-то самое смешение и составляет характер академии. Каждая наша потеря, как и всякий наш выбор, более и более утверждают нас в этой мысли. Некогда из среды нас был похищен оратор, которого важное, возвышенное слово, громко прозвучав в национальных собраниях, тихо раздавалось в наших мирных беседах, муж доблестный и красноречивый, сохранивший всеобщее уважение и в отдалении от дел, и даже при кормиле правления. Кто возвратит нам Лене?[1]

По крайней мере да огласятся эти стены нашим сето-

[1] Французская академия на место умершего Лене выбрала г. Дюпати мимо представлявшихся кандидатами Балланша, Виктора Гюго и Моле, Академия имела на то, вероятно ей известные, причины. Мы же не знаем что такое г. Дюпати.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ванием и да простят нам, что мы поспешили воспользоваться этим случаем, чтобы гласно принести дань нашего благоговения на его смиренную и еще свежую могилу.

МНЕНИЕ М. Е. ЛОБАНОВА О ДУХЕ СЛОВЕСНОСТИ, КАК ИНОСТРАННОЙ, ТАК И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

(Читано им 18 января 1836 г. в Императорской Российской Академии.

Г. Лобанов заблагорассудил дать своему мнению форму неопределенную, вовсе неакадемическую: это краткая статья, в роде *журнальных отметок*, помещаемых в *Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду*. Может статься, то, что хорошо в журнале, покажется слишком легковесным, если будет произнесено в присутствии всей академии и торжественно потом обнародовано. Как бы то ни было, мнение г. Лобанова заслуживает и даже требует самого внимательного рассмотрения.

«Любовь к чтению и желанию образования (так начинается статья г. Лобанова) сильно увеличились в нашем отечестве в последние годы. Умножились типографии, умножилось число книг; журналы расходятся в большем количестве; книжная торговля распространяется».

Находя событие сие *приятным для наблюдателя успехов в нашем отечестве*, г. Лобанов изрекает неожиданное обвинение. «Беспристрастные наблюдатели»—говорит он—«носящие в сердцах своих любовь ко всему, что клонится к благу отечества, преходя в памяти своей всё, в последние времена ими читанное, не без содрогания могут сказать: есть и в нашей новейшей словесности некоторый отголосок безнравия и нелепостей, порожденных иностранными писателями».

Г. Лобанов, не входя в объяснение того, что разумеет он под словами *безнравие и нелепость*,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

продолжает: «Народ заимствует у народа, и заимствовать полезное, подражать изящному—предписывает благоразумие. Но что ж заимствовать ныне (говорю о чистой словесности) у новейших писателей иностранных? Они часто обнажают такие нелепые, гнусные и чудовищные явления, распространяют такие пагубные и разрушительные мысли, о которых читатель до тех пор не имел ни малейшего понятия, и которые насильственно влагают в душу его зародыш безнравия, безверия и следовательно будущих заблуждений или преступлений».

«Уже ли жизнь и кровавые дела разбойников, палачей и им подобных, наводняющих ныне словесность в повестях, романах, в стихах и прозе, и питающих одно только любопытство, представляются в образец для подражания? Уже ли отвратительнейшие зрелища, внушающие не назидательный ужас, а омерзение, возмущающее душу, служат в пользу человечеству? Уже ли истощилось необъятное поприще благородного, назидательного, доброго и возвышенного, что обратились к нелепому, *отвратному* (?), омерзительному и даже ненавистному?»

В подтверждение сих обвинений г. Лобанов приводит известное мнение эдимбургских журналистов о *нынешнем состоянии французской словесности*. При сем случае своды Академии огласились собственными именами Жюль-Жанена, Евгения Сю и прочих; имена сии снабжены были странными прилагательными... Но что, если (паче всякого чаяния) статья г. Лобанова будет переведена, и сии господа увидят имена свои, напечатанные в отчете Императорской Российской Академии? Не пропадет ли втуне всё красноречие нашего оратора? Не в праве ли будут они гордиться такой честию неожиданной, неслыханной в летописях

Пушкинский кабинет ИРЛИ

европейских академий, где доселе произносились имена только тех из живых людей, которые воздвигнули себе вековечные памятники своими талантами, заслугами и трудами? (Академии безмолствовали о других). Критическая статья английского аристарха напечатана была в журнале; там она заняла ей приличное место и произвела свое действие. У нас *Библиотека* перевела ее, и хорошо сделала. Но тут и надлежало остановиться.

Есть высоты, с которых не должны падать сатирические укоризны; есть звания, которые налагают на вас обязанность умеренности и благоприличия, независимо от надзора цензуры, sponte sua, sine lege [1].

«Для Франции»—пишет г. Лобанов—«для народов, отуманенных гибельною для человечества новейшею философиею, огрубелых в кровавых явлениях революций и упавших в омут душевного и умственного разврата, самые отвратительнейшие зрелища, например: гнуснейшая из драм, омерзительнейший хаос ненавистного бесстыдства и кровосмешения, *Лукреция Борджиа*, не кажутся им таковыми; самые разрушительные мысли для них не столь заразительны: ибо они давно ознакомились и, так сказать, срослись с ними в ужасах революций».

Спрашиваю: можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему? Народ, который произвел Фенелона, Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье,—который и ныне гордится Шатобрианом и Балланшем; народ, который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галламу противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Гизо; народ, который оказывает столь силь-

[1] <По собственному почину, без давления закона. Весь абзац этот из текста «Современника» был исключен.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия,—ужели весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большею частию молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей? Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображениям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине, о собственном убеждении. Но нравственное чувство, как и талант, дается не всякому. Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на *преступные* и на *неподлежащие никакой ответственности*. Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках, и тому подобном: закон также не вмешивается в предметы избираемые писателем, не требует, чтоб он описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача, выхвалял счастие супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого. Вопреки мнению г. Лобанова, мы не думаем, чтоб нынешние писатели *представляли разбойников и палачей в образец для подражания*. Лесаж, написав «Жильблаза» и «Гусмана д'Альфараш», конечно, не имел намерения преподавать уроки в воровстве и в плутнях. Шиллер сочинил своих «Разбойников»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вероятно не с тою целию, чтоб молодых людей вызвать из университетов на большие дороги. Зачем же и в нынешних писателях предполагать преступные замыслы, когда их произведения просто изъясняются желанием занять и поразить воображение читателя? Приключения ловких плутов, страшные истории о разбойниках, о мертвецах и пр. всегда занимали любопытство не только детей, но и взрослых ребят, а рассказчики и стихотворцы исстари пользовались этой наклонностию души нашей.

Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, *опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений* [1]. В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время революции литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого Восстановления (Restauration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствовав своенравным уставом, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону и забвение всяких правил стала почитать законною свободой. Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы *польза* есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожалась. Почувствовали, что цель художества есть *идеал*, а не *нравоучение*. Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой, и положили,

---

[1] «Современник», № 1: «О движении журнальной литературы».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

что и нравственное безобразие может быть целию поэзии, т. е. идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели и наказание порока были непременным условием всякого их вымысла: нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие. Такой поверхностный взгляд на природу человеческую обличает, конечно, мелкомыслие и вскоре так же будет смешон и приторен, как чопорность и торжественность романов Арно и г-жи Котен. Покамест он еще нов, и публика, т. е. большинство читателей, с непривычки, видит в нынешних романистах глубочайших знатоков природы человеческой. Но уже «словесность отчаяния» (как назвал ее Гете), «словесность сатаническая» (как говорит Соувей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр.,—эта словесность, давно уже осужденная критикою, начинает упадать даже и во мнении публики.

Французская словесность, со времен Кантемира имевшая всегда прямое или косвенное влияние на рождающуюся нашу литературу, должна была отозваться и в нашу эпоху. Но ныне влияние ее было слабо. Оно ограничилось только переводами и кой-какими подражаниями, не имевшими большого успеха. Журналы наши, которые, как и везде, правильно и неправильно управляют общим мнением, вообще оказались противниками новой романической школы. Оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к роду нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер-Скотт служили им образцами, а не Бальзак и не Жюль-Жанен. Поэзия осталась чужда влиянию французскому; она более и более дружит-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ся с поэзией германскою и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики.

«Останавливаясь на духе и направлении нашей словесности»— продолжает г. Лобанов—«всякой просвещенный человек, всякой благомыслящий русский видит: в теориях наук—сбивчивость, непроницаемую тьму и хаос несвязных мыслей; в приговорах литературных—совершенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже буйство. Приличие, уважение, здравый ум отвергнуты, забыты, уничтожены. Романтизм, слово до сих пор неопределенное, но слово магическое, сделался для многих эгидою совершенной безотчетливости и литературного сумасбродства. Критика, сия кроткая наставница и добросовестная подруга словесности, ныне обратилась в площадное гаерство, в литературное пиратство, в способ добывать себе поживу из кармана слабоумия дерзкими и буйными выходками, не редко даже против мужей государственных, знаменитых и гражданскими и литературными заслугами. Ни сан, ни ум, ни талант, ни лета, ничто не уважается. Ломоносов слывет педантом. Величайший гений, оставивший в достояние России высокую песнь богу, песнь, которой нет равной ни на одном языке народов вселенной, как бы не существует для нашей словесности: он, как бы *бесталанный* (г. Лобанов, вероятно, хотел сказать *бесталантный*), оставлен без внимания. Имя Карамзина, мудреца глубокого, писателя добросовестного, мужа чистого сердцем, предано глумлению...»

Конечно, критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Она редко сохраняет важность и приличие, ей свойственные; может быть, ее решения часто внушены расчетами, а не убеждением. Неуважение к именам, освященным славою (первый признак невежества и слабомыслия), к несча-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стию, почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удальством. Но и тут г. Лобанов сделал несправедливые указания: у Ломоносова оспоривали (весьма неосновательно) титло поэта, но никто нигде, сколько я помню, не называл его педантом: напротив, ныне вошло в обыкновение хвалить в нем мужа ученого, унижая стихотворца. Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного. Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности.

Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века, но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и, хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно.

«Не стану говорить ни о господствующем вкусе, ни о понятиях и учениях об изящном. Первый явно везде и во всем обнаруживается и всякому известен; а последние так сбивчивы и превратны, в новейших эфемерных и разрушающих одна другую системах, или так спутаны в суесловных мудрованиях, что они непроницаемы для здравого разума. Ныне едва ли верят, что изящное, при некоторых только изменениях форм, было и есть одно и то же для всех веков и народов; что Гомеры, Данты, Софоклы, Шекспиры, Шиллеры, Расины,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Державины, несмотря на различие их форм, рода, веры и нравов, все созидали изящное и для всех веков; что писатели, романтики ли они или классики, должны удовлетворять ум, воображение и сердце образованных и просвещенных людей, а не одной толпы несмысленной, плещущей без разбора и гаерам подкачельным. Нет, ныне проповедуют, что ум человеческий далеко ушел вперед, что он может оставить в покое древних и даже новейших знаменитых писателей, что ему не нужны руководители и образцы, что ныне всякий пишущий есть самобытный гений,—и под знаменем сего ложного учения, поражая великих писателей древности именем тяжелых и приторных классиков (которые однакож за тысячи лет пленяли своих сограждан и всегда будут давать много возвышенных наслаждений своему читателю), под знаменем сего ложного учения, новейшие писатели безотчетно омрачают разум неопытной юности и ведут к совершенному упадку и нравственность и словесность».

Оставляя без возражения сию филиппику, не могу не остановиться на заключении, выведенном г. Лобановым изо всего им сказанного:

«По множеству сочиняемых ныне безнравственных книг цензуре предстоит непреодолимый труд проникнуть все ухищрения пишущих. Не легко разрушить превратность мнений в словесности и обуздать дерзость языка, если он, движимый злонамеренностию, будет провозглашать нелепое и даже вредное. Кто ж должен содействовать в сем трудном подвиге? Каждый добросовестный русский писатель, каждый просвещенный отец семейства, а всего более Академия, для сего самого учрежденная. Она, движимая любовию к государю и отечеству, имеет право, на ней лежит долг неослабно обнаруживать, поражать и разрушать

Пушкинский кабинет ИРЛИ

зло, где бы оно ни встретилось на поприще словесности. *Академия* (сказано в ее Уставе, гл. III, § 2, и во всеподданнейшем докладе § III), *яко сословие, учрежденное для наблюдения нравственности, целомудрия и чистоты языка, разбор книг, или критические суждения, долженствует почитать одною из главнейших своих обязанностей.* И так, милостивые государи, каждый из почтенных сочленов моих да представляет для рассмотрения и напечатания в собрания сей Академии, согласно с ее Уставом, разборы сочинений и суждения о книгах и журналах новейшей нашей словесности и, тем содействуя общей пользе, да исполняет истинное назначение сего высочайше утвержденного сословия».

Но где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие, злонамеренные писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, на коих основано благоденствие общества? И можно ли укорять у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Мы знаем противное[1]. Вопреки мнению г. Лобанова, цензура не должна *проникать все ухищрения* пишущих. «Цензура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора *и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речей, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону*» (Устав о Цензуре, § 6). Такова была высочайшая воля, даровавшая нам литературную собственность и законную свободу мысли! Если с первого взгляда сие основное правило нашей цензуры и может показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово

[1] <Последние три слова из печатного текста были изъяты.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

может быть перетолковано в худую сторону. *Нелепое*, если оно просто нелепо, а не заключает в себе ничего противного вере, правительству, нравственности и чести личной, не подлежит уничтожению цензуры. Нелепость, как и глупость, подлежит осмеянию общества и не вызывает на себя действия закона. Просвещенный отец семейства не даст в руки своим детям многих книг, дозволенных цензурою: книги пишутся не для всех возрастов одинаково. Некоторые моралисты утверждают, что и восьмнадцатилетней девушке нельзя позволить чтение романов: из того еще не следует, чтоб цензура должна была запрещать все романы. Цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного, а не докучливая нянька, следующая по пятам шаловливых ребят.

Заключим искренним желанием, чтобы Российская Академия, уже принесшая истинную пользу нашему прекрасному языку и совершившая столь много знаменитых подвигов, ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных—наказывая одним ей приличным оружием:[1] невниманием.

ВОЛЬТЕР

(Correspondance inédite de Voltaire avec le président de Brosses, etc. Paris 1836)[2].

Недавно издана в Париже переписка Вольтера с президентом де Броссом. Она касается покупки земли, совершенной Вольтером в 1758 году.

---

[1] <Предпоследние три слова из «Современника» были изъяты.>

[2] <Неизданная переписка Вольтера с президентом де Бросеом, и проч. Париж, 1836.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были ничто иное, как отрывок из расходной тетради или записки к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Но, кажется, одному Вольтеру предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую вас смеяться, и передать сделкам и купчаям всю заманчивость остроумного памфлета. Судьба на столь забавного покупщика послала продавца не менее забавного. Президент де Бросс есть один из замечательнейших писателей прошедшего столетия. Он известен многими учеными сочинениями[1], но лучшим из его произведений мы почитаем письма, им написанные из Италии в 1730—1740 и недавно вновь изданные под заглавием: «L'Italie il y a cent ans». В этих дружеских письмах де Бросс обнаружил необыкновенный талант. Ученость истинная, но никогда не отягощенная педантизмом, глубокомыслие, шутливая острота, картины, набросанные с небрежением, но живо и смело, ставят его книгу выше всего, что писано было в том же роде.

Вольтер, изгнанный из Парижа, принужденный бежать из Берлина, искал убежища на берегу

---

[1] Histoire des navigations aux terres australes; Traité de la formation mécanique des langues; Histoire du VII siècle de la République Romaine; Traité du culte des dieux fétiches, и проч.

<История морских плаваний в южные земли. Трактат о механическом образовании языков; История VII века Римской республики; Трактат о культе богов-фетишей.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Женевского озера. Слава не спасала его от беспокойств. Личная свобода его была не безопасна; он дрожал за свои капиталы, розданные им в разные руки. Покровительство маленькой мещанской республики не слишком его ободряло. Он хотел на всякий случай помириться с своим отечеством и желал (пишет он сам) иметь одну ногу в монархии, другую в республике—дабы перешагать туда и сюда, смотря по обстоятельствам. Местечко Турне (Tournoy), принадлежавшее президенту де Бросс, обратило на себя его внимание. Он знал президента за человека беспечного, расточительного, вечно имеющего нужду в деньгах, и вступил с ним в переговоры следующим письмом:

«Я прочел с величайшим удовольствием то, что вы пишете об Австралии; но позвольте сделать вам предложение, касающееся твердой земли. Вы не такой человек, чтоб Турне могло приносить вам доход. Шуэ, ваш арендатор, думает уничтожить свой контракт. Хотите ли продать мне землю вашу пожизненно? Я стар и хвор. Я знаю, что дело это для меня невыгодно, но вам оно будет полезно, а мне приятно—и вот условия, которые вздумалось мне повергнуть вашему благоусмотрению.

«Обязуюсь из материалов вашего прегадкого замка выстроить хорошенький домик. Думаю на то употребить 25.000 ливров. Другие 25.000 ливров заплачу вам чистыми деньгами.

«Все, чем украшу землю, весь скот, все земледельческие орудия, коими снабжу хозяйство, будут вам принадлежать. Если умру, не успев выстроить дом, то у вас останутся в руках 25.000 ливров, и вы достроите его, коли вам будет угодно. Но я постараюсь прожить еще два года, и тогда вы будете даром иметь очень порядочный домик.

«Сверх сего обязуюсь прожить не более четырех или пяти лет.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«В замен сих честных предложений, требую вступить в полное владение вашим движимым и недвижимым имением, правами, лесом, скотом[1] и даже каноником, до самого того времени, как он меня похоронит. Если этот забавный торг покажется вам выгодным, то вы одним словом можете утвердить его не на шутку. Жизнь слишком коротка: дела не должны длиться.

«Прибавлю еще слово Я украсил мою норку, прозванную les Délices[2]; я украсил дом в Лозане; то и другое теперь стоит вдвое противу прежней цены: то же сделаю и с вашей землею. В теперешнем ее положении вы никогда ее с рук не сбудете.

«Во всяком случае прошу вас сохранить всё это в тайне, и честь имею», и проч.

Де Бросс не замедлил своим ответом. Письмо его, как и Вольтерово, исполнено ума и веселости.

«Если бы я был в вашем соседстве (пишет он) в то время, как вы поселились так близко к городу[3], то, восхищаясь вместе с вами физическою красотою берегов вашего озера, я бы имел честь шепнуть вам на ухо, что нравственный характер жителей требовал, чтобы вы поселились во Франции, по двум важным причинам: во-первых, потому что надобно жить у себя дома, во-вторых, потому что не надобно жить у чужих. Вы не можете вообразить, до какой степени эта республика заставляет меня любить монархии... Я бы вам и тогда предложил свой замок, еслиб он был вас достоин; но замок мой не имеет даже чести быть древностию: это просто *ветошь*. Вы вздумали возвратить ему юность, как Мемнону: я очень одобряю ваше предположение. Вы не знаете, может быть, что г. д'Ар-

[1] <Слово это из печатного текста было изъято.>
[2] <Отрада.>
[3] Вольтер в 1755 году купил les Délices sur St. Jean, близ самой Женевы.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жанталь имел для вас то же намерение.—Приступим к делу».

Тут де Бросс разбирает одно за другим все условия, предлагаемые Вольтером; с иными соглашается, другим противоречит, обнаруживая сметливость и тонкость, которых Вольтер от президента, кажется, не ожидал. Это подстрекнуло его самолюбие. Он начал хитрить; переписка завязалась живее. Наконец 15 декабря купчая была совершена.

Эти письма, заключающие в себе переговоры торгующихся, и несколько других, писанных по заключении торга, составляют лучшую часть переписки Вольтера с де Броссом. Оба друг перед другом кокетничают; оба поминутно оставляют деловые запросы для шуток самых неожиданных, для суждений самых искренних о людях и происшествиях современных. В этих письмах Вольтер является Вольтером, т. е. любезнейшим из собеседников: де Бросс—тем острым писателем, который так оригинально описал Италию в ее правлении и привычках, в ее жизни художественной и сладострастной.

Но вскоре согласие между новым хозяином земли и прежним ее владельцем было прервано. Война, как и многие другие войны, началась от причин маловажных. Срубленные деревья осердили нетерпеливого Вольтера; он поссорился с президентом, не менее его раздражительным. Надобно видеть, что такое гнев Вольтера! Он уже смотрит на де Бросса, как на врага, как на Фрерона, как на великого инквизитора. Он собирается его погубить: «qu'il tremble!»—восклицает он в бешенстве—«il ne s'agit pas de le rendre ridicule: il s'agit de le déshonorer!»[1] Он жалуется, он плачет, он скреже-

[1] <Пусть он трепещет!.. Дело идет не о том, чтобы его высмеять, а о том, чтобы его обесчестить!>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щет... а всё дело в двухстах франках. Де Бросс с своей стороны не хочет уступить вспыльчивому философу; в ответ на его жалобы, он пишет знаменитому старцу надменное письмо, укоряет его в природной дерзости, советует ему в минуты сумасшествия воздерживаться от пера, дабы не краснеть опомнившись потом, и оканчивает письмо желанием Ювенала:

Mens sana in corpore sano[1].

Посторонние вмешиваются в распрю соседей. Общий их приятель, г. Рюфе, старается усовестить Вольтера и пишет к нему едкое письмо (которое, вероятно, диктовано самим де Броссом): «Вы боитесь быть обманутым»—говорит г. Рюфе—«но из двух ролей это лучшая... Вы не имели никогда тяжеб: они разорительны, даже когда их и выигрываем... Вспомните устрицу Лафонтена и пятую сцену второго действия в *Скапиновых Обманах*[2]. Сверх адвокатов, вы должны еще опасаться и литературной черни, которая рада будет на вас броситься...

Вольтер первый утомился и уступил. Он долго дулся на упрямого президента и был причиною тому, что де Бросс не попал в Академию (что в то время много значило). Сверх того Вольтер имел удовольствие его пережить: де Бросс, младший из двух пятнадцатью годами, умер в 1777 году, годом прежде Вольтера.

Несмотря на множество материалов, собранных для истории Вольтера (их целая библиотека),

---

[1] <Здоровый дух в здоровом теле.>

[2] Сцену, в которой Леандр заставляет Скапина на коленях признаваться во всех своих плутнях.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

как человек деловой, капиталист и владелец, он еще весьма мало известен. Ныне изданная переписка открывает многое. «Надобно видеть»—пишет издатель в своем предисловии,—«как баловень Европы, собеседник Екатерины Великой и Фридерика II, занимается последними мелочами для поддержания своей местной важности; надобно видеть, как он в праздничном кафтане въезжает в свое графство, сопровождаемый своими обеими племянницами (*которые все в бриллиантах*); как выслушивает он речь своего священника и как новые подданные приветствуют его пальбой из пушек, взятых на прокат у Женевской республики. Он в вечной распре со всем местным духовенством. *Габель* (налог на соль) находит в нем тонкого и деятельного противника. Он хочет быть банкиром своей провинции. Вот он пускается в спекуляции. У него свои дворяне: он шлет их посланниками в Швейцарию. И всё это его ворочает; он искренно тревожится обо всем с этой раздражительностию страстей, исключительно ему свойственной. Он расточает то искусные рассуждения адвоката, то прицепки прокурора, то хитрости купца, то гиперболы стихотворца, то порывы истинного красноречия. Письмо его к президенту о драке в кабаке право напоминает его заступление за семейство Коласа».

В одном из этих писем встретили мы неизвестные стихи Вольтера. На них легкая печать его неподражаемого таланта. Они писаны соседу, который прислал ему розаны.

Vos rosiers sont dans mes jardins,
Et leurs fleurs vont bientôt paraître.
Doux asile où je suis mon maître!
Je renonce aux lauriers si vains,
Qu'à Paris j'aimais trop peut-être.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Je me suis trop piqué les mains
Aux épines qu'ils ont fait naître[1].

Признаемся в рококо нашего запоздалого вкуса: в этих семи стихах мы находим более *слога*, более жизни, более мысли, нежели в полдюжине длинных французских стихотворений, писанных в нынешнем вкусе, где мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его—несносным однообразием, а остроумие—площадным цинизмом или вялой меланхолией.

Вообще переписка Вольтера с де Броссом представляет нам творца Меропы и Кандида с его милой стороны. Его притязания, его слабости, его детская раздражительность—всё это не вредит ему в нашем воображении. Мы охотно извиняем его и готовы следовать за всеми движениями пылкой его души и беспокойной чувствительности. Но не такое чувство рождается при чтении писем, приложенных издателем к концу книги, нами разбираемой. Эти новые письма найдены в бумагах г. де ла Туша, бывшего французским посланником при дворе Фридерика II (в 1752 г.)

В это время Вольтер не ладил с *Северным Соломоном*[2], своим прежним учеником. Мопертюи, президент Берлинской Академии, поссорился с профессором Кенигом. Король взял сторону своего президента; Вольтер заступился за профессора. Явилось сочинение без имени автора, под загла-

[1] <Ваши розовые кусты—в моих садах,
И на них скоро появятся цветы,—
Сладостный приют, где я хозяин себе!
Я отказываюсь от суетных лавров,
Которые слишком, быть может, любил в Париже.
Я слишком исколол себе руки
Шипами, которые выросли на них.>

[2] Так называл Вольтер Фридерика II в хвалебных своих посланиях.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вием *Письмо к Публике.* В нем осуждали Кенига и задевали Вольтера. Вольтер возразил и напечатал свой колкий ответ в немецких журналах. Спустя несколько времени, «Письмо к Публике» было перепечатано в Берлине с изображением короны, скиптра и прусского орла на заглавном листе. Вольтер только тогда догадался, с кем имел он неосторожность состязаться, и стал помышлять о благоразумном отступлении. Он видел в поступках короля явное к нему охлаждение и предчувствовал опалу. «Я стараюсь тому не верить»— писал он в Париж к д'Аржанталю,—«но боюсь быть подобну рогатым мужьям, которые силятся уверить себя в верности своих жен. Бедняжки втайне чувствуют свое горе!» Несмотря на свое уныние, он однакож не мог удержаться, чтоб еще раз не задеть противников. Он написал самую язвительную из своих сатир (La Diatribe du Dr. Akakia)[1] и напечатал ее, выманив обманом позволение на то от самого короля.

Следствия известны. Сатира, по повелению Фридерика, сожжена была рукою палача. Вольтер уехал из Берлина, задержан был во Франкфурте прусскими приставами, несколько дней находился под арестом, и принужден был выдать стихотворения Фридерика, напечатанные для немногих, и между коими находилась сатирическая поэма против Людовика XV и его двора.

Вся эта жалкая история мало приносит чести философии. Вольтер, во всё течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. В его молодости заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли привлечь на его особу сострадания и сочувствия, в которых почти никогда не отказывали стражду-

[1] <Памфлет доктора Акакия.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щему таланту. Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей. Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на своенравные[1] милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?..

К чести Фридерика II скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление.

До сих пор полагали, что Вольтер сам от себя, в порыве благородного огорчения, отослал Фридерику каммергерский ключ и прусский орден, знаки непостоянных его милостей; но теперь открывается, что король сам их потребовал обратно. Роль переменена: Фридерик негодует и грозит, Вольтер плачет и умоляет...

Что́ из этого заключить? Что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет, и что наконец независимость и самоуважение одни могут нас

[1] <Эпитет «своенравные» из текста «Современника» был изъят.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы.

ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕГИИ[1] СТИХОТВОРЕНИЯ ВИКТОРА ТЕПЛЯКОВА 1836.

В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона, и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять? Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение— признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения,—или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь[2].

Нет сомнения, что фантастическая тень Чильд-Гарольда сопровождала г. Теплякова на корабле, принесшем его к Фракийским берегам. Звуки прощальных строф

Adieu, adieu, my native land![3]

отзываются в самом начале его песень:

Плывем!.. Бледнее день; бегут брега родные;
Златой струится блеск по синему пути;
Прости, земля! прости, Россия!
Прости, о родина, прости!

[1] Отпечатаны и на-днях поступят в продажу.

[2] Вычеркнуто: Так Брюлов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с пламенным и благородным подобострастием описывал Афинскую школу Рафаэля. А между тем, в голове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по тесной улице, чудно освещенной Волканом.

[3] <Прости, прости, родная земля.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но уже с первых стихов поэт обнаруживает самобытный талант:

Безумец! что за грусть? В минуту разлученья
Чьи слезы ты лобзал на берегу родном?
Чьи слышал ты благословенья?
Одно минувшее мудреным, тяжким сном
В тот миг душе твоей мелькало,
И юности твоей избитый бурей челн,
И бездны, перед ней отверстые, казало!—
Пусть так! Но грустно мне! Как плеск угрюмых волн
Печально в сердце раздается!
Как быстро мой корабль в чужую даль несется!
О, лютня странника, святой от грусти щит,
Приди, подруга дум заветных!
Пусть в каждом звуке струн приветных
К тебе душа моя, о родина, летит!

I

Пускай на юность ты мою
Венец терновый наложила—
О мать! душа не позабыла
Любовь старинную твою!
Теперь—сны сердца, прочь летите!
К отчизне душу не маните!
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

II

Как жадно вольной грудью я
Пью беспредельности дыханье!
Лазурный мир! в твоем сиянье
Сгорает, тонет мысль моя!
Шумите, парусы, шумите!
Мечты о родине, молчите:
Там никому меня не жаль!
Синей, синей чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

III

Увижу я страну богов;
Красноречивый прах открою;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И зашумит передо мною
Рой незапамятных веков!
Гуляйте ж, ветры, не молчите!
Утесы родины, простите!
Там никому меня не жаль!
Синей, синей, чужая даль!
Седые волны, не дремлите!

Тут есть гармония, лирическое движение, истина чувств!

Вскоре поэт плывет мимо берегов, прославленных изгнанием Овидия; они мелькают перед ним на краю волн,

Как пояс желтый и струистый.

Поэт приветствует незримую гробницу Овидия стихами слишком небрежными:

Святая тишина Назоновой гробницы
Громка, как дальний шум победной колесницы!
О! кто средь мертвых сих песков
Мне славный гроб его укажет?
Кто повесть мук его расскажет—
Степной ли ветр, иль плеск валов,
Иль в шуме бури глас веков?..
Но тише... тише... что за звуки?
Чья тень над бездною седой
Меня манит, подъемля руки,
Качая тихо головой?
У ног лежит венец терновый (!),
В лучах сияет голова,
Белее волн хитон *перловый*,
Святей их ропота слова,—
И под эфирными перстами
О древних людях, с их бедами,
Златая лира говорит.
Печально струн ее бряцанье:
В нем *сердцу слышится изгнанье*;
В нем *стон о родине звучит*,
Как плач души без упованья,

Тишина гробницы, громкая как дальний шум колесницы; стон, звучащий как плач души; слова,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

которые сеятее ропота волн... всё это не точно, фальшиво, или просто ничего не значит.

Гресет в одном из своих посланий пишет:

Je cesse d'estimer Ovide.
Quand il vient sur de faibles tons
Méchanter, pleureur insipide,
De longues lamentations[1].

Книга Tristium не заслуживала такого строгого осуждения. Она выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидиевых (кроме «Превращений»). Героиды, элегии любовные, и самая поэма «Ars amandi», мнимая причина его изгнания, уступают «Элегиям Понтийским». В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности, и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли! Сколько живости в подробностях! И какая грусть о Риме! Какие трогательные жалобы! Благодарим г. Теплякова за то, что он не ищет блистать душевной твердостию на счет бедного изгнанника, а с живостию заступается за него.

И ты ль тюремный вопль, о странник! назовешь
Ласкательством души уничиженной?—
Нет, сам терновою стезею ты идешь,
Слепой судьбы проклятьем пораженный!..

Подобно мне (Овидию), ты сир и одинок меж всех
И знаешь сам хлад жизни без отрады;
Огнь сердца без тепла, и без веселья смех,
И плач без слез, и слезы без услады!

Песнь, которую поэт влагает в уста Назоновой тени, имела бы более достоинства, если бы г. Теп-

[1] < Я перестаю ценить Овидия,
Когда он начинает вяло
Изливать,—несносный плакса,—
Свои тягучие жалобы.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ля́ков бо́лее сообража́лся́ с хара́ктером О́видия́, так искренно обнаруженным в его *плаче*. Он не сказал бы, что при набегах гетов и бессов поэт

Радостно на смертный мчался бой.

Овидий добродушно признается, что он и с молоду не был охотник до войны, что тяжело ему под старость покрывать седину свою шлемом и трепетной рукою хвататься за меч при первой вести о набеге. (См. Trist. Lib. IV. El. 1.).

Элегия «Томис» оканчивается прекрасными стихами:

Не буря ль это, кормчий мой?
Уж через мачты море хлещет,
И пред чудовищной волной,
Как пред тираном раб немой,
Корабль твой гнется и трепещет,
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
«Вели стрелять! Быть может, нас
Какой-нибудь в сей страшный час
Корабль услышит отдаленный!»—
И грянул знак... и всё молчит,
Лишь море бьется и кипит,
Как тигр бросаясь разъяренный;—
Лишь ветра свист, лишь бури вой,
Лишь с неба голос громовой
Толпе ответствуют смятенной.
«Мой кормчий, как твой бледен лик!»
— Не ты ль дерзнул бы в этот миг,
О, странник, буре улыбаться?—
«Ты отгадал!..» Я сердцем с ней
Желал бы каждый миг сливаться;
Желал бы в бой стихий вмешаться!..
Но нет,—и громче, и сильней
Святой призыв с другого света,
Слова погибшего поэта
Теперь звучат в душе моей!

Вскоре из глаз поэта исчезают берега, с которых низвергаются в море воды семиустного Дуная.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Как стар сий шумный Истр! *Чела его морщины*
Седых веков скрывают рой;
Во мгле их Дария мелькает челн немой,
Мелькают и орлы Траяновой дружины.
Скажи, сафирный бог, над брегом ли твоим,
По дебрям и горам, сквозь бор необозримый,
Средь тучи варваров, на этот вечный Рим
Летел Сатурн неотразимый?
Не ты ль спирал свой быстрый бег
Народов с бурными волнами,
И твой ли в их крови *не растопился* брег,
Племен бесчисленных усеянный костями?

Хотите ль знать, зачем, куда,
И из какой глуши далекой
Неслась их бурная чреда,
Как лавы огненной потоки?
— Спросите вы, зачем к садам,
К богатым нивам и лугам
По ветру саван свой летучий
Мчат саранчи голодной тучи;
Спросите молнию, куда она летит,
Откуда ураган крушительный бежит,
Зачем кочует вал ревучий!

Следует идиллическая, немного бледная картина народа кочующего; размышления при виде развалин Венециянского замка имеют ту выгоду, что напоминают некоторые строфы из четвертой песни Чильд-Гарольда, строфы, слишком сильно врезанные в наше воображение. Но вскоре поэт снова одушевляется.

Улегся ветер; вод стекло
Ясней небес лазурных блещет,
Повисший парус наш, как лебедя крыло,
Свинцом охотника пронзенное, трепещет.
Но что за гул?.. Как гром глухой,
Над тихим морем он раздался.—
То грохот пушки заревой.
Из русской Варны он примчался!
О радость! завтра мы узрим
Страну поклонников пророка;
Под небом вечно голубым
Упьемся воздухом твоим,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Земля роскошного Востока!
И в темных миртовых садах,
Фонтанов мраморных при медленном журчаньи,
При соблазнительных луны твоей лучах,
В твоем, о юная невольница, лобзаньи
Цветов родной твоей страны,
Живых восточных роз отведаем дыханье
И жар, и свежесть их весны!..

Элегия «Гебеджинские Развалины», по мнению нашему, лучшая изо всех. В ней обнаруживается необыкновенное искусство в описаниях, яркость в выражениях и сила в мыслях. Пользуясь нам данным позволением, выписываем большую часть этой элегии.

Столбов, поникнувших седыми головами,
Столбов у тленности угрюмой на часах,
Стоящих пасмурно над падшими столбами—
Повсюду сумрачный Дедал в моих очах!
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Дружины мертвецов гранитных!
Не вы ли стражи тех столбов,
На коих чудеса веков,
Искусств и знаний первобытных
Рукою Сифовых начертаны сынов?..
Как знать? И здесь былой порою,
Творенья, может быть, весною
Род человеческий без умолку жужжал—
В те времена, как наших башен
Главою отрок достигал,
И мамонта, могуч и страшен,
На битву равную охотник вызывал!
Быть может, некогда и в этом запустеньи
Гигантской роскоши лилось обвороженье:
Вздымались портики близ кедровых палат.
Кругом висячие сады благоухали,
Теснились медные чудовища у врат,
И мрамор золотом расписанных аркад
Слоны гранитные хребтами подпирали!
И здесь огромных башен лес,
До вековых переворотов,
Пронзал, быть может, свод небес.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И пена горных струй, средь пальмовых древес,
Из пасти бронзовых сверкала бегемотов!—
И здесь на жертвенную кровь,
Быть может, мирными венчанные цветами,
Колоссы яшмовых богов
Глядели весело алмазными очами...
Так, так! подлунного величия звездой
И сей Ничтожества был озарен объедок,—
Парил умов надменных рой,
Цвела любовь... и напоследок—
Повсюду смерть, повсюду прах
В печальных странника очах!

Лишь ты, Армида, красотою,
Над сей могилой вековою,
Природа-мать, лишь ты одна
Души магической полна!
Какою роскошью чудесной
Сей град развалин неизвестный
Повсюду богатит она!—
Взгляните: этот столб, гигант окаменелый.
Как в поле колос переспелый,
К земле он древнею склонился головой;
Но с ним, подвинутый годами,
Сосед, увенчанный цветами,
Гирляндой связан молодой;
Но с головы его маститой
Кудрей зеленых вьется рой,
И плащ из листьев шелковитый
Колышет ветр на нем лесной!
Вот столб другой: на дерн кудрявый
Как труп он рухнулся безглавый;
Но по сияющим развалины рубцам
Играет свежий плющ и вьется мирт душистый
И великана корень мшистый
Корзиной вешним стал цветам!
И вместо рухнувшей громады
Уж юный тополь нежит взгляды,
И тихо всё... лишь соловей,
Как сердце, полное—то безнадежной муки,
То чудной радости с густых его ветвей
Свои льет пламенные звуки...
Лишь посреди седых столбов,
Хаоса диких трав, обломков и цветов,
Вечерним золотом облитых—
Семейство ящериц от странника бежит,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И в камнях, зелени узорами обвитых,
Кустами дальними шумит!..

Иероглифы вековые,
Былого мира мавзолей!
Меж вами и душой моей,
Скажите, что за симпатия?—
Нет! вы не мертвая ничтожества строка:
Ваш прах—урок судьбы тщеславию потомков;
Живей ли гордый лавр сих дребезгов цветка?..
О дайте ж, дайте для венка
Мне листьев с мертвых сих обломков!

Остатки древности святой,
Когда безмолвно я над вами
Парю крылатою мечтой—
Века сменяются веками,
Как волны моря предо мной!
И с великанами былыми—
Тогда я будто как с родными
И неземного бытия
Призыв блаженный слышу я!..

Но день погас, а я душою
К сим камням будто пригвожден.
И вот уж яхонтовой мглою
Оделся вечный небосклон.
По морю синего эфира,
Как челн мистического мира,
Царица ночи поплыла,
И на чудесные громады
Свои опаловые взгляды,
Сквозь тень лесную, навела.
Рубины звезд над нею блещут
И меж столбов седых трепещут;
И будто движа их, встают
Из-под земли былого дети,
И мертвый град свой узнают,
Паря во мгле тысячелетий...

Зверей и птиц ночных приют,
Давноминувшего зерцало,
Ничтожных дребезгов твоих
Для градов наших бы достало!
К обломкам гордых зданий сих,
О Альнаскары! приступите,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Свои им грезы расскажите,
Откройте им: богов земных
О чём тщеславие хлопочет?
Чего докучливый от них
Народов муравейник хочет?
Ты прав, божественный певец:
Века веков лишь повторенье!
Сперва—свободы обольщенье,
Гремушки славы наконец;
За славой—роскоши потоки,
Богатства с золотым ярмом,
Потом—изящные пороки,
Глухое варварство потом!..

Это прекрасно! Энергия последних стихов удивительна!

Остальные элегии (между коими шестая весьма замечательна) заключают в себе недостатки и красоты, уже нами указанные: силу выражения, переходящую часто в надутость, яркость описания, затемненную иногда неточностию.—Вообще главные достоинства «Фракийских Элегий»: блеск и энергия; главные недостатки: напыщенность и однообразие.

К «Фракийским Элегиям» присовокуплены разные мелкие стихотворения, имеющие неоспоримое достоинство: везде гармония, везде мысли, изредка истина чувств. Если бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме элегии *Одиночество* и станса *Любовь и Ненависть*, то и тут занял бы он почетное место между нашими поэтами. Заключим разбор, выписав стихотворение, которым заключается и книга г. Теплякова.

Одиночество.

I.

В лесу осенний ветр и стонет и дрожит;
По морю темному ревучий вал кочует;
Уныло крупный дождь в окно мое стучит;
Раздумье тяжкое мечты мои волнует.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

II.

Мне грустно! Догорел камин трескучий мой:
Последний красный блеск над угольями вьется...
Мне грустно! Тусклый день уж гаснет надо мной;
Уж с неба темного туманный вечер льется.

III.

Как сладко он для двух супругов пролетит.
В кругу, где бабушка *внучат* своих ласкает,
У кресел дедовских красавица сидит—
И былям старины, работая, внимает!

IV.

Мечта докучная! зачем перед тобой
Супругов долгие лобзанья пламенеют?
Что в том, как их сердца, под ризою ночной,
Средь ненасытных ласк, в палящей неге млеют.

V.

Меж тем как он кипит, мой одинокий ум
Как сердце сирое, облившись кровью, рвется,
Когда душа моя, средь вихря горьких дум,
Над их мучительно-завидной долей вьется!

VI.

Но если для меня безвестный уголок
Не создан, темными *дубами* осененный,
Подруга милая и яркий камелёк,
В часы осенних бурь друзьями окруженный,—

VII.

О жар святых молитв, зажгись в душе моей!
Луч веры пламенной, блесни в ее пустыне!
Пролейся в грудь мою, целительный елей:
Пусть сны вчерашние не мучат сердца ныне!

VIII.

Пусть упоенная надеждой неземной,
С душой всемирною моя соединится;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пускай сей мрачный дол исчезнет предо мной;
Осенний в окна ветр, бушуя, не стучится!

IX.

О, пусть превыше звезд мой вознесется дух,
Туда, где взор творца их сонмы зажигает!
В мирах надсолнечных пускай мой жадный слух
Органам ангелов, восторженный, внимает...

X.

Пусть я увижу их, в безмолвии святом,
Пред троном вечного, коленопреклоненных:
Прочту символы тайн, пылающих на нем,
И юным первенцам творенья откровенных...

XI.

Пусть Соломоновой премудрости звезда
Блеснет душе моей в безоблачном эфире,
Поправ земную грусть, быть может, я тогда
Не буду тосковать о друге в здешнем мире!

АНЕКДОТЫ

I

На Потемкина часто находила хандра. Он по целым суткам сидел один, никого к себе не пуская, в совершенном бездействии. Однажды, когда был он в таком состоянии, множество накопилось бумаг, требовавших немедленного его разрешения; но никто не смел к нему войти с докладом. Молодой чиновник, по имени Петушков, подслушав толки, вызвался представить нужные бумаги князю для подписи. Ему поручили их с охотою и с нетерпением ожидали, что из этого будет. Петушков с бумагами вошел прямо в кабинет. Потемкин сидел в халате, босой, нечесанный, грызя ногти в задумчивости. Петушков смело объяснил ему в чем дело и положил пред ним бумаги. Потемкин, молча, взял перо и подписал их одну за другою. Петушков

Пушкинский кабинет ИРЛИ

поклонился и вышел в переднюю с торжествующим лицом. «Подписал»... Все к нему кинулись, глядят: все бумаги в самом деле подписаны. Петушкова поздравляют. «Молодец! нечего сказать». Но кто-то всматривается в подпись—и что же? на всех бумагах вместо: князь Потемкин—подписано: *Петушков*, *Петушков*, *Петушков*...

II

Надменный в сношениях своих с вельможами, Потемкин был снисходителен к низшим. Однажды ночью он проснулся и начал звонить. Никто не шел. Потемкин соскочил с постели, отворил дверь и увидел ординарца своего, спящего в креслах. Потемкин сбросил с себя туфли и босой прошел в переднюю тихонько, чтоб не разбудить молодого офицера.

III

Молодой Ш. как-то напроказил. Князь Б. собирался пожаловаться на него самой государыне. Родня перепугалась. Кинулась в князю Потемкину, прося его заступиться за молодого человека. Потемкин велел Ш. быть на другой день у него, и прибавил: «да сказать ему, чтоб он со мною был посмелее».—Ш. явился в назначенное время. Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приезжает князь Б. Потемкин принимает его как нельзя хуже, и продолжает играть. Вдруг он подзывает к себе Ш. «Скажи, брат»,—говорит Потемкин, показывая ему свои карты,—«как мне тут сыграть?»—Да мне какое дело, ваша светлость,—отвечал ему Ш.—играйте, как умеете! «Ах, мой батюшка»—возразил Потемкин—«и слова нельзя тебе сказать; уж

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и рассердился!» Услыша таковой разговор, князь Б. раздумал жаловаться.

IV

Граф Румянцев однажды рано утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то майор в шлафроке и в колпаке стоял перед своею палаткою, и в утренней темноте не узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собою лицом к лицу. Майор хотел-было скрыться, но Румянцев взял его под руку, и, делая ему разные вопросы, повел с собою по лагерю, который между тем проснулся. Бедный майор был в отчаянии. Фельдмаршал, разгуливая таким образом, возвратился в свою ставку, где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая от стыда, очутился посреди генералов, одетых по всей форме. Румянцев, тем еще недовольный, имел жестокость напоить его чаем, и потом уже отпустил, не сделав никакого замечания.

V

Некто, отставной мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру I в числе дворян, присланных на службу. Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и сказал: «Ну, этот плох! Однако, записать его во флот. До мичманов авось дослужится». Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял: «Таков был пророк, что и в мичманы-то попал я только при отставке!»

VI

Всем известны слова Петра Великого, когда представили ему двенадцатилетнего школьника Василия Тредьяковского: *вечный труженик!* Ка-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кой взгляд! какая точность в определении! В самом деле, что был Тредьяковский, как не вечный труженик?

VII

Граф Самойлов получил Георгия на шею в чине полковника. Однажды во дворце государыня заметила его, заслоненного толпою генералов и придворных. «Граф Александр Николаевич»,—сказала она ему—«ваше место здесь впереди, как и на войне».

VIII

Государыня Екатерина II говорила: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом,—и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано».

IX

Петр I говаривал: «Несчастия бояться,—счастья не видать».

X

Любимый из племянников князя Потемкина был покойный Н. Н. Раевский. Потемкин для него написал несколько наставлений; Н. Н. их потерял и помнил только первые строки: *Во-первых, старайся испытать не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем.*

XI

Когда родился Иоанн Антонович, то императрица Анна Иоанновна послала к Эйлеру приказание составить гороскоп новорожденному. Эйлер

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сначала отказывался, но принужден был повиноваться. Он занялся гороскопом вместе с другим академиком. Они составили его по всем правилам астрологии, хоть и не верили ей. Заключение, выведенное ими, испугало обоих математиков—и они послали императрице другой гороскоп, в котором предсказывали новорожденному всякие благополучия. Эйлер сохранил однако ж первый и показал его графу К. Г. Разумовскому, когда судьба несчастного Иоанна Антоновича совершилась.

ДЖОН ТЕННЕР.

С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую—подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со сто-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

роны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

Отношения Штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса осуждены с негодованием; так или иначе, чрез меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский.

Нравы Северо-Американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индийцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. «Дикари, выставленные в романах»—пишет Вашингтон-Ирвинг—«так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных». Это самое подозревали и читатели; и недоверчивость к словам заманчивых повествователей уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями.

В Нью-Йорке недавно изданы «Записки Джона Теннера», проведшего тридцать лет в пустынях

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Северной Америки, между дикими ее обитателями. Эти «Записки» драгоценны во всех отношениях. Они самый полный, и вероятно последний, документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека; показания простодушные и бесстрастные, они наконец будут свидетельствовать перед светом о средствах, которые Американские Штаты употребляли в XIX столетии к распространению своего владычества и христианской цивилизации. Достоверность сих «Записок» не подлежит никакому сомнению. Джон Теннер еще жив; многие особы (между прочими Токвиль, автор славной книги: «De la démocratie en Amérique»[1]) видели его, и купили от него самого его книгу. По их мнению, подлога тут и быть не может. Да и стоит прочитать несколько страниц, чтобы в том удостовериться: отсутствие всякого искусства и смиренная простота повествования ручаются за истину.

Отец Джона Теннера, выходец из Виргинии, был священником. По смерти жены своей он поселился в одном месте, называемом Эльк-Горн, в недальнем расстоянии от Цинциннати.

Эльк-Горн был подвержен нападениям индийцев. Дядя Джона Теннера однажды ночью, сговорясь с своими соседями, приближился к стану индийцев и застрелил одного из них. Прочие бросились в реку и уплыли...

Отец Теннера, отправляясь утром однажды в дальнее селение, приказал своим обеим дочерям отослать маленького Джона в школу. Они вспомнили о том уже после обеда. Но шел дождь, и Джон остался дома. Вечером отец возвратился и

[1] <«О демократии в Америке».>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

узнав, что он в школу не ходил, послал его самого за тростником и больно его высек. С той поры отеческий дом опостылел маленькому Теннеру; он часто думал и говаривал: «Мне бы хотелось уйти к диким!»

«Отец мой»—пишет Теннер—«оставил Эльк-Горн и отправился к устью Биг-Миами, где он должен был завести новое поселение. Там на берегу нашли мы обработанную землю и несколько хижин, покинутых поселенцами из опасения диких. Отец мой исправил хижины и окружил их забором. Это было весною. Он занялся хлебопашеством. Дней десять спустя по своем прибытии на место, он сказал нам, что лошади его беспокоятся, чуя близость индийцев, которые вероятно рыщут по лесу. «Джон»,—прибавил он, обращаясь ко мне,—«ты сегодня сиди дома». Потом пошел он засевать поля с своими неграми и старшим моим братом.

«Нас осталось дома четверо детей. Мачеха, чтоб вернее меня удержать, поручила мне смотреть за младшим, которому не было еще году. Я скоро соскучился и стал щипать его, чтоб заставить кричать. Мачеха велела мне взять его на руки и с ним гулять по комнатам. Я послушался, но не перестал его щипать. Наконец она стала его кормить грудью, а я побежал проворно на двор и ускользнул в калитку, оттуда в поле. Не в далеком расстоянии от дома, и близ самого поля, стояло ореховое дерево, под которым бегал я собирать прошлогодние орехи. Я осторожно до него добрался, чтоб не быть замечену ни отцом, ни его работниками... Как теперь вижу отца моего, стоящего с ружьем на страже посреди поля. Я спрятался за дерево и думал про себя: «Мне бы очень хотелось увидеть индийцев!»

«Уж моя соломенная шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох. Я оглянулся: индийцы! Старик и молодой человек схватили меня и потащили. Один из них выбросил из моей шляпы орехи и надел мне ее на голову. После того ничего не помню. Вероятно я упал в обморок, потому что не закричал. Наконец я очнулся под высоким деревом. Старика не было. Я находился между молодым человеком и другим индийцем, широкоплечим и малорослым. Вероятно я его чем-нибудь да рассердил, потому что он потащил меня в сторону, схватил свой т о м а г а у к (дубину) и знаками велел мне глядеть вверх. Я понял, что он мне приказывал в последний раз взглянуть на небо, потому что готовился меня убить. Я повиновался;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

но молодой индиец, похитивший меня, удержал удар, взнесенный над моей головою. Оба заспорили с живостию. Покровитель мой закричал. Несколько голосов ему отвечало. Старик и четыре другие индийца прибежали поспешно. Старый начальник, казалось, строго говорил тому, кто угрожал мне смертию. Потом он и молодой человек взяли меня, каждый за руку, и потащили опять. Между тем ужасный индиец шел за нами. Я замедлял их отступление, и заметно было, что они боялись быть настигнуты.

«В расстоянии одной мили от нашего дома, у берега реки, в кустах, спрятан был ими челнок из древесной коры. Они сели в него все семеро, взяли меня с собою, и переправились на другой берег, у самого устья Биг-Миами. Челнок остановился. В лесу спрятаны были одеяла (кожаные) и запасы; они предложили мне дичины и медвежьего жиру. Но я не мог есть. Наш дом отселе был еще виден; они смотрели на него, и потом обращались ко мне со смехом. Не знаю, что они говорили.

«Отобедав, они пошли вверх по берегу, таща меня с собою попрежнему, и сняли с меня башмаки, полагая, что они мешали бежать Я не терял еще надежды от них избавиться, несмотря на надзор, и замечал все предметы, дабы по ним направить свой обратный побег; упирался также ногами о высокую траву и о мягкую землю, дабы оставить следы. Я надеялся убежать во время их сна. Настала ночь; старик и молодой индиец легли со мною под одно одеяло и крепко прижали меня. Я так устал, что тотчас заснул. На другой день я проснулся на заре. Индийцы уже встали и готовы были в путь. Таким образом шли мы четыре дня. Меня кормили скудно; я всё надеялся убежать, но при наступлении ночи сон каждый раз мною овладевал совершенно. Ноги мои распухли, и были все в ранах и в занозах. Старик мне помог кое-как и дал пару м о к а с и н о в (род кожаных лаптей), которые облегчили меня немного.

«Я шел обыкновенно между стариком и молодым индийцем. Часто заставляли они меня бегать до упаду. Несколько дней я почти ничего не ел. Мы встретили широкую реку, впадающую (думаю) в Миами. Она была так глубока, что мне нельзя было ее перейти. Старик взял меня к себе на плечи, и перенес на другой берег. Вода доходила ему под мышки; я увидел, что одному мне перейти эту реку было невозможно, и потерял всю надежду на скорое избавление. Я проворно вскарабкался на берег, стал бегать по лесу, и спугнул с гнезда дикую птицу. Гнездо полно было яиц; я взял их в платок и воротился к реке. Индийцы стали смеять-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ся, увидев меня с моею добычею, разложили огонь и стали варить яйца в маленьком котле. Я был очень голоден и жадно смотрел на эти приготовления. Вдруг прибежал старик, схватил котел и вылил воду на огонь вместе с яйцами. Он наскоро что-то шепнул молодому человеку. Индийцы поспешно подобрали яйца и рассеялись по лесам. Двое из них умчали меня со всевозможною быстротою. Я думал, что за ними гнались, и впоследствии узнал, что не ошибся. Вероятно меня искали на том берегу реки.....

«Два или три дня после того, встретили мы отряд индийцев, состоявший из двадцати или тридцати человек. Они шли в европейские селения. Старик долго с ними разговаривал. Узнав (как после мне сказали), что белые люди за ними гнались, они пошли им навстречу. Произошло жаркое сражение, и с обеих сторон легло много мертвых.

«Поход наш сквозь леса был труден и скучен. Через десять дней пришли мы на берег Миами. Индийцы рассыпались по лесу и стали осматривать деревья, перекликаясь между собою. Выбрали одно ореховое дерево (hichory), срубили его, сняли кору и сшили из нее челнок, в котором мы все поместились; поплыли по течению реки, и вышли на берегу большой индийской деревни, выстроенной близ устья другой какой-то реки. Жители выбежали к нам навстречу. Молодая женщина с криком кинулась на меня и била по голове. Казалось, многие из жителей хотели меня убить; однако старик и молодой человек уговорили их меня оставить. Повидимому, я часто бывал предметом разговоров, но не понимал их языка. Старик знал несколько английских слов. Он иногда приказывал мне сходить за водою, разложить огонь и тому подобное, начиная таким образом требовать от меня различных услуг.

«Мы отправились далее. В некотором расстоянии от индийской деревни находилась американская контора. Тут несколько купцов со мною долго разговаривали. Они хотели меня выкупить; но старик на то не согласился. Они объяснили мне, что я у старика заступлю место его сына, умершего недавно; обошлись со мною ласково, и хорошо меня кормили во всё время нашего пребывания. Когда мы расстались, я стал кричать—в первый раз после моего похищения из дому родительского. Купцы утешали меня, обещав через десять дней выкупить из неволи».

Наконец челнок причалил к месту, где обитали похитители бедного Джона. Старуха вышла из деревянного шалаша, и побежала к ним навстречу. Старик сказал ей несколько слов; она закричала,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

обняла, прижала к сердцу своему маленького пленника и потащила в шалаш.

Похититель Джона Теннера назывался Монито-огезик. Младший из его сыновей умер незадолго перед происшествием, здесь описанным. Жена его объявила, что не будет жива, если ей не отыщут ее сына. То-есть, она требовала молодого невольника, с тем чтоб его усыновить. Старый Монито-о-гезик с сыном своим Киш-кау-ко и с двумя единоплеменниками, жителями Гуронского озера, тотчас отправились в путь, чтоб только удовлетворить желание старухи. Трое молодых людей, родственники старика, присоединились к нему. Все семеро пришли к селениям, расположенным на берегах Оио. Накануне похищения индийцы переправились через реку и спрятались близ Теннерова дома. Молодые люди с нетерпением ожидали появления ребенка, и несколько раз готовы были выстрелить по работникам. Старик насилу мог их удержать.

Возвратясь благополучно домой с своею добычею, старый Монито-о-гезик на другой же день созвал своих родных и знакомых, и Джон Теннер был торжественно усыновлен на самой могиле маленького дикаря.

Была весна. Индийцы оставили свои селения и все отправились на ловлю зверей. Выбрав себе удобное место, они стали ограждать его забором из зеленых ветвей и молодых дерев, из-за которых должны были стрелять. Джону поручили обламывать сухие веточки и обрывать листья с той стороны, где скрывались охотники. Маленький пленник, утомленный зноем и трудом, всегда голодный и грустный, лениво исполнял свою должность. Старый Монито-о-гезик, застав однажды его спящим, ударил мальчика по голове своим *томагауком* и бросил за-мертво в кусты. Возвратясь в та-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бор, старик сказал жене своей: «Старуха! мальчик, которого я тебе привел, ни к чему не годен: я его убил. Ты найдешь его там-то». Старуха с дочерью прибежали, нашли Теннера еще живого и привели его в чувства.

Жизнь маленького приемыша была самая горестная. Его заставляли работать сверх сил; старик и сыновья его били бедного мальчика поминутно. Есть ему почти ничего не давали; ночью он спал обыкновенно между дверью и очагом, и всякий, входя и выходя, непременно давал ему ногою толчок. Старик возненавидел его, и обходился с ним с удивительной жестокостию. Теннер никогда не мог забыть следующего происшествия.

Однажды Монито-о-гезик, вышед из своей хижины, вдруг возвратился, схватил мальчика за волосы, потащил за дверь, и уткнул *как кошку* лицом в навозную кучу. «Подобно всем индийцам»— говорит американский издатель его записок—«Теннер имеет привычку скрывать свои ощущения. Но когда рассказывал он мне сие приключение, блеск его взгляда и судорожный трепет верхней губы доказывали, что жажда мщения— отличительное свойство людей, с которыми провел он свою жизнь—не была чужда и ему. Тридцать лет спустя желал он еще омыть обиду, претерпенную им на двенадцатом году!»

Зимою начались военные приготовления. Монито-о-гезик, отправляясь в поход, сказал Теннеру: «Иду убить твоего отца, братьев и всех родственников»... Через несколько дней он возвратился, и показал Джону белую, старую шляпу, которую он точас узнал: она принадлежала брату его. Старик уверил его, что сдержал свое слово, и что никто из его родных уже более не существует.

Время шло, и Джон Теннер начал привыкать к судьбе своей. Хотя Монито-о-гезик всё обходился

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с ним сурово, но старуха его любила искренно и старалась облегчать его участь.—Через два года произошла важная перемена. Начальница племени Отавуавов, Нет-но-куа, родственница старого индийца, похитителя Джона Теннера, купила его, чтоб заменить себе потерю сына. Джон Теннер был выменен на боченок водки и на несколько фунтов табаку.

Вторично усыновленный, Теннер нашел в новой матери своей ласковую и добрую покровительницу. Он искренно к ней привязался; вскоре отвык от привычек своей детской образованности и сделался совершенным индийцем,—и теперь, когда судьба привела его снова в общество, от коего был он отторгнут в младенчестве, Джон Теннер сохранил вид, характер и предрассудки дикарей, его усыновивших.

«Записки» Теннера представляют живую и грустную картину. В них есть какое-то однообразие, какая-то сонная бессвязность и отсутствие мысли, дающие некоторое понятие о жизни американских дикарей. Это длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о голодных, дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности.

Американские дикари все вообще звероловы. Цивилизация европейская, вытеснив их из наследственных пустынь, подарила им порох и свинец: тем и ограничилось ее благодетельное влияние. Искусный стрелок почитается между ими за великого человека. Теннер рассказывает первый свой опыт на поприще, на котором потом прославился.

«Я отроду еще не стрелял. Мать моя (Нет-но-куа) только что купила боченок пороху. Ободренный ее снисходительностию, я попросил у ней пистолет, чтобы итти в лес

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стрелять голубей. Мать моя согласилась, говоря: «Пора тебе быть охотником». Мне дали заряженный пистолет, и сказали, что если удастся застрелить птицу, то дадут ружье и станут учить охоте.

«С того времени я возмужал, и несколько раз находился в затруднительном положении; но никогда жажда успеха не была во мне столь пламенна. Едва вышел я из табора, как увидел голубей в близком расстоянии. Я взвел курок и поднял пистолет почти к самому носу; прицелился и выстрелил. В то же время мне послышалось жужжание, подобное свисту брошенного камня; пистолет полетел через мою голову, а голубь лежал под деревом, на котором сидел.

«Не заботясь о моем израненном лице, я побежал в табор с застреленным голубем. Раны мои осмотрели; мне дали ружье, порох и дробь, и позволили стрелять по птицам. С той поры стали со мною обходиться с уважением».

Вскоре после того молодой охотник отличился новым подвигом.

«Дичь становилась редка; толпа наша (отряд охотников с женами и детьми) голодала. Предводитель наш советовал перенести табор на другое место. Накануне назначенного дня для походу, мать моя долго говорила о наших неудачах и об ужасной скудости, нас постигшей. Я лег спать; но ее песни и молитвы разбудили меня. Старуха громко молилась большую часть ночи.

«На другой день, рано утром, она разбудила нас; велела обуваться и быть готовым в поход. Потом призвала свого сына Уа-ме-гон-е-бью, и сказала ему: «Сын мой, в нынешнюю ночь я молилась великому духу. Он явился мне в образе человеческом и сказал: Нет-но-куа! завтра будет вам медведь для обеда. Вы встретите на пути вашем (по такому-то направлению) круглую долину и на долине тропинку: медведь находится на той тропинке».

«Но молодой человек, не всегда уважавший слова своей матери, вышел из хижины и рассказал сон ее другим индийцам. «Старуха уверяет»—сказал он смеясь—«что мы сегодня будем есть медведя; но не знаю, кто-то его убьет»— Нет-но-куа его за то побранила, но не могла уговорить итти на медведя.

«Мы пошли в поход. Мужчины шли вперед и несли наши пожитки. Пришед на место, они отправились на ловлю, а дети остались стеречь поклажу до прибытия женщин. Я был тут же: ружье было при мне. Я всё думал о том, что говорила старуха, и решился итти отыскивать долину, при-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

снившуюся ей; зарядил ружье пулею, и, не говоря никому ни слова, воротился назад.

«Я прибыл к одному месту, где вероятно некогда находился пруд, и увидел круглое, малое пространство посреди леса. Вот,—подумал я,—долина, назначенная старухою. Вскоре нашел род тропинки, вероятно русло иссохшего ручейка. Всё покрыто было глубоким снегом.

«Мать сказывала также, что во сне видела она дым на том месте, где находился медведь. Я был уверен, что нашел долину ею описанную, и долго ждал появления дыма. Однакож дым не показывался. Наскучa напрасным ожиданием, сделал я несколько шагов там, где, казалось, шла тропинка, и вдруг увяз по пояс в снегу.

«Выкарабкавшись проворно, прошел я еще несколько шагов, как вспомнил вдруг рассказы индийцев о медведях, и мне пришло в голову, что, может быть, место, куда я провалился, была медвежья берлога. Я воротился, и во глубине впадины увидел голову медведя; приставил ему дуло ружья между глазами, и выстрелил. Коль скоро дым разошелся, я взял палку и несколько раз воткнул ее конец в глаза и рану; потом, удостоверясь, что медведь убит, стал его тащить из берлоги, но не смог, и возвратился в табор по своим следам.

«Вошел в шалаш моей матери. Старуха сказала мне: «Сын мой, вынь из котла кусок бобрового мяса, которое мне дали сегодня; да оставь половину брату, который с охоты еще не воротился, и сегодня ничего не ел»... Я съел свой кусок и, видя, что старуха одна, подошел к ней и сказал ей на ухо: «Мать! я убил медведя!»—Что ты говоришь?— «Я убил медведя!»—Точно ли он убит?—«Точно».—Она несколько времени глядела на меня неподвижно; потом обняла меня с нежностию и долго ласкала. Пошли за убитым медведем; и как это был еще первый, то, по обычаю индийцев, его изжарили цельного, и все охотники приглашены были съесть его вместе с нами».

Описание различных охот и приключений во время преследования зверей занимает много места в «Записках» Джона Теннера. Истории об одних убитых медведях составляют целый роман. То, что он говорит о *музе*, американском олене (cervus alces), достойно исследования натуралистов.

«Индийцы уверены, что муз между прочим одарен способностию долго оставаться под водою. Двое из моих зна-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

комых, люди не лживые, возвратились однажды вечером с охоты, и рассказали нам, что молодой муз, загнанный ими в маленький пруд, нырнул в середину. Они до вечера стерегли его на берегу, куря табак; во всё время не видали они ни малейшего движения воды, ни другой какой-либо приметы скрывшегося муза, и, потеряв надежду на успех, наконец возвратились.

«Несколько минут по их прибытии, явился одинокий охотник с свежею добычею. Он рассказал, что звериный след привел его к берегам пруда, где нашел он следы двух человек, повидимому прибывших туда с музом почти в одно время. Он заключил, что муз был ими убит; сел на берег, и вскоре увидел муза, приставшего тихо над неглубокою водою, и застрелил его в пруду.

«Индийцы полагают, что муз животное самое осторожное, и что достать его весьма трудно. Он бдительнее, нежели дикий буйвол (bison, bos americans) и канадский олень (karibou) и имеет более острое чутье. Он быстрее лося, осторожнее и хитрее дикой козы (l'antilope). В самую страшную бурю, когда ветер и гром сливают свой продолжительный рев с беспрестанным шумом проливного дождя, если сухой прутик хрустнет в лесу под ногой или рукою человеческой, муз уже слышит. Он не всегда убегает, но перестает есть и вслушивается во все звуки. Если в течение целого часа человек не произведет никакого шума, то муз начинает есть опять, но уже не забывает звука им услышанного, и на несколько часов осторожность его остается деятельнее».

Легкость и неутомимость индийцев в преследовании зверей почти неимоверны. Вот как Теннер описывает охоту за лосями.

«Холодная погода только что начиналась. Снег был еще не глубже одного фута; а мы уже чувствовали голод. Нам встретилась толпа лосей, и мы убили четырех в один день.

«Вот как индийцы травят лосей. Спугнув с места, они преследуют их ровным шагом в течение нескольких часов. Испуганные звери сгоряча опережают их на несколько миль; но индийцы, следуя за ними всё тем же шагом, наконец настигают их; толпа лосей, завидя их, бежит с новым усилием и исчезает опять на час или на два. Охотники начинают открывать их скорее и скорее, и лоси всё долее и долее остаются в их виду; наконец охотники уж ни на минуту не теряют их из глаз. Усталые лоси бегут тихой рысью; вскоре идут шагом. Тогда и охотники находятся почти в совершенном изнеможении. Однако ж они обыкновенно могут

Пушкинский кабинет ИРЛИ

еще дать залп из ружей по стаду лосей; но выстрелы придают зверям новую силу; а охотники, ежели снег не глубок, редко имеют дух и возможность выстрелить более одного или двух раз. В продолжительном бегстве лось не легко высвобождает копыто свое; в глубоких снегах его достигнуть легко. Есть индийцы, которые могут преследовать лосей по степи и бесснежной; но таких мало».

Препятствия, нужды, встречаемые индийцами в сих предприятиях, превосходят всё, что можно себе вообразить. Находясь в беспрестанном движении, они не едят по целым суткам и принуждены иногда, после такого насильственного поста, довольствоваться вареной кожаной обувью. Проваливаясь в пропасти, покрытые снегом, переправляясь через бурные реки на легкой древесной коре, они находятся в ежеминутной опасности потерять или жизнь, или средства к ее поддержанию. Подмочив гнилое дерево, из коего добывают себе огонь, часто охотники замерзают в снеговой степи. Сам Теннер несколько раз чувствовал приближение ледяной смерти.

«Однажды рано утром»—говорит он—«я погнал лося и преследовал его до ночи; уже готов был его достигнуть, но вдруг лишился и сил и надежды. Одежда моя, вопреки морозу, была вся мокра. Вскоре она оледенела. Мои суконные м и т а с с ы (порты) изорвались в клочки во время бега сквозь кустарники. Я почувствовал, что замерзаю... Около полуночи достиг места, где стояла наша хижина; ее уже там не было: старуха перенесла ее на другое место... Я пошел по следам моей семьи, и вскоре холод стал нечувствителен: мною овладело усыпление, обыкновенный признак, предшествующий смерти. Я удвоил усилия: и хотя был в совершенной памяти и понимал очень хорошо опасность своего положения, но с трудом мог удержать желание прилечь на землю. Наконец совершенно забылся, не знаю на долго ли, и, очнувшись как ото сна, увидел, что кружился на одном месте.

«Я стал искать своих следов, и вдруг вдали увидел огонь; но снова потерял чувства. Если бы я упал, то уж никогда бы не встал. Я стал опять кружиться на одном месте; наконец достиг нашей хижины. Вошед в нее, я упал, однакож не ли-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

шился чувств. Как теперь вижу огонь, освещающий ярко нашу хижину, и лед ее покрывающий; как теперь слышу слова старухи: она говорила, что ждали меня задолго перед наступлением ночи, не полагая, чтоб я так долго остался на охоте... Целый месяц я не мог выдти: лицо, руки и ляжки были у меня сильно отморожены...»

Подвергаясь таковым трудам и опасностям, индийцы имеют целию заготовление бобровых мехов, буйволовых кож и прочего, дабы продать и выменять их купцам американским. Но редко получают они выгоду в торговых своих оборотах: купцы обыкновенно пользуются их простотою и склонностию к крепким напиткам. Выменяв часть товаров на ром и водку, бедные индийцы отдают и остальные за бесценок: за продолжительным пьянством следует голод и нищета, и несчастные дикари принуждены вскоре опять обратиться к скудной и бедственной своей промышленности. Джон Теннер следующим образом описывает одну из этих оргий.

«Торг наш кончился. Старуха подарила купцу десять прекрасных бобровых мехов. В замену подарка обыкновенно получала она одно платье, серебряные украшения, знаки ее владычества, и бочку рому. Когда купец послал за нею, чтоб вручить свой подарок, она так была пьяна, что не могла держаться на ногах. Я явился вместо ее, и был немножко навеселе; нарядился в ее платье, надел на себя и серебряные украшения; потом взвалив бочку на плечи, принес ее в хижину. Тут я поставил бочку наземь и прошиб дно обухом. «Я не из тех начальников»—сказал я—«которые тянут ром из дырочки: пей кто хочет и сколько хочет!» Старуха прибежала с тремя котлами,—и в пять минут всё было выпито. Я пьянствовал с индийцами во второй раз отроду; у меня спрятан был ром; тайно ходил я пить, и был пьян два дня сряду. Остатки пошел допивать с племянником старухи... Он не был еще пьян, но жена его лежала перед огнем в совершенном бесчувствии....

«Мы сели пить. В это время индиец, из племени Ожибуай, вошел шатаясь и повалился перед огнем. Уж было поздно; но весь табор шумел и пьянствовал. Я с товарищем вышел, чтоб попировать с теми, которые захотят нас пригла-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сить; не будучи еще очень пьяны, мы спрятали котел с остальною водкою. Погуляв несколько времени, мы воротились. Жена товарища моего всё еще лежала перед огнем; но на ней уже не было ее серебряных украшений. Мы кинулись к нашему котлу: котел исчез; индиец, оставленный нами перед огнем, скрылся; и по многим причинам, мы подозревали его в этом воровстве. Дошло до меня, что он сказывал, будто бы я его поил. На другой день пошел я в его хижину и потребовал котла. Он велел своей жене принести его. Таким образом вор сыскался, и брат мой получил обратно серебряные украшения!!.»

Оставляем читателю судить какое улучшение в нравах дикарей приносит соприкосновение цивилизации!

Легкомысленность, невоздержанность, лукавство и жестокость—главные пороки диких американцев. Убийство между ими не почитается преступлением; но родственники и друзья убитого обыкновенно мстят за его смерть. Джон Теннер навлек на себя ненависть одного индийца и несколько раз подвергался его удару. «Ты давно мог бы меня убить»—сказал ему однажды Теннер—«но ты не мужчина, у тебя нет даже сердца женского, ни смелости собачьей. Никогда не прощу тебе, что ты на меня замахнулся ножом, и не имел духа поразить».—Храбрость почитается между индийцами главною человеческою добродетелью: трус презираем у них наравне с ленивым или слабым охотником. Иногда, если убийство произошло в пьянстве или ненарочно, родственники торжественно прощают душегубца. Теннер рассказывает любопытный случай.

«Молодой человек, из племени Оттоваа, живший у меня во время моей болезни, отлучился в табор новоприбывших индийцев, которые в то время пьянствовали. В полночь его привели к нам пьяного. Один из проводников втолкнул его в хижину, сказав: «Смотрите за ним: молодой человек напроказил».

«Мы разложили огонь и увидели молодого человека, стоящего с ножом в руке, всего окровавленного. Его не мог-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ли уложить; я приказал ему лечь, и он повиновался. Я запретил делать разыскания и упоминать ему об окровавленном ноже.

«Утром, встав от глубокого сна, он ничего не помнил. Молодой человек сказал нам, что накануне, кажется, он напился пьян, что очень голоден и хочет готовить себе обед. Он изумился, когда я сказал ему, что он убил человека. Он знал только, что во время пьянства кричал, вспомня об отце своем, убитом некогда на том самом месте белыми людьми. Он очень опечалился и тотчас побежал взглянуть на того. кого зарезал. Несчастный был еще жив. Мы узнали, что когда был он поражен, тогда лежал пьяный без памяти, и что сам убийца вероятно не знал, кто была его жертва. Родственники не говорили ничего, но переводчик (американского губернатора) сильно его упрекал.

«Ясно было, что раненый не мог жить, и что последний час его был уже близок. Убийца возвратился к нам. Мы приготовили значительные подарки: кто дал одеяло, кто кусок сукна, кто то, кто другое. Он унес их тотчас и положил перед раненым. Потом обратясь к родственникам, сказал им: «Друзья мои, вы видите, что я убил вашего брата, но я сам не знал, что делал. Я не имел злого намерения; недавно приходил он в наш табор, и я с ним виделся дружелюбно; но в пьянстве я обезумел, и жизнь моя вам принадлежит. Я беден, и живу у чужих; но они готовы отвести меня к моему семейству и прислали вам эти подарки. Жизнь моя в ваших руках; подарки перед вами: выбирайте что хотите. Друзья мои жаловаться не станут».

«При сих словах он сел, наклонив голову и закрыв глаза руками в ожидании смертельного удара. Но старая мать убитого вышла вперед и сказал ему: «Ни я, ни дети мои смерти твоей не хотят. Не отвечаю за моего мужа: его здесь нет; однакож подарки твои принимаю и буду стараться отвратить от тебя мщение мужа. Это несчастие случилось не нарочно. За что же твоя мать будет плакать, как я?»

«На другой день молодой человек умер, и многие из нас помогли убийце вырыть могилу. Когда всё было готово, губернатор подарил мертвецу богатые одеяла, платья и прочее (что, по обычаю индийцев, должно было быть схоронено вместе с телом). Эти подарки положены были в кучу на краю могилы. Но старуха, вместо того, чтоб их закопать, предложила молодым людям разыграть их между собою.

«Разные игры следовали одна за другою: стреляли в цель, прыгали, боролись и пр. Но лучший кусок сукна был назначен наградою победителю за бег взапуски. Сам убийца его выиграл. Старуха подозвала его, и сказала:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Молодой человек! Сын мой был очень мне дорог; боюсь, долго и часто буду его оплакивать; я была бы счастлива, если бы ты заступил его место, и любил и охранял меня подобно ему. Боюсь только моего мужа».—Молодой человек, благодарный за ее заступление, принял тотчас предложение. Он был усыновлен, и родственники убитого всегда обходились с ним ласково и дружелюбно».

Не все ссоры и убийства кончаются так миролюбиво. Джон Теннер описал одну ссору, где ужасное и смешное странным образом перемешаны между собою.

«Брат мой Уа-ме-гон-е-бью вошел в шалаш, где молодой человек бил одну старуху. Брат удержал его за руку. В это самое время пьяный старик, по имени Та-бу-шиш, вошел туда же, и, вероятно не разобрав порядочно в чем дело, схватил брата за волосы и откусил ему нос. Народ сбежался; произошло смятение. Многих изранили. Бег-уа-из, один из старых начальников, бывший всегда к нам благосклонен, прибежал на шум и почел своею обязанностию вмешаться в дело. Между тем брат мой, заметя свою потерю, поднял руки, не подымая глаз, вцепился в волоса первой попавшейся ему головы, и разом откусил ей нос. Это был нос нашего друга, старого Бег-уа-иза! Утолив немного свое бешенство, Уа-ме-гон-е-бью узнал его и закричал: «Дядя! это ты!»—Бег-уа-из был человек добрый и смирный; он знал, что брат откусил ему нос совсем неумышленно. Он нимало не осердился, и сказал: «Я стар: не долго будут смеяться над потерею моего носа».

«С своей стороны я был в сильном негодовании на старика, обезобразившего брата моего. Я вошел в хижину к Уа-ме-гон-е-бью и сел подле него. Он весь был окровавлен; несколько времени молчал, и когда заговорил, я увидел, что он был в полном своем рассудке.«Завтра»—сказал он—«я буду плакать с моими детьми; послезавтра пойду к Табу-шишу (врагу своему), и мы оба умрем: я не хочу жить, чтоб быть вечно посмешищем». Я обещался ему помочь в его предприятии и приготовился к делу. Но проспавшись и проплакав целый день с своими детьми, он оставил свои злобные намерения и решился как-нибудь обойтися без носу так же как и Бег-уа-из.

«Несколько дней спустя, Та-бу-шиш опасно занемог горячкою. Он ужасно похудел и, казалось, умирал. Наконец прислал он к Уа-ме-гон-е-бью два котла и другие

Пушкинский кабинет ИРЛИ

значительные подарки и велел ему сказать: «Друг мой, я тебя обезобразил, а ты наслал на меня болезнь. Я много страдал, а коли умру, то дети мои будут страдать еще более. Посылаю тебе подарки, дабы ты оставил мне жизнь...» Уа-ме-гон-е-бью отвечал ему через посланного: «Не я наслал на тебя болезнь; вылечить тебя не могу, подарков твоих не хочу». Та-бу-шиш томился около месяца; волоса у него вылезли; потом он начал выздоравливать, и мы все пошли в степь по разным направлениям, удаляясь один от другого как можно более....

«Однажды мы расположились табором близ деревушки, в которую переселился Та-бу-шиш, и готовы были уже снова выступить, как вдруг увидели его. Он был весь голый, расписан и украшен как для битвы и держал в руках оружие. Он медленно к нам приближался и казался глубоко раздраженным. Но никто из нас не понял его намерения до самой той минуты, как он уставил дуло своего ружья в спину моему брату. «Друг мой»—сказал он ему—«мы довольно пожили; мы довольно друг друга помучили. Тебя просили от моего имени довольствоваться тем, что уже я вытерпел; ты не согласился; через тебя я всё еще страдаю; жизнь мне несносна: нам должно вместе умереть». Два молодые индийцы, видя его намерение, тотчас натянули свои луки, и прицелились в него стрелами; но Та-бу-шиш не обратил на них никакого внимания. Уа-ме-гон-е-бью испугался, и не смел приподнять голову. Та-бу-шиш готов был биться с ним на смерть; но он не принял вызова. С той поры я вовсе перестал его уважать; последний индиец был храбрее и великодушнее его».

Если частные распри индийцев жестоки и кровопролитны, то войны их, за то, вовсе не губительны, и ограничиваются по большей части утомительными походами. Начальники не пользуются никакою властию, а дикари не знают, что̀ такое повиновение воинское. Они, наскуча походом, оставляют войско один за другим, и возвращаются каждый в свою хижину, не успев увидеть неприятеля. Старшины упрямятся несколько времени; но, оставшись одни без воинов, следуют общему примеру, и война кончается безо всякого последствия.

Джон Теннер рассказывает с видимым удовольствием один из своих военных подвигов, который

Пушкинский кабинет ИРЛИ

немного походит на воровство, но тем не менее доказывает его предприимчивость и неустрашимость. Какие-то индийцы похитили у него лошадь. Он отправился с намерением или отыскать ее, или заменить. Посещая индийские селения, в одном из них не встретил он никакого гостеприимства. Это его оскорбило, и заметив добрую лошадь, принадлежавшую старшине, он из мести решился присвоить ее себе.

«У меня под одеялом»—говорит он—«спрятан был аркан. Я искусно набросил его на шею лошади—и не поскакал, а полетел. Когда лошадь начала задыхаться, я остановился, чтоб оглянуться: хижины негостеприимной деревни были едва видны и казались маленькими точками на далекой долине...

«Тут я подумал, что не хорошо поступаю, похищая любимую лошадь человека, не сделавшего мне никакого зла, хотя и отказавшего мне в должном гостеприимстве. Я соскочил с лошади и пустил ее на волю. Но в ту же минуту увидел толпу индийцев, скачущих из-за возвышения. Я едва успел убежать в ближний орешник. Они искали меня несколько времени по разным направлениям, а я между тем спрятался с большой осторожностию. Они рассеялись. Многие прошли близехонько от меня; но я был так хорошо спрятан, что мог безопасно наблюдать за всеми их движениями. Один молодой человек разделся донага как для сражения, запел свою боевую песнь, бросил ружье, и с простою дубиною в руках пошел прямо к месту, где я был спрятан. Он уже был от меня шагах в двадцати. Курок у ружья моего был взведен, и я целил в сердце... Но он воротился. Он конечно не видал меня, но мысль находиться, под надзором невидимого врага, вооруженного ружьем, вероятно поколебала его. Меня искали до ночи, и тогда лошадь уведена была обратно.

«Я тотчас пустился в обратный путь, радуясь, что избавился от такой опасности; шел день и ночь, и на третьи сутки прибыл к реке Мауз. Купцы тамошней конторы поняли, что я упустил из рук похищенную мною лошадь, и сказали, что дали бы за нее хорошую цену.

«В двадцати милях от этой конторы жил один из моих друзей, по имени Бе-на. Я просил его осведомиться о моей лошади и об ее похитителе. Бе-на впустил меня в шалаш, где жили две старухи, и сквозь щелку указал на

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ту хижину, где жил Ба-гис-кун-нунг с четырьмя своими сыновьями. Лошади их паслись около хижины. Бе-на указал на прекрасного черного коня, вымененного ими на мою лошадь.... Я тотчас отправился к Ба-гис-кун-нунгу и сказал ему: «Мне нужна лошадь.»—У меня нет лишней лошади.—«Так я ж одну уведу.»—А я тебя убью.— Мы расстались. Я приготовился к утру отправиться в путь. Бе-на дал мне буйволову кожу вместо седла; а старуха продала мне ремень в замену аркана, мною оставленного на шее лошади индийского старшины. Рано утром вошел я в хижину Бе-на, еще спавшего, и покрыл его тихонько совершенно новым одеялом, мне принадлежавшим. Потом пошел далее.

«Приближаясь к хижине Ба-гис-кун-нунга, увидел я страшего его сына, сидящего на пороге... Заметив меня, он закричал изо всей мочи.... Вся деревня пришла в смятение... Народ собрался около меня... Никто, казалось, не хотел мешаться в это дело. Одно семейство моего обидчика изъявляло явную неприязнь...

«Я так был взволнован, что не чувствовал под собою земли; кажется однако я не был испуган. Набросив петлю на черную лошадь, я всё еще не садился верхом, потому что это движение лишало бы меня на минуту возможности защищаться,—и можно было бы напасть на меня с тыла. Подумав однако, что вид малейшей нерешительности был бы для меня чрезвычайно невыгодным, я хотел вскочить на лошадь, но сделал слишком большое усилие, перепрыгнул через лошадь и растянулся на той стороне, с ружьем в одной руке, с луком и стрелами в другой. Я встал поспешно, оглядываясь кругом, дабы надзирать над движениями моих неприятелей. Все хохотали во всё горло, кроме семьи Ба-гис- кун-нунга. Это ободрило меня, и я сел верхом с большей решимостью. Я видел, что ежели бы в самом деле хотели на меня напасть, то воспользовались бы минутою моего падения. К тому же веселый хохот индийцев доказывал, что предприятие мое вовсе их не оскорбляло».

Джон Теннер отбился от погони и остался спокойным владетелем геройски похищенного коня. Он иногда выдает себя за человека недоступного предрассудкам; но поминутно обличает свое индийское суеверие. Теннер верит снам и предсказаниям старух: те и другие для него всегда сбываются. Когда голоден, ему снятся жирные медведи,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вкусные рыбы, и через несколько времени в самом деле удастся ему застрелить дикую козу или поймать осетра. В затруднительных обстоятельствах ему всегда является во сне какой-то молодой человечек, который дает добрый совет или одобряет его. Теннер поэтически описывает одно видение, которое имел он в пустыне на берегу Малого Сас-Кау.

«На берегу этой реки есть место, нарочно созданное для индийского табора: прекрасная пристань, маленькая долина, густой лес, прислоненный к холму... Но это место напоминает ужасное происшествие: здесь совершилось братоубийство, злодеяние столь неслыханное, что самое место почитается проклятым. Ни один индиец не причалит челнока своего к долине «Двух убитых»; никто не осмелится там ночевать. Предание гласит, что некогда в индийском таборе, здесь остановившемся, два брата (имевшие сокола своим т о т е м о м[1]) поссорились между собою, и один из них убил другого. Свидетели так были поражены сим ужасным злодейством, что тут же умертвили братоубийцу. Оба брата похоронены вместе.

Приближаясь к сему месту, я много думал о двух братьях, имевших один со мною т о т е м, и которых почитал я родственниками матери моей (Нет-но-куа). Я слыхал, что когда располагались на их могиле (что несколько раз и случалось), они выходили из-под земли и возобновляли ссору и убийство. По крайней мере достоверно, что они беспокоили посетителей и мешали им спать. Любопытство мое было встревожено. Мне хотелось рассказать индийцам не только, что я останавливался в этом страшном месте, но что еще там и ночевал.

«Солнце садилось, когда я туда прибыл. Я вытащил свой челнок на берег, разложил огонь и, отужинав, заснул.

«Прошло несколько минут, и я увидел обоих мертвецов, встающих из могилы. Они пришли и сели у огня прямо передо мною. Глаза их были неподвижно устремлены на меня. Они не улыбнулись и не сказали ни слова. Я проснулся. Ночь была темная и бурная. Я никого не видел, не услышал ни одного звука, кроме шума шатающихся дерев. Вероятно я заснул опять, ибо мертвецы опять явились. Они, кажется, стояли внизу, на берегу реки, потому что головы их были наравне с землею, на которой раз-

[1] Род герба. *Сокол* был также *тотемом* и Д. Теннера.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ложил я огонь. Глаза их всё были устремлены на меня. Вскоре они встали опять, один за другим, и сели снова против меня. Но тут уже они смеялись, били меня тросточками и мучили различным образом. Я хотел им сказать слово, но не стало голосу; пробовал бежать: ноги не двигались. Целую ночь я волновался и был в беспрестанном страхе. Один из них сказал мне между прочим, чтоб я взглянул на подошву ближнего холма. Я увидел связанную лошадь, глядевшую на меня, «Вот тебе, брат»,—сказал мне жеби [1]—«лошадь на завтрашний путь. Когда ты поедешь домой, тебе можно будет взять ее снова, а с нами провести еще одну ночь».

«Наконец рассвело, и я с большим удовольствием заметил, что эти страшные привидения исчезли с ночным мраком. Но, пробыв долго между индийцами и зная множество примеров тому, что сны часто сбываются, я стал не на шутку помышлять о лошади, данной мне мертвецом; пошел к холму, и увидел конские следы и другие приметы, а в некотором расстоянии нашел и лошадь, которую тотчас узнал; она принадлежала купцу, с которым имел я дело. Дорога сухим путем была несколькими милями короче пути водяного. Я бросил челнок, навьючил лошадь, и отправился к конторе, куда на другой день и прибыл. Впоследствии времени я всегда старался миновать могилу обоих братьев; а рассказ о моем видении и страданиях ночных увеличил в индийцах суеверный их ужас».

Джон-Теннер был дважды женат. Описание первой его любви имеет в его «Записках» какую-то дикую прелесть. Красавица его носила имя, имевшее очень поэтическое значение, но которое с трудом поместилось бы в элегии: она звалась Мис-куа-бун-о-куа, что по индийски значит заря.

«Однажды вечером»—говорит Теннер—«сидя перед нашей хижиной, увидел я молодую девушку. Она гуляла, курила табак и изредка на меня посматривала; наконец подошла ко мне и предложила мне курить из своей трубки. Я отвечал, что не курю. «Ты от того»—сказала она—«отказываешься, что не хочешь коснуться моей трубки». Я взял трубку из ее рук и покурил немного—в самом деле в первый раз от роду. Она со мною разговорилась, и

[1] Мертвец.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

понравилась мне. С той поры мы часто видались и я к ней привязался.

«Вхожу в эти подробности, потому что у индийцев таким образом не знакомятся. У них обыкновенно молодой человек женится на девушке вовсе ему незнакомой. Они видались; может быть, взглянули друг на друга; но вероятно никогда между собою не говорили; свадьба решена стариками, и редко молодая чета противится воле родительской. Оба знают, что если союз сей будет неприятен одному из двух, или обоим вместе, то легко будет его расторгнуть.

«Разговоры мои с Мис-куа-бун-о-куа вскоре наделали много шуму в нашем селении. Однажды старый Очук-кукон вошел ко мне в хижину, держа за руку одну из многочисленных своих внучек. Он, судя по слухам, полагал, что я хотел жениться. «Вот тебе»—сказал он моей матери—«самая добрая и самая прекрасная из моих внучек: я отдаю ее твоему сыну». С этим словом он ушел, оставя ее у нас в хижине...

«Мать моя всегда любила молодую девушку, которая считалась красавицей. Однакож старуха смутилась, и сказала мне наедине: «Сын, девушка прекрасна и добра; но не бери ее за себя: она больна и через год умрет. Тебе нужна жена сильная и здоровая, и так предложим ей хороший подарок, и отошлем ее к родителям». Девушка возвратилась с богатыми подарками, а через год предсказание старухи сбылось.

«С каждым днем любовь наша усиливалась. Мать моя, вероятно, не осуждала нашей склонности. Я ничего ей не говорил; но она знала всё, и вскоре я в том удостоверился. Однажды проведши в первый раз большую часть ночи с моей любовницей, я воротился поздно и заснул. На заре старуха разбудила меня, ударив прутом по голым ногам.

«Вставай»—сказала она—«вставай, молодой жених, ступай на охоту. Жена твоя будет тебя более почитать, когда рано воротишься к ней с добычей, нежели когда станешь величаться, гуляя по селению в отсутствие ловцев». Я молча взял ружье и вышел. В полдень воротился, неся на плечах жирного муза, мною застреленного, и сбросил его к ногам матери, сказав ей грубым голосом: «Вот тебе, старуха, что ты сегодня утром от меня требовала». Она была очень довольна и похвалила меня. Из того я заключил, что связь моя с молодой девушкой не была ей противна, и очень был тому рад. Многие из индийцев чуждаются своих старых родителей; но хотя Нет-но-куа была уже дряхла и немощна, я сохранял к ней прежнее, безусловное почтение.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Я с жаром предавался охоте и почти всегда возвращался рано, или по крайней мере засветло, обремененный добычею. Я тщательно наряжался, и разгуливал по селению, играя на индийской свирели, называемой пи-бе-гвун. В течение некоторого времени Мис-куа-бун-о-куа притворно отвергала меня. Я стал охладевать; тогда она забыла всё притворство... С моей стороны желание привести жену к нам в хижину уменьшилось. Я хотел прервать с нею всякие сношения. Увидя явное равнодушие, она хотела тронуть мне сердце то слезами, то упреками, но я ничего не говорил об ней старухе, и с каждым днем охлаждение мое становилось сильнее.

«Около того времени мне понадобилось побывать на Красной Реке, и я отправился с одним индийцем, у которого была сильная и легкая лошадь. Нам предстояла дорога на семьдесят миль. Мы по очереди ехали верхом, а пеший между тем бежал держа лошадь за хвост. Мы были в дороге одни сутки. На возвратном пути я был один и шел пешком. Темнота ночи и усталость заставили меня ночевать в десяти милях от нашей хижины.

«Пришед домой на другой день, я увидел Мис-куа-бун-о-куа сидящую на моем месте. Я остановился у дверей в недоумении. Она потупила голову. Старуха сказала мне с видом сердитым: «Что же? разве оборотишься ты спиною к нашей хижине, и обесчестишь эту бедную девушку, которой ты не стоишь? Всё, что случилось между вами, сделалось по твоей воле, не с моего и не с ее согласия. Ты сам за нею бегал повсюду; а теперь неужто прогонишь ее как будто она на тебя навязалась?»... Укоризны матери показались мне несовсем несправедливы. Я вошел и сел подле девушки... Таким образом мы стали муж и жена».

Джон Теннер оставил свою жену, и взял другую, от которой имел троих детей. Вопреки своей долговременной привычке и страстной любви к жизни охотничей, жизни трудов, опасностей и восхищений непонятных и неизъяснимых, одичалый американец всегда помышлял о возвращении в недра семейства, от которого так долго был насильственно отторгнут. Наконец решился исполнить давнишнее свое намерение, и отправился к берегам Биг-Миами, к месту пребывания прежнего своего семейства.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пришед в одно из тамошних поселений, встретил он старого индийца и узнал в нем молодого дикаря, некогда его похитившего. Они дружески обнялись. Теннер узнал от него о смерти старика, так страшно с ним познакомившегося. Индиец рассказал ему подробности его похищения, о которых Теннер имел только смутное понятие. На вопрос его: правда ли, что старый Теннер и все его семейство учинилось жертвою индийцев, как некогда Монито-о-гезик уверял маленького своего пленника? Индиец отвечал, что старик солгал, и рассказал ему следующее:

«Год спустя после похищения Джона Теннера, Монито-о-гезик воротился к тому месту, где совершил первое свое предприятие. Тут с утра до полудня он подстерегал старого Теннера и его работников. Они все вместе вошли в дом; в поле остался только старший сын, пахавший землю сохою, запряженною лошадьми. Индийцы на него бросились; лошади дернули; брат Джона Теннера запутался в веревках, упал, и был схвачен. Лошадей убили стрелами. Индийцы утащили молодого Теннера в лес, переправясь до ночи через Оио. Пленника привязали к дереву веревками; но он успел перегрызть узел, высвободил руку, вынул ножичек из кармана, перерезал свои узы, тотчас побежал к реке и бросился вплавь. Индийцы, услышав шум, проснулись, погнались было за ним; но ночь была темна и он успел убежать, оставя им на память свою шляпу».

Отец Теннера умер тому лет десять, оставя имение свое старшему сыну и не позабыв в своей духовной того, чья участь была ему неизвестна.

Наконец Джон Теннер увидел свою семью, которая приняла его с великою радостию. Брат его обнял с восторгом, обрезал ему волосы, и употребил всевозможные старания, дабы удержать его у себя дома. Одичалый американец, с своей стороны, звал его к себе, к Лесному озеру, выхваляя ему через переводчика дикую жизнь и раздолье степей. Братья его были женаты; сестра Люси имела

Пушкинский кабинет ИРЛИ

десять человек детей. Наконец просьбы родных на него подействовали: он решился оставить индийцев и с своими детьми переселиться в общество, которому принадлежал по праву рождения.

Но приключения Теннера тем еще не кончились. Судьба назначала ему еще новые испытания. Возвратясь к диким своим знакомцам и объявив им о своем намерении, он возбудил сильное негодование. Индийцы не соглашались выдать ему детей. Жена отказывалась следовать за ним к людям чуждым и ненавистным. Власти американские принуждены были вмешаться в семейственные дела Джона Теннера. Угрозой и ласкою уговорили индийцев отпустить его домой со всем семейством. Он еще в последний раз отправился с родными к Красной Реке на охоту за буйволами, прощаясь навсегда с дикой жизнию, имевшей для него столько прелести. Возвратясь он стал готовиться в дорогу.

Индийцы простились с ним дружелюбно. Сын его не захотел за ним следовать, и остался вольным дикарем. Теннер отправился с двумя дочерьми и с их матерью, которая не хотела с ними расстаться. Послушаем, как Теннер описывает свое последнее путешествие.

«В обратном пути я предпочел ехать по Недоброй Реке, что должно было сократить дорогу на несколько миль. Близ устья реки Осетра в то время стоял табор или деревня из шести или семи хижин. Тут находился молодой человек, по имени Ом-чу-гвут-он. Он был высечен, по приказанию американского начальства, за настоящую или мнимую вину, и глубоко за то злобствовал. Узнав о моем проезде, он приехал ко мне на своем челночке.

«Довольно странным образом стал он искать разговора со мною, и вздумал уверять, что между нами существовали сношения семейственные; ночевал с нами вместе, и утром мы с ним отправились в одно время. Причалив к берегу, я приметил, что он искал случая встретиться в лесу с одной из моих дочерей, которая тотчас воротилась, немного встре-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

воженная. Мать ее также несколько раз в течение дня, имела с нею тайные разговоры; но девочка всё была печальна и несколько раз вскрикивала.

«К ночи, когда расположились мы ночевать, молодой человек тотчас удалился. Я притворно занимался своими распоряжениями, а между тем не выпускал его из виду;— вдруг приближился к нему и увидел его посреди всего снаряда охотничьего. Он обматывал около пули оленью жилу длиною около пяти вершков. Я сказал ему: «Брат мой» (так называл он меня сам) «если у тебя недостает пороху, пуль или кремней, то возьми у меня, сколько тебе понадобится». Он отвечал, что ни в чем не нуждается, а я воротился к себе на ночлег.

«Несколько времени я его не видал. Вдруг явился он в наряде и украшениях воина, идущего в сражение. В первую половину ночи он надзирал за всеми моими движениями с удивительным вниманием: подозрения мои, уже и без того сильно возбужденные, увеличились еще более. Однакож он продолжал со мною разговаривать много и дружелюбно и попросил у меня ножик, чтобы нарезать табаку; он вместо того, чтоб возвратить его, сунул себе за пояс. Я полагал, что он отдаст мне его по утру.

«Я лег в обыкновенный час, не желая показать ему свои подозрения. Палатки у меня не было, и я лежал под крашеной холстиной. Растянувшись на земле, я выбрал такое положение, что мог видеть каждое его движение. Настала гроза. Он, казалось, стал еще более беспокоен и нетерпелив. При первых дождевых каплях я предложил ему разделить со мною приют. Он согласился. Дождь шел сильно; огонь наш был залит; скоро потом м у с т и к и (род комаров) напали на нас. Он опять разложил огонь и стал обмахивать меня веткою.

«Я чувствовал, что мне не должно было засыпать; но усыпление начинало овладевать мною. Вдруг разразилась новая гроза сильнее первой. Я оставался как усыпленный, не открывая глаз, не шевелясь и не теряя из виду молодого человека. Однажды сильный удар грома, казалось, смутил его. Я увидел, что он бросал в огонь немного табаку в виде приношения. В другой раз, когда сон, казалось, совершенно мною овладевал, я увидел, что он стерег меня, как кошка, готовая броситься на свою жертву; однакож я всё противился дремоте.

«По утру он с нами отзавтракал, как обыкновенно, и ушел вперед прежде нежели успел я собраться. Дочь моя, с которой разговаривал он в лесу, казалась еще более испуганною и долго не хотела войти в челнок; мать уго-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

варивала ее, и старалась скрыть от меня ее смятение. Наконец мы поехали. Молодой человек плыл у берега, не в дальнем от нас расстоянии, до десяти часов утра. Тогда при довольно опасном и быстром повороте, откуда взору открывалось далекое пространство, и он и челнок его исчезли, что очень меня удивило.

«На сем месте река имеет до 80 вержей ширины, а в десяти—от поворота, о котором я упоминал—находится маленький, утесистый остров. Я был раздет и с усилием правил челноком против бурного течения (что заставляло меня жаться как можно ближе к берегу), как вдруг вблизи раздался ружейный выстрел; пуля просвистала над моей головою. Я почувствовал как бы удар по боку. Весло выпало у меня из правой руки, которая сама повисла. Дым выстрела затемнял кусты, но со второго взгляда я узнал убегающего Ом-чу-гвут-она.

Дочери мои закричали. Я обратил внимание на челнок; он был весь окровавлен. Я старался левою рукою направить его на берег, чтобы преследовать молодого человека; но течение было слишком сильно для меня: оно принесло нас на утесистый островок. Я ступил на него и, вытащив левою рукою челнок на камень, попробовал зарядить ружье; но не успел того сделать, и упал без чувств. Очнувшись, я увидел, что был один на острову. Челнок с моими дочерьми исчезал вдали, возвращаясь вспять по течению. Я снова лишился чувств, но наконец пришел в себя.

«Полагая, что мой убийца надзирал за мною из какого-нибудь скрытого места, я осмотрел свои раны. Правая рука была в очень худом состоянии: пуля, вошедшая в бок близ легкого, осталась во мне. Я отчаялся в жизни и стал кликать Ом-чу-гвут-она, прося его прекратить мне жизнь и мучения: «Ты убил меня»—кричал я—«но хотя я и смертельно ранен, однако боюсь прожить несколько дней. Приди же, если ты муж, и выстрели в меня еще раз». Звал его несколько раз, но не получил ответа.

«Я был почти гол: в минуту как меня ранили, на мне, кроме порт, была одна рубашка, и та вся разорванная во время усилий при плавании. Я лежал на голом утесе, на зное летнего дня; земляные и черные мухи кусали меня; в будущем видел я лишь медленную смерть. Но по захождении солнца сила и надежда возвратились; я доплыл до того берега. Вышед из воды, мог стать на ноги и испустил крик бранный, называемый с а с с а к у и, в знак радости и вызова. Но потеря крови и усилия во время плавания снова лишили меня чувств.

«Пришед в себя, я спрятался близ берега, чтоб наблю-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дать за моим врагом. Вскоре увидел я Ом-чу-гвут-она, выходящего из своей западни; он пустил в воду свой челнок, поплыл вниз по реке и прошел близехонько от меня. Мне сильно хотелось кинуться на него, чтоб схватить и задавить его в воде; но я не понадеялся на свои силы и таким образом пропустил его, не открываясь.

«Вскоре пламенная жажда начала меня мучить. Берега реки были круты и каменисты. Я не мог лежа напиться от раненой руки, на которую не в силах был опереться. Надлежало войти в воду по самые губы. Вечер свежел более и более, и силы мои вместе с тем возобновлялись. Кровь, казалось, лилась свободнее; я занялся своею раною. Несмотря на опухоль мяса, я постарался соединить раздробленные косточки; сперва разорвал на бинты остаток своей рубашки, потом зубами и левой рукою стал их обвивать около руки сначала слабо, а потом все туже, туже, пока наконец успел ее порядочно перевязать. Вместо лубков привязал я прутики и повесил руку на веревочку, накинутую на шею.

«После того взял корку с дерева, похожего на вишневое, и, разжевав ее, приложил к моим ранам, надеясь тем остановить течение крови. Кусты, отделявшие меня от реки, были все окровавлены. Настала ночь. Я выбрал для ночлега мшистое место. Пень служил мне изголовьем. Я не хотел удалиться от берега, дабы наблюдать надо всем, что случится, и дабы в случае жажды иметь возможность ее утолить. Я знал, что лодка, принадлежащая купцам, должна была около того времени проехать в этом самом месте, ждал я от них-то помощи. Индийских хижин не было ближе тех, откуда к нам присоединился Ом-чу-гвут-он, и я имел причину думать, что кроме его, дочерей моих и жены, никого кругом не было.

«Простертый на земле, я стал молиться великому духу, прося его сжалиться надо мною и ниспослать помощь в час скорби. Оканчивая молитвы, заметил я, что мустики, которые роем облепили голое тело мое, умножая страдания, стали отлетать, покружились надо мною, и наконец исчезли. Я не приписал этого непосредственному действию великого духа: вечер становился холодным, и следовательно это было влияние воздуха. Я был однакож уверен, как и всегда во время бедствий и опасности, что владыко дней моих невидимо находился близ меня, мощно мне покровительствуя. Я спал тихо и спокойно; но часто просыпался и всякий раз помнил, просыпаясь, что снилась мне лодка с белыми людьми.

«Около полуночи услышал я на той стороне реки жен-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ские голоса, и мне показались они голосами моих дочерей. Я подумал, что Ом-чу-гвут-он открыл место, куда они скрылись, и как-нибудь их обижал, потому что крики их изъявляли страдание. Но я не имел силы встать и итти к ним на помощь.

«На другой день, прежде десяти часов утра, услышал я по реке человеческие голоса, и увидел лодку, наполненную белыми людьми, подобную той, которую видел во сне. Эти люди вышли на берег, не в дальнем расстоянии от места, где я лежал, и стали готовить завтрак. Я узнал лодку г. Стюарта, гудзонского купца, которого ждали около того времени. Полагая, что появление мое произведет над ними впечатление неприятное, я дождался конца их завтрака.

«Когда приготовились они к отплытию, я вошел в брод, дабы обратить на себя их внимание. Увидя меня, французы перестали грести, и все устремили на меня взор с видом сомнения и ужаса. Течение быстро их уносило, и зов мой, произнесенный на индийском языке, не производил никакого действия. Наконец я стал звать г. Стюарта по имени, и вспомнив несколько английских слов, умолял путешественников воротиться за мною. В одну минуту весла опустились, и лодка подъехала так близко, что я мог в нее войти.

«Никто не узнал меня, хотя гг. Стюарт и Грант были мне очень знакомы. Я был весь окровавлен, и вероятно страдания очень меня переменили. Меня осыпали вопросами. Вскоре узнали, кто я таков и что со мною случилось. Приготовили мне постелю в лодке. Я умолял купцов ехать за моими детьми в то направление, откуда слышались их крики, и боялся найти их умерщвленными. Но все розыскания были тщетны....

«Узнав об имени моего убийцы, купцы решились тотчас отправиться в деревню, где жил Ом-чу-гвут-он, и обещались убить его на месте, если успеют поймать. Меня спрятали на самое дно лодки. Когда причалили мы к хижинам, старик вышел к нам навстречу, спрашивая: «Что нового?»—Всё хорошо—отвечал г. Стюарт—другой новости нет.—«Белые люди»—возразил старик—«никогда нам правды не скажут. Я знаю, что в той стране, откуда вы прибыли, есть новости. Один из наших молодых людей, Ом-чу-гвут-он, был там и сказывал, что Сокол (индийское прозвище Д. Теннера), который дней несколько тому назад проезжал здесь с женою и с детьми, всех их перерезал. Но, кажется, Ом-чу-гвут-он сделал сам что-нибудь недоброе: он что-то неспокоен, а увидя вас, бежал».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Гг. Стюарт и Грант стали однакож искать Ом-чугвут-она по всем хижинам и, удостоверясь в его побеге, сказали старику: «Правда, он сделал недоброе дело; но тот, кого хотел он убить, с нами; неизвестно, будет ли он еще жив...» Тогда показали меня индийцам, собравшимся на берегу.

«Здесь мы несколько времени отдыхали. Осмотрели мои раны. Я удостоверился, что пуля, раздробив кость руки, вошла в бок близ ребра, и просил г. Гранта вынуть ее; но ни он, ни г. Стюарт на то не согласились. Я принужден был сам начать операцию левою рукою. Ланцет, данный мне г. Грантом, переломился. Я взял перочинный ножичек, и тот переломился, потому что в этом месте мясо очень отвердело. Наконец дали мне широкую бритву, и я вынул пулю; она была очень сплющена. Оленья жила и другие снадобья остались в ране. Коль скоро увидел я, что пуля ниже ребер не опустилась, стал надеяться на выздоровление; но, имея причину полагать, что рана моя была отравлена ядом, предвидел медленное выздоровление.

«После того отправились мы в деревню, в которой старшиною был родной брат моего убийцы. Тут г. Стюарт имел предосторожность спрятать меня опять. Жители призваны были один за другим; им роздали табаку. Но все розыскания опять остались тщетными. Наконец меня показали, и сказано было старшине, что мой убийца был родной его брат. Он потупил голову, и отказался отвечать на вопросы белых людей. Но мы узнали от других индийцев, что жена моя с дочерьми останавливалась в этой деревне на пути своем к Дождевому озеру.

«Мы тотчас туда отправились, и нашли их задержанных в конторе. Подозрение тамошних купцов было возбуждено их беспокойством и ужасом, также и моим отсутствием. Коль скоро меня завидели, старуха убежала в лес; но купцы послали за нею погоню, ее поймали и привели.

«Гг. Стюарт и Грант предоставили мне самому произнести приговор над женою, явно виновной в покушении на мою жизнь. Они объявили ее преступление, равным злодейству Ом-чу-гвут-она и достойным смерти или всякой другой казни. Но я потребовал, чтоб ее только прогнали из конторы без запасов и запретили б туда являться. Она была мать моих детей; я не хотел, чтоб она была повешена или забита до смерти (как предлагали мне купцы); но вид ее становился мне несносен: по просьбе моей, ее прогнали без наказания.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Дочери сказали, что в ту минуту, как упал я без чувства на камень, они, почитая меня мертвым и повинуясь приказанию матери, пустились в обратный путь, и предались бегству. В некотором расстоянии от островка, где я лежал, старуха причалила к кустарнику, спрятала там мое платье и после долгого перехода скрылась в лесу; но потом, размыслив, что лучше бы сделала, если б присвоила себе мою собственность, воротилась. Тогда-то услышал я крики дочерей, сопровождавших старуху, которая подбирала мое платье на берегу...»

Ныне Джон Теннер живет между образованными своими соотечественниками. Он в тяжбе с своею мачихою о нескольких неграх, оставленных ему по наследству. Он очень выгодно продал свои любопытные «Записки»; и на днях будет вероятно членом *Общества Воздержности*[1]. Словом, есть надежда, что Теннер современем сделается настоящим yankee[2]<янки>, с чем и поздравляем его от искреннего сердца.

The Reviewer[3].

2. Рецензии и заметки в отделе «Новые книги».

ВАСТОЛА, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ.

Повесть в стихах, сочинение Виланда, издал А. Пушкин. С. П-бург, в тип. Д. Внеш. Торг., 1836, в. 8, стр. 96.

В одном из наших журналов дано было почувствовать, что издатель Вастолы хотел присвоить себе чужое произведение, выставя свое имя на книге, им изданной. Обвинение несправедливое:

---

[1] Общество, коего цель—истребление пьянства. Члены обязываются не употреблять и не покупать никаких крепких напитков. *Изд<атель>*.

[2] Прозвище, данное американцам; смысл его нам неизвестен. *Изд<атель>*.

[3] <Обозреватель.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

печатать чужие произведения, с согласия или по просьбе автора, до сих пор никому не воспрещалось. Это называется *издавать*; слово ясно; по крайней мере до сих пор другого не придумано.

В том же журнале сказано было, что «Вастола переведена каким-то бедным литератором, что А. С. П. только дал ему на прокат свое имя, и что лучше бы сделал, дав ему из своего кармана тысячу рублей».

Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и литератор заслуженный, почтенный отец семейства, не мог ожидать нападения столь жестокого. Он человек небогатый, но честный и благородный. Он мог поручить другому приятный труд издавать свою поэму, но конечно бы не принял милостыни от кого-бы то ни было.

После такового объяснения, не можем решиться здесь наименовать настоящего переводчика. Жалеем, что искреннее желание ему услужить могло подать повод к намекам, столь оскорбительным.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ.

Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Издание второе. Две части, в 8 д. л., XIV, 203 и X, 233, в тип. Д. Внешн. Торговли.

Читатели наши конечно помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы Русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времени Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу

Пушкинский кабинет ИРЛИ

критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал Арабески, где находится его Невский проспект, самое полное из его произведений. В след за тем явился Миргород, где с жадностию все прочли и Старосветских помещиков, эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтер-Скота. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале[1].

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА СОЧИНЕНИЕ СИЛЬВИО ПЕЛЛИКО

На днях выдет из печати новый перевод книги: *Dei Doveri degli uomini*, сочинения славного Сильвио Пеллико[2].

Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже *пословицею народов*; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием,—и такова ее вечно-новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие.

---

[1] На днях будет представлена на здешнем Театре его комедия *Ревизор*.

[2] <Перевод С. Н. Дирина. «Об обязанностях человека», наставление юноше. Сочинение Сильвио Пеллико. С итальянского. СПБ. В типографии Н. Греча. 1836.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И не всуе, собираясь сказать несколько слов о книге кроткого страдальца, дерзнули мы упомянуть о божественном Евангелии: мало было избранных (даже между первоначальными пастырями церкви), которые бы в своих творениях приближались кротостию духа, сладостию красноречия и младенческою простотою сердца к проповеди небесного учителя.

В позднейшие времена неизвестный творец книги «О подражании Иисусу Христу», Фенелон и Сильвио Пеллико в высшей степени принадлежат к сим избранным, которых ангел господний приветствовал именем *человеков благоволения.*

Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью,—прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства.

Признаемся в нашем суетном зломыслии. Читая сии записки, где ни разу не вырывается из-под пера несчастного узника выражения нетерпения, упрека или ненависти, мы невольно предполагали скрытое намерение в этой ненарушимой благосклонности ко всем и ко всему; эта умеренность казалась нам искусством. И восхищаясь писателем, мы укоряли человека в неискренности. Книга: Dei Doveri устыдила нас, и разрешила нам тайну прекрасной души, тайну человека-христианина.

Сказав, какую книгу напомнило нам сочинение Сильвио Пеллико, мы ничего более не можем и не должны прибавить к похвале нашей.

В одном из наших журналов, в статье писателя с истинным талантом, критика, заслужившего доверенность просвещенных читателей, с удивлением прочли мы следующие строки о книге Сильвио Пеллико:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Если бы книга *Обязанностей* не вышла вслед за книгою *Жизни* (Мои Темницы), она показалась бы нам общими местами, сухим, произвольно догматическим уроком, который мы бы прослушали без внимания».

Неужели Сильвио Пеллико имеет нужду в извинений? Неужели его книга, вся исполненная сердечной теплоты, предести неизъяснимой, гармонического красноречия, могла кому бы то ни было, и в каком бы то ни было случае, показаться *сухой* и холодно догматической? Неужели, если б она была написана в тишине Фиваиды или в библиотеке философа, а не в грустном уединении темницы, недостойна была бы обратить на себя внимания человека, одаренного сердцем?—Не можем поверить, чтобы в самом деле такова была мысль автора «Истории Поэзии».

Это уж не ново, это было уж сказано—вот одно из самых обыкновенных обвинений критики. Но всё уже было сказано, все понятия выражены и повторены в течение столетий: что ж из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, не станем на него клеветать: разум неистощим в *соображении* понятий, как язык неистощим в *соединении* слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторение лексикона. *Мысль* отдельно никогда ничего нового не представляет; *мысли же* могут быть разнообразны до бесконечности.

Как лучшее опровержение мнения г-на Шевырева, привожу собственные его слова:

«Прочтите ее (книгу Пеллико) с тою же верою, с какою она писана, и вы вступите из темного мира сомнений, расстройства, раздора головы с сердцем в светлый мир порядка и согласия. Задача жизни и счастия вам покажется проста. Вы как-то соберете себя, рассеянного по мелочам страстей,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

привычек и прихотей—и в вашей душе вы ощутите два чувства, которые к сожалению очень редки в эту эпоху: чувство довольства и чувство надежды».

СЛОВАРЬ О СВЯТЫХ, ПРОСЛАВЛЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ, И О НЕКОТОРЫХ СПОДВИЖНИКАХ БЛАГОЧЕСТИЯ МЕСТНО-ЧТИМЫХ. 1836 г. С.П.Б.

В наше время главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые *ученые* принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною *взглядов*, приноровлением модных понятий к старым давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые, в некотором смысле, можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых, и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих.

Словарь о Святых не принадлежит к числу опрометчивых и скороспелых произведений, наводняющих наши книжные лавки. Отчетливость в предварительных изысканиях, полнота в совершении предпринятого труда поставили сию книгу высоко во мнении знающих людей. Издатель на своем поприще имел предшественником Новикова, напечатавшего в 1784 году *Опыт Исторического Словаря о всех в истинной православной вере святою непорочною жизнию прославившихся святых мужах.* С того времени прошло более пятидесяти лет; средства и источники умножились; для нового издателя труд был облегчен, но вместе с тем и удвоен. *В Опыте* Новикова помещено 169 имен угодников, с описанием их жития, или безо вся-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кого объяснения: *Словарь о святых* заключает в себе 363 имени, т. е. более, нежели вдвое. У Новикова источники изредка указаны внизу самого текста: в нынешнем «Словаре» полный «Указатель» источникам напечатан особо, в два столбца, мелким шрифтом, и составляет целый печатный лист.

«Церковь российская»—сказано в предисловии—«весьма осторожно оглашала святыми угодников своих, и только по явном открытии нетления мощей, прославленных чудесами, помещала их в месяцословы. Россия к утверждению православия своего видела во многих местах явное знамение благодати над мощами тех, кои святостию жизни, примером благочестия, или христианским самоотвержением явили себя достойными почитания; но имена сих угодников не были внесены в «Общие Святцы Российской церкви»; а память их совершалась в тех только местах, где они почивают. Причиною такой местности было отделение духовной власти Новгорода от главной духовной власти России, и потом разделение митрополии на Киевскую и Московскую. Уже в половине XVI века московский митрополит Макарий, составляя «Великие Четьи-Минеи», собрал жития и некоторых святых, еще дотоле в патериках не помещенных, и для установления им служеб имел в Москве 1547 года собор, на котором двенадцати святым российским назначено повсюду празднование и службы, а девяти—только в местах, где мощи их почивают. Те церкви, которые не успели на собор представить свидетельств о своих местных угодниках, после получали, по рассмотрению митрополита, дозволение совершать память их, и потом, при патриархах, некоторые из них внесены в общие месяцословы. Митрополит Ростовский Димитрий, в своих «Четьих-Минеях», поместил преподобных киевопечерских под числом соверше-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ния их памяти. Но и за сим многие не внесены в месяцословы, хотя некоторым сочинены особые службы, кондаки и тропари; таковы угодники новогородские, псковские, вологодские и другие.

«В предлагаемом «Словаре» помещены жития святых, прославленных в российской церкви; жития некоторых других подвижников благочестия, коих память благоговейно сохраняется там, где они жили или почили; наконец краткие известия о тех богоугодно-поживших, которых имена выписаны из синодиков, или древних монастырских записок. При описании жизни святого, прославленного во всей российской церкви, обозначены в «Словаре» месяц и число совершения памяти; относительно прочих также означается место и день, когда чтится их память совершением молебных пений или панихид, по введенному постановлениями или преданием обычаю».

Слог издателя должен будет служить образцом для всех ученых словарей. Он прост, полон и краток. Нам случилось в «Энциклопедическом Лексиконе» (впрочем, книге необходимой и имеющей столь великое достоинство) найти в описании какого-то сражения уподобление одного из корпусов кораблю или птице, не помним наверное чему: таковы риторические фигуры в каком-нибудь ином сочинении могут быть дурны или хороши, смотря по таланту писателя; но в словаре они во всяком случае нестерпимы.

Издатель «Словаря о Святых» оказал важную услугу истории. Между тем книга его имеет и общую занимательность; есть люди, не имеющие никакого понятия о житии того св. угодника, чье имя носят от купели до могилы, и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Наконец и библиофилы будут благодарны за типографическую изящность издания: «Словарь» напечатан в большую осьмушку, на лучшей веленевой бумаге, и есть отличное произведение типографии Второго Отделения собственной канцелярии Е. И. В.

НОВЫЙ РОМАН

Недавно одна рукопись, под заглавием: *Село Михайловское*, ходила в обществе по рукам, и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением ожидаем его появления.

КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА,

происшествие в России, в 2 част. Издал Иван Бутовский. СПБ. При подписке 1 ч. выдается, а на 2 билет.

Под сим заглавием вышел в свет первый том записок Н. А. Дуровой. Читатели «Современника» видели уже отрывки из этой книги. Они оценили без сомнения прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которой пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия. В сем первом томе описаны детские лета, первая молодость и первые походы Надежды Андреевны. Ожидаем появления последнего тома, дабы подробнее разобрать книгу, замечательную по всем отношениям.

КЛЮЧ К ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Н. М. КАРАМЗИНА. 2. ч. М.

Издав сии два тома, г. Строев оказал более пользы Русской истории, нежели все наши историки с высшими взглядами, вместе взятые. Те из них, которые не суть еще закоренелые верхогляды, принуждены будут в том сознаться. Г. Строев

Пушкинский кабинет ИРЛИ

облегчил до невероятной степени изучение русской истории. «*Ключ*» составлен по *второму* изданию «Истории Государства Российского», *самому полному и исправному*, пишет г. Строев. Издатели «Истории Государства Российского» должны будут поскорее приобрести право на перепечатание «Ключа», необходимого дополнения к бессмертной книге Карамзина.

3. Редакционные предисловия, послесловия, полемические и информационные заметки.

<ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ДОЛИНЕ АЖИТУГАЙ»>

Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке; любопытно видеть, как Султан Газы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным, как русской офицер помнит чувства ненависти к России, волновавшие его отроческое сердце; как наконец магометанин с глубокой думою смотрит на крест, *эту хоругвь Европы и просвещения*[1].

ЗАПИСКИ Н. А. ДУРОВОЙ, ИЗДАВАЕМЫЕ А. ПУШКИНЫМ

Modo vir, modo foemina.
Ov.[2]

В 1808 году, молодой мальчик, по имени Александров, вступил рядовым в Конно-Польский Уланский полк, отличился, получил за храбрость солдатский георгиевский крест, и в том же году произведен был в офицеры в Мариупольский Гусар-

[1] <Цитата из «Долины Ажитугай».>
[2] <То муж, то женщина. Овидий.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ский полк. Впоследствии перешел он в Литовский Уланский и продолжал свою службу столь же ревностно, как и начал.

Повидимому всё это в порядке вещей и довольно обыкновенно; однакож это самое наделало много шуму, породило много толков и произвело сильное впечатление от одного нечаянно открывшегося обстоятельства: корнет Александров был девица Надежда Дурова.

Какие причины заставили молодую девушку, хорошей дворянской фамилии, оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений—и каких еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тайные, семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная неукротимая склонность? Любовь?.. Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время сильно занимали общество.

Ныне Н. А. Дурова сама разрешает свою тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем издателями ее любопытных записок. С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным. Надежда Андреевна позволила нам украсить страницы *Современника* отрывками из журнала, веденного ею в 1812—13 году. С глубочайшей благодарностию спешим воспользоваться ее позволением.

Изд<атель>.

ОТ РЕДАКЦИИ

I

Для очистки совести нашей и для предупреждения всех возможных толков и недоразумений воль-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ных и невольных, почитаем обязанностью сознаться, что напечатание в 1-й книжке журнала нашего *Хроники Русского в Париже* есть не что иное, как следствие нашей нескромности, что сии отрывки из дружеских писем, или, лучше сказать, домашнего журнала, никогда не были предназначены к печати, особенно в том виде, в каком они представлены публике. Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом *про себя*, когда следовало бы ему писать *про других*. Мы имели случай стороною подслушать этот *apart é*[1], подсмотреть эти ежедневные, ежеминутные отметки, и поторопились, как водится ныне, в эпоху разоблачения всех тайн, поделиться удовольствием и свежими современными новинками с читателями «Современника». Можно было бы, и по некоторым отношениям следовало бы для порядка, дать этим разбросанным чертам стройное единство, облачить в литературную форму. Но мы предпочли сохранить в нем живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, булеварных, академических, салонных, кабинетных движений,—так сказать *стенографировать* эти горячие следы, эту лихорадку парижской жизни; впрочем, кажется, мы и не ошиблись в своем предпочтении. По всем отзывам образованных и просвещенных людей, Парижская хроника возбудила живейшее любопытство и внимание. Даже и тупые печатные замечания подтвердили нас в убеждении, что способ, нами избранный,

[1] <Разговор с самим собой.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

едва ли не лучший. Вкус иных людей может служить всегда надежным и неизменным руководством: стоит только выворотить вкус их наизнанку. То, чего они оценить не могли, что показалось им неприличным, неуместным, то, без сомнения, имеет внутреннее многоценное достоинство, следовательно, не их имеем в виду в настоящем объяснении. Но мы желали только, по обязанности редакторской, приняв на себя всю ответственность за произвольное напечатание помянутых выписок, отклонить ее от того, который писал их, забывая, что есть книгопечатание на белом свете.

II

Статья, присланная нам из Твери с подписью А. Б., не могла быть напечатана в сей книжке по недостатку времени.

Мы получили также статью *Г. Косичкина*. Но, к сожалению, и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, отлагаем ее до следующей.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

Георгий Кониский, о котором напечатана статья в первом нумере «Современника», начинает свои пастырские поучения следующими замечательными словами:

«Первое слово к вам, благочестивые слушатели, Христовы люди, рассудил я сказать о себе самом... Должность моя, как вы сами видите, есть учительская: а учители добрые и нелукавые себе первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедуют, нежели чужим».

Приемля журнальный жезл, собираясь проповедывать истинную критику, весьма достохвально поступили бы вы, м. г., если б перед стадом своих подписчиков изложили предварительно свои мы-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сли о должности критика и журналиста и принесли искреннее покаяние в слабостях, нераздельных с природою человека вообще и журналиста в особенности. По крайней мере, вы можете подать благой пример собратии вашей, поместив в своем журнале несколько искренних замечаний, которые пришли мне в голову по прочтении первого нумера «Современника».

Статья «О движении журнальной литературы», по справедливости, обратила на себя общее внимание. Вы в ней изложили остроумно, резко и прямодушно весьма много справедливых замечаний. Но признаюсь, она не соответствует тому, чего ожидали мы от направления, которое дано будет вами вашей критике. Прочитав со вниманием эту немного сбивчивую статью, всего яснее увидел я большое ожесточение противу г. Сенковского. По мнению вашему, вся ваша словесность обращается около «Библиотеки для чтения». Все другие повременные издания рассмотрены только в отношении к ней. «Северная Пчела» и «Сын Отечества» представлены каким-то сильным арьергардом, подкрепляющим «Библиотеку». «Московский Наблюдатель», по вашим словам, образовался только с тем намерением, чтоб воевать противу «Библиотеки». Он даже получил строгий выговор за то, что нападения его ограничились только двумя статейками; должно было, говорите вы, или не начинать вовсе, или, если начать, то уже не отставать. «Литературные Прибавления», «Телескоп» и «Молва» похвалены вами за их оппозиционное отношение к «Библиотеке». Признаюсь, это изумило тех, которые с нетерпением ожидали появления вашего журнала. Неужто, говорили они, цель «Современника»— следовать по пятам за «Библиотекою», нападая на неё врасплох, и вооруженной рукою отбивая

Пушкинский кабинет ИРЛИ

от нее подписчиков? Надеюсь, что опасения сии лживы и что «Современник» изберет для себя круг действия более обширный и благородный...

Обвинения ваши касательно г. Сенковского ограничиваются следующими пунктами:

1. Г. Сенковский исключительно завладел отделением критики в журнале, издаваемом от имени книгопродавца Смирдина.

2. Г. Сенковский переправляет статьи, ему доставляемые для помещения в «Библиотеке».

3. Г. Сенковский в своих критических суждениях не всегда соблюдает тон важности и беспристрастия.

4. Г. Сенковский не употребляет местоимений *сей* и *оный*.

5. Г. Сенковский имеет около пяти тысяч подписчиков.

Первые два обвинительные пункта относятся к домашним, так сказать, распоряжениям книгопродавца Смирдина и до публики не касаются. Что же до важного тона критики, то не понимаю, как можно говорить не в шутку о некоторых произведениях Отечественной литературы. Публика требует отчета обо всем выходящем. Неужто журналисту надлежит наблюдать один и тот же тон в отношении ко всем книгам, им разбираемым? Разница — критиковать «Историю Государства Российского» и романы гг. *** и пр. Критик, стараясь быть всегда равно учтивым и важным, без сомнения, погрешает противу приличия. В обществе вы локтем задеваете соседа, вы извиняетесь: очень хорошо; но гуляя под качелями, вы толкнули лавочника, и не скажете же ему: mille pardons [1]. Вы скажете: зачем ходить толкаться под качели? зачем упоминать о

[1] <Тысяча извинений.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

книгах, которые не стоят никакого внимания? Но если публика того требует непременно, зачем ей не угодить? Celà vous coute si peu et leur fait tant de plaisir![1] — Да позвольте узнать: что значит и ваш разбор альманаха *Мое Новоселье*, который так счастливо сравнили вы с тощим котом, мяукающим на кровле опустелого дома? Сравнение очень забавно, но в нем не вижу я ничего важного. *Врачю! исцелися сам!* Признаюсь, некоторые из веселых разборов, попадающихся в «Библиотеке для Чтения», тешат меня несказанно, и мне было бы очень жаль, если бы критик предпочел хранить величественное молчание.

Шутки г. Сенковского на счет невинных местоимений *сей*, *сия*, *сие*, *оный*, *оная*, *оное*,—ничто иное как шутки. Вольно же публике и даже некоторым писателям принять их за чистую монету. Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей* и *оный*[2], но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета скачущая по мосту, слуга метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет, и пр.,—заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретен-

[1] <Это стоит вам так мало и так много удовольствия дает им.>

[2] Впрочем, мы говорим: в сию минуту, сей час, по сию пору, и проч.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным—значит не знать языка.— Но вы несправедливо сравнили гонение на *сей* и *оный* со введением і и ѵ в орфографию русских слов и напрасно потревожили прах Тредьяковского, который никогда ни с кем не заводил споров об этих буквах. Ученый профессор, желавший преобразить нашу орфографию, действовал сам от себя, без предварительного примера. Замечу мимоходом, что орфография г. Каченовского не есть затруднительная новость, но давно существует в наших священных книгах. Всякий литератор, получивший классическое образование, обязан знать ее правила, даже и не следуя оным.

Что же касается до последнего пункта, т. е. до 5000 подписчиков, то позвольте мне изъявить искреннее желание, чтоб на следующий год могли вы заслужить точно такое ж обвинение.

Признайтесь, что нападения ваши на г. Сенковского не весьма основательны. Многие из его статей, пропущенных вами без внимания, достойны были занять место в лучших из европейских журналов. В показаниях его касательно Востока мы должны верить ему, как люди непосвященные. Он издает «Библиотеку» с удивительной сметливостию, с аккуратностию, к которой не приучили нас гг. русские журналисты. Мы, смиренные провинциалы, благодарны ему—и за разнообразие статей, и за полноту книжек, и за свежие новости европейские, и даже за отчет об литературной всячине. Жалеем, что многие литераторы, уважаемые и любимые нами, отказались от соучастия в журнале г. Смирдина, и надеемся, что «Современник» пополнит нам сей недостаток; но желаем, чтоб оба журнала друг другу не старались вредить, а действовали каждый сам по себе для пользы общей и для удовольствия жадно читающей публики.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Обращаясь к «Северной Пчеле», вы упрекаете ее в том, что она без разбора помещала все в нее бросаемые известия, объявления и тому подобное. Но как же ей и делать иначе? «Северная Пчела» газета, а доход газеты составляют именно объявления, известия и проч., без разбора печатаемые. Английские газеты, считающие у себя до 15 000 подписчиков, окупают издержки издания только печатанием объявлений. Не за объявления должно было укорять «Северную Пчелу», но за помещение скучных статей с подписью: Ф. Б., которые (несмотря на ваше пренебрежение ко вкусу бедных провинциалов) давно оценены у нас по достоинству. Будьте уверены, что мы с крайней досадою видим, что г. г. журналисты думают нас, занять нравоучительными статейками, исполненными самых детских мыслей и пошлых шуточек, которые достались «Северной Пчеле» вероятно по наследству от «Трудолюбивой Пчелы».

То, что вы говорите о «Прибавлениях к Инвалиду», вообще справедливо. Издатель оставил на полемическом поприще следы неизгладимые, и до сих пор подвизается на оном с неоспоримым успехом. Мы помним «Хамелеонистику», ряд статеёк в своем роде классических. Но позвольте вам заметить, что вы хвалите г. Воейкова именно за то самое, за что негодуете на г. Сенковского: за шутливые разборы того, что не стоит быть разобрано не в шутку.

Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности,—словом более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного.

Говоря о равнодушии журналистов к важным

Пушкинский кабинет ИРЛИ

литературным событиям, вы указываете на смерть Вальтер-Скотта. Но смерть Вальтер-Скотта не есть событие литературное; о Вальтер-Скотте же и его романах впопад и невпопад было у нас говорено довольно.

Вы говорите, что в последнее время замечено было в публике равнодушие к поэзии и охота к романам, повестям и тому подобному. Но поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде? И где подметили вы это равнодушие? Скорее можно укорить наших поэтов в бездействии, нежели публику в охлаждении. Державин вышел в свет третьим изданием; слышно, готовится четвертое. На заглавном листе басен Крылова (изданных в прошлом году) выставлено: *тринадцатая тысяча*. Новые поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом. Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание... Где же тут равнодушие публики к поэзии?

Вы укоряете наших журналистов за то, что они не сказали нам: что такое был Вальтер-Скотт? Что такое нынешняя французская литература? Что такое наша публика? Что такое наши писатели?

В самом деле вопросы весьма любопытные! Мы надеемся, что вы их разрешите впоследствии и что избегнете в вашей критике недостатков, так строго и так справедливо вами осужденных в статье, которую вправе мы назвать программою вашего журнала[1].

А. Б.

Тверь 23 апреля 1836.

---

[1] С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объяснения. Статья *О движении журнальной литературы* напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямодушием, были совершенно сходны с

Пушкинский кабинет ИРЛИ

<ПРИМЕЧАНИЕ К ПОВЕСТИ «НОС»>

Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись.

Издатель.

<ПРИМЕЧАНИЕ К СЛОВУ «БОГАДЕЛЬНЯ» В СТАТЬЕ «ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ»>

Слово это весьма неправильно составлено из двух слов, *бога деля* (для), и потому должно писать *богадельня.*

Издатель.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале[1], навлекло на меня обвинение, в котором долгом полагаю оправдаться. Это стихотворение заключает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошел первую половину поприща, и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уроны, предоставя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества. Я не мог подумать, чтобы тут можно было увидеть намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унизить священную славу Кутузова; однакож меня в том обвинили.

Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новей-

---

моими собственными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программою «Современника». *Издатель.*

[1] <«Полководец» Пушкина, напечатанный анонимно.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

шей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, Русские, что оно звучит Русским звуком?

И мог ли Барклай-де-Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где *равен был неравный спор*, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения). Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы, и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!

Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик? Ужели после двадцати-пятилетнего безмолвия поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?.. Конечно не народом, и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску ему подвластному, окруженный враждою,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом.

Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унизить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту степень, на которой она явилась в 1813 году. Но не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру—на того, кто некогда внушил мне следующие стихи, конечно, недостойные великой тени, но искренние и излиянные из души.

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет!
Он Русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал—и спас... и проч.

<ЗАМЕТКА О «СТАРИНЕ И НОВИЗНЕ»>

Спешим уведомить публику, что в начале будущего 1837 года выйдет в свет: *Старина и Новизна*, *Исторический и Литературный Сборник*, изданный к. Вяземским.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В сей книге будут помещены многие любопытные материалы, относящиеся до истории нашей, извлеченные из бумаг графа Ивана Захаровича Чернышева, подаренных издателю сыном его, графом Григорьем Ивановичем. Между прочими статьями упомянем о письмах и рескриптах царевича Алексея Петровича, Екатерины II, графа Чернышева, об анекдоте о принце Бироне и проч. и проч., почерпнутых из других достоверных источников. Будут еще письма Екатерины II к вице-адмиралу принцу Нассау-Зигену, отрывок из собственноручных записок графа Растопчина, воспоминание о графе Каподистрии и некоторых современных ему происшествиях. Литературное отделение будет также разнообразно и составлено из отрывков из собственноручных записок Ив. Ив. Дмитриева, нескольких писем Карамзина, из повестей, разных стихотворений, писем о современной русской литературе, нескольких глав из биографических и литературных записок о фон-Визине и о временах его, известия о первых трех песнях «Потерянного Рая», с английского прозою на русский язык переведенных нашим поэтом Петровым и ненапечатанных в собрании творений его, и проч. и проч. В конце книги будут помещены разные снимки с рукописей, вошедших в состав Сборника.

ОТ РЕДАКЦИИ

I

Современник будет издаваться и в следующем 1837 году.

Каждые три месяца будет выходить по одному тому.

Цена за все четыре тома, составляющие годовое издание, 25 рублей асс., с пересылкой 30 рублей асс.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Подписка в С. П. Б. принимается во всех книжных лавках. Иногородные могут адресоваться в Газетную Экспедицию.

II

Издатель «Современника» не печатал никакой программы своего журнала, полагая, что слова: *литературный журнал* уже заключают в себе достаточное объяснение.

Некоторые из журналистов почли нужным составить программу нового журнала. Один из них объявил, что «Современник» будет иметь целию — уронить «Библиотеку для Чтения», издаваемую г. Смирдиным; в «Северной же Пчеле» сказано, что «Современник» будет продолжением «Литературной Газеты», издаваемой некогда покойным бароном Дельвигом.

Издатель «Современника» принужден объявить, что он не имеет чести быть в отношении с г.г. журналистами, взявшими на себя труд составить за него программу, и что он никогда им того не поручал. Отклоняя однакож от себя цель, недостойную литератора и несправедливо ему приписанную в «Библиотеке для Чтения», он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в «Северной Пчеле»: «Современник», по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением «Литературной Газеты».

III

Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух нумеров своего журнала; вкрались некоторые ошибки, и одна довольно важная, происшедшая от недоразумения; публике дано обещание, которое издатель ни в

Пушкинский кабинет ИРЛИ

каком случае не может и не намерен исполнить — сказано было в примечании к статье: *Новые Книги*, что книги, означенные звездочкою, будут современем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у издателя те, которые показались ему замечательными, или которые намерен он был прочитать; но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике; многие не входят в область литературы, о других потребны сведения, которых он не приобрел.

IV

В первом томе «Современника», в статье: *Новые Книги*, под параграфом, относящимся к *Вастоле*, поэме Виланда, изданной А. Пушкиным, ошибкою пропущена подпись издателя.

V

Редакция «Современника» не может принять на себя обратного доставления присылаемых статей.

Издатель.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ, ПРЕДНАЗНАЧАВШИЕСЯ ДЛЯ «СОВРЕМЕННИКА»

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ[1]

Il ne faut pas qu'un hônnête homme mérite d'être pendu[2].

Слова Карамзина в 1819 году.

В конце первого десятилетия царствования Екатерины II, несколько молодых людей, едва вышедших из отрочества, отправлены были, по ее повелению, в Лейпцигский Университет, под надзором одного наставника и в сопровождении духовника. Учение пошло им не в прок. Надзиратель думал только о своих выгодах; духовник, монах добродушный, но необразованный, не имел никакого влияния на их ум и нравственность. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали. Они возвратились в Россию, где служба и заботы семейственные заменили для них лекции Геллерта и студенческие шалости. Большая часть из них исчезла, не оставив по себе следов; двое сделались известны: один на чреде заметной обнаружил совершенное

[1] <Статья была запрещена цензурой. >

[2] <Не годится, чтобы порядочный человек заслуживал быть повешенным. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бессилие и несчастную посредственность[1]; другой прославился совсем иначе.

Александр Радищев родился около 1750-го года. Он обучался сперва в Пажеском корпусе, и обратил на себя внимание начальства, как молодой человек, подающий о себе великие надежды. Университетская жизнь принесла ему мало пользы. Он не взял даже на себя труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы по крайней мере быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его. Он был кроток и задумчив. Тесная связь с молодым Ушаковым имела на всю его жизнь влияние решительное и глубокое. Ушаков был немногим старше Радищева, но имел опытность светского человека. Он уже служил секретарем при тайном советнике Теплове, и его честолюбию открыто было блестящее поприще, как оставил он службу из любви к познаниям и вместе с молодыми студентами отправился в Лейпциг. Сходство умов и занятий сблизили с ним Радищева. Им попался в руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его пошлой и бесплодной метафизики. Гримм, странствующий агент французской философии, в Лейпциге застал русских студентов за книгою о *Разуме* и привез Гельвецию известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии. Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями. Нам уже слишком известна французская философия

[1] <О. П. Козодавлев. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон и оценена. То, что некогда слыло скрытным учением гиерофантов, было потом обнародовано, проповедано на площадях, и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими.

Радищев написал *Житие Ф. В. Ушакова.* Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21-м году своего возраста от следствий невоздержанной жизни, но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей[1]. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений.

Возвратясь в Петербург, Радищев вступил в гражданскую службу, не переставая между тем заниматься и словесностию. Он женился. Состояние его было для него достаточно. В обществе он был уважаем как *сочинитель.* Граф Воронцов ему покровительствовал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему иное.

---

[1] А. М. Кутузова, которому Радищев и посвятил Житие Ф. В. Ушакова.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В то время существовали в России люди, известные под именем *мартинистов.* Мы еще застали несколько стариков, принадлежащих этому полуполитическому, полу-религиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия, ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды. Императрица, долго смотревшая на усилия французских философов, как на игры искусных бойцов, и сама их ободрявшая своим царским рукоплесканием, с беспокойством видела их торжество, и с подозрением обратила внимание на русских мартинистов, которых считала проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов. Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франмасонских ужинах.

Радищев попал в их общество. Таинственность их бесед воспламенила его воображение. Он написал свое *Путешествие из Петербурга в Москву*, сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу.

Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего правительства, наши законы, неизменившиеся со времен Петра I-го, их строгость, в то время еще не смягченную двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца, умевшего уважать челове-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чество; если подумаем: какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, то преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха,—а какого успеха может он ожидать?—он один отвечает за всё, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а *Путешествие в Москву* весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию.

Но может быть сам Радищев не понял всей важности своих безумных заблуждений. Как иначе объяснить его беспечность и странную мысль разослать свою книгу ко всем своим знакомым, между прочим и к Державину, которого поставил он в затруднительное положение? Как бы то ни было, книга его, сначала не замеченная, вероятно потому, что первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государыни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. *Он мартинист*, говорила она Храповицкому (см. его записки), *да он хуже*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пугачева; *он хвалит Франклина.*—Слово глубоко замечательное: монархиня, стремившаяся к соединению во едино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии.

Радищев предан был суду. Сенат осудил его на смерть (см. Полное Собрание Законов). Государыня смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в Сибирь.

В Илимске Радищев предался мирным, литературным занятиям. Здесь написал он большую часть своих сочинений; многие из них относятся к статистике Сибири, к Китайской торговле, и пр. Сохранилась его переписка с одним из тогдашних вельмож, который, может быть, не вовсе был чужд изданию *Путешествия.* Радищев был тогда вдовцом. К нему поехала его свояченица, дабы разделить с изгнанником грустное его уединение. Он в одном из своих стихотворений упоминает о сем трогательном обстоятельстве.

Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы,
Был блажен, и где оставил
Души нежной половину.

Бова, вступление.

Император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Он во все время царствования императора Павла I не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удаленный от дел и занимаясь воспитанием своих детей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Смиренный опытностию и годами, он даже переменил образ мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость. Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему, и помирился искренно со славной памятию великой царицы.

Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом или с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время *Ужаса*? мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра.

Император Александр, вступив на престол, вспомнил о Радищеве и, извиняя в нем то, что можно было приписать пылкости молодых лет и заблуждениям века, увидел в сочинителе *Путешествия* отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды. Он определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф З<авадовский> удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тебе пустословить по прежнему! или мало тебе было Сибири?» В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об Лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве... и отравился. Конец им давно предвиденный и который он сам себе напророчил!

Сочинения Радищева в стихах и прозе (кроме *Путешествия*) изданы были в 1807 году. Самое пространное из его сочинений есть философическое Рассуждение *О Человеке, о его смертности и бессмертии*. Умствования оного пошлы и не оживлены слогом. Радищев, хотя и вооружается противу материализма, но в нем всё еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма. Между статьями литературными замечательно его суждение о Тилимахиде и о Тредьяковском, которого он любил, по тому же самому чувству, которое заставило его бранить Ломоносова: из отвращения от общепринятых мнений. В стихах лучшее произведение его есть *Осьмнадцатый век*, лирическое стихотворение, писанное древним элегическим размером, где находятся следующие стихи, столь замечательные под его пером.

Урна времен часы изливает каплям подобно,
Капли в ручьи собрались, в реки ручьи возросли,
И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны
Вечности в море, а там нет ни предел, ни брегов,
Не возвышается остров, ни дна там лот не находит;
Веки в него протекли, в нем исчезает их след;
Но знаменито во веки своею кровавой струею
С звуками грома течет наше Столетье туда.
И сокрушен наконец корабль, надежды несущий!
Пристани близок уже, в водоворот поглощен.
Счастие и добродетель и вольность пожрал омут ярой,
Зри: восплывают еще страшны обломки в струе.
Нет! ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Будешь проклято во век, в век удивлением всех,
Крови в твоей колыбели, припевание громы сражений.
Ах, омочено в крови, ты ниспадаешь во гроб!..
Но зри: две вознеслися скалы во среде струй кровавых,
Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс.

Первая песнь *Бовы* имеет также достоинство. Характер Бовы обрисован оригинально, и разговор его с Каргою забавен. Жаль, что в *Бове*, как и в *Алеше Поповиче*, другой его поэме, не включенной, не знаем почему, в собрании его сочинений[1], нет и тени народности, необходимой в творениях такова рода; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою. В ней не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык.

Путешествие в Москву, причина его несчастия и славы, есть, как мы уже сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож, и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть эту книгу наудачу, чтобы удостовериться в истине нами сказанного.

В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но всё в нескладном и искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему;

[1] <Это произведение не А. Н. Радищева, а его сына.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

слабоумное изумление перед своим веком; слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему—вот, что мы видим в Радищеве[1]. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ, как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и Мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой—чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но всё это было бы просто полезно, и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы—чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости, не оскорбляясь их искренностью.

Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположе-

---

[1] <В рукописи далее следовала сентенция, вычеркнутая Пушкиным из позднейшей копии этой статьи: *Отымите у него честность, в остатке будет Полевой.*>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ний, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения, и не законно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.

3 апреля 1836.
СПБ.

<Приложения>

I. От императрицы, главнокомандовавшему в Санкт-Петербурге генерал-аншефу Брюсу.

Граф Яков Александрович!

Недавно издана здесь книга под названием: *Путешествие из Петербурга в Москву*, наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественной, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвесть в народе негодование противу начальников и начальства, наконец оскорбительными изражениями противу сана и власти царской. Сочинителем сей книги оказался коллежский советник Александр Радищев, который сам учинил в том признание, присовокупив к сему,что после ценсуры Управы Благочиния взнес он многие листы в помянутую книгу, в собственной его типографии напечатанную, и потому взят под стражу. Таковое его преступление повелеваем рассмотреть и судить узаконеным порядком в Палате Уголовного Суда Санктпетербургской губернии, где заключа приговор, взнесть оный в Сенат наш.

Пребываем вам благосклонны.

Екатерина.

II. Из записок Храповицкого.

26-го июня <1790>. Говорили (государыня) о книге Путешествие из Петербурга в Москву. «Тут рассеяние заразы Французской: Автор мартинист. Я прочла тридцать страниц». Посылала за Рылеевым (обер-полицмейстером). Открывается подозрение на Радищева.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

2 июля. Продолжают писать примечания на книгу Радищева. А он сказывают препоручен Шешковскому и сидит в крепости.

7 июля. «Примечания на книгу Радищева послать к Шешковскому». Сказать изволили, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Франклина и себя таким же представляет. Говорили с жаром и чувствительностию.

11 августа. Доклад о Радищеве с приметною чувствительностию приказано рассмотреть в совете «чтобы не быть пристрастною, и объявить, чтоб не уважали до меня касающееся, понеже я презираю».

III. Отрывок из книги Р<адищева>. Клин.

Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь... Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем божиим человеком, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженной толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусной хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взрощенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриели, Маркези, или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда Клинской певец дошел до разлуки своего Ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом, изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося иступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложной знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественной возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. О! природа, возопил я паки...

Сколь сладко неизвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет, и оного чувствительность. Я рыдал в след за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея

Пушкинский кабинет ИРЛИ

картины? ты бы прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия, все предстоящие давали старику, как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и крайохи хлеба, довольно равнодушно; но всегда сопровождая благодарность свою поклоном, крестясь и говоря к подающему: «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно приятного небу, старца. Желал его благословения, на совершение пути и желания моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии, и отъемлет терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку, толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи, обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горьсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, вещал я сам себе, подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает может быть мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и крайошку хлеба певшему старцу!—Не пятак ли? сказал он, обращая речь свою неопределенно как и всякое свое слово.— —Нет, дедушка, рублевик, сказал близь стоящий его мальчик.— —По что такая милостыня? сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалося, мысленно вообразити себе то, что в горьсти его лежало. По что она немогущему ею пользоваться. Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он может быть случай к преступлению. Полушку не много прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, доброй господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора.— —О истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну.— —Возьми его назад, мне право он ненадобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю что бы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на многих бывал бит-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств, пролетевшим мимо очей, в силе своей пушечным ядром. О! Вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество.— —Возратил он мне мой рубль, и сел опять на место свое покойно.

Прими свой праздничный пирог, дедушка, говорила слепому подошедшая женщина, лет пятидесяти.— —С каким восторгом он принял его обеими руками.— —Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, что бы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам, от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять; он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика, и его избавил от побой; может быть чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот, что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот, чего не позабывает она каждой день и каждой праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господу; за ним никогда ничто не пропадает.

Не уже ли ты меня столько перед всеми обидишь, старичок, сказал я ему, и одно мое отвергнешь подаяние? Не уже ли моя милостыня есть милостыня грешника. Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца.— —Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию, говорил старец: не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло— —платчишка не было чем повязать шеи— —бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старенького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминовение нищего.— —Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Возвращаясь чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дня моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел заболев перед смертию на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило слушав сие.

Вот каким слогом написана вся книга!

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОЙСТВЕННИКОВ ИОАННЫ Д'АРК[1]

В Лондоне, в прошлом, 1836 году, умер некто г. Дюлис (Jean-François-Philippe Dulys), потомок родного брата Иоанны д'Арк, славной Орлеанской Девственницы. Г. Дюлис переселился в Англию в начале французской революции; он был женат на англичанке и не оставил по себе детей. По своей духовной назначил он по себе наследником родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца Эдимбургского. Между его бумагами найдены подлинные грамоты королей Карла VII, Генриха III и Людовика XIII, подтверждающие дворянство роду господ д'Арк Дюлис (d'Arc Dulys). Все сии грамоты проданы были с публичного торгу, за весьма дорогую цену, так же как и любопытный автограф: письмо Вольтера к отцу покойного господина Дюлиса.

Повидимому Дюлис-отец был добрый дворянин, мало занимавшийся литературою. Однакож около 1767 году дошло до него, что некто Mr. de Voltaire издал какое-то сочинение об Орлеанской героине. Книга продавалась очень дорого. Г. Дюлис решился однакож ее купить, полагая найти в ней достоверную историю славной своей прабабки.

---

[1] <«Документы», на которых основана эта статья, равно как и самый эпизод столкновения Вольтера с Дюлисом, вымышлены и стилизованы самим Пушкиным.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Он был изумлен самым неприятным образом, когда получил маленькую книжку in 18, напечатанную в Голландии и украшенную удивительными картинками. В первом пылу негодования написал он Вольтеру следующее письмо, с коего копия найдена также между бумагами покойника. (Письмо сие так же, как и ответ Вольтера, напечатано в журнале Morning Chronicle.)

Милостивый Государь.

Недавно имел я случай приобрести за шесть лун д'оров, написанную вами историю осады Орлеана в 1429 году. Это сочинение преисполнено не только грубых ошибок, непростительных для человека, знающего сколько-нибудь историю Франции, но еще и нелепою клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны д'Арк, по прозванию Орлеанской девственницы, Агнессы Сорель, господ Латримулья, Лагира, Бодрикура и других благородных и знатных особ. Из приложенных копий с достоверных грамот, которые хранятся у меня в замке моем (Tournebu, baillage de Chaumont en Tourraine), вы ясно увидите, что Иоанна д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc seigneur du Feron), от коего происхожу по прямой линии. А посему, не только я полагаю себя в праве, но даже и ставлю себе в непременную обязанность требовать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лживые показания, которые вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомянутой девственницы. Итак, прошу вас, милостивый государь, дать мне знать о месте и времени, так же и об оружии, вами избираемом для немедленного окончания сего дела.

Честь имею и проч.

Несмотря на смешную сторону этого дела, Вольтер принял его не в шутку. Он испугался шуму,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

который мог бы из того произойти, а может быть и шпаги щекотливого дворянина, и тотчас прислал следующий ответ.

22 мая 1767.

Милостивый государь.

Письмо, которым вы меня удостоили, застало меня в постели, с которой не схожу вот уже около осьми месяцев. Кажется, вы не изволите знать, что я бедный старик, удрученный болезнями и горестями, а не один из тех храбрых рыцарей, от которых вы произошли. Могу вас уверить, что я никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники (l'impertinante chronique rimée), о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает. Лет сорок тому назад случилось мне напечатать поэму под заглавием Генриада. Исчисляя в ней героев, прославивших Францию, взял я на себя смелость обратиться к знаменитой вашей родственнице (votre illustre cousine) с следующими словами:

Et toi, brave Amazone,
La honte des Anglois et le soutien du trône[1].

Вот единственное место в моих сочинениях, где упомянуто о бессмертной героине, которая спасла Францию. Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославление божиих чудес, вместо того, чтобы трудиться для удовольствия публики бессмысленной и неблагодарной.

Честь имею быть, Милостивый Государь,
Вашим покорнейшим слугою
Voltaire,
gent<ilhomme>de la ch<ambre>du Roy[2].

[1] <А ты, храбрая амазонка,
Позор англичан и опора трона.>
[2] <Вольтер, дворянин на стольничьей службе короля.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Английский журналист по поводу напечатания сей переписки делает следующие замечания:

«Судьба Иоанны д'Арк в отношении <к> ее отечеству по истине достойна изумления; мы конечно должны разделить с французами стыд ее суда и казни. Но варварство англичан может быть еще извинено предрассудками века, ожесточением оскорбленной народной гордости, которая искренно приписала действию нечистой силы подвиги юной пастушки. Спрашивается, чем извинить малодушную неблагодарность французов? Конечно, не страхом диявола, которого исстари они не боялись. По крайней мере мы хоть что-нибудь да сделали для памяти славной девы; наш лауреат посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения. Англия дала пристанище последнему из ее сродников. Как же Франция постаралась загладить кровавое пятно, замаравшее самую меланхолическую страницу ее хроники? Правда, дворянство дано было родственникам Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в неизвестности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X-го. Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти Орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня. Он как римский палач присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. Поэма лауреата не стоит конечно поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соуте есть

Пушкинский кабинет ИРЛИ

подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества, и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостинных барона д'Ольбаха и M-me Jeoffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья. Жалкий век! жалкий народ!»

<1837>

<О МИЛЬТОНЕ И ШАТОБРИАНОВОМ ПЕРЕВОДЕ «ПОТЕРЯННОГО РАЯ»>

Долгое время французы пренебрегали словесностию своих соседей. Уверенные в своем превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писателей иностранных относительно меры, как отдалились они от французских привычек и правил, установленных французскими критиками, <и> никогда не дерзали быть верными своим подлинникам; они тщательно их преобразовывали.

В переводных книгах, изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного предисловия, где бы ни находилась неизбежная фраза: мы думали угодить публике и с тем вместе оказать услугу и нашему автору. <Переводчик> полагал оказать публике и самому автору услугу, исключив из его книги места, которые могли бы оскорбить вкус образованного французского читателя. Странно,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

когда подумаешь, кто, кого и перед <кем> извинял таким образом! И вот к чему ведет невежественная страсть к народности!.. Наконец критика спохватилась. Стали подозревать, что г. Летурнеры могли ошибочно судить о Шекспире, и не совсем благоразумно поступили, переправляя на свой лад Гамлета, Ромео и Лира. От переводчиков стали требовать более верности, а менее щекотливости и усердия к публике—пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной надежде—и [с их] природными недостатками. Даже мнение, утвержденное веками и принятое всеми, что переводчик должен стараться передавать дух, а не букву, нашло противников и искусные опровержения.

Ныне (пример неслыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона *слово в слово* и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, еслиб только оный был возможен!—Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела, должно было сильно изумить поборников *исправительных переводов* и вероятно будет иметь большое влияние на словесность.

Изо всех иноземных великих писаталей Мильтон был всех несчастнее во Франции. Не говорим о жалких переводах в прозе, в которых он был безвинно оклеветан, не говорим о переводе в стихах аббата Делиля, который ужасно поправил его грубые недостатки и украсил его без милосердия; но как же выводили его собственное лицо в трагедиях и в романах писатели новейшей романтической школы? Что сделал из него г. Альфред де Виньи, которого французские критики без церемонии поставили на одной доске с В. Скоттом? Как выставил <его> Виктор Юго, другой любимец парижской публики? Может быть, читатели забыли и St. Mars,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и Кромвеля—и потому не могут судить о нелепости вымыслов Виктора Юго.—Выведем того и другого на суд всякого знающего и благомыслящего человека.

Начнем с трагедии—одного из самых нелепых произведений человека, впрочем одаренного талантом [1].

Мы не станем следовать за спотыкливым ходом этой драмы, скучной и чудовищной; мы хотим только показать нашим читателям, в каком виде в ней представлен Мильтон, еще неизвестный поэт, но политический писатель, уже славный в Европе своим горьким и заносчивым красноречием.

Кромвель во дворце своем беседует с лордом Рочестером, переодетым в методиста, и с четырьмя шутами. Тут же находится Мильтон со своим вожатым (лицом довольно не нужным, ибо Мильтон ослеп уже гораздо после). Протектор говорит Рочестеру:

— Так как мы теперь одни, то я хочу посмеяться: представлю вам моих шутов. Когда мы находимся в веселом духе, тогда они бывают очень забавны. Мы все пишем стихи, даже и мой старый Мильтон.

Мильтон *(с досадою)*.

Старый Мильтон! Извините, милорд: я девятью годами моложе вас.

Кромвель.

Как угодно.

---

[1] <Зачеркнуто:> Драма *Кромвель* была первым опытом романтизма на сцене Парижского театра. Виктор Юго почел нужным сразу уничтожить все законы, всё предания французской драмы, царствовавшие из-за классических кулис. Единство места и времени, величавое однообразие слога, стихосложение Расина и Буало—всё было им ниспровергнуто: однако справедливость требует заметить, что В. Юго не коснулся единства действия; в его трагедии нет никакого действия, и того менее занимательности,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мильтон.

Вы родились в 99, а я в 608.

Кромвель.

Какое свежее воспоминание!

Мильтон *(с живостию)*.

Вы бы могли обходиться со мною учтивее: я сын нотариуса, городового альдермана.

Кромвель.

Ну, не сердись—я знаю, что ты великий феолог и даже хороший стихотворец, хотя пониже Вайверса и Дона.

Мильтон *(говоря сам про себя)*.

Пониже! Как это слово жестоко! Но погодим. Увидят, отказало ли мне небо в своих дарах. Потомство мне судия. Оно поймет мою Еву, падающую в адскую ночь, как сладкое сновидение; Адама преступного и доброго, и Неукротимого духа, царствующего также над одною вечностию, высокого в своем отчаянии, глубокого в безумии, исходящего из огненного озера, которое бьет он огромным своим крылом! Ибо пламенный гений во мне работает. Я обдумываю, *молча*, странное намерение. Я живу в мысли моей, и ею Мильтон утешен: так я хочу в свою очередь создать свой мир между адом, землею и небом.

Лорд Рочестер *(про себя)*.

Что он там городит?

Один из шутов.

Смешной мечтатель!

Кромвель *(пожимая плечами)*.

Твой Иконокласт очень хорошая книга, но твой чорт, Левиафан... *(смелясь)* очень плох...

Мильтон *(сквозь зубы, с негодованием)*.

И Кромвель смеется над моим Сатаною!

Рочестер *(подходит к нему)*.

Г. Мильтон!

Мильтон *(не слыша его и обратясь к Кромвелю)*.

Он это говорит из зависти.

Рочестер *(Мильтону, который слушает с рассеянностию)*.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По чести вы не понимаете поэзию. Вы умны, но у вас недостает вкуса. Послушайте: французы учители наши во всем. Изучайте Ракана, читайте его пастушеские стихотворения. Пусть Аминта и Тирсис гуляют у вас по лугам; пусть она ведет за собою барашка на голубой ленточке.— Но Ева, Адам, ад, огненное озеро! Сатана голый, с опаленными крыльями! Другое дело: кабы вы его прикрыли щегольским платьем; кабы вы дали ему огромный парик и шлем с золотою шишкою, розовый камзол, и мантию флорентинскую, как недавно видел я во французской опере Солнце в праздничном кафтане.

Мильтон *(удивленный)*.

Это что за пустословие?

Рочестер (*кусая губы*).

Опять я забылся!—Я, сударь, шутил.

Мильтон.

Очень глупая шутка!

Далее Мильтон утверждает, что править государством безделица; то ли дело писать латинские стихи. Немного времени спустя Мильтон бросается в ноги Кромвелю, умоляя его не домогаться престола, на что протектор отвечает ему: г. Мильтон, государственный секретарь, ты пиит, ты в лирическом восторге забыл, кто я таков и проч.

В сцене, не имеющей ни исторической истины, ни драматического правдоподобия, в бессмысленной пародии церемониала, наблюдаемого при коронации английских королей, Мильтон и один из придворных шутов играют главную роль. Мильтон проповедует республику, шут подымает перчатку королевского рыцаря...

Вот каким жалким безумцем, каким ничтожным пустомелей выведен Мильтон человеком, который вероятно сам не ведал, что творил, оскорбляя великую тень! В течение всей трагедии, кроме насмешек и ругательства ничего иного Мильтон не слышит; правда и то, что и сам он, во всё время, ни разу не вымолвит дельного слова. Это старый, ко-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

торого все презирают, и на которого никто не обращает никакого внимания.

Нет, г. Юго! Не таков был Джон Мильтон, друг и сподвижник Кромвеля, суровый фанатик, строгий творец Иконокласта и книги: Defensio populli[1]. Не таким языком изъяснялся бы с Кромвелем тот, который написал ему свой славный пророческий сонет Cromwel, our chief etc[2].

Не мог быть посмешищем развратного Рочестера и придворных шутов тот, кто в *злые дни*, *жертва злых языков*, в бедности, в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал Потерянный Рай.

Если г. Юго, будучи сам поэт (хотя и второстепенный), так худо понял поэта Мильтона, то всяк легко себе вообразит, что под его пером стало из лица Кромвеля, с которым не имел он уж ровно никакого сочувствия! Но это не касается до нашего предмета. От неровного, грубого Виктора Юго и его уродливых драм, перейдем к чопорному манерному графу Виньи и к его облизанному роману.

Альфред де Виньи в своем Сен-Марсе также выводит перед нами Мильтона и вот в каких обстоятельствах:

У славной Марии Делорм, любовницы кардинала Ришелье, собирается общество придворных и ученых. Скюдери толкует им свою аллегорическую карту любви. Гости в восхищении от крепости *Красоты*, стоящей на реке *Гордости*, от деревни *Записочек*, от гавани *Равнодушия* и проч. и проч. Все осыпают г-на Скюдери напыщенными похвалами, кроме Мольера, Корнеля и Декарта, которые тут же находятся. Вдруг хозяйка представляет

---

[1] <Защита народа.>

[2] <Кромвель, наш вождь, и пр.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

обществу молодого, путешествующего англичанина, по имени Джона Мильтона, и заставляет его читать гостям отрывки из Потерянного Рая. Хорошо; да как же французы не зная английского языка поймут мильтоновы стихи? Очень просто: места, которые он будет читать, переведены на французский язык, переписаны на особых листочках и списки розданы гостям. Мильтон будет декламировать, а гости следовать за ним. Да зачем же ему беспокоиться, если уже стихи переведены? Стало быть Мильтон великий декламатор,—или звуки английского языка чрезвычайно как любопытны? А какое дело графу де Виньи до всех этих нелепых несообразностей? Ему надобно, чтоб Мильтон читал в парижском обществе свой Потерянный Рай и чтоб французские умники над ним посмеялись и не поняли духа великого поэта (разумеется, кроме Мольера, Корнеля и Декарта), и из этого выйдет следующая ефектная сцена.

«Хозяйка взяла листы и раздала их гостям. Все уселись и замолчали. Не скоро уговорили молодого иностранца начать чтение и отойти от окна, где он, казалось, с большим удовольствием разговаривал с Корнелем. Наконец он подошел к креслам, стоявшим у стола: он, казалось, был слабого здоровья и, можно сказать, упал, а не сел в них. Он облокотился на стол и закрыл рукою глаза свои, большие и выразительные, но полузакрытые и покрасневшие от бдений или слез. Он читал стихи свои наизусть, недоверчивые его слушатели смотрели на него с видом высокомерным, или, по крайней мере, покровительственным; другие с рассеянным видом просматривали перевод стихов его.

«Голос его, сначала глухой, постепенно очищался; скоро поэтическое вдохновение исхитило его из него самого, и взгляд его, возведенный к небу, сделался высоким, как взгляд Рафаелева евангелиста, ибо свет еще отражался в нем. Он повествовал в стихах своих о первом грехопадении человека и призывал святого духа, который предпочитает всем храмам сердце чистое и бесхитростное, который всё ведает и присутствовал при рождении времени.

«Это начало принято было с глубоким молчанием, а

Пушкинский кабинет ИРЛИ

последняя мысль с легким ропотом. Он ничего не слыхал, видел всё сквозь какое-то облако,—он был в мире, им созданном, и продолжал.

«Он повествовал о духе адском, прикованном в пламени мстительном цепями диамантовыми; о времени, девять раз наделившем смертных днями и ночами в продолжение его падения; о зримой тьме вечных темниц и пламенеющем океане, в котором плавали падшие ангелы; гремящий его голос начал речь князя демонов: Ты ли, говорил он, ты ли тот сиявший в ослепительном блеске блаженных селений света! О! как ниспал ты! Теки со мною... Что нам до поля нашей небесной битвы? Ужели всё для нас погибло? Мы всё сохранили, и волю непреклонную, и дух мести ненасытимой, и ненависть бесконечную, и мужество непреодолимое, ужели это не победа?

«Тут слуга громким голосом возвестил о прибытии гг. Монтрезора и д'Антрэг. Они раскланялись, поговорили, передвигали все кресла и наконец уселись. Слушатели воспользовались этим, чтобы начать множество частных разговоров; в них слышались только хулы и упреки в безвкусии; некоторые умные, но слишком привязанные к старине люди, вскричали, что они этого не понимают, что это выше их разумения (не думая, чтобы говорили правду), и этим ложным смирением привлекали себе похвалу, а поэту осуждение: выгода двойная. Иные говорили даже, что это поругание святыни.

«Прерванный поэт закрыл лицо руками и облокотился на стол, чтобы не слышать всего этого шума похвал и критик. Только три человека подошли к нему: то были какой-то офицер, Покелень и Корнель; сей последний сказал Мильтону на ухо:

— Советую вам переменить ваши картины; та, которую вы нам изобразили, слишком высока для ваших слушателей» [1].

Мильтон, несмотря на то, что назначенные для чтения места переведены и что он должен читать их по порядку, ищет в памяти своей то, что, по его мнению, более произведет действия на слушателей, не заботясь о том, поймут ли его или нет. Но посредством какого-то чуда (неизъясненного

[1] <Цитата из русского перевода «Сен-Марса», изд. 2-е, СПб, 1835, ч. III, стр. 188—191.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

г-м де Виньи) все его понимают. Дебарро находит его приторным; Скюдери—скучным и холодным. Мария Делорм очень тронута описанием Адама в первобытном его состоянии. Мольер, Корнель и Декарт осыпают его комплиментами etc., etc.

Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя, как заезжий фигляр, и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке, неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то *закрывая* глаза, то *возводя их* в *потолок*. Разговоры его с Дету, с Корнелем и Декартом не были бы пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль, ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека.

После удивительных вымыслов В. Юго и графа де Виньи, хотите ли видеть картину, просто набросанную другим живописцем? Прочтите в *Вудстоке* встречу одного из существующих лиц с Мильтоном в кабинете Кромвеля:——[1]

Французский романист конечно не довольствовался бы таким незначащим и естественным изображением. У него Мильтон, занятый государственным делами, непременно терялся бы в пиитических мечтаниях и на полях какого-нибудь отчета намарал бы несколько стихов из Потерянного Рая; Кромвель бы это подметил, разбранил бы своего секретаря, назвал бы его стихоплетом и врагом, etc., а из того бы вышел *ефект*, о котором бедный В. Скотт и не подумал!—

Перевод, изданный Шатобрияном, заглаживает до некоторой степени прегрешения молодых французских писателей, так невинно, но так жестоко оскорбивших великую тень. Мы сказали уже, что

---

[1] < Оставлено место для цитаты из Вальтер Скотта. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Шатобриян переводил Мильтона почти слово в слово, так близко, как только то мог позволить синтаксис французского языка: труд тяжелый и неблагодарный, незаметный для большинства читателей и который может быть оценен двумя, тремя знатоками!

Но удачен ли новый перевод? Шатобриян нашел в Низаре критика неумолимого. Низар в статье, исполненной тонкой сметливости, сильно напал и на способ перевода, избранный Шатобрияном, и на самый перевод. Нет сомнения, что, стараясь передать Мильтона *слово в слово*, Шатобриян, однако, не мог соблюсти в своем преложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. Возьмем первые фразы: Comment vous portez vous; How do you do. Попробуйте перевести их слово в слово на русский язык [1].

Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к преложению слово в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит таковой опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, всё вместе

---

[1] Кстати, недавно (в Телескопе кажется) кто-то, критикуя перевод, хотел вероятно блеснуть знанием итальянского языка и пенял переводчику, зачем он пропустил в своем переводе выражение *battarsi la guancia*—бить себя по щекам...—*Battarsi la guancia* значит *раскаяться*, перевести иначе не имело бы никакого смысла.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительного, своенравного, и смелого даже до бессмыслия?

Перевод Потерянного Рая есть торговая спекуляция. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником, Шатобриян на старости лет перевел Мильтона *для куска хлеба*. Каково бы ни было исполнение труда, им предпринятого, но самый сей труд и цель оного делают честь знаменитому старцу. Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриян приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестию. После этого, что скажет критика? Станет ли она строгостию оценки смущать благородного труженика, и подобно скупому покупщику хулить его товар? Но Шатобриян не имеет нужды в снисхождении: к своему переводу присовокупил он два тома, столь же блестящие, как и все прежние его произведения, и критика может оказаться строгою к их недостаткам столько, сколько ей будет угодно: несомненные красоты, страницы, достойные лучших времен великого писателя, спасут его книгу от пренебрежения читателей, несмотря на все ее недостатки.

Английские критики строго осудили *Опыт об Английской литературе*. Они нашли его слишком поверхностным, слишком недостаточным; поверив заглавию, они от Шатобрияна требовали ученой критики и совершенного знания предметов, близко

Пушкинский кабинет ИРЛИ

знакомых им самим; но совсем не того должно было искать в сем блестящем обозрении. В ученой критике Шатобриян не тверд, робок, и сам не свой; он говорит о писателях, которых не читал; судит о них вскользь и по наслышке и кое-как отделывается от скучной должности библиографа; но поминутно из-под пера его вылетают вдохновенные страницы; он поминутно забывает критические изыскания и на свободе развивает свои мысли о великих исторических эпохах, которые сближает с теми, коим сам он был свидетель. Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия (иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках, чуждых истории английской литературы, но которые и составляют истинное достоинство *Опыта*.

<Отрывки из «Опыта об английской литературе»>

<1>

Порядок общественный, вне порядка политического, составлен из религии, умственной деятельности и промышленности материяльной. Во всяком народе, во время величайших бедствий и важнейших событий, священник молится, стихотворец поет, ученый мыслит, живописец, ваятель, зодчий творят и зиждут, ремесленник работает. Смотря только на них, вы видите мир настоящий, истинный, неподвижный, основание человечества, однако, повидимому, чуждый обществу политическому. Но священник в своей молитве, поэт, художник, ученый в своих творениях, ремесленник в своем труде открывают от времени до времени, в какую эпоху они живут, в них отзываются удары событий, от которых сильнее и обильнее текли их жалобы, их пот и даже вдохновение...

<2>

Средние века представляют картину странную и которая кажется произведением мощного, но расстроенного воображения. В древности каждый народ исходит, так

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сказать, из собственного своего источника. Некий первобытный дух проникает во всё и во всем отзывается. Нравы и гражданские установления делаются однородными. Общество в средних веках было составлено из обломков тысячи других обществ. Римская цивилизация и паганизм в нем оставили свои следы, христианская религия несла ему свое учение и торжества, франки, готфы, бургундцы сохраняли обычаи и нравы, свойственные их племенам. Все роды собственности и законов были перемешаны между собою... Все формы свободы и рабства сталкивались между собою: монархическая свобода короля, аристократическая свобода благороднорожденного, личная свобода священника, общая свобода волостей, исключительная свобода городов, судилищ, сословий ремесленных и купечества, представительная свобода народа, рабство римское, повинность варварских племен, крепость приземельная. Отселе явления, несообразные ни с чем, обычаи, одни другому противуречащие, а связанные только узами религии. Кажется, будто народы разные, не имеющие между собою никакого сношения, согласились жить под одною властию, около единого алтаря.

<1836—1837>

<НАЧАЛО СТАТЬИ О ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ>

Вольтер в своем Siècle de Louis XIV (в 1760) первый сказал несколько слов о Железной Маске.

«Несколько времени после смерти кардинала Мазарини, пишет он, случилось происшествие беспримерное, и что еще удивительнее, не известное ни одному историку. Некто, высокого росту, молодых лет, благородной и прекрасной наружности, с величайшей тайною послан был в заточение на остров св. Маргариты. Дорогою невольник носил маску, коей нижняя часть была на пружинах, так что он мог есть, не сымая ее с лица. Приказано было, в случае, если б он открылся, его убить. Он оставался на острове до 1690 году, когда Сен-Марс, губернатор Пиньрольской крепости, быв назначен губернатором в Бастилью, приехал за ним и препроводил его в Бастилью, всё также маскирован-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ного. Перед сим, маркиз де Лувоа посетил его на сем острове, и говорил с ним стоя, с видом уважения. Неизвестный посажен был в Бастилью, где всевозможные удобности были ему доставляемы. Ему ни в чем не отказывали. Он любил самое тонкое белье и кружева. Он играл на гитаре. Стол его был самый отличный. Губернатор редко садился перед ним. Старый лекарь, часто его лечивший в различных болезнях, сказывал, что никогда не видывал его лица, хотя и осматривал его язык и другие части тела. По словам лекаря, он был прекрасно сложен, цветом довольно смугл. Голос его был трогателен; он никогда не жаловался и не намекал о своем состоянии.

Неизвестный умер в 1703 году и был похоронен ночью, в приходе св. Павла. Удивительно и то, что в то время, когда привезен он был на остров св. Маргариты, никого из важных особ в Европе не исчезло. Невольник сей, безо всякого сомнения, был особа важная. Доказательством тому служит происшествие, случившееся в первые дни его заточения на острове. Сам губернатор приносил ему кушание на стол, запирал дверь и удалялся. Однажды невольник начертал что-то ножем на серебряной тарелке и бросил ее из окошка. Рыбак поднял тарелку на берегу моря и принес ее губернатору. Сей изумился. Читал ли ты, что тут написано, спросил он у рыбака, и видел ли кто у тебя эту тарелку? Я не умею читать, отвечал рыбак, я сей час ее нашел, никто ее не видал. Рыбака задержали, пока не удостоверились, что он в самом деле был безграмотный и что тарелки никто не видал. Губернатор отпустил его, сказав, ступай; счастлив ты, что не умеешь читать ———

Г. де Шамильяр был последний из министров, знавших эту странную тайну. Зять его, маршал де ла Фельяд, сказывал мне, что при смерти своего

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тестя он на коленах умолял его открыть, кто таков был человек в железной маске. Шамильяр ответствовал, что это государственная тайна, и что он клялся ее не открывать. Многие из моих современников подтвердят истину моих слов. Я не знаю ничего ни удивительнее, ни достовернее».

Сии строки произвели большое впечатление. Любопытство было сильно возбуждено. Стали разыскивать, разгадывать, предполагать. Иные думали, что Железная Маска был граф de Vermandois, осужденный на вечное заключение будто бы за пощечину, им данную дофину (Людовику XIV). Другие видели в нем герцога де Бофор, сего феодального демагога, мятежного любимца черни Парижской, пропавшего без вести во время осады Кандии в 16<69 г.>; третьи утверждали, что он был никто иной, как герцог Монмуф, и проч. и проч. Сам Вольтер, опровергнув все сии мнения с ясностью критики, ему свойственной, романически думал или выдумал, что славный невольник был старший брат Людовика XIV, жертва честолюбия и политики жестокосердной. Доказательства Вольтера были слабы. Загадка оставалась неразрешенною. Взятие Бастилии в 1789 году и обнародование ее архива ничего не могли открыть касательно таинственного затворника.

<1836>

<ТРИ ПОВЕСТИ Н. ПАВЛОВА>

<Москва. В типографии Н. Степанова 1835.>

Три повести г. Павлова очень замечательны и имели успех вполне заслуженный. Они рассказаны с большим искусством, слогом, к которому не приучили нас наши записные романисты.

Повесть *Именины*, несмотря на свою занимательность, представляет некоторые несообразности.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Идеализированное лакейство имеет в себе что-то неестественное, неприятное для здравого вкуса. Может быть то же самое происшествие представляло в разительной простоте своей сильнейшие краски и положения более драматические, но требовало и кисти более сильной и более глубины в знании человеческого сердца.

Аукцион есть очень милая шутка, легкая картинка, в которой оригинально вмещены три или четыре лица.—*А я на аукцион—а я с аукциона*—черта истинно комическая.

Об *Ятагане* скажем то же, что и об *Имянинах*. Занимательность этой повести не извиняет несообразности. Развязка не сбыточна или по крайней мере есть анахронизм—зато все лица живы и действуют и говорят каждый, как ему свойственно говорить и действовать. В слоге г. Павлова, чистом и свободном, *изредка* отзывается *манерность*; в описаниях—близорукая мелочность нынешних французских романистов. Г. Павлова так расхвалили в Московском Наблюдателе, что мы в сих строках хотели ограничить наши замечания одними порицаниями, но в заключении должны сказать, что г. Павлов первый у нас написал истинно занимательные рассказы. Книга его принадлежит к числу тех, от которых, по выражению одной дамы, забываешь итти обедать.

Талант г-на Павлова выше его произведений. В доказательство привожу одно место, где чувство истины увлекло автора даже противу его воли.—В *Имянинах*, несмотря на то, что выслужившийся офицер видимо герой и любимец его воображения, автор дал ему черты, обнаруживающие холопа: <«Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть—это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отве-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чать грубо на вежливое слово: едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачем».>

ЗАПИСКИ ЧУХИНА. СОЧИН<ЕНИЕ ФАДДЕЯ БУЛГАРИНА> etc.

<Памятные записки титулярного советника Чухина, или простая история обыкновенной жизни. Сочинение Фаддея Булгарина. СПБ. В типографии Александра Смирдина. 1835.>

Г. Булгарин в предисловии к одному из своих романов уведомляет публику, что есть люди, не признающие в нем никакого таланта. Это, повидимому, очень его удивляет. Он даже выразил свое удивление и знаком препинания (!).

С нашей стороны, мы знаем людей, которые признают талант в г. Булгарине, но и тут не удивляемся.

Новый роман г-на Булгарина ни мало не уступает его прежним.

<НЕДОВОЛЬНЫЕ, КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ, СОЧИНЕНИЕ М. Н. ЗАГОСКИНА>

<Москва, в тип. Н. Степанова. 1836.>

Московские журналы произнесли строгий приговор над новой комедией г-на Загоскина. [Они находят ее пошлой и скучной]. *Недовольные* в самом деле скучная, тяжелая пиэса, писанная довольно легкими стихами. Лица, выведенные на сцену, не смешны и не естественны. Нет ни одного комического положения, а разговор пошлый и натянутый не заставляет забывать отсутствие действия.—

Г. Загоскин заслужил благосклонность публики своими романами.—В них есть и живость и воображение, занимательность, и даже веселость, это

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бесценное качество, едва ли не самый редкий из даров.—Мы наскоро здесь упоминаем о неудаче автора Рославлева, дабы уж более не возвращаться к предмету, для нас неприятному.

<ПРИМЕЧАНИЕ К ЗАПИСКЕ «О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ»>

Во втором № Современника (на 1836 год) уже упомянуто было о неизданном сочинении покойного Карамзина. Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат, если не полную речь великого нашего соотечественника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПАМЯТНИКЕ КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ И ГР<АЖДАНИНУ>МИНИНУ[1]

Надпись *Гражданину Минину*, конечно, не удовлетворительна.

Он для нас или мещанин Косма Минин, по прозванию Сухорукой, или думный дворянин Косма Миничь Сухорукой, или, наконец, *Кузьма Минин, выборный человек от всего Московского Государства*, как назван он в грамоте о избрании Михаила Федоровича Романова. Всё это не худо было бы знать, также как имя и отчество князя Пожарского. Кстати недавно в одной исторической статье сказано было, что *Минину дали дворянство и боярство*, но что спесивые вельможи не допустили его в думу и принудили в 1617 году удалиться в Нижний Новгород.—Сколько несообразностей! Минин нико-

[1] <«Примечание» это предназначалось для статьи «Прогулка по Москве» в третьей книге «Современника».>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

гда не бывал боярином; он в думе заседал, как *думный дворянин*; в 1616 их было всего два: он и Гаврила Пушкин. Они получали по 300 р. окладу. О годе его смерти нет нигде никакого известия; *полагают*, что Минин умер в Нижнем Новгороде, потому что он там похоронен, и что в последний раз упомянуто о нем в списке дворцовым чинам в 1616.

Издатель.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА

Предисловие

Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною составленного. В нем собрано всё, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых.

Дело о Пугачеве, доныне нераспечатанное, находилось в государственном санкт-петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы. Государь император по своем восшествии на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило.

Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд—конечно, несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона и Державина, не должна быть затеряна для потомства.

А. Пушкин.

2-го ноября 1833.
Село Болдино.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мне кажется сего вора всех замыслов и похождений не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев (думаю) подробностей оных не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но от многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах происходили.

Архимандрит Платон Любарский.

Глава первая

Начало яицких казаков.—Поэтическое предание.—Царская грамота.—Грабежи на Каспийском море.—Стенька Разин.—Нечай и Шамай.—Предположение Петра Великого.—Внутренние беспокойства.—Побег кочующего народа.—Бунт яицких казаков.—Их усмирение.

Яик, по указу Екатерины II переименованный в Урал, выходит из гор, давших ему нынешнее его название; течет к югу вдоль их цепи, до того места, где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость: тут, разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, протекши более двух тысяч пятисот верст, впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской губернии; справа примыкают к нему заволжские степи; слева простираются печальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас под именем киргиз-кайсаков. Его течение быстро; мутные воды наполнены рыбою всякого рода; берега большею частию глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поемных удобные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышем, где кроются кабаны и тигры.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На сей-то реке, в пятнадцатом столетии, явились донские казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю[1]. Они зимовали на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по своему уединению; весною снова пускались в море, разбойничали до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик. Подаваясь всё вверх с одного места на другое, наконец они избрали себе постоянным пребыванием урочище Коловратное в шестидесяти верстах от нынешнего Уральска.

В соседстве новых поселенцев кочевали некоторые татарские семейства, отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на берегах того же Яика. Сначала оба племени враждовали между собою, но в последствии времени вошли в дружелюбные сношения: казаки стали получать жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое предание: казаки, страстные к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов, по имени *Гугня*, первый преступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной жизни. Доныне просвещенные и гостеприимные жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки Гугнихи[2].

Живя набегами, окруженные неприязненными племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в царствование Михаила Феодоровича послали от себя в Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло казаться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь обласкал новых подданных, и пожаловал им грамоту[3] на реку Яик, отдав им ее от вершины до устья и дозволя им *набираться на житье вольными людьми.*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Число их час-от-часу умножалось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты.

Казаки на лодках, еще нагруженных добычею, поехали Волгою в Нижний-Новгород; оттоле отправились в Москву, и явились ко двору с повинною головою, каждый неся топор и плаху. Им велено было ехать в Польшу и под Ригу заслуживать там свои вины; а на Яик посланы были стрельцы, в последствии времени составившие с казаками одно племя.

Стенька Разин посетил Яицкие жилища. По свидетельству летописей, казаки приняли его как неприятеля. Городок их был взят сим отважным мятежником, а стрельцы, там находившиеся, побиты или потоплены[4].

Преданье, согласное с татарским летописцем, относит к тому же времени походы двух яицких атаманов Нечая и Шамая[5]. Первый, набрав вольницу, отправился в Хиву, в надежде на богатую добычу. Счастие ему благоприятствовало. Совершив трудный путь, казаки достигли Хивы. Хан с войском своим находился тогда на войне. Нечай овладел городом без всякого препятствия; но зажился в нем, и поздно выступил в обратный поход. Обремененные добычею, казаки были настигнуты возвратившимся ханом на берегу Сыр-Дарьи, разбиты и истреблены. Не более трех возвратились на Яик, с объявлением о погибели храброго Нечая. Несколько лет после, другой атаман, по прозванию Шамай, пустился по его следам. Но он попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились далее, сбились с дороги, на Хиву не попали, и пришли к Аральскому морю, на котором

Пушкинский кабинет ИРЛИ

принуждены были зимовать. Их постигнул голод. Несчастные бродяги убивали и ели друг друга. Большая часть погибла. Остальные послали наконец от себя к Хивинскому хану просить, чтоб он их принял и спас от голодной смерти. Хивинцы приехали за ними, забрали всех и отвели рабами в свой город. Там они и пропали. Шамай же, несколько лет после, привезен был калмыками в Яицкое войско, вероятно, для размена. С тех пор у казаков охота к дальним походам охладела. Они мало-по-малу привыкли к жизни семейной и гражданственной.

Яицкие казаки послушно несли службы по наряду московского приказа; но дома сохраняли первоначальный образ управления своего. Совершенное равенство прав; атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений; круги, или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов; никаких письменных постановлений; *в куль да в воду*—за измену, трусость, убийство и воровство: таковы главные черты сего управления[6]. К простым и грубым учреждениям, еще принесенным ими с Дона, яицкие казаки присовокупляли и другие, местные, относящиеся к рыболовству, главному источнику их богатства, и к праву нанимать на службу требуемое число казаков, учреждения чрезвычайно сложные и определенные с величайшею утонченностию[7].

Петр Великий принял первые меры для введения яицких казаков в общую систему государственного управления. В 1720 году яицкое войско отдано было в ведомство военной коллегии. Казаки возмутились, сожгли свой городок, с намерением бежать в Киргизские степи, но были жестоко усмирены полковником Захаровым. Сделана была им

Пушкинский кабинет ИРЛИ

перепись, определена служба, и назначено жалованье. Государь сам назначил войскового атамана.

В царствование Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны правительство хотело исполнить предположения Петра. Тому благоприятствовали возникшие раздоры между войсковым атаманом Меркульевым и войсковым старшиною Логиновым и разделение чрез то казаков на две стороны: атаманскую и логиновскую, или народную. В 1740 году положено было преобразовать внутреннее управление яицкого войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губернатором, представил в военную коллегию проект нового учреждения; но большая часть предположений и предписаний осталась без исполнения до восшествия на престол государыни Екатерины II.

С самого 1762 года стороны логиновской яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правительством: на удержание определенного жалованья, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, и генерал-маиоры Потапов и Черепов (первый в 1766 году, а второй в 1767) принуждены были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке учреждена была следственная комиссия. В ней присутствовали генерал-маиоры Потапов, Черепов, Бримфельд и Давыдов, и гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман Андрей Бородин был отставлен; на его место выбран Петр Тамбовцев; члены канцелярии осуждены уплатить войску, сверх удержанных денег, значительную пеню; но они умели избегнуть исполнения приговора. Казаки не теряли надежды. Они

Пушкинский кабинет ИРЛИ

покушались довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы. Но тайно посланные от них люди были, по повелению президента военной коллегии графа Чернышева, схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики. Между тем, велено было нарядить несколько сот казаков на службу в Кизляр. Местное начальство воспользовалось и сим случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его сопротивления. Узнали, что правительство имело намерение составить из казаков гусарские эскадроны, и что уж повелено брить им бороду. Генерал-маиор Траубенберг, присланный для того в Яицкий городок, навлек на себя народное негодование. Казаки волновались. Наконец в 1771 году мятеж обнаружился во всей своей силе.

Происшествие не менее важное подало к оному повод. Между Волгой и Яиком, по необозримым степям астраханским и саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале осьмнадцатого столетия ушедшие от границ Китая под покровительство белого царя. С тех пор они верно служили России, охраняя южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их простотою и отдаленностию от средоточия правления, начали их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не доходили до высшего начальства: выведенные из терпения, они решили оставить Россию и тайно снеслись с китайским правительством. Им не трудно было, не возбуждая подозрения, прикочевать к самому берегу Яика. И вдруг, в числе тридцати тысяч кибиток, они перешли на другую сторону и потянулись по киргизской степи к пределам прежнего отечества[8]. Правительство спешило удержать неожиданный побег. Яицкому войску велено было выступить в погоню, но казаки (кроме весьма малого числа) не послушались и явно отказались от всякой службы.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тамошние начальники прибегнули к строжайшим мерам для прекращения мятежа; но наказания уже не могли смирить ожесточенных. 13 января 1771 года они собрались на площади, взяли из церкви иконы и пошли, под предводительством казака Кирпичникова, в дом гвардии капитана Дурнова, находившегося в Яицком городке по делам следственной комиссии. Они требовали отрешения членов канцелярии и выдачи задержанного жалованья. Генерал-маиор Траубенберг пошел им навстречу с войском и пушками, приказывая разойтиться; но ни его повеления, ни увещания войскового атамана не имели никакого действия. Траубенберг велел стрелять; казаки бросились на пушки. Произошло сражение; мятежники одолели. Траубенберг был убит у ворот своего дома. Дурнов изранен. Тамбовцев повешен, члены канцелярии посажены под стражу; а на место их учреждено новое начальство.

Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выборных в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое происшествие. Между тем генерал-маиор Фрейман послан был из Москвы для их усмирения, с одною ротой гренадер и с артиллерией. Фрейман весною прибыл в Оренбург, где дождался слития рек, и—взяв с собою две легкие полевые команды и несколько казаков, пошел к Яицкому городку[9]. Мятежники, в числе трех тысяч, выехали против него; оба войска сошлись в семидесяти верстах от города. 3 и 4 июня произошли жаркие сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники прискакали в свои домы, забрали жен и детей, и стали переправляться через реку Чаган, намереваясь бежать к Каспийскому морю. Фрейман, вслед за ними вступивший в город, успел удержать народ угрозами и увещаниями. За ушедшими послана погоня, и почти все были пе-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

реловлены. В Оренбурге учредилась следственная комиссия под председательством полковника Неронова. Множество мятежников было туда отправлено. В тюрьмах не достало места. Их рассадили по лавкам Гостинного и Менового дворов. Прежнее казацкое правление было уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту, подполковнику Симонову. В его канцелярии повелено присутствовать войсковому старшине Мартемьяну Бородину и старшине (простому) Мостовщикову. Зачинщики бунта наказаны были кнутом; около ста сорока человек сослано в Сибирь; другие отданы в солдаты (*NB* все бежали), остальные прощены и приведены ко вторичной присяге. Сии строгие и необходимые меры восстановили наружный порядок; но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет!» говорили прощенные мятежники: «так ли мы тряхнем Москвою».—Казаки всё еще были разделены на две стороны: согласную и несогласную (или, как весьма точно переводила слова сии военная коллегия, на послушную и непослушную). Тайные совещания происходили по степным уметам[10] и отдаленным хуторам. Всё предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался.

Глава вторая

Появление Пугачева.—Бегство его из Казани.—Показания Кожевникова.—Первые успехи самозванца.—Измена илецких казаков.—Взятие крепости Рассыпной.—Нурали-Хан.—Распоряжение Рейнсдорпа.—Взятие Нижне-Озерной.—Взятие Татищевой.—Совет в Оренбурге.—Взятие Чернореченской.—Пугачев в Сакмарске.

В смутное сие время, по казацким дворам таталася неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремесла[1]. Он был свидетелем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на время в Ир-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

гизские скиты; оттуда в конце 1772 года послан был для закупки рыбы в Яицкой городок, где и стоял у казака Дениса Пьянова. Он отличался дерзостию своих речей, поносил начальство, и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана; он уверял, что и донские казаки не замедлят за ними последовать, что у него на границе заготовлено двести тысяч рублей и товару на семьдесят тысяч, и что какой-то паша, тотчас по приходе казаков, должен им выдать до пяти миллионов, покамест обещал он каждому по двенадцати рублей в месяц жалованья. Сверх того, сказывал он, будто бы противу яицких казаков из Москвы идут два полка, и что около рождества, или крещения, непременно будет бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и представить, как возмутителя, в комендантскую канцелярию; но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в селе Малыковке (что ныне Волгск) по указанию крестьянина, ехавшего с ним одною дорогой[2]. Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник, пришедший с ложным письменным видом из-за польской границы, с намерением поселиться на реке Иргизе, посреди тамошних раскольников. Он был отослан под стражею в Симбирск, а оттуда в Казань; и как всё, относящееся к делам яицкого войска, по тогдашним обстоятельствам могло казаться важным, то оренбургский губернатор и почел за нужное уведомить о том государственную военную коллегию донесением от 18 января 1773 года.

Яицкие бунтовщики были тогда нередки, и казанское начальство не обратило большого внимания на присланного преступника. Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он, под стражею двух гарнизонных солдат, ходил

Пушкинский кабинет ИРЛИ

по городу для собирания милостыни. У Замочной Решетки (так называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая тройка. Пугачев, подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших: другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из города. Это случилось 19 июня 1773 года. Три дня после в Казани получено было утвержденное в Петербурге решение суда, по коему Пугачев приговорен к наказанию плетьми и к ссылке в Пелым, на каторжную работу [3].

Пугачев явился на хуторах отставного казака Данилы Шелудякова, у которого жил он прежде в работниках. Там производились тогда совещания злоумышленников.

Сперва дело шло о побеге в Турцию: мысль издавна общая всем недовольным казакам. Известно, что в царствование Анны Иоанновны, Игнатий Некрасов успел привести ее в действо и увлечь за собой множество донских казаков. Потомки их доныне живут в турецких областях, сохраняя на чуждой им родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во время последней турецкой войны они дрались противу нас отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю, уже переплывшему Дунай, на запорожской лодке; так же, как остаток Сечи, они принесли повинную за своих отцов, и возвратились под владычество законного своего государя.

Но яицкие заговорщики слишком привязаны были к своим богатым, родимым берегам. Они, вместо побега, положили быть новому мятежу. Самозванство показалось им надежною пружиною. Для сего нужен был только пришлец, дерзкий и решительный, еще неизвестный народу. Выбор их пал на Пугачева. Им не трудно было его уговорить. Они немедленно начали собирать себе сообщников.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Военная коллегия дала знать о побеге казанского колодника во все места, где, по предположениям, мог он укрываться. Вскоре подполковник Симонов узнал, что беглеца видели на хуторах, находящихся около Яицкого городка. Отряды были посланы для поимки Пугачева, но не имели в том успеха: Пугачев и его главные сообщники спасались от поиска, переходя с одного места на другое и час-от-часу умножая свою шайку. Между тем разнеслись странные слухи... Многие казаки взяты были под стражу. Схватили Михаила Кожевникова, привели в комендантскую канцелярию и пыткою вынудили от него следующие важные показания:

В начале сентября находился он на своем хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая особа находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее на своем хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в ту же ночь перед светом возвратился с Тимофеем Мясниковым и с неведомым человеком, все трое верхами. Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою. Зарубин и Мясников поехали в город *для повестки народу*, а незнакомец, оставшись у Кожевникова, объявил ему, что он император Петр III, что слухи о смерти его были ложны, что он, при помощи караульного офицера, ушел в Киев, где скрывался около года; что потом был в Цареграде и тайно находился в русском войске во время последней турецкой войны; что оттуда явился он на Дону и был потом схвачен в Царицыне, но вскоре освобожден верными казаками; что в прошлом году находился он на Иргизе и в Яицком городке, где был снова пойман и отвезен в Казань; что часовой, подкупленный за

Пушкинский кабинет ИРЛИ

семьсот рублей неизвестным купцом, освободил его снова; что после подъезжал он к Яицкому городку, но, узнав через одну женщину о строгости, с каковою ныне требуются и осматриваются паспорты, воротился на Сызранскую дорогу, по коей скитался несколько времени, пока наконец с Таловинского умета взят Зарубиным и Мясниковым и привезен к Кожевникову. Высказав нелепую повесть, самозванец стал объяснять свои предположения. Он намерен был обнаружить себя по выступлении казацкого войска на *плавню* (осеннее рыболовство), во избежание сопротивления со стороны гарнизона и *напрасного кровопролития*. Во время же плавни хотел он явиться посреди казаков, связать атамана, итти прямо на Яицкий городок, овладеть им, и учредить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно не дошло о нем известия. В случае же неудачи думал он *броситься в Русь*, увлечь ее за собою, повсюду поставить новых судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им многая неправда) и возвести на престол государя великого князя. *Сам же я*, говорил он, *уже царствовать не желаю*. Пугачев на хуторе Кожевникова находился три дня; Зарубин и Мясников приехали за ним и увезли его на Усихину Россашь, где и намерен он был скрываться до самой плавни. Кожевников, Коновалов и Кочуров проводили его.

Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пугачев, с Будоринского[4] форпоста, пришел под Яицкой городок с толпою, из трехсот человек состоявшею, и остановился в трех верстах от города, за рекой Чаганом.

В городе все пришли в смятение. Недавно усмиренные жители начали перебегать на сторону новых мятежников, Симонов выслал против Пугачева

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пятьсот казаков, подкрепленных пехотою с двумя пушками. Двести казаков при капитане Крылове отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж, и половина отряда тут же передалась на сторону самозванца, и потащила за собою пятьдесят верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену в своем отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные казаки приведены были к Пугачеву, и одиннадцать из них, по приказанию его, повешены. Сии первые его жертвы были: сотники: Витошнов, Черторогов, Раинев и Коновалов; пятидесятники: Руженников, Толстов, Подъячев и Колпаков; рядовые: Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин.

На другой день Пугачев приближился к городу; но при виде выходящего против него войска стал отступать, рассыпав по степи свою шайку. Симонов не преследовал его, ибо казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту не смел отдалить от города, коего жители готовы были взбунтоваться. Он донес обо всем оренбургскому губернатору, генерал-поручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого войска для преследования Пугачева. Но прямое сообщение с Оренбургом было уже пресечено, и донесение Симонова дошло до губернатора не прежде, как через неделю.

С шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачев пошел прямо к Илецкому городку [5] и послал начальствовавшему в нем атаману Портнову повеление—выдти к нему навстречу и с ним соединиться. Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою (илецкие, как и яицкие, казаки были все староверцы), реками и лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом, и вечною воль-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ностию, угрожая местию в случае непослушания. Верный своему долгу, атаман думал сопротивляться; но казаки связали его, и приняли Пугачева с колокольным звоном и с хлебом-солью. Пугачев повесил атамана, три дня праздновал победу и, взяв с собою всех илецких казаков и городские пушки, пошел на крепость Рассыпную [6].

Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Несколько старых солдат и тамошних казаков, под защитой двух или трех пушек, были в них безопасны от стрел и копий диких племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и около ее границ. 24 сентября Пугачев напал на Рассыпную. Казаки и тут изменили. Крепость была взята. Комендант, маиор Веловский, несколько офицеров и один священник были повешены, а гарнизонная рота и полтораста казаков присоединены к мятежникам.

Слух о самозванце быстро распространялся. Еще с Будоринского форпоста Пугачев писал к киргиз-кайсакскому хану, именуя себя государем Петром III и требуя от него сына в заложники и ста человек вспомогательного войска. Нурали-Хан подъезжал к Яицкому городку под видом переговоров с начальством, коему предлагал он свои услуги. Его благодарили и отвечали, что надеются управиться с мятежниками без его помощи. Хан послал оренбургскому губернатору татарское письмо самозванца с первым известием о его появлении. «Мы, люди, живущие в степях,—писал Нурали к губернатору,—не знаем, кто сей, разъезжающий по берегу: обманщик ли, или настоящий государь? Посланный от нас воротился, объявив, что того разведать не мог, а что борода у того человека русая». При сем, пользуясь обстоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения аманатов,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

отогнанного скота и выдачи бежавших из орды рабов. Рейнсдорп спешил отвечать, что кончина императора Петра III известна всему свету; что сам он видел государя во гробе и целовал его мертвую руку. Он увещевал хана, в случае побега самозванца в киргизские степи, выдать его правительству, обещая за то милость императрицы. Прошения хана были исполнены. Между тем Нурали вошел в дружеские сношения с самозванцем, не преставая уверять Рейнсдорпа в своем усердии к императрице, а киргизцы стали готовиться к набегам.

Вслед за известием хана получено было в Оренбурге донесение Яицкого коменданта, посланное через Самару. Вскоре потом пришло и донесение Веловского о взятии Илецкого городка. Рейнсдорп поспешил принять меры к прекращению возникающего зла. Он предписал бригадиру барону Билову выступить из Оренбурга, с четырмястами солдат пехоты и конницы и с шестью полевыми орудиями, идти к Яицкому городку, забирая по дороге людей с форпостов и из крепостей. Командиру Верхне-Озерной дистанции[7], бригадиру барону Корфу велел, как можно скорее, идти к Оренбургу; подполковнику Симонову отрядить маиора Наумова с полевой командой и с казаками, для соединения с Биловым; ставропольской канцелярии[8] велено было выслать к Симонову пятьсот вооруженных калмыков, а ближайшим башкирцам и татарам собраться, как можно скорее, и в числе тысячи человек идти навстречу Наумову. Ни одно из сих распоряжений не было исполнено. Билов занял Татищеву крепость и двинулся было на Озерную, но, в пятнадцати верстах от оной, услышав ночью пушечные выстрелы, отступил, полагая крепость уже взятою Пугачевым. Рейнсдорп вторично приказал ему спешить

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на поражение бунтовщиков; Билов не послушался, и остался в Татищевой. Корф отговаривался от похода под различными предлогами. Вместо пятисот вооруженных калмыков не собралось их и трехсот, и те бежали с дороги. Башкирцы и татары не слушались предписания. Маиор же Наумов и войсковой старшина Бородин, выступив из Яицкого городка, шли издали по следам Пугачева и 3 октября прибыли в Оренбург степною стороною, не видав неприятеля.

Из Россыпной Пугачев пошел на Нижне-Озерную [9]. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Веловскому комендантом Нижне-Озерной, маиором Харловым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Узнав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат. Ночью на 26 сентября вздумал он, для их ободрения, палить из двух своих пушек, и сии-то несчастные выстрелы остановили Билова, шедшего к нему на помощь. Утром Пугачев показался перед крепостью. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь», сказал ему старый казак: «неравно из пушки убьют».—«Старый ты человек», отвечал самозванец: «разве пушки льются на царей?»— Харлов бегал от одного солдата к другому, и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки, и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал от них откупиться, и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, принимая

Пушкинский кабинет ИРЛИ

присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта; но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бикбай, взошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю [10]. На другой день Пугачев выступил, и пошел на Татищеву [11].

В сей крепости начальствовал полковник Елагин. Гарнизон был умножен отрядом Билова, искавшего в ней своей безопасности. Утром 27 сентября Пугачев показался на высотах, ее окружающих. Все жители видели, как он расставил там свои пушки и сам направил их на крепость. Мятежники подъехали к стенам, уговаривая гарнизон—*не слушаться бояр* и сдаться добровольно. Им отвечали выстрелами. Они отступили. Бесполезная пальба продолжалась с полудня до вечера; в то время скирды сена, находившиеся близ крепости, загорелись, подожженные осаждающими. Пожар быстро достигнул деревянных укреплений. Солдаты бросились тушить огонь. Пугачев, пользуясь смятением, напал с другой стороны. Крепостные казаки ему передались. Раненый Елагин и сам Билов оборонялись отчаянно. Наконец мятежники ворвались в дымящиеся развалины. Начальники были захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшему казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пощадив для нее семилетнего ее брата. Вдова майора Веловского, бежавшая из Рассыпной, также находилась в Татищевой: ее удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев выведены в поле и расстреляны картечью. Прочие острижены по-казацки, и присоединены к мятежникам. Тринадцать пушек достались победителю.

Известия об успехах Пугачева приходили в Оренбург одно за другим. Едва Веловский успел донести о взятии Илецкого городка, уже Харлов доносил о взятии Рассыпной; вслед за тем Билов, из Татищевой, извещал о взятии Нижне-Озерной; майор Крузе, из Чернореченской, о пальбе, происходящей под Татищевой. Наконец (28 сентября) триста человек татар, насилу собранные и отправленные к Татищевой, возвратились с дороги с известием об участи Билова и Елагина. Рейнсдорп, испуганный быстротою пожара, собрал совет из главных оренбургских чиновников, и следующие меры были им утверждены:

1) Все мосты через Сакмару разломать, и пустить вниз по реке.

2) У польских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, отобрать оружие и отправить их в Троицкую крепость под строжайшим присмотром.

3) Разночинцам, имеющим оружие, назначить места для защищения города, отдав их в распоряжение обер-коменданту, генерал-майору Валленштерну; прочим находиться в готовности, в случае пожара, и быть под начальством таможенного директора Обухова.

4) Сентовских татар перевести в город, и поручить начальство над ними коллежскому советнику Тимашеву.

5) Артиллерию отдать в распоряжение действительному статскому советнику Старову-Милюкову, служившему некогда в артиллерии.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Сверх того, Рейнсдорп, думая уже о безопасности самого Оренбурга, приказал обер-коменданту исправить городские укрепления и привести в оборонительное состояние. Гарнизонам же малых крепостей, еще не взятых Пугачевым, велено было идти в Оренбург, зарывая или потопляя тяжести и порох.

Из Татищевой, 29 сентября, Пугачев пошел на Чернореченскую[12]. В сей крепости оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем место коменданта, майора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без сопротивления. Пугачев повесил капитана, по жалобе крепостной его девки.

Пугачев, оставя Оренбург вправе, пошел к Сакмарскому городку[13], коего жители ожидали его с нетерпением.—1-го октября, из татарской деревни Каргале, поехал он туда в сопровождении нескольких казаков. Очевидец описывает его прибытие следующим образом[14]:

«В крепости у станичной избы постланы были ковры, и поставлен стол с хлебом и солью. Поп ожидал Пугачева с крестом и с святыми иконами. Когда въехал он в крепость, начали звонить в колокола; народ снял шапки, и когда самозванец стал сходить с лошади, при помощи двух из его казаков, подхвативших его под руки, тогда все пали ниц. Он приложился ко кресту, хлеб-соль поцеловал и, сев на уготовленный стул, сказал: *вставайте, детушки*. Потом все целовали его руку.—Пугачев осведомился о городских казаках. Ему отвечали: что иные на службе, другие с их атаманом, Даниилом Донским, взяты в Оренбург, и что только двадцать человек оставлены для почтовой гоньбы, и те скрылись. Он обратился к священнику и грозно приказал ему отыскать их, примолвя: *ты, поп, так будь и атаман; ты и все жители отвечаете*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мне за них головами. Потом поехал он к атаманову отцу, у которого был ему приготовлен обед. *Если б твой сын был здесь*, сказал он старику, *то ваш обед был бы высок и честен: но хлеб-соль твоя помрачились. Какой он атаман, коли место свое покинул?*—После обеда, пьяный, он велел было казнить хозяина, но бывшие при нем казаки упросили его; старик был только закован и посажен на одну ночь в станичную избу под караул. На другой день сысканные казаки представлены были Пугачеву. Он обошелся с ними ласково, и взял с собою. Они спросили его: сколько прикажет взять припасов? *Возьмите*, отвечал он, *краюшку хлеба; вы проводите меня только до Оренбурга.*—В сие время башкирцы, присланные от оренбургского губернатора, окружили город. Пугачев к ним выехал, и без бою взял всех в свое войско. На берегу Сакмары повесил он шесть человек». [15]

В тридцати верстах от Сакмарского городка находилась крепость Пречистенская. Лучшая часть ее гарнизона была взята Биловым на походе его к Татищевой. Один из отрядов Пугачева занял ее без сопротивления. Офицеры и гарнизон вышли навстречу победителям. Самозванец по своему обыкновению принял солдат в свое войско и в первый раз оказал позорную милость офицерам.

Пугачев усиливался: прошло две недели со дня, как явился он под Яицким городком с горстью бунтовщиков, и уж он имел до трех тысяч пехоты и конницы, и более двадцати пушек. Семь крепостей были им взяты, или сдались ему. Войско его с часу-на-час умножалось неимоверно. Он решился пользоваться счастием, и 3 октября, ночью, под Сакмарским городком перешел реку через мост, уцелевший вопреки распоряжениям Рейнсдорпа, и потянулся к Оренбургу.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава третия

Меры правительства.—Состояние Оренбурга.—Объявление Рейнсдорпа о Пугачеве.—Разбойник Хлопуша.—Пугачев под Оренбургом.—Бердская слобода.—Сообщники Пугачева.—Генерал-маиор Кар.—Его неудача.—Гибель полковнина Чернышева.—Кар оставляет армию.—Бибиков.

Оренбургские дела принимали худой оборот. С часу-на-час ожидали общего возмущения Яицкого войска; башкирцы, взволнованные своими старшинами (которых Пугачев успел задарить верблюдами и товарами, захваченными у бухарцев), начали нападать на русские селения и кучами присоединяться к войску бунтовщиков. Служивые калмыки бежали с форпостов. Мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому начальству. Господские крестьяне явно оказывали свою приверженность самозванцу, и вскоре не только Оренбургская, но и пограничные с нею губернии пришли в опасное колебание.

Губернаторы, казанский—фон-Брант, симбирский — Чичерин, астраханский — Кречетников, вслед за Рейнсдорпом, известили государственную военную коллегию о яицких происшествиях. Императрица с беспокойством обратила внимание на возникающее бедствие. Тогдашние обстоятельства сильно благоприятствовали беспорядкам. Войска отовсюду были отвлечены в Турцию и в волнующуюся Польшу. Строгие меры, принятые по всей России для прекращения недавно свирепствовавшей чумы, производили в черни общее негодование. Рекрутский набор усиливал затруднения. Повелено было нескольким ротам и эскадронам из Москвы, Петербурга, Новагорода и Бахмута на-скоро следовать в Казань. Начальство над ними поручено генерал-маиору Кару, отличившемуся в Польше твердым исполнением строгих предписа-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ний начальства. Он находился в Петербурге, при приеме рекрут. Ему велено было сдать свою бригаду генерал-маиору Нащокину и спешить к местам, угрожаемым опасностью. К нему присоединили генерал-маиора Фреймана, уже усмирявшего раз яицкое войско и хорошо знавшего театр новых беспорядков. Начальникам окрестных губерний велено было, с их стороны, делать нужные распоряжения. Манифестом от 15 октября правительство объявляло народу о появлении самозванца, увещевая обольщенных отстать заблаговременно от преступного заблуждения[1].

Обратимся к Оренбургу.

В сем городе находилось до трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастию, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным движениям. Оренбург претерпел бедственную осаду, коей любопытное изображение сохранено самим Рейнсдорпом[2].

Несколько дней появление Пугачева было тайною для оренбургских жителей; но молва о взятии крепостей вскоре разошлась по городу, а поспешное выступление Билова[3] подтвердило справедливые слухи. В Оренбурге оказалось волнение; казаки с угрозами роптали; устрашенные жители говорили о сдаче города. Схвачен был зачинщик смятения, отставной сержант[4], подосланный Пугачевым. В допросе он показал, что имел намерение заколоть губернатора. В селениях, около Оренбурга, начали показываться возмутители. Рейнсдорп обнародовал объявление о Пугачеве, в коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления[5]. Оно было писано темным и запутанным сло-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

гом. В нем было сказано, *что о злодействующем с Яицкой стороны носится слух, якобы он другова состояния, нежели как есть;* но что он в самом деле донской казак Емельян Пугачев, за прежние преступления наказанный кнутом с поставлением на лице знаков. Сие показание было несправедливо [6]. Рейнсдорп поверил ложному слуху, и мятежники потом торжествовали, укоряя его в клевете [7].

Казалось, все меры, предпринимаемые Рейнсдорпом, обращались ему во вред. В оренбургском остроге содержался тогда в оковах злодей, известный под именем Хлопуши. Двадцать лет разбойничал он в тамошних краях; три раза ссылаем был в Сибирь и три раза находил способ уходить. Рейнсдорп вздумал [8] употребить смышленного каторжника и чрез него переслать в шайку Пугачевскую увещевательные манифесты. Хлопуша клялся в точности исполнить его препоручения. Он был освобожден, явился прямо к Пугачеву и вручил ему самому все губернаторские бумаги. «Знаю, братец, что тут написано», сказал безграмотный Пугачев и подарил ему полтину денег и платье недавно повешенного киргизца. Хорошо зная край, на который так долго наводил ужас своими разбоями, Хлопуша сделался ему необходим. Пугачев наименовал его полковником и поручил ему грабеж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал его доверенность. Он пошел по реке Сакмаре, возмущая окрестные селения; явился на Бугульчанской и Стерлитамацкой пристанях и на уральских заводах и переслал оттоле Пугачеву пушки, ядра и порох, умножа свою шайку приписными крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоев.

5 октября Пугачев со своими силами расположился лагерем на казачьих лугах, в пяти верстах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперед и под пушечными выстрелами поставил одну батарею

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на паперти церкви у самого предместия, а другую в загородном губернаторском доме. Он отступил, отбитый сильною пальбою. В тот же день, по приказанию губернатора, предместие было выжжено. Уцелела одна только изба и Георгиевская церковь. Жители переведены были в город, и им обещано вознаграждение за весь убыток. Начали очищать ров, окрущающий город, а вал обносить рогатками.

Ночью около всего города запылали скирды заготовленного на зиму сена. Губернатор не успел перевести оное в город. Противу зажигателей (уже на другой день утром) выступил маиор Наумов (только что прибывший из Яицкого городка). С ним было тысяча пятьсот человек конницы и пехоты. Встреченный пушками, он перестреливался, и отступил безо всякого успеха. Его солдаты робели, а казакам он не доверял.

Рейнсдорп собрал опять совет из военных и гражданских своих чиновников и требовал от них письменного мнения: выступить ли еще против злодея, или под защитой городских укреплений ожидать прибытия новых войск? На сем совете действительный статский советник Старов-Милюков один объявил мнение, достойное военного человека: *итти противу бунтовщиков*. Прочие боялись новою неудачею привести жителей в опасное уныние, и только думали защищаться. С последним мнением согласился и Рейнсдорп.

8 октября мятежники выехали грабить меновой двор, находившийся в трех верстах от города [9]. Высланный противу них отряд прогнал их, убив на месте двести человек и захватив до ста шестнадцати. Рейнсдорп, желая воспользоваться сим случаем, несколько ободрившим его войска, хотел на другой день выступить против Пугачева; но все начальники единогласно донесли ему, что на войско никаким образом положиться было невозмож-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

но: солдаты, приведенные в уныние и недоумение, сражались неохотно; казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками, и следствия их измены были бы гибелью для Оренбурга. Рейнсдорп не знал, что делать[10]. Он кое-как успел однакож уговорить и усовестить своих подчиненных, и 12 октября Наумов вывел опять из города свое ненадежное войско.

Сражение завязалось. Артиллерия Пугачева была превосходнее числом вывезенной из города. Оренбургские казаки, с непривычки, робели ядер и жались к городу, под прикрытие пушек, расставленных по валу. Отряд Наумова был окружен со всех сторон многочисленными толпами. Он выстроился в карре, и начал отступать, отстреливаясь от неприятеля. Сражение продолжалось четыре часа. Наумов убитыми, ранеными и бежавшими потерял сто семнадцать человек.

Не проходило дня без перестрелок. Мятежники толпами разъезжали около городского вала и нападали на фуражиров. Пугачев несколько раз подступал под Оренбург со всеми своими силами. Но он не имел намерения взять его приступом. «*Не стану тратить людей*», говорил он сакмарским казакам, «*а выморю город мором*». Не раз находил он способ доставлять жителям возмутительные свои листы. Схватили в городе несколько злодеев, подосланных от самозванца: у них находили порох и фитили.

Вскоре в Оренбурге оказался недостаток в сене. У войска и у жителей худые и к работе неспособные лошади были отобраны и отправлены частию к Илецкой Защите и к Верхо-Яицкой крепости, частию в Уфимский уезд. Но, в нескольких верстах от города, лошади были захвачены бунтующими крестьянами и татарами, а казаки, гнавшие табун, отосланы к Пугачеву.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Осенняя стужа настала ранее обыкновенного. С 14 октября начались уже морозы; 16-го выпал снег. 18-го Пугачев, зажегши свой лагерь, со всеми тяжестями пошел обратно от Яика к Сакмаре и расположился под Бердскою [1] слободою, близ летней сакмарской дороги, в семи верстах от Оренбурга. Оттоле разъезды его не преставали тревожить город, нападать на фуражиров и держать гарнизон во всегдашнем опасении.

2 ноября Пугачев со всеми силами подступил опять к Оренбургу, и, поставя около всего города баттареи, открыл ужасный огонь. С городской стены отвечали ему тем же. Между тем человек тысяча из его пехоты, со стороны реки закравшись в погреба выжженного предместия, почти у самого вала и рогаток, стреляли из ружей и сайдаков. Сам Пугачев ими предводительствовал. Егери полевой команды выгнали их из предместия. Пугачев едва не попался в плен. Вечером огонь утих; но во всю ночь мятежники пальбою сопровождали бой часов соборной церкви, делая по выстрелу на каждый час.

На другой день огонь возобновился, несмотря на стужу и мятель. Мятежники в церкви разложили огонь, истопили избу, уцелевшую в выжженном предместии, и грелись попеременно. Пугачев поставил пушку на паперти, а другую велел втащить на колокольню. В версте от города находилась высокая мишень, служившая целью во время артиллерийских учений. Мятежники устроили там свою главную батарею. Обоюдная пальба продолжалась целой день. Ночью Пугачев отступил, претерпев незначительный урон и не сделав вреда осажденным[2]. Утром из города высланы были невольники под прикрытием казаков срыть мишень и другие укрепления, а избу разломать. В церкви, куда мятежники приносили своих раненых, вид-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ны были на помосте кровавые лужи. Оклады с икон были ободраны, напрестольное одеяние в лоскутьях. [Церковь осквернена была даже калом лошадиным и человечьим]...

Стужа усилилась. 6 ноября Пугачев с яицкими казаками перешел из своего нового лагеря в самую слободу. Башкирцы, калмыки и заводские крестьяне остались на прежнем месте, в своих кибитках и землянках. Разъезды, нападения и перестрелки не прекращались. С каждым днем силы Пугачева увеличивались. Войско его состояло уже из двадцати пяти тысяч; ядром оного были яицкие казаки и солдаты, захваченные по крепостям; но около их скоплялось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто пистолетом, кто офицерскою шпагой. Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки; другие носили дубины; большая часть не имела никакого оружия. Войско разделено было на полки, состоящие из пятисот человек. Жалованье получали одни яицкие казаки; прочие довольствовались грабежом. Вино продавалось *от казны*. Корм и лошадей доставали от башкирцев. За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головою отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностию, сам их объезжая иногда и ночью. Учения (особенно артиллерийские) происходили почти всякой день. Церковная служба отправлялась ежедневно. На ектении поминали государя Петра Феодоровича и супругу его государыню Екатерину Алексеевну. Пугачев, будучи раскольником, в церковь никогда не ходил. Когда ездил он по базару, или по бердским улицам, то всегда бросал в народ медными деньгами. Суд и расправу да-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вал сидя в креслах перед своею избою. По бокам его сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и, перекрестясь, целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности. Смельчаки подъезжали к рогаткам оренбургским; иные, наткнув шапку на копье, кричали: *Господа казаки! пора вам одуматься и служить государю Петру Федоровичу.* Другие требовали, чтобы им выдали *Мартюшку Бородина* (войскового старшину, прибывшего в Оренбург из Яицкого городка вместе с отрядом Наумова) и звали казаков к себе в гости, говоря: *У нашего батюшки вина много!* Из города противу них выезжали наездники, и завязывались перестрелки иногда довольно жаркие. Нередко сам Пугачев являлся тут же, хвастая молодечеством. Однажды прискакал он, пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле,—и едва не попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под устцы [13].

Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных знаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воли. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом: но наедине обходились с ним как

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с товарищем, и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах, и распевая бурлацкие песни. Пугачев скучал их опекою. *Улица моя тесна*, говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына [14]. Не терпя постороннего влияния на царя, ими созданного, они не допускали самозванца иметь иных любимцев и поверенных. Пугачев, в начале своего бунта, взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и бросили с камнем на шее в воду. Пугачев о нем осведомился. *Он пошел*, отвечали ему, *к своей матушке вниз по Яику*. Пугачев, молча, махнул рукой. Молодая Харлова имела несчастие привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ—похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрение ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении.

В числе главных мятежников отличался Зарубин (он же и Чика), с самого начала бунта сподвижник и пестун Пугачева. Он именовался фельдмаршалом и был первый по самозванце. Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предводительствовали войском. Все они назывались именами вельмож, окружавших в то время престол Екатерины: Чика графом Чернышевым, Шигаев графом Воронцовым, Овчинников графом Паниным, Чумаков графом Орловым [15]. Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною до-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

верженностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева, и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков. Перфильев, при начале бунта находившийся в Петербурге по делам Яицкого войска, обещался правительству привести казаков в повиновение и выдать самого Пугачева в руки правосудия: но, приехав в Берду, оказался одним из самых ожесточенных бунтовщиков, и соединил судьбу свою с судьбою самозванца. Разбойник Хлопуша из-под кнута, клейменный рукою палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был один из любимцев Пугачева. Стыдясь своего безобразия, он носил на лице сетку, или закрывался рукавом, как будто защищаясь от мороза [16]. Вот какие люди колебали государством!

Кар, между тем, прибыл на границу Оренбургской губернии. Казанский губернатор, еще до приезда его, успел собрать несколько сот гарнизонных, отставных и поселенных солдат, и расположить их частию около Кичуевского фельдшанца, частию по реке Черемшану, на половине дороги от Кичуева до Ставрополя. На Волге находились человек тридцать рядовых при одном офицере, для поимки разбойников: им велено было примечать за движениями бунтовщиков. Брант писал в Москву, к генерал-аншефу князю Волконскому, требуя от него войска. Но Московский гарнизон был весь отряжен для отвода рекрут, а Томский полк, находившийся в Москве, содержал караулы на заставах, учрежденных в 1771 году во время свирепствовавшей чумы. Князь Волконский мог отрядить только триста рядовых при одной пушке и тотчас послал их на подводах в Казань.

Кар предписал симбирскому коменданту полковнику Чернышеву, идущему по Самарской линии к Оренбургу, занять как можно скорее Тати-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щеву. Он был намерен, тотчас по прибытии генерал-маиора Фреймана, находившегося в Калуге для приема рекрут, послать его на подкрепление Чернышеву. Кар не сомневался в успехе. «Опасаюсь только, писал он графу З. Г. Чернышеву, чтобы сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя оных, по тем же самым местам, отколь они появились». Он предвидел затруднения только в преследовании Пугачева, по причине зимы и недостатка в конице.

В начале ноября, не дождавшись ни артиллерии, ни ста семидесяти гренадер, посланных к нему из Симбирска, ни высланных к нему из Уфы вооруженных башкирцев и мещеряков, он стал подаваться вперед. На дороге, во ста верстах от Оренбурга, он узнал, что отряженный от Пугачева ссыльный разбойник Хлопуша, вылив пушки на Овзяно-Петровском [17] заводе и возмутив приписанных крестьян и окрестных башкирцев, возвращается под Оренбург. Кар поспешил пресечь ему дорогу, и 7 ноября послал секунд-маиора Шишкина с четырьмястами рядовых и двумя пушками в деревню Юзееву [18], а сам с генералом Фрейманом и премиер-маиором Ф. Варнстедом, только что подоспевшими из Калуги, выступил из Сарманаевой. Шишкин был встречен под самой Юзеевой шестьюстами мятежниками. Татары и вооруженные крестьяне, бывшие при нем, тотчас передались. Шишкин однако рассеял сию толпу несколькими выстрелами. Он занял деревню, куда Кар и Фрейман и прибыли в четвертом часу ночи. Войско было так утомлено, что невозможно было даже учредить конные разъезды. Генералы решились ожидать света, чтоб напасть на бунтовщиков, и на заре увидели перед собой ту же толпу. Мятежникам передали увещевательный манифест; они его приняли, но

Пушкинский кабинет ИРЛИ

отъехали с бранью, говоря, что их манифесты правее, и начали стрелять из бывшей у них пушки. Их разогнали опять... В это время Кар услышал у себя в тылу четыре дальних пушечных выстрела. Он испугался, и поспешно начал отступать, полагая себя отрезанным от Казани. Тут более двух тысяч мятежников наскакали со всех сторон и открыли огонь из девяти орудий. Пугачев сам ими предводительствовал. Хлопуша успел с ним соединиться. Рассыпавшись по полям на расстоянии пушечного выстрела, они были вне всякой опасности. Конница Кара была утомлена и малочисленна. Мятежники, имея добрых лошадей, при наступлении пехоты, отдалялись, проворно перевозя свои пушки с одной горы на другую, и таким образом семнадцать верст сопровождали отступающего Кара. Он целых восемь часов отстреливался из своих пяти пушек, бросил свой обоз и потерял (если верить его донесению) не более ста двадцати человек убитыми, ранеными и бежавшими. Башкирцы, ожидаемые из Уфы, не бывали; находившиеся в недальнем расстоянии, под начальством князя Уракова, бежали, заслышав пальбу. Солдаты, по большей части престарелые или рекруты, громко роптали и готовы были сдаться; молодые офицеры, не бывавшие в огне, не умели их ободрить. Гренадеры, отправленные на подводах из Симбирска, при поручике Карташове, ехали с такой оплошностию, что даже ружья не были у них заряжены, и каждый спал в своих санях. Они сдались с четырех первых выстрелов, услышанных Каром по утру из деревни Юзеевой.

Кар потерял вдруг свою самонадеянность. С донесением о своем уроне он представил военной коллегии, что для поражения Пугачева нужны не слабые отряды, а целые полки, надежная конница и сильная артиллерия. Он немедленно послал по-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

веление полковнику Чернышеву не выступать из Переволоцкой, и стараться в ней укрепиться в ожидании дальнейших распоряжений. . Но посланный к Чернышеву не мог уже его догнать.

11 ноября Чернышев выступил из Переволоцкой и 13-го в ночь прибыл в Чернореченскую. Тут он получил от двух илецких казаков, приведенных сакмарским атаманом, известие о разбитии Кара и о взятии ста семидесяти гренадер. В истине последнего показания Чернышев не мог усомниться: гренадеры были отправлены им самим из Симбирска, где они находились при отводе рекрут. Он не знал, на что решиться: отступить ли к Переволоцкой, или спешить к Оренбургу, куда накануне отправил он донесение о своем приближении. В сие время явились к нему пять казаков и один солдат, которые, как уверяли, бежали из Пугачевского стана. Между ними находился казацкий сотник и депутат [19] Падуров. Он уверил Чернышева в своем усердии, представя в доказательство свою депутатскую медаль, и советовал немедленно итти к Оренбургу, вызываясь провести его безопасными местами. Чернышев ему поверил, и в тот же час, без барабанного бою, выступил из Чернореченской. Падуров вел его горами, уверяя, что передовые караулы Пугачева далеки, и что если на рассвете они его и увидят, то опасность уже минуется, и он беспрепятственно успеет вступить в Оренбург. Утром Чернышев пришел к Сакмаре, и при урочище Маяке, в пяти верстах от Оренбурга, начал переправляться по льду. С ним было тысяча пятьсот солдат и казаков, пятьсот калмыков и двенадцать пушек. Капитан Ружевский переправился первый с артиллерией и легким войском; он тотчас, взяв с собой трех казаков, отправился в Оренбург и явился к губернатору с известием о прибытии Чернышева.—

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В самое сие время в Оренбурге услышали пушечную пальбу, которая через четверть часа и умолкла... Несколько времени спустя Рейнсдорп получил известие, что весь отряд Чернышева взят и ведется в лагерь Пугачева.

Чернышев был обманут Падуровым, который привел его прямо к Пугачеву. Мятежники вдруг на него бросились и овладели артиллерией. Казаки и калмыки изменили. Пехота, утомленная стужею, голодом и ночным переходом, не могла сопротивляться. Всё было захвачено. Пугачев повесил Чернышева, тридцать шесть офицеров, одну прапорщицу и калмыцкого полковника [20], оставшегося верным своему несчастному начальнику.

В то же самое время бригадир Корф вступал в Оренбург с двумя тысячами четырьмястами человек войска и с двадцатью орудиями. Пугачев напал и на него: но был отражен городскими казаками.

Оренбургское начальство казалось обезумленным от ужаса. 14 ноября Рейнсдорп, не подав накануне никакой помощи отряду несчастного Чернышева, вздумал сделать сильную вылазку. Всё войско, бывшее в городе (включая тут же и вновь прибывший отряд), было выведено в поле, под предводительством обер-коменданта. Бунтовщики, верные своей системе, сражались издали и врассыпную, производя беспрестанный огонь из многочисленных своих орудий. Изнуренная городская конница не могла иметь и надежды на успех. Валленштерн принужден был составить карре и отступить, потеряв тридцать два человека [21]. В тот же день маиор Варнстед, отряженный Каром на Ново-Московскую дорогу, встречен был сильным отрядом Пугачева и поспешно отступил, потеряв до двухсот человек убитыми.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Получив известие о взятии Чернышева, Кар совершенно упал духом и думал уже не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности. Он донес обо всем военной коллегии, самовольно отказался от начальства, под предлогом болезни, дал несколько умных советов на счет образа действий противу Пугачева и, оставя свое войско на попечение Фрейману, уехал в Москву, где появление его произвело общий ропот. Императрица, строгим указом, повелела его исключить из службы [22]. С того времени жил он в своей деревне, где и умер в начале царствования императора Александра.

Императрица видела необходимость взять сильные меры против возрастающего зла. Она искала надежного военачальника и выбрала генерал-аншефа Бибикова.—Александр Ильич Бибиков принадлежал к числу замечательнейших лиц екатерининских времен, столь богатых людьми знаменитыми. В молодых еще летах он успел уже отличиться на поприще войны и гражданственности. Он служил с честию в семилетнюю войну, и обратил на себя внимание Фридриха Великого. Важные препоручения были на него возлагаемы: в 1763 году послан он был в Казань для усмирения взбунтовавшихся заводских крестьян. Твердостию и благоразумною кротостию вскоре восстановил он порядок. В 1766 году, когда составлялась комиссия нового уложения, он председательствовал в Костроме на выборах; сам был избран депутатом и потом назначен в предводители всего собрания. В 1771 году он назначен был на место генерал-поручика Веймарна, главнокомандующим в Польшу, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побежденных.

В эпоху, нами описываемую, находился он в

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Петербурге. Сдав недавно главное начальство над завоеванною Польшею генерал-поручику Романиусу, он готовился ехать в Турцию служить при графе Румянцове. Бибиков был холодно принят императрицею, дотоле всегда к нему благосклонною. Может быть, она была недовольна нескромными словами, вынужденными у него досадою; ибо усердный на деле и душею преданный государыне, Бибиков был брюзглив и смел в своих суждениях. Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к нему, на придворном бале, с прежнею ласковой улыбкой, и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибиков отвечал, что он посвятил себя на службу отечеству, и тут же привел слова простонародной песни, применив их к своему положению:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригожаешься;
А не надо, сарафан, и под лавкой лежишь.

Он безотговорочно принял на себя многотрудную должность, и 9 декабря отправился из Петербурга.

Приехав в Москву, Бибиков нашел старую столицу в страхе и унынии. Жители, недавние свидетели бунта и чумы, трепетали в ожидании нового бедствия. Множество дворян бежало в Москву из губерний, уже разоряемых Пугачевым, или угрожаемых возмущением. Холопья, ими навезенные, распускали по площадям вести о вольности и об истреблении господ. Многочисленная московская чернь, пьянствуя и шатаясь по улицам, с явным нетерпением ожидала Пугачева. Жители приняли Бибикова с восторгом, доказывавшим, в какой опасности полагали себя. Он оставил Москву, спеша оправдать ее надежды.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава четвертая

Действия мятежников.—Манор Заев.—Взятие Ильинской крепости.—Смерть Камешкова и Воронова.—Состояние Оренбурга.—Осада Яицкого городка.—Сражение под Бердою.—Бибиков в Казани.—Екатерина II, помещица казанская.—Мнение Европы.—Вольтер.—Указ о доме и семействе Пугачева.

Разбитие Кара и Фреймана, погибель Чернышева и неудачные вылазки Валленштерна и Корфа увеличили в мятежниках дерзость и самонадеянность. Они кинулись во все стороны, разоряя селения, города, возмущая народ, и нигде не находили сопротивления. Торнов с шестьюстами человек взбунтовал и ограбил всю Нагайбацкую область. Чика, между тем, подступил под Уфу с десятитысячным отрядом и осадил ее в конце ноября. Город не имел укреплений подобных оренбургским; однако ж комендант Мясоедов и дворяне, искавшие в нем убежища, решились обороняться. Чика, не отваживаясь на сильные нападения, остановился в селе Чесноковке, в десяти верстах от Уфы, взбунтовал окрестные деревни, большею частию башкирские, и отрезал город от всякого сообщения. Ульянов, Давыдов и Белобородов действовали между Уфою и Казанью. Между тем Пугачев послал Хлопушу с пятьюстами человек и шестью пушками взять крепости Ильинскую и Верхне-Озерную, к востоку от Оренбурга. Для защиты сей стороны отряжен был Сибирским губернатором Чичериным генерал-поручик Декалонг и генерал-маиор Станиславский[1]. Первый прикрывал границы сибирские; последний находился в Орской[2] крепости, действуя нерешительно, теряя бодрость при малейшей опасности, и под различными предлогами отказываясь от исполнения своего долга.

Хлопуша взял Ильинскую, на приступе заколов коменданта, поручика Лопатина; но пощадил офи-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

церов и не разорил даже крепости. Он пошел на Верхне-Озерную. Комендант, подполковник Демарин, отразил его нападение. Узнав о том, Пугачев сам поспешил на помощь Хлопуши и, соединясь с ним 26 ноября утром, подступил тот же час к крепости. Целый день пальба не умолкала. Несколько раз мятежники, спешась, ударяли в копья, но всегда были опрокинуты. Вечером Пугачев отступил в башкирскую деревню, за двенадцать верст от Верхне-Озерной. Тут узнал он, что с сибирской линии идут к Ильинской три роты, отряженные генерал-маиором Станиславским. Он пошел пересечь им дорогу.

Маиор Заев, начальствовавший сим отрядом, успел однако занять Ильинскую (27 ноября). Крепость, оставленная Хлопушею, не была им выжжена. Жители не были выведены. Между ними находилось несколько пленных конфедератов. Стены и некоторые избы были повреждены. Войско всё было взято, кроме одного сержанта и раненого офицера. Анбар был отворен. Несколько четвертей муки и сухарей валялось на дворе. Одна пушка брошена была в воротах. Заев наскоро сделал некоторые распоряжения, расставил по трем бастионам три пушки, бывшие в его отряде (на четвертый не достало; также учредил караулы и разъезды, и стал ожидать неприятеля.

На другой день в сумерки Пугачев явился перед крепостью. Мятежники приближились и, разъезжая около нее, кричали часовым: «не стреляйте и выходите вон: здесь государь». По них выстрелили из пушки. Убило ядром одну лошадь. Мятежники скрылись и через час показались из-за горы, скача врассыпную под предводительством самого Пугачева. Их отогнали пушками. Солдаты и пленные поляки (особливо последние) с жаром просились на вылазку: но Заев не согласился, опасаясь от

Пушкинский кабинет ИРЛИ

них измены. «Оставайтесь здесь и защищайтесь»— сказал он им—«а я от генерала выходить на вылазку повеления не имею».

29-го Пугачев подступил опять, везя две пушки на санях и перед ними подвигая несколько возов сена. Он кинулся к бастиону, на котором не было пушки. Заев поспешил поставить там две; но прежде нежели успели их перетащить, мятежники разбили ядрами деревянный бастион, спешась, бросились и доломали его, и с обычным воплем ворвались в крепость. Солдаты расстроились и побежали. Заев, почти все офицеры и двести рядовых были убиты. Остальных погнали в ближнюю татарскую деревню. Пленные солдаты приведены были против заряженной пушки. Пугачев, в красном казацком платье, приехал верхом в сопровождении Хлопуши. При его появлении солдаты поставлены были на колена. Он сказал им: *прощает вас бог и я, ваш государь Петр III, император. Вставайте!* Потом велел оборотить пушку и выпалить в степь. Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена.—*Зачем вы шли на меня, на вашего государя?* спросил победитель.—«Ты нам не государь», отвечали пленники: «у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены.—Потом привели капитана Башарина. Пугачев не сказал уже ему ни слова, велел вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. *Коли он был до вас добр*, сказал самозванец, *то я его прощаю.* И велел его так же, как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвести в крепость. Казаки, бывшие в отряде, были приняты мятежниками, как товарищи. На вопрос, зачем они тотчас не присоединились к осаждающим, они отвечали, что боялись солдат.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

От Ильинской Пугачев опять обратился к Верхне-Озерной. Ему непременно хотелось ее взять, тем более, что в ней находилась жена бригадира Корфа. Он грозился ее повесить, злобясь на ее мужа, который думал обмануть его лживыми переговорами[3].

30 ноября он снова окружил крепость, и целый день стрелял по ней из пушек, покушаясь на приступ, то с той, то с другой стороны. Демарин, для ободрения своих, целый день стоял на валу, сам заряжая пушку. Пугачев отступил, и хотел итти противу Станиславского, но, перехватив оренбургскую почту, раздумал и возвратился в Бердскую слободу.

Во время его отсутствия, Рейнсдорп хотел сделать вылазку, и 30-го, ночью, войско выступило было из города; но лошади, изнуренные бескормицей, падали и дохли под тяжестью артиллерии, а несколько казаков бежало. Валленштерн принужден был возвратиться.

В Оренбурге начинал оказываться недостаток в съестных припасах. Рейнсдорп требовал оных от Декалонга и Станиславского. Оба отговаривались. Он ежечасно ожидал прибытия нового войска, и не получал о нем никакого известия, будучи отрезан отвсюду, кроме Сибири и киргиз-кайсацких степей. Для поимки языка высылал он иногда до тысячи человек, и то нередко без успеха. Вздумал он, по совету Тимашева, расставить кашканы около вала, и как волков ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над сею военной хитростию, хотя им было не до смеха; а Падуров, в одном из своих писем, язвительно упрекал губернатора его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмешливо советуя покориться самозванцу [4].

Яицкой городок, сие первое гнездо бунта, долго не выходил из повиновения, устрашенный войском

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Симонова. Наконец частые пересылки с бунтовщиками и ложные слухи о взятии Оренбурга ободрили приверженцев Пугачева. Казаки, отряжаемые Симоновым из города для содержания караулов, или для поимки возмутителей, подсылаемых из Бердской слободы, начали явно оказывать неповиновение, освобождать схваченных бунтовщиков, вязать верных старшин и перебегать в лагерь к самозванцу. Разнесся слух о приближении мятежнического отряда. В ночь с 29 на 30 декабря старшина Мостовщиков выступил противу него. Через несколько часов трое из бывших с ним казаков прискакали в крепость и объявили, что Мостовщиков в семи верстах от города был окружен и захвачен многочисленными толпами бунтовщиков. Смятение в городе было велико. Симонов оробел; к счастию, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения. 31 декабря отряд мятежников, под предводительством Толкачева, вошел в город. Жители приняли его с восторгом и, тут же вооружась чем ни попало, с ним соединились, бросились к крепости изо всех переулков, засели в высокие избы и начали стрелять из окошек. Выстрелы, говорит один свидетель, сыпались подобно дроби, битой десятью барабанщиками. В крепости падали не только люди стоявшие на виду, но и те, которые на минуту приподымались из-за заплотов.—Мятежники, безопасные в десяти саженях от крепости, и большею частию *гулебщики* (охотники) попадали даже в щели, из которых стреляли осажденные. Симонов и Крылов хотели зажечь ближайшие дома. Но бомбы падали в снег и угасали, или тотчас были заливаемы. Ни одна изба не загоралась. Наконец трое рядовых вызвались зажечь ближайший двор, что им и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

удалось. Пожар быстро распространился. Мятежники выбежали; из крепости начали по них стрелять из пушек; они удалились, унося убитых и раненых. К вечеру ободренный гарнизон сделал вылазку, и успел зажечь еще несколько домов.

В крепости находилось до тысячи гарнизонных солдат и послушных; довольное количество пороху, но мало съестных припасов. Мятежники осадили крепость, завалили бревнами обгорелую площадь и ведущие к ней улицы и переулки; за строениями взвели до шестнадцати батарей; в избах, подверженных выстрелам, поделали двойные стены, засыпав промежуток землею, и начали вести подкопы. Осажденные старались только отдалить неприятеля, очищая площадь и нападая на укрепленные избы. Сии опасные вылазки производились ежедневно, иногда раза два в день и всегда с успехом: солдаты были остервенены, а послушные не могли ожидать пощады от мятежников.

Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу, и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался (и то самым тайным образом) за двадцать пять рублей. По предложению Рычкова (академика, находившегося в то время в Оренбурге) стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче. Опасались мятежа.

В сей крайности Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастие оружия, и 13 января все войска, находившиеся в Оренбурге, выступили из города тремя колоннами, под предводительством Валленштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей

Пушкинский кабинет ИРЛИ

препятствовали дружному содействию войск. Наумов первый прибыл к назначенному месту. Мятежники увидели его и успели сделать свои распоряжения. Валленштерн, долженствовавший занять высоты у дороги из Берды в Каргале, был предупрежден. Корф был встречен сильным пушечным огнем; толпы мятежников начали заезжать в тыл обеим колоннам. Казаки, оставленные в резерве, бежали от них и, прискакав к колонне Валленштерна, произвели общий беспорядок. Он очутился между трех огней; [солдаты его бежали]; Валленштерн отступил; Корф ему последовал; Наумов, сначала действовавший довольно удачно, страшась быть отрезан, кинулся за ними. Всё войско бежало в беспорядке до самого Оренбурга, потеряв до четырехсот убитыми и ранеными, и оставя пятнадцать орудий в руках разбойников. После сей неудачи, Рейнсдорп уже не осмеливался действовать наступательно, и под защитою стен и пушек стал ожидать своего освобождения.

Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. В городе не видал он ни губернатора, ни главных чиновников. Большая часть дворян и купцов бежала в губернии еще безопасные. Брант был в Козмодемьянске. Приезд Бибикова оживил унывший город; выехавшие жители стали возвращаться. 1 января 1774 года, после молебствия и слова, говоренного казанским архиереем Вениамином, Бибиков собрал у себя дворянство и произнес умную и сильную речь, в которой, изобразив настоящее бедствие и попечения правительства о пресечении оного, обратился к сословию, которое вместе с правительством обречено было на гибель крамолою, и требовал содействия от его усердия к отечеству и верности к престолу. Речь сия произвела глубокое впечатление. Собрание тут же положило на свой счет составить и вооружить конное войско, поставя с

Пушкинский кабинет ИРЛИ

двухсот душ одного рекрута. Генерал-маиор Ларионов, родственник Бибикова, был избран в начальники легиона. Дворянство симбирское, свияжское и пензенское последовало сему примеру: были составлены еще два конных отряда и поручены начальству маиоров Гладкова и Чемесова, и капитана Матюнина. Казанский магистрат также вооружил на свое иждивение один эскадрон гусар.

Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволение, милость и покровительство, и в особом письме к Бибикову, именуя себя казанскою помещицею, вызывалась принять участие в мерах, предпринимаемых общими силами. Дворянский предводитель Макаров отвечал императрице речью, сочиненною гвардии подпоручиком Державиным, находившимся тогда при главнокомандующем [5].

Бибиков, стараясь ободрить окружавших его жителей и подчиненных, казался равнодушным и веселым; но беспокойство, досада и нетерпение терзали его. В письмах к графу Чернышеву, фон-Визину и своим родственникам он живо изображает затруднительность своего положения. 30 декабря писал он своей жене: «Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что и описать, буде б хотел, не могу; вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская: делаю всё возможное, и прошу господа о помощи. Он един исправить может своею милостию. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера; баталион гренадер и два эскадрона гусар, что я велел везти на почте, прибыли. Но к утушению заразы сего очень мало, а зло таково, что похоже (помнишь) на петербургской пожар, как в разных местах вдруг горело, и как было поспевать всюду

Пушкинский кабинет ИРЛИ

трудно. Со всем тем, с надеждою на бога, буду делать что только в моей возможности будет. Бедный старик губернатор, Брант, так замучен, что насилу уже таскается. Отдаст богу ответ в пролитой крови и погибели множества людей невинных, кто скоростию перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем я здоров, только пить ни есть не хочется, и сахарные яства на ум нейдут. Зло велико, преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную [6] Евпраксию нередко поминаю. Ух! дурно».

В самом деле, положение дел было ужасно. Общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, отвсюду пресекало сообщение. Войско было малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиной [7]. Зима усугубила затруднения. Степи покрыты были глубоким снегом [8]. Невозможно было двинуться вперед, не запасшись не только хлебом, но и дровами [9]. Селения были пусты, главные города в осаде, другие заняты шайками бунтовщиков, заводы разграблены и выжжены, чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланные изо всех концов государства, подвигались медленно. Зло, ничем не пресеченное, разливалось быстро и широко. От Илецкого городка до Гурьева яицкие казаки бунтовали. Губернии Казанская, Нижегородская и Астраханская [10] были наполнены шайками разбойников; пламя могло ворваться в самую Сибирь; в Перми начинались беспокойства; Екатеринбург был в опасности. Киргиз-кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей [11]. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турциею; даже некоторые

Пушкинский кабинет ИРЛИ

из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в каком находилась тогда Россия [12].

Виновник сего ужасного смятения привлекал общее внимание. В Европе принимали Пугачева за орудие турецкой политики. Вольтер, тогдашний представитель господствующих мнений, писал Екатерине: C'est aparemment le Chevalier de Tott qui a fait jouer cette farce, mais nous ne sommes plus au temps de Demetrius, et telle pièce de théâtre qui réussissait il y a deux cents ans est sifflée aujourd'hui. *

Императрица, досадуя на сплетни европейские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпением: Monsieur, les gazettes seules font beaucoup de bruit du brigand Pougatschef, lequel n'est en relation directe, ni indirecte avec Mr. de Tott. Je fais autant de cas des canons fondus par l'un, que des entreprises de l'autre. Mr. de Pougatschef et Mr. de Tott ont cependant cela de commun, que le premier file tous les jours sa corde de chauvre et que le second s'expose à chaque instant au cordon de soie [13]**

Несмотря на свое презрение к разбойнику, императрица не упускала ни одного средства образумить ослепленную чернь. Разосланы были всюду увещевательные манифесты; обещано десять тысяч

---

* <Повидимому, это кавалер де Тотт устроил этот фарс, но мы живем уже не во времена Димитрия, и пьеса, которая имела успех двести лет тому назад, ныне освистывается публикой.>

** <Сударь, только газеты поднимают много шуму по поводу разбойника Пугачева, который не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к г. де Тотт. Я столько же придаю значения пушкам одного, сколько предприятиям другого. Однако, г. де Пугачев и г. де Тотт имеют то общее, что первый прядет каждый день свою веревку из конопли, а второй каждую минуту приближается к шелковому шнурку.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

рублей за поимку самозванца. Особенно опасались сношений Яика с Доном. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен Сулин. Послано в Черкаск повеление сжечь дом и имущество Пугачева, а семейство его, *безо всякого оскорбления*, отправить в Казань, для уличения самозванца в случае поимки его. Донское начальство в точности исполнило слова высочайшего указа: дом Пугачева, находившийся в Зимовейской станице, был за год пред сим продан его женою, пришедшею в крайнюю бедность, и уже сломан и перенесен на чужой двор. Его перевезли на прежнее место, и в присутствии духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя на веки в запустение, как место проклятое. Начальство, от имени всех зимовейских казаков, просило дозволения перенести их станицу на другое место, *хотя бы и менее выгодное*. Государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия, и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую, покрыв мрачные воспоминания о мятежнике славой имени нового, уже любезного ей и отечеству. Жена Пугачева, сын и две дочери (все трое малолетные) были отосланы в Казань, куда отправлен и родной его брат, служивший казаком во второй армии. Между тем отобраны следующие подробные сведения о злодее, колебавшем государство [14].

Емельян Пугачев, Зимовейской станицы служилый казак, был сын Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был сорока лет от-роду, росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темнорусые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен еще в ребячестве, в кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на обеих грудях знаки, оставшиеся после болезни, называемой черною немочью[15]. Он не знал грамоте

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и крестился по-раскольничьи. Лет тому десять женился он на казачке Софье Недюжиной, от которой имел пятеро детей. В 1770 году был он на службе во второй армии, находился при взятии Бендер и через год отпущен на Дон, по причине болезни. Он ездил для излечения в Черкаск. По его возвращении на родину, зимовейской атаман спрашивал его на станичном сборе, откуда взял он карюю лошадь, на которой приехал домой? Пугачев отвечал, что купил ее в Таганроге; но казаки, зная его беспутную жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свидетельство. Пугачев уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых казаков, поселенных под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пугачева в руки правительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на своем хуторе, где и был пойман, но успел убежать; скитался месяца три неведомо где; наконец, в великом посту, однажды вечером пришел тайно к своему дому и постучался в окошко. Жена впустила его и дала знать о нем казакам. Пугачев был снова пойман, и отправлен под караулом к сыщику, старшине Макарову, в Нижнюю Чирскую станицу, а оттуда в Черкаск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не являлся. Из показаний самого Пугачева, в конце 1772 года приведенного в канцелярию дворцовых дел, известно уже было, что после своего побега скрывался он за польской границей, в раскольничьей слободе Ветке; потом взял паспорт с Добрянского форпоста, сказавшись выходцем из Польши, и пробрался на Яик, питаясь милостыней.—Все сии известия были обнародованы; между тем правительство запретило народу толковать о Пугачеве, коего имя волновало чернь. Сия временная полицейская мера имела силу закона до самого восшествия на престол покойного государя императора

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Александра, когда разрешено было писать и печатать о Пугачеве[16]. Доныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных.

Глава пятая

Распоряжения Бибикова.—Первые успехи.—Взятие Самары и Заинска.—Державин.—Михельсон.—Продолжение осады Яицкого городка.—Свадьба Пугачева.—Разорение Илецкой Защиты.—Смерть Лысова.—Сражение под Татищевой.—Бегство Пугачева.—Казнь Хлопуши.—Освобождение Оренбурга.—Пугачев разбит вторично.—Сражение при Чесноковке.—Освобождение Уфы и Яицкого городка.—Смерть Бибикова.

Наконец войска, отовсюду посланные противу Пугачева, стали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-маиор князь Голицын, с своим корпусом, должен был заградить московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-маиору Мансурову вверено было правое крыло для прикрытия самарской линии, куда со своими отрядами следовал маиор Муфель и подполковник Гринев. Генерал-маиор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Декалонг охранял Сибирь, и должен был отрядить маиора Гагрина с одною полевою командою для защиты Кунгура. В Малыковку послан был гвардии поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдал сии распоряжения. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков (во Владимирском) оказались было приверженцы Пугачева. Начальникам городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников. Таким образом возмутители были открыты и захвачены. Впоследствии Бибиков был доволен своими полками. «Дела мои, богу благодарение! (писал он в феврале) идут час-от-часу лучше;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

войски подвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны (в Петербурге), то я изо всех писем вижу, только спросили бы у гуся: не зябнут ли ноги?»

Маиор Муфель, с одною полевою командою, 29 декабря приближился к Самаре, занятой накануне шайкою бунтовщиков, и встреченный ими, разбил и гнал их до самого города. Тут они под прикрытием городских пушек думали сопротивляться. Но драгуны ударили в палаши и въехали в город, рубя и попирая бегущих. В самое сие время, в двух верстах от Самары, показались ставропольские калмыки[1], идущие на помощь бунтовщикам. Они побежали, увидя высланную противу них конницу. Город был очищен. Шесть пушек и двести пленных достались победителю. Вслед за Муфелем вступили в Самару подполковник Гринев и генерал-маиор Мансуров. Последний немедленно послал отряд к Ставрополю, для усмирения казаков; но они разбежались и отряд, не видав их, возвратился в Самару.

Полковник Бибиков, отряженный из Казани с четырьмя гренадерскими ротами и одним эскадроном гусар на подкрепление генерал-маиора Фреймана, стоявшего в Бугульме безо всякого действия, пошел на Заинск, коего семидесятилетний комендант, капитан Мертвецов, принял с честью шайку разбойников, сдав им начальство над городом. Бунтовщики укрепились как умели; в пяти верстах от города Бибиков услышал уже их пушечную пальбу. Рогатки их были сломаны, батареи взяты, предместия заняты; всё бежало. Двадцать пять бунтовавших деревень пришли в повиновение. К Бибикову являлось в день до четырех тысяч раскаявшихся крестьян; им выдавали билеты и всех распускали по домам.

Державин, начальствуя тремя фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селе-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ния, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою [2]. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне, с намерением итти служить у Пугачева, он приехал с двумя казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. Двое из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему свое намерение и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось.

Генерал-маиор Ларионов, начальник дворянского легиона, отряженный для освобождения Уфы, не оправдал общей доверенности. «За грехи мои (писал Бибиков) навязался мне братец мой А. Л., который сам вызвался сперва командовать особливым деташментом, а теперь с места сдвинуть не могу». Ларионов оставался в Бакалах без всякого действия. Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место, некогда раненого при его глазах и уже отличившегося в войне противу конфедератов офицера, подполковника Михельсона.

Князь Голицын принял начальство над войсками Фреймана. 22 января перешел он чрез Каму. 6 февраля соединился с ним полковник Бибиков; Мансуров—10-го. Войско двинулось к Оренбургу.

Пугачев знал о приближении войск, и мало о том заботился. Он надеялся на измену рядовых и на оплошность начальников. *Попадутся сами нам в руки*, отвечал он своим сообщникам, когда настойчиво звали они его навстречу приближающихся отрядов. В случае ж поражения намеревался он бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы. Для того держал он на лучшем корму тридцать

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерение и роптали. «Ты взбунтовал нас, говорили они, и хочешь нас оставить, а там нас будут усмирять, как усмиряли отцов наших». (Казни 1740 года были у них в свежей памяти[3]). Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачева в руки правительства, и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его, как заложника. Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал фон-Визину следующие замечательные строки: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование»[4].

Пугачев из-под Оренбурга отлучился к Яицкому городку. Его прибытие оживило деятельность мятежников. 20 января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареею, устроенною при *Старице* (прежнем русле Яика). Мятежники, под дымом и пылью, с криком бросились к крепости, заняли ров и, ставя лестницы, силились взойти на вал; но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец сам коля бегущих. Приступ длился девять часов сряду, при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец подпоручик Толстовалов с пятидесятью охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до четырехсот человек и потеряв не более пятнадцати. Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и всё семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов.

Пугачев в Яицком городке увидел молодую ка-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

зачку, Устинью Кузнецову, и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: «помилуй, государь! Дочь наша не княжна, не королевна; как ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка государыня еще здравствует?» Пугачев, однако, в начале февраля, женился на Устиньи, наименовал ее императрицей, назначил ей штатс-дам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтоб на ектении поминали после государя Петра Федоровича супругу его государыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешения от синода. Отказ их огорчил Пугачева; но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда новыми покушениями на крепость. Осажденные, с своей стороны, не теряли бодрости. Их пальба не умолкала, вылазки не прекращались.

19 февраля ночью прибежал из города в крепость *малолеток*[5] и объявил, что с прошедшего дня подведен под колокольню подкоп, куда и положено двадцать пуд пороху, и что Пугачев назначил того же числа напасть на крепость. Извет показался невероятным. Симонов полагал, что малолеток был подослан нарочно для посеяния пустого страха. Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы: двадцатью пудами пороху мудрено взорвать было шестиярусную, высокую колокольню. Однако же как под нею в подвале сохранялся весь пороховой запас (что могли знать и мятежники), то и поспешили оный убрать, разобрали кирпичный пол и начали вести контрмину. Гарнизон приготовился; ожидали взрыва и приступа. Не прошло и двух часов, как вдруг подкоп был приведен в действо; колокольня тихо зашаталась. Нижняя палата развалилась и верхние

Пушкинский кабинет ИРЛИ

шесть ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, свалились в груду. Бывшие же в самом верхнем ярусе шесть часовых при пушке свалились оттоле живы; а один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись.

Еще колокольня валилась, как уже из крепости загремели пушки; гарнизон, стоявший в ружье, тотчас занял развалины колокольни, и поставил там батарею. Мятежники, не ожидавшие таковой встречи, остановились в недоумении; чрез несколько минут они подняли свой обычный визг; но никто не шел вперед. Напрасно предводители кричали: на слом, на слом, атаманы молодцы! Приступу не было; визг продолжался до зари, и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обещавшего им, что при взрыве колокольни на крепость упадет каменный град и передавит весь гарнизон.

На другой день Пугачев получил из-под Оренбурга известие о приближении князя Голицына и поспешно уехал в Берду, взяв с собою пятьсот человек конницы и до полуторы тысячи подвод. Сия весть дошла и до осажденных. Они предались радости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним чрез две недели. Но минута их освобождения была еще далека.

Во время частых отлучек Пугачева, Шигаев, Падуров и Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Илецкою Защитой[6] (где добывается каменная соль) и в конце февраля, взяв с собою четыреста человек, напал на оную. Защита была взята при помощи тамошних ссыльных работников, между коими находилось и семейство Хлопуши. Казенное имущество было разграблено; офицеры перебиты, кроме одного, пощаженного по просьбе

Пушкинский кабинет ИРЛИ

работников; колодники присоединены к шайке мятежников. Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника, и укорял его за разорение Защиты, как за ущерб государственной казне. Пугачев выступил против князя Голицына с десятью тысячами отборного войска, оставя под Оренбургом Шигаева с двумя тысячами. Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников, Дмитрия Лысова. Несколько дней пред тем, они ехали вместе из Каргале в Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади на Пугачева и ударил его копьем. Пугачев упал с лошади; но панцырь, который всегда носил он под платьем, спас его жизнь. Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти.

Пугачев занял крепости Тоцкую и Сарочинскую[7] и с обыкновенною дерзостию ночью, в сильный буран, напал на передовые отряды Голицына; но был отражен маиорами Пушкиным и Елагиным. В сем сражении убит храбрый Елагин. В самое сие время Мансуров соединился с князем Голицыным. Пугачев отступил к Новосергиевской[8], не успев сжечь крепостей, им оставленных. Голицын, оставя в Сарочинской свои запасы под прикрытием четырехсот человек при осьми пушках, через два дня пошел далее. Пугачев сделал движение на Илецкий городок и, вдруг поворотя к Татищевой, в ней засел, и стал там укрепляться. Голицын послал было к Илецкому городку подполковника Бедрягу с тремя эскадронами конницы, подкрепляемой пехотою и пушками, а сам пошел прямо на Переволоцкую[9] (куда возвратился и Бедряга); оттуда, оставя обоз под прикрытием одного баталиона при подполковнике Гриневе, 22 марта подступил под Татищеву.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачевым, была уже им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве. Голицын сначала отрядил триста человек для высмотра неприятеля[10]. Мятежники, притаясь, подпустили их к самой крепости и вдруг сделали сильную вылазку: но были удержаны двумя эскадронами, подкреплявшими первых. Полковник Бибиков тот же час послал егерей, которые, бегая на лыжах по глубокому снегу, заняли все выгодные высоты. Голицын разделил войска на две колонны, стал приближаться и открыл огонь, на который из крепости отвечали столь же сильно. Пальба продолжалась три часа. Голицын увидел, что одними пушками одолеть было невозможно, и велел генералу Фрейману с левою колонною итти на приступ. Пугачев выставил против него семь пушек. Фрейман их отнял и бросился на оледенелый вал. Мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия—и бежали во все стороны. Конница, дотоле недействовавшая, преследовала их по всем дорогам. Кровопролитие было ужасно. В одной крепости пало до тысячи трехсот мятежников. На пространстве двадцать верст кругом, около Татищевой, лежали их тела. Голицын потерял до четырехсот убитыми и ранеными, в том числе более двадцати офицеров[11]. Победа была решительная. Тридцать шесть пушек и более трех тысяч пленных достались победителю. Пугачев с шестьюдесятьми казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам-пять в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На воза громоздили заграбленное имущество. Жен-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что всё пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачева и Хлопушу [12], послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца, и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами. Сотник Логинов, сопровождавший бегство Пугачева, явился к Рейнсдорпу с сим известием. Бедный Рейнсдорп не смел поверить своему счастию и целых два часа не мог решиться дать требуемый сигнал! Пугачев и Хлопуша были между тем освобождены ссылочными, находившимися в Берде. Пугачев бежал с десятью пушками, с награбленною добычею и с двумя тысячами остальной сволочи. Хлопуша прискакал к Каргале, с намерением спасти жену и сына. Татары связали его, и послали уведомить о том губернатора. Славный каторжник был привезен в Оренбург, где наконец отсекли ему голову, в июне 1774 года.

Оренбургские жители, услышав о своем освобождении, толпами бросились из города вслед за шестьюстами человек пехоты, высланных Рейнсдорпом к оставленной слободе, и овладели жизненными запасами. В Берде найдено осьмнадцать пушек, семнадцать бочек медных денег [13] и множество хлеба. В Оренбурге спешили принести богу благодарение за нечаянное избавление. Благословляли Голицына. Рейнсдорп писал ему, поздравляя его с победою и называя спасителем Оренбурга [14]. Отвсюду начали в город навозить запасы. Настало изобилие, и бедственная шестимесячная осада была забыта в одно радостное мгновение. 26 марта Голицын приехал в Оренбург, жители приняли его с восторгом неописанным.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Бибиков с нетерпением ожидал сего перелома. Для ускорения военных действий выехал он из Казани и был встречен в Бугульме известием о совершенном поражении Пугачева. Он обрадовался несказанно. «То-то жернов с сердца свалился (писал он от 26 марта жене своей). Сегодня войдут мои в Оренбург; немедленно и я туда поспешу добраться, чтобы еще ловчее было поворачивать своими; а сколько седых волос прибавилось в бороде, то бог видит; а на голове плешь еще более стала: однако я по морозу хожу без парика».

Между тем Пугачев, миновав разосланные разъезды, прибыл утром 24-го в Сеитовскую[15] слободу, зажег ее и пошел к Сакмарскому городку, забирая дорогою новую сволочь. Он полагал наверное, что из Татищевой Голицын со всеми своими силами должен был обратиться к Яицкому городку, и вдруг пошел занять снова Бердскую слободу, надеясь нечаянно овладеть Оренбургом. Голицын, узнав о таковой дерзости чрез полковника Хорвата, преследовавшего Пугачева от самой Татищевой, усилил свое войско бывшими в Оренбурге пехотными отрядами и казаками; взяв для них последних лошадей у своих офицеров, немедленно пошел навстречу самозванцу и встретил его в Каргале. Пугачев, увидя свою ошибку, стал отступать, искусно пользуясь местоположением. На узкой дороге, против полковников Бибикова и Аршеневского, выставил он семь пушек и под их прикрытием проворно устремился к реке Сакмаре. Но тут к Бибикову подоспели пушки; он, заняв гору, выстроил батарею; Хорват, в последней теснине, бросясь на мятежников, отбил орудия и, обратя в бегство, восемь верст преследовал их толпы и вместе с ними въехал в Сакмарской городок. Пугачев потерял последние пушки, четыреста человек убитыми и три тысячи пятьсот взятыми в плен. В числе по-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

следних находились и главные его сообщники: Шигаев, Пичиталин, Падуров и другие. Пугачев с четырьмя заводскими мужиками бежал к Пречистенской и оттоле на уральские заводы. Усталая конница не могла его достичь. После сей решительной победы Голицын возвратился в Оренбург, отрядив Фреймана—для усмирения Башкирии, Аршеневского—для очищения Новомосковской дороги, а Мансурова—к Илецкому городку, дабы, очистя всю ту сторону, шел он на освобождение Симонова.

Михельсон с своей стороны действовал не менее удачно. Приняв 18 марта начальство над своим отрядом, он тотчас двинулся к Уфе. Против него, для преграждения пути, выслано было Чикою две тысячи человек с четырьмя пушками, которые и ожидали его в деревне Жукове. Михельсон, оставя их у себя в тылу, пошел прямо на Чесноковку, где стоял Чика с десятью тысячами мятежников, и, рассея дорогою несколько мелких отрядов, 25-го на рассвете пришел в деревню Требикову (в пяти верстах от Чесноковки). Тут он был встречен толпою бунтовщиков с двумя пушками. Маиор Харин разбил их и рассеял; егери отняли пушки, и Михельсон двинулся вперед. Обоз его шел под прикрытием ста человек и одной пушки. Они прикрывали и тыл Михельсона, в случае нападения. 26-го, на рассвете, у деревни Зубовки, встретил он мятежников. Часть их выбежала на лыжах и верхами и, растянувшись по обеим сторонам дороги, старалась окружить его. Три тысячи, подкрепленные десятью пушками, пошли прямо ему навстречу. Между тем открыли огонь из батареи, поставленной в деревне. Сражение продолжалось четыре часа. Бунтовщики дрались храбро. Наконец Михельсон, увидя конницу, идущую к ним на подкрепление, устремил все свои силы на главную толпу и велел своей кон-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ница, спешившейся в начале сражения, садиться на-конь и ударить в палаши. Передовые толпы бежали, бросая пушки. Харин, рубя их, вместе с ними вступил в Чесноковку. Между тем конница, шедшая к ним на помощь в Зубовку, была отражена, и бежала к Чесноковке же, где Харин встретил ее и всю захватил. Лыжники, успевшие зайти в тыл Михельсону и отрезать от него обоз, в то же время были разбиты двумя ротами гренадер. Они разбежались по лесам. Взято в плен три тысячи бунтовщиков. Заводские и экономические крестьяне распущены были по деревням. Захвачено двадцать пять пушек и множество запасов. Михельсон повесил двух главных бунтовщиков: башкирского старшину и выборного села Чесноковки. Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Табинск, куда, после Чесноковского дела, прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены[16] казаками и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу. После того Михельсон учредил разъезды во все стороны, и успел восстановить спокойствие в большей части бунтовавших деревень.

Илецкий городок и крепости Озерная и Рассыпная, свидетели первых успехов Пугачева, были уже оставлены мятежниками. Начальники их, Чулошников и Кизилбашин, бежали в Яицкой городок. Весть о поражении самозванца под Татищевой в тот же день до них достигла. Беглецы, преследуемые гусарами Хорвата, проскакали через крепости, крича: спасайтесь, детушки! всё пропало!—Они наскоро перевязывали свои раны и спешили к Яицкому городку. Вскоре настала весенняя оттепель; реки вскрылись, и тела убитых под Татищевой поплыли мимо крепостей[17]. Жены и матери стояли у берега, стараясь узнать между ними своих мужьев и сыновей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мансуров 6 и 7 апреля занял оставленные крепости и Илецкой городок, нашед в последнем четырнадцать пушек. 15-го, при опасной переправе чрез разлившуюся речку Быковку, на него напали Овчинников, Перфильев и Дегтярев. Мятежники были разбиты и рассеяны; Бедряга и Бородин их преследовали; но распутица спасла предводителей. Мансуров немедленно пошел к Яицкому городку.

Крепость находилась в осаде с самого начала года[18]. Отсутствие Пугачева не охлаждало мятежников. В кузницах приготовлялись ломы и лопаты; возвышались новые батереи. Мятежники деятельно продолжали свои земляные работы, то обрывая берег Чечоры и тем уничтожая сообщение одной части города с другою, то копая траншеи, дабы препятствовать вылазкам. Они намерены были вести подкопы по яру Старицы, кругом всей крепости, под соборную церковь, под батареи, и под комендантские палаты. Осажденные находились в вечной опасности, и с своей стороны принуждены были отовсюду вести контрмины, с трудом прорубая землю, промерзшую на целый аршин; перегораживали крепость новою стеною и кулями, наполненными кирпичем взорванной колокольни.

9 марта, на рассвете, двести пятьдесят рядовых вышли из крепости; целью вылазки было уничтожение новой батареи, сильно беспокоившей осажденных. Солдаты дошли до завалов, но были встречены сильным огнем. Они смешались. Мятежники хватали их в тесных проходах между завалами и избами, которые хотели они зажечь; кололи раненых и падающих и топорами отсекали им головы. Солдаты бежали. Убито их было до тридцати человек, ранено до осьмидесяти. Никогда с таким уроном гарнизон с вылазки не возвращался. Удалось сжечь одну батарею, не главную, да несколько изб. Показание трех захваченных бунтовщиков

Пушкинский кабинет ИРЛИ

увеличило уныние осажденных: они объявили о подкопах, веденных под крепость, и о скором прибытии Пугачева. Устрашенный Симонов велел всюду производить новые работы; около его дома беспрестанно пробовали землю буравами; стали копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкою работою, почти не спали; ночью половина гарнизона всегда стояла в ружье; другой позволено было только сидя дремать. Лазарет наполнился больными; съестных запасов оставалось не более как дней на десять. Солдатам начали выдавать в сутки только по четверть фунта муки, то-есть десятую часть меры обыкновенной. Не было уже ни круп, ни соли. Вскипятив артельный котел воды и забелив ее мукою, каждый выпивал чашку свою, что и составляло их насуточную пищу. Женщины не могли более вытерпливать голода: они стали проситься вон из крепости, что и было им позволено; несколько слабых и больных солдат вышли за ними; но бунтовщики их не приняли, а женщин, продержав одну ночь под караулом, прогнали обратно в крепость, требуя выдачи своих сообщников и обещаясь за то принять и прокормить высланных. Симонов на то не согласился, опасаясь умножить число врагов. Голод час-от-часу становился ужаснее. Лошадиного мяса, раздававшегося на вес, уже не было. Стали есть кошек и собак. В начале осады, месяца за три до сего, брошены были на лед убитые лошади; о них вспомнили, и люди с жадностию грызли кости, объеденные собаками. Наконец и сей запас истощился. Стали изобретать новые способы к пропитанию. Нашли род глины, отменно мягкой и без примеси песку. Попробовали ее сварить и, составя из нее какой-то кисель, стали употреблять в пищу. Солдаты совсем обессилели. Некоторые не могли ходить. Дети больных матерей чахли и умирали. Женщины несколько раз покушались

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тронуть мятежников и, валяясь в их ногах, умоляли о позволении остаться в городе. Их отгоняли с прежними требованиями. Одни казачки были приняты. Ожидаемой помощи не приходило. Осажденные отлагали свою надежду со дня на день, с недели на другую. Бунтовщики кричали гарнизону, что войска правительства разбиты, что Оренбург, Уфа и Казань уже преклонились самозванцу, что он скоро придет к Яицкому городку и что тогда уж пощады не будет. В случае ж покорности, обещали они от его имени не только помилование, но и награды. То же старались они внушить и бедным женщинам, которые просились из крепости в город. Начальникам невозможно было обнадеживать осажденных скорым прибытием помощи; ибо никто не мог уж и слышать о том без негодования: так ожесточены были сердца долгим напрасным ожиданием! Старались удержать гарнизон в верности и повиновении, повторяя, что позорною изменою никто не спасется от гибели, что бунтовщики, озлобленные долговременным сопротивлением, не пощадят и клятвопреступников. Старались возбудить в душе несчастных надежду на бога всемогущего и всевидящего, и ободренные страдальцы повторяли, что лучше предать себя воле его, нежели служить разбойнику, и во все время бедственной осады, кроме двух или трех человек, из крепости беглых не было.

Наступила страстная неделя. Осажденные питались одною глиною уже пятнадцатый день. Никто не хотел умереть голодною смертью. Решились все до одного (кроме совершенно изнеможенных) итти на последнюю вылазку. Не надеялись победить (бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступу не было), хотели только умереть честною смертию воинов.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Во вторник, в день, назначенный к вылазке, часовые, поставленные на кровле соборной церкви, приметили, что бунтовщики в смятении бегали по городу, прощаясь между собою, соединялись и толпами выезжали в степь. Казачки провожали их. Осажденные догадывались о чем-то необыкновенном и предались опять надежде. «Всё это нас так ободрило»—говорит свидетель осады, претерпевший весь ее ужас,—«как будто мы съели по куску хлеба». Мало-по-малу смятение утихло; всё, казалось, вошло в обыкновенный порядок. Уныние овладело осажденными пуще прежнего. Они молча глядели в степь, отколе ожидали еще недавно избавителей... Вдруг, в пятом часу по полудни, вдали показалась пыль, и они увидали толпы, без порядка скачущие из-за рощи одна за другою. Бунтовщики въезжали в разные ворота, каждый в те, близ коих находился его дом. Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бегут; но еще не смели радоваться; опасались отчаянного приступа. Жители бегали взад и вперед по улицам, как на пожаре. К вечеру ударили в соборной колокол, собрали круг, потом кучею пошли к крепости. Осажденные готовились их отразить; но увидели, что они ведут связанных своих предводителей, атаманов Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля о помиловании. Симонов принял их, сам не веря своему избавлению. Гарнизон бросился на ковриги хлеба, нанесенные жителями. До светлого воскресения, пишет очевидец сих происшествий, оставалось еще четыре дня, но для нас уже сей день был светлым праздником. Самые те, которые от слабости и болезни не подымались с постели, мгновенно были исцелены. Всё в крепости было в движении, благодарили бога, поздравляли друг друга; во всю ночь никто не спал. Жители уведомили осажденных об осво-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бождении Оренбурга и о скором прибытии Мансурова. 17 апреля прибыл Мансуров. Ворота крепости, запертые и заваленные с самого 30 декабря, отворились. Мансуров принял начальство над городом. Начальники бунта, Каргин, Толкачев и Горшков, и незаконная жена самозванца, Устинья Кузнецова, были под стражею отправлены в Оренбург.

Таков был успех распоряжений искусного, умного военачальника. Но Бибиков не успел довершить начатого им: измученный трудами, беспокойством и досадами, мало заботясь о своем уже расстроенном здоровьи, он занемог в Бугульме горячкою и, чувствуя приближающуюся кончину, сделал еще несколько распоряжений. Он запечатал все свои тайные бумаги, приказав доставить их императрице, и сдал начальство генерал-поручику Щербатову, старшему по нем. Узнав по слухам об освобождении Уфы, он успел еще донести о том императрице и скончался 9 апреля, в 11 часов утра, на сорок четвертом году от рождения. Тело его несколько дней стояло на берегу Камы, чрез которую в то время не было возможности переправиться. Казань желала погребсти его в своем соборе и сооружить памятник своему избавителю; но, по требованию его семейства, тело Бибикова отвезено было в его деревню. Андреевская лента, звание сенатора и чин полковника гвардии не застали его в живых. Умирая, говорил он: «Не жалею о детях и жене; государыня призрит их: жалею об отечестве» [19].—Молва приписала смерть его действию яда, будто бы данного ему одним из конфедератов. Державин воспел кончину Бибикова. Екатерина оплакала его и осыпала его семейство своими щедротами [20]. Петербург и Москва поражены были ужасом. Вскоре и вся Россия почувствовала невозвратную потерю [21].

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава шестая

Новые успехи Пугачева.—Башкирец Салават.—Взятие сибирских крепостей.—Сражение под Троицкою.—Отступление Пугачева.—Первая встреча его с Михельсоном.—Преследование Пугачева.—Бездействие войск.—Взятие Осы.—Пугачев под Казанью.

Пугачев, коего положение казалось отчаянным, явился на Авзяно-Петровских заводах. Овчинников и Перфильев, преследуемые майором Шевичем, проскакали через Сакмарскую линию с тремястами яицких казаков и успели с ним соединиться. Ставропольские и оренбургские калмыки хотели их последовать, и в числе шестисот кибиток двинулись было к Сорочинской крепости. В ней находился при провианте и фураже отставной подполковник Мелькович, человек умный и решительный. Он принял начальство над гарнизоном и, на них напав, принудил их возвратиться на прежние жилища.

Пугачев быстро переходил с одного места на другое. Чернь по прежнему стала стекаться около него; башкирцы, уже почти усмиренные, снова взволновались. Комендант Верхо-Яицкой крепости полковник Ступишин, вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки, и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унялись. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казней 1741 года[1], явился между ними с сыном своим Салаватом. Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось с вящшей силою. Фрейман должен был преследовать Пугачева; Михельсон силился пресечь ему дорогу; но распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи; реки разливались на несколько верст; ручьи становились реками. Фрейман остановился в Стерлитамацке. Михельсон,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

успевший еще переправиться через Вятку по льду, а через Уфу на осьми лодках, продолжал путь, не смотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Симского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым Салаватом. Михельсон прогнал их, завод освободил, и через день пошел далее. Салават остановился в осьмнадцати верстах от завода, ожидая Белобородова. Они соединились и выступили навстречу Михельсону с двумя тысячами бунтовщиков и с восемью пушками. Михельсон разбил их снова, отнял у них пушки, положил на месте до трехсот человек, рассеял остальных, и спешил к Уйскому заводу, надеясь настигнуть самого Пугачева, но вскоре узнал, что самозванец находился уже на Белорецких заводах.

За рекою Юрзенем Михельсон успел разбить еще толпу мятежников и преследовал их до Саткинского завода. Тут узнал он, что Пугачев, набрав до шести тысяч башкирцев и крестьян, пошел на крепость Магнитную. Михельсон решился углубиться в Уральские горы, надеясь соединиться с Фрейманом около вершины Яика.

Пугачев, зажегши ограбленные им Белорецкие заводы, быстро перешел через Уральские горы, и 5 мая приступил к Магнитной, не имея при себе ни одной пушки. Капитан Тихановский оборонялся храбро. Пугачев сам был ранен картечью в руку, и отступил, претерпев значительный урон. Крепость казалась спасена; но в ней открылась измена: пороховые ящики ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты и ворвались. Тихановский с женою были повешены; крепость разграблена и выжжена. В тот же день пришел к Пугачеву Белобородов с четырьмя тысячами бунтующей сволочи.

Генерал-поручик Декалонг из Челябинска, недавно освобожденного от бунтовщиков, двинулся к

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Верхо-Яицкой крепости, надеясь настигнуть Пугачева еще на Белорецких заводах; но, вышед на линию, получил от Верхо-Яицкого коменданта, полковника Ступишина, донесение, что Пугачев идет вверх по линии от одной крепости на другую, как в начале своего грозного появления. Декалонг спешил к Верхо-Яицкой. Тут узнал он о взятии Магнитной. Он двинулся к Кизильской. Но, прошед уже пятнадцать верст, узнал от пойманного башкирца, что Пугачев, услыша о приближении войска, шел уже не к Кизильской, а прямо Уральскими горами, на Карагайскую. Декалонг пошел назад. Приближаясь к Карагайской, он увидел одни дымящиеся развалины; Пугачев покинул ее накануне. Декалонг надеялся догнать его в Петрозаводской; но и тут уже его не застал. Крепость была разорена и выжжена, церковь разграблена, жители уведены.

Декалонг, оставя линию, пошел внутреннею дорогою прямо на Уйскую крепость. У него оставалось овса только на одни сутки. Он думал настигнуть Пугачева хотя в Степной крепости; но, узнав, что и Степная уже взята, пустился к Троицкой. На дороге, в Сенарской нашел он множество народа из окрестных разоренных крепостей. Офицерские жены и дети, босые, оборванные, рыдали, не зная, где искать убежища. Декалонг принял их под свое покровительство и отдал на попечение своим офицерам. 21 мая утром приближился он к Троицкой, прошед шестьдесят верст усиленным переходом, и наконец увидел Пугачева, расположившегося лагерем под крепостию, взятою им накануне. Декалонг тотчас на него напал. У Пугачева было более десяти тысяч войска и до тридцати пушек. Сражение продолжалось целых четыре часа. Во все время Пугачев лежал в своей палатке, жестоко страдая от раны, полученной им под

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Магнитною. Действиями распоряжал Белобородов. Наконец мятежники расстроились. Пугачев сел на лошадь и с подвязанною рукою бросался всюду, стараясь восстановить порядок; но всё рассеялось и бежало. Пугачев ушел с одною пушкою по Челябинской дороге. Преследовать было невозможно. Конница была слишком изнурена. В лагере найдено до трех тысяч людей всякого звания, пола и возраста, захваченных самозванцем и обреченных погибели. Крепость была спасена от пожара и грабежа. Но комендант, бригадир Фейерверк, был убит накануне, во время приступа, а офицеры его повешены.

Пугачев и Белобородов, ведая, что усталость войска и изнурение лошадей не позволят Декалонгу воспользоваться своею победою, привели в устройство свои рассеянные толпы и стали в порядке отступать, забирая крепости и быстро усиливаясь. Маиоры Гагрин и Жолобов, отряженные Декалонгом на другой день после сражения, преследовали их, но не могли достигнуть.

Михельсон, между тем, шел Уральскими горами, по дорогам мало-известным. Деревни башкирские были пусты. Не было возможности достать нужные припасы. Отряд его был в ежечасной опасности. Многочисленные шайки бунтовщиков кружились около него. 13 мая башкирцы, под предводительством мятежного старшины, на него напали и сразились отчаянно; загнанные в болото, они не сдавались. Все, кроме одного, насильно пощаженного, были изрублены вместе с своим начальником. Михельсон потерял одного офицера и шестьдесят рядовых убитыми и ранеными.

Пленный башкирец, обласканный Михельсоном, объявил ему о взятии Магнитной и о движении Декалонга. Михельсон, нашед сии известия сообразными с своими предположениями, вышел из

Пушкинский кабинет ИРЛИ

гор и пошел на Троицкую, в надежде освободить сию крепость, или встретить Пугачева в случае его отступления. Вскоре услышал он о победе Декалонга и пошел на Варламово, с намерением пресечь дорогу Пугачеву. В самом деле, 22 мая утром, приближаясь к Варламову, он встретил передовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Михельсон не мог сначала вообразить, чтоб это был остаток сволочи, разбитой накануне, и принял его (говорит он насмешливо в своем донесении) за корпус генерал-поручика и кавалера Декалонга; но вскоре удостоверился в истине. Он остановился, удерживая выгодное свое положение у леса, прикрывавшего его тыл. Пугачев двинулся противу него, и вдруг поворотил на Чербакульскую крепость. Михельсон пошел через лес, и перерезал ему дорогу. Пугачев в первый раз увидел перед собою того, кто должен был нанести ему столько ударов и положить предел кровавому его поприщу. Пугачев тотчас напал на его левое крыло, привел оное в расстройство и отнял две пушки. Но Михельсон ударил на мятежников со всею своею конницею, рассеял их в одно мгновение, взял назад свои пушки, а с ними и последнюю, оставшуюся у Пугачева после его разбития под Троицкой, положил на месте до шестисот человек, в плен взял до пятисот и гнал остальных несколько верст. Ночь прекратила преследование. Михельсон ночевал на поле сражения.—На другой день отдал он в приказе строгой выговор роте, потерявшей свои пушки, и отнял у ней пуговицы и обшлага, до выслуги. Рота не замедлила загладить свое бесчестие[2].

23-го Михельсон пошел на Чербакульскую крепость. Казаки, в ней находившиеся, бунтовали. Михельсон привел их к присяге, присоединив к своему отряду, и впоследствии был всегда ими доволен.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Жолобов и Гагрин действовали медленно и нерешительно. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пугачев собрал остаток рассеянной толпы и набирает новую, отказался итти против него, под предлогом разлития рек и дурных дорог. Михельсон жаловался Декалонгу; а Декалонг, сам обещаясь выступить для истребления последних сил самозванца, остался в Челябе, и еще отозвал к себе Жолобова и Гагрина.

Таким образом преследование Пугачева предоставлено было одному Михельсону. Он пошел к Златоустовскому заводу, услыша, что там находилось несколько яицких бунтовщиков; но они бежали, узнав о его приближении. След их, чем далее шел, тем более рассыпался, а наконец совсем пропал.

27 мая Михельсон прибыл на Саткинский завод[3]. Салават, с новою шайкою, злодействовал в окрестностях. Уже Симской завод был им разграблен и сожжен. Услыша о Михельсоне, он перешел реку Ай, и остановился в горах, где Пугачев, избавясь от погони Гагрина и Жолобова и собрав уже до двух тысяч всякой сволочи, с ним успел соединиться.

Михельсон на Саткинском заводе, спасенном его быстротою, сделал первый свой роздых по выступлении из-под Уфы. Чрез два дня пошел он против Пугачева и Салавата, и прибыл на берег Ая. Мосты были сняты. Мятежники на противном берегу, видя малочисленность его отряда, полагали себя в безопасности.

Но 30-го, утром, Михельсон приказал пятидесяти казакам переправиться вплавь, взяв с собою по одному егерю. Мятежники бросились было на них, но были рассеяны пушечными выстрелами с противного берега. Егери и казаки удержались кое-как, а Михельсон между тем переправился

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с остальным отрядом; порох перевезла конница, пушки потопили и перетащили по дну реки на канатах. Михельсон быстро напал на неприятеля, смял и преследовал его более двадцати верст, убив до четырехсот и взяв множество в плен. Пугачев, Белобородов и раненый Салават едва успели спастись.

Окрестности были пусты. Михельсон ни от кого не мог узнать о стремлении неприятеля. Он пошел на-удачу, и 2 июня отряженный им капитан Карташевский ночью был окружен шайкою Салавата. К утру Михельсон подоспел к нему на помощь. Мятежники рассыпались и бежали. Михельсон преследовал их с крайнею осторожностию. Пехота прикрывала его обоз. Сам он шел немного впереди, с частию своей конницы. Сии распоряжения спасли его. Многочисленная толпа мятежников неожиданно окружила его обоз и напала на пехоту. Сам Пугачев ими предводительствовал, успев в течение шести дней близ Саткинского завода набрать около пяти тысяч бунтовщиков. Михельсон прискакал на помощь; он послал Харина соединить всю свою конницу, а сам с пехотой остался у обоза. Мятежники были разбиты и снова бежали. Тут Михельсон узнал от пленных, что Пугачев имел намерение итти на Уфу. Он поспешил пресечь ему дорогу и 5 июня встретил его снова. Сражение было неизбежно. Михельсон быстро напал на него и снова разбил, и прогнал.

При всех своих успехах, Михельсон увидел необходимость прекратить на время свое преследование. У него уже не было ни запасов, ни зарядов. Оставалось только по два патрона на человека. Михельсон пошел в Уфу, дабы там запастися всем для него нужным.

Пока Михельсон, бросаясь во все стороны, везде поражал мятежников, прочие начальники оставались неподвижны. Декалонг стоял в Челябе и,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

завидуя Михельсону, нарочно не хотел ему содействовать. Фрейман, лично храбрый, но предводитель робкий и нерешительный, стоял в Кизильской крепости, досадуя на Тимашева, ушедшего в Зелаирскую[4] крепость с лучшею его конницею.— Станиславский, узнав, что Пугачев близ Верхо-Яицкой крепости собрал значительную толпу, отказался от службы и скрылся в любимую свою Орскую крепость. Полковники Якубович и Обернибесов и маиор Дуве находились около Уфы. Вокруг их спокойно собирались бунтующие башкирцы. Бирск сожжен был почти в их виду, а они переходили с одного места на другое, избегая малейшей опасности и не думая о дружном содействии. По распоряжению князя Щербатова, войско Голицына оставалось без всякой пользы около Оренбурга и Яицкого городка, в местах уже безопасных; а край, где снова разгорался пожар, оставался почти беззащитен[5].

Пугачев, отраженный от Кунгура маиором Поповым, двинулся было к Екатеринбургу; но, узнав о войсках, там находящихся, обратился к Красно-Уфимску.

Кама была открыта, и Казань в опасности. Брант наскоро послал в пригород Осу маиора Скрыпицына с гарнизонным отрядом и с вооруженными крестьянами, а сам писал князю Щербатову, требуя немедленной помощи. Щербатов понадеялся на Обернибесова и Дуве, которые должны были помочь маиору Скрыпицыну в случае опасности, и не сделал никаких новых распоряжений.

18 июня Пугачев явился перед Осою. Скрыпицын выступил против него, но, потеряв три пушки в самом начале сражения, поспешно возвратился в крепость. Пугачев велел своим спешиться и итти на приступ. Мятежники вошли в город, выжгли его, но от крепости отражены были пушками.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На другой день Пугачев со своими старшинами ездил по берегу Камы, высматривая места, удобные для переправы. По его приказанию поправляли дорогу и мостили топкие места. 20-го снова приступил он к крепости, и снова был отражен. Тогда Белобородов присоветовал ему окружить крепость возами сена, соломы и бересты, и зажечь таким образом деревянные стены. Пятнадцать возов были подвезены на лошадях в близкое расстояние от крепости, а потом подвигаемы вперед людьми, безопасными под их прикрытием. Скрыпицын, уже колебавшийся, потребовал сроку на одни сутки и сдался на другой день, приняв Пугачева на коленах, с иконами и хлебом-солью. Самозванец обласкал его и оставил при нем его шпагу. Несчастный, думая современем оправдаться, написал, обще с капитаном Смирновым и подпоручиком Минеевым письмо к казанскому губернатору и носил при себе в ожидании удобного случая тайно его отослать. Минеев донес о том Пугачеву. Письмо было схвачено, Скрыпицын и Смирнов повешены, а доносчик назван от Пугачева полковником.

23 июня Пугачев переправился через Каму и пошел на винокуренные заводы Ижевский и Воткинский. Венцель, начальник оных, был мучительски умерщвлен, заводы разграблены, и все работники забраны в злодейскую толпу. Минеев, изменою своею заслуживший доверенность Пугачева, советовал ему итти прямо на Казань. Распоряжения губернатора были ему известны. Он вызвался вести Пугачева и ручался за успех. Пугачев недолго колебался и пошел на Казань.

Щербатов, получив известие о взятии Осы, испугался. Он послал Обернибесову повеление занять Шумской перевоз, а маиора Меллина отправил к Шурманскому; Голицыну приказал скорее следовать в Уфу, дабы оттуда действовать по своему

Пушкинский кабинет ИРЛИ

благоусмотрению, а сам с одним эскадроном гусар и ротою гренадер отправился в Бугульму.

В Казани находилось только полторы тысячи войска, но шесть тысяч жителей были наскоро вооружены. Брант и комендант Баннер приготовились к обороне. Генерал-маиор Потемкин, начальник тайной комиссии, учрежденной по делу Пугачева, усердно им содействовал. Генерал-маиор Ларионов не дождался Пугачева. Он с своими людьми переправился через Волгу и уехал в Нижний-Новгород.

Полковник Толстой, начальник казанского конного легиона, выступил против Пугачева и 10 июля встретил его в двенадцати верстах от города. Произошло сражение. Храбрый Толстой был убит[6], а отряд его рассеян. На другой день Пугачев показался на левом берегу Казанки и расположился лагерем у Троицкой мельницы. Вечером, в виду всех казанских жителей, он сам ездил высматривать город и возвратился в лагерь, отложа приступ до следующего утра.

Глава седьмая

Пугачев в Казани.—Бедствие города.—Появление Михельсона.—Три сражения.—Освобождение Казани.—Свидание Пугачева с его семейством.—Опровержение клеветы.—Распоряжение Михельсона.

12 июля, на заре, мятежники, под предводительством Пугачева, потянулись от села Царицына по Арскому полю, двигая перед собою возы сена и соломы, между коими везли пушки. Они быстро заняли находившиеся близ предместья кирпичные сараи, рощу и загородный дом Кудрявцова, устроили там свои батареи, сбили слабый отряд, охранявший дорогу. Он отступил, выстроясь в карре и оградясь рогатками.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Прямо против Арского поля находилась главная городская батарея. Пугачев на нее не пошел, а с правого своего крыла отрядил к предместию толпу заводских крестьян под предводительством изменника Минеева. Эта сволочь, большею частию безоружная, подгоняемая казацкими нагайками, проворно перебегала из буерака в буерак, из лощичы в лощину, перепалзывала через высоты, подверженные пушечным выстрелам, и таким образом забралася в овраги, находящиеся на краю самого предместия. Опасное сие место защищали гимназисты с одною пушкою. Но, несмотря на их выстрелы, бунтовщики в точности исполнили приказание Пугачева: влезли на высоту, прогнали гимназистов голыми кулаками, пушку отбили, заняли летний губернаторский дом, соединенный с предместиями; пушку поставили в ворота, стали стрелять вдоль улиц и кучами ворвались в предместия. С другой стороны, левое крыло Пугачева бросилось к Суконной слободе. Суконщики (люди разного звания и большею частию кулачные бойцы), ободряемые преосвященным Вениамином, вооружились чем ни попало, поставили пушку у Горлова кабака и приготовились к обороне[1]. Башкирцы, с Шарной горы, пустили в них свои стрелы и бросились в улицы. Суконщики приняли было их в рычаги, в копья и сабли; но их пушку разорвало с первого выстрела и убило канонера. В это время Пугачев на Шарной горе поставил свои пушки и пустил картечью по своим и по чужим. Слобода загорелась. Суконщики бежали. Мятежники сбили караулы и рогатки и устремились по городским улицам. Увидя пламя, жители и городское войско, оставя пушки, бросились к крепости, как к последнему убежищу. Потемкин вошел вместе с ними. Город стал добычею мятежников. Они бросились грабить домы и купеческие лавки; вбегали в церкви

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и монастыри, обдирали иконостасы; резали всех, которые попадались им в немецком платье. Пугачев, поставя свои батареи в трактире гостиного двора, за церквами, у триумфальных ворот, стрелял по крепости, особенно по Спасскому монастырю, занимающему ее правый угол и коего ветхие стены едва держались. С другой стороны, Минеев, втащив одну пушку на врата казанского монастыря, а другую поставя на церковной паперти, стрелял по крепости, в самое опасное место. Прилетевшее оттоле ядро разбило одну из его пушек. Разбойники, надев на себя женские платья, поповские стихари, с криком бегали по улицам, грабя и зажигая домы. Осаждавшие крепость им завидовали, боясь остаться без добычи... Вдруг Пугачев приказал им отступить и, зажегши еще несколько домов, возвратился в свой лагерь. Настала буря. Огненное море разлилось по всему городу. Искры и головни летели в крепость и зажгли несколько деревянных кровель. В сию минуту часть одной стены с громом обрушилась и подавила несколько человек. Осажденные, стеснившиеся в крепости, подняли вопль, думая, что злодей вломился и что последний их час уже настал.

Из города погнали пленных и повезли добычу. Башкирцы, несмотря на строгие запрещения Пугачева, били нагайками народ, и кололи копьями отстающих женщин и детей. Множество потонуло, переправляясь вброд через Казанку. Народ, пригнанный в лагерь, поставлен был на колена перед пушками. Женщины подняли вой. Им объявили прощение. Все закричали: ура! и кинулись к ставке Пугачева. Пугачев сидел в креслах, принимая дары казанских татар, приехавших к нему с поклоном. Потом спрашивали: кто желает служить государю Петру Федоровичу?—Охотников нашлось множество.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Преосвященный Вениамин[2] во все время приступа находился в крепости, в Благовещенском соборе, и на коленах со всем народом молил бога о спасении христиан. Едва умолкла пальба, он поднял чудотворные иконы, и несмотря на нестерпимый зной пожара и на падающие бревна, со всем бывшим при нем духовенством, сопровождаемый народом, обошел снутри крепость при молебном пении.— К вечеру буря утихла, и ветер оборотился в противную сторону. Настала ночь, ужасная для жителей! Казань, обращенная в груды горящих углей, дымилась и рдела во мраке. Никто не спал. С рассветом жители спешили взойти на крепостные стены, и устремили взоры в ту сторону, откуда ожидали нового приступа. Но, вместо Пугачевских полчищ, с изумлением увидели гусаров Михельсона, скачущих в город с офицером, посланным от него к губернатору.

Никто не знал, что уже накануне Михельсон, в семи верстах от города, имел жаркое дело с Пугачевым и что мятежники отступили в беспорядке.

Мы оставили Михельсона, неутомимо преследующим опрометчивое стремление Пугачева. В Уфе оставил он своих больных и раненых, взял с собою маиора Дуве, и 21 июня находился в Бурнове, в нескольких верстах от Бирска. Мост, сожженный Якубовичем, был опять наведен мятежниками. Около трех тысяч вышли навстречу Михельсону. Он их разбил и отрядил Дуве противу шайки башкирцев, находившихся не в дальнем расстоянии. Дуве их рассеял. Михельсон пошел на Осу, и 27 июня разбил на дороге толпу башкирцев и татар, узнал от них о взятии Осы и о переправе Пугачева через Каму. Михельсон пошел по его следам. На Каме не было ни мостов, ни лодок. Конница переправилась вплавь, пехота на плотах. Михельсон, оставя Пугачева вправе, пошел прямо

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на Казань, и 11 июля вечером был уже в пятидесяти верстах от нее.

Ночью отряд его тронулся с места. Поутру, в сорока пяти верстах от Казани, услышал пушечную пальбу. К полудню густой багровый дым возвестил ему о жребии города.

Полдневный жар и усталость отряда заставили Михельсона остановиться на один час. Между тем узнал он, что недалеко находилась толпа мятежников. Михельсон на них напал и взял четыреста в плен; остальные бежали к Казани и известили Пугачева о приближении неприятеля. Тогда-то Пугачев, опасаясь нечаянного нападения, отступил от крепости и приказал своим скорее выбираться из города, а сам, заняв выгодное местоположение, выстроился близ Царицына, в семи верстах от Казани.

Михельсон, получив о том донесение, пустился чрез лес одною колонною и, вышед в поле, увидел перед собою мятежников, стоящих в боевом порядке.

Михельсон отрядил Харина противу их левого крыла, Дуве противу правого, а сам пошел прямо на главную неприятельскую батарею. Пугачев, ободренный победою и усилясь захваченными пушками, встретил нападение сильным огнем. Перед батареей простиралось болото, через которое Михельсон должен был перейти, между тем, как Харин и Дуве старались обойти неприятеля. Михельсон взял батарею; Дуве на правом фланге отбил также две пушки. Мятежники, разделясь на две кучи, пошли—одни навстречу Харину и, остановясь в теснине за рвом, поставили батареи и открыли огонь; другие старались заехать в тыл отряду. Михельсон, оставя Дуве, пошел на подкрепление Харина, проходившего чрез овраг под неприятельскими ядрами. Наконец, после пяти

Пушкинский кабинет ИРЛИ

часов упорного сражения, Пугачев был разбит и бежал, потеряв восемьсот человек убитыми и сто восемьдесят взятыми в плен. Потеря Михельсона была незначительна. Темнота ночи и усталость отряда не позволили Михельсону преследовать Пугачева.

Переночевав на месте сражения, перед светом Михельсон пошел к Казани. Навстречу ему поминутно попадались кучи грабителей, пьянствовавших целую ночь на развалинах сгоревшего города. Их рубили и брали в плен. Прибыв к Арскому полю, Михельсон увидел приближающегося неприятеля: Пугачев, узнав о малочисленности его отряда, спешил предупредить его соединение с городским войском. Михельсон, послав уведомить о том губернатора, встретил пушечными выстрелами толпу, кинувшуюся на него с воплем и визгом, и принудил ее отступить. Потемкин подоспел из города с гарнизоном. Пугачев перешел через Казанку и удалился за пятнадцать верст от города в село Сухую Реку. Преследовать его было невозможно: у Михельсона не было и тридцати горных лошадей.

Казань была освобождена. Жители теснились на стене крепости, дабы издали взглянуть на лагерь своего избавителя. Михельсон не трогался с места, ожидая нового нападения. В самом деле Пугачев, негодуя на свои неудачи, не терял однако же надежды одолеть наконец Михельсона. Он отвсюду набирал новую сволочь, соединяясь с отдельными своими отрядами, и 15 июля утром, приказав прочесть перед своими толпами манифест, в котором объявлял о своем намерении итти на Москву, устремился в третий раз на Михельсона. Войско его состояло из двадцати пяти тысяч всякого сброду. Многочисленные толпы двинулись тою же дорогою, по которой уже два раза бежали. Облака пыли, дикие вопли, шум и грохот возве-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стили их приближение. Михельсон выступил противу их с осьмьюстами карабинер, гусар и чугуевских казаков. Он занял место прежнего сражения близ Царицына и разделил войско свое на три отряда, в близком расстоянии один от другого. Бунтовщики на него бросились. Яицкие казаки стояли в тылу и по приказанию Пугачева должны были колоть своих беглецов. Но Михельсон и Харин с двух сторон на них ударили, опрокинули и погнали. Всё было кончено в одно мгновение. Напрасно Пугачев старался удержать рассыпавшиеся толпы, сперва доскакав до первого своего лагеря, а потом и до второго. Харин живо его преследовал, не давая ему времени нигде остановиться. В сих лагерях находилось до десяти тысяч казанских жителей всякого пола и звания. Они были освобождены. Казанка была запружена мертвыми телами; пять тысяч пленных и девять пушек остались в руках у победителя. Убито в сражении до двух тысяч, большею частию татар и башкирцев. Михельсон потерял до ста человек убитыми и ранеными. Он вошел в город при кликах восхищенных жителей, свидетелей его победы. Губернатор, измученный болезнию, от которой он и умер через две недели, встретил победителя за воротами крепости, в сопровождении дворянства и духовенства. Михельсон отправился прямо в собор, где преосвященный Вениамин отслужил благодарственный молебен.

Состояние Казани было ужасно: из двух тысяч осьмисот шестидесяти семи домов, в ней находившихся, две тысячи пятьдесят семь сгорело. Двадцать пять церквей и три монастыря также сгорели. Гостиный двор и остальные домы, церкви и монастыри были разграблены. Найдено до трехсот убитых и раненых обывателей; около пятисот пропали без вести. В числе убитых находился директор гимназии, Каниц, несколько учителей и учеников и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

полковник Родионов. Генерал-маиор Кудрявцев[3], старик сто-десятилетний, не хотел скрыться в крепость, несмотря на всевозможные увещания. Он на коленах молился в Казанском девичьем монастыре. Вбежало несколько грабителей. Он стал их увещевать. Злодеи умертвили его на церковной паперти.

Так бедный колодник, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал свое возвращение! Тюремный двор, где ожидал он плетей и каторги, был им сожжен, а невольники, его недавние товарищи, выпущены. В казармах содержалась уже несколько месяцев казачка Софья Пугачева с тремя своими детьми. Самозванец, увидя их, сказывают, заплакал, но не изменил самому себе. Он велел их отвести в лагерь, сказав, как уверяют: *я ее знаю*; *муж ее оказал мне великую услугу*[4]. Изменник Минеев, главный виновник бедствия Казани, при первом разбитии Пугачева попался в плен и, по приговору военного суда, загнат был сквозь строй до смерти.

Казанское начальство стало пещись о размещении жителей по уцелевшим домам. Они были приглашены в лагерь, для разбора добычи, отнятой у Пугачева, и для обратного получения своей собственности. Спешили разделиться кое-как. Люди зажиточные стали нищими; кто был скуден, очутился богат!

История должна опровергнуть клевету, легкомысленно повторенную светом: утверждали, что Михельсон мог предупредить взятие Казани, но что он нарочно дал мятежникам время ограбить город, дабы в свою очередь поживиться богатою добычею, предпочитая какую бы то ни было прибыль славе, почестям и царским наградам, ожидавшим спасителя Казани и усмирителя бунта! Читатели видели, как быстро и как неутомимо Михель-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сон преследовал Пугачева. Если Потемкин и Брант сделали бы свое дело и успели удержаться хоть несколько часов, то Казань была бы спасена. Солдаты Михельсона конечно обогатились; но стыдно было бы нам обвинять, без доказательства, старого заслуженного воина, проведшего всю жизнь на поле чести, и умершего главнокомандующим русскими войсками[5].

14 июля прибыл в Казань подполковник граф Меллин и был отряжен Михельсоном для преследования Пугачева. Сам Михельсон остался в городе для возобновления своей конницы и для заготовления припасов. Прочие начальники наскоро сделали некоторые военные распоряжения, ибо, несмотря на разбитие Пугачева, знали уже, сколь был опасен сей предприимчивый и деятельный мятежник. Его движения были столь быстры и непредвидимы, что не было средства его преследовать; к тому же конница была слишком изнурена. Старались перехватить ему дорогу; но войска, рассеянные на великом пространстве, не могли всюду поспевать и делать скорые обороты. Должно сказать и то, что редкий из тогдашних начальников был в состоянии управиться с Пугачевым или с менее известными его сообщниками.

Глава восьмая

Пугачев за Волгою.—Общее смятение.—Письмо генерала Ступишина.—Намерение Екатерины.—Граф П. Ив. Панин.—Движение войск.—Взятие Пензы.—Смерть Всеволожского.—Споры Державина с Бошняком.—Взятие Саратова.—Пугачев под Царицыным.—Смерть астронома Ловица.—Поражение Пугачева.—Суворов.—Пугачев выдан правительству.—Разговор его с графом Паниным.—Суд над Пугачевым и над его сообщниками.—Казнь бунтовщиков.

Пугачев бежал по Кокшайской дороге на переменных лошадях, с тремя стами яицких и илецких

Пушкинский кабинет ИРЛИ

казаков, и наконец ударился в лес. Харин, преследовавший его целые тридцать верст, принужден был остановиться. Пугачев ночевал в лесу. Его семейство было при нем. Между его товарищами находились два новые лица: один из них был молодой Пулавский, родной брат славного конфедерата[1]. Он находился в Казани военнопленным и, из ненависти к России, присоединился к шайке Пугачева. Другой был пастор реформатского исповедания. Во время казанского пожара он был приведен к Пугачеву; самозванец узнал его: некогда, ходя в цепях по городским улицам, Пугачев получал от него милостыню. Бедный пастор ожидал смерти. Пугачев принял его ласково, и пожаловал в полковники. Пастор-полковник посажен был верхом на башкирскую лошадь. Он сопровождал бегство Пугачева и, несколько дней уже спустя, отстал от него и возвратился в Казань[2].

Пугачев два дня бродил то в одну, то в другую сторону, обманывая тем высланную погоню. Сволочь его, рассыпавшись, производила обычные грабежи. Белобородов пойман был в окрестностях Казани, высечен кнутом, потом отвезен в Москву и казнен смертию. Несколько сотен беглецов присоединились к Пугачеву. 18 июля он вдруг устремился к Волге, на Кокшайский перевоз, и в числе пятисот человек лучшего своего войска переправился на другую сторону.

Переправа Пугачева произвела общее смятение. Вся западная сторона Волги восстала и передалась самозванцу. Господские крестьяне взбунтовались; иноверцы и новокрещеные стали убивать русских священников. Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий; чернь ловила тех и других и отвсюду приводила к Пугачеву. Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода, отпущение повинностей и безденежную раздачу соли[3].

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Он пошел на Цывильск, ограбил город, повесил воеводу и, разделив шайку свою на две части, послал одну по нижегородской дороге, а другую по алатырской, и пресек таким образом сообщение Нижнего с Казанью. Нижегородский губернатор, генерал-поручик Ступишин, писал к князю Волконскому, что участь Казани ожидает и Нижний и что он не отвечает и за Москву. Все отряды, находившиеся в губерниях Казанской и Оренбургской, пришли в движение и устремлены были против Пугачева. Щербатов из Бугульмы, а князь Голицын из Мензелинска поспешили в Казань; Меллин переправился через Волгу и 19 июля выступил из Свияжска; Мансуров из Яицкого городка двинулся к Сызрани; Муфель пошел к Симбирску; Михельсон из Чебоксаров устремился к Арзамасу, дабы пресечь Пугачеву дорогу к Москве...

Но Пугачев не имел уже намерения итти на старую столицу. Окруженный отвсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам, он уже думал о своем спасении; цель его была: пробраться за Кубань или в Персию. Главные бунтовщики предвидели конец затеянному ими делу, и уже торговались о голове своего предводителя! Перфильев, от имени всех виновных казаков, послал тайно в Петербург одного поверенного с предложением о выдаче самозванца. Правительство, однажды им обманутое, худо верило ему: однако вошло с ним в сношение[4]. Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой; от провинции к провинции. Довольно было появления двух или трех злодеев, чтоб взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки грабителей и бунтовщиков: и каждая имела у себя своего Пугачева...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Сии горестные известия сделали в Петербурге глубокое впечатление и омрачили радость, произведенную окончанием Турецкой войны и заключением славного Кучук-Кайнарджиского мира. Императрица, недовольная медлительностью князя Щербатова, еще в начале июля решилась отозвать его и поручить главное начальство над войском князю Голицыну. Курьер, ехавший с сим указом, остановлен был в Нижнем-Новегороде, по причине небезопасности дороги. Когда же государыня узнала о взятии Казани и о перенесении бунта за Волгу, тогда она уже думала сама ехать в край, где усиливалось бедствие и опасность, и лично предводительствовать войском. Граф Никита Иванович Панин успел уговорить ее оставить сие намерение. Императрица не знала, кому предоставить спасение отечества. В сие время вельможа, удаленный от двора и, подобно Бибикову, бывший в немилости, граф Петр Иванович Панин[5], сам вызвался принять на себя подвиг, недовершенный его предшественником. Екатерина с признательностию увидела усердие благородного своего подданного, и граф Панин, в то время, как вооружив своих крестьян и дворовых, готовился итти навстречу Пугачеву, получия, в своей деревне, повеление принять главное начальство над губерниями, где свирепствовал мятеж, и над войсками, туда посланными. Таким образом покоритель Бендер пошел войною противу простого казака, четыре года тому назад безвестно служившего в рядах войска, вверенного его начальству.

20 июля Пугачев под Курмышем переправился вплавь через Суру. Дворяне и чиновники бежали. Чернь встретила его на берегу с образами и хлебом. Ей прочтен возмутительный манифест. Инвалидная команда приведена была к Пугачеву. Маиор Юрлов, начальник оной, и унтер-офицер,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кого имя, к сожалению, не сохранилось, одни не захотели присягнуть и в глаза обличали самозванца. Их повесили, и мертвых били нагайками. Вдова Юрлова спасена была ее дворовыми людьми. Пугачев велел раздать чувашам казенное вино; повесил несколько дворян, приведенных к нему крестьянами их, и пошел к Ядринску, оставя город под начальством четырех яицких казаков и дав им в распоряжение шестьдесят приставших к нему холопьев. Он оставил за собою малую шайку, для задержания графа Меллина. Михельсон, шедший к Арзамасу, отрядил Харина к Ядринску, куда спешил и граф Меллин. Пугачев, узнав о том, обратился к Алатырю; но, прикрывая свое движение, послал к Ядринску шайку, которая и была отбита воеводою и жителями, а после сего встречена графом Меллиным и совсем рассеяна. Меллин поспешил к Алатырю; мимоходом освободил Курмыш, где повесил нескольких мятежников, а казака, назвавшегося воеводою, взял с собою, как языка. Офицеры инвалидной команды, присягнувшие самозванцу, оправдывались тем, что присяга дана была ими не *от истреннего сердца, но для наблюдения интереса Ее Императорского Величества.* «А что мы, писали они Ступишину, перед богом и всемилостивейшею государынею нашей нарушили присягу, и тому злодею присягали, в том приносим наше христианское покаяние и слезно просим отпущения сего нашего невольного греха; ибо не иное нас к сему привело, как смертный страх». Двадцать человек подписали сие постыдное извинение.

Пугачев стремился с необыкновенною быстротою, отряжая во все стороны свои шайки. Не знали, в которой находился он сам. Настичь его было невозможно: он скакал проселочными дорогами, забирая свежих лошадей, и оставлял за собою возму-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

гителей, которые в числе двух, трех и не более пяти разъезжали безопасно по селениям и городам, набирая всюду новые шайки. Трое из них явились в окрестностях Нижнего-Новгорода; крестьяне Демидова связали их и представили Ступишину. Он велел их повесить на барках и пустить вниз по Волге, мимо бунтующих берегов.

27 июля Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но духовенством и купечеством... Триста человек дворян, всякого пола и возраста, были им тут повешены; крестьяне и дворовые люди стекались к нему толпами. Он выступил из города 30-го. На другой день Меллин вошел в Саранск, взял под караул прапорщика Шахмаметева, посаженного в воеводы от самозванца, также и других важных изменников духовного и дворянского звания, а черных людей велел высечь плетьми под виселицею.

Михельсон из Арзамаса устремился за Пугачевым. Муфель из Симбирска спешил ему же навстречу. Меллин шел по его пятам. Таким образом три отряда окружали Пугачева. Князь Щербатов с нетерпением ожидал прибытия войск из Башкирии, дабы отправить подкрепление действующим отрядам, и сам хотел спешить за ними; но, получа указ от 8 июля, сдал начальство князю Голицыну и отправился в Петербург.

Между тем Пугачев приближился к Пензе. Воевода Всеволожский несколько времени держал чернь в повиновении и дал время дворянам спастись. Пугачев явился перед городом. Жители вышли к нему навстречу с иконами и хлебом, и пали пред ним на колена. Пугачев въехал в Пензу. Всеволожский, оставленный городским войском, заперся в своем доме с двенадцатью дворянами и решился защищаться. Дом был зажжен; храбрый Всеволожский погиб со своими товарищами;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

казенные и дворянские домы были ограблены. Пугачев посадил в воеводы господского мужика и пошел к Саратову.

Узнав о взятии Пензы, саратовское начальство стало делать свои распоряжения.

В Саратове находился тогда Державин. Он отряжен был (как мы уже видели) в село Малыковку, дабы оттуда пресечь дорогу Пугачеву в случае побега его на Иргиз. Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узеням и намеревался итти на освобождение Яицкого городка; но был предупрежден генералом Мансуровым. В конце июля прибыл он в Саратов, где чин гвардии поручика, резкий ум и пылкий характер доставили ему важное влияние на общее мнение.

1 августа Державин, обще с главным судиею конторы опекунства колонистов, Лодыжинским, потребовал саратовского коменданта Бошняка для совещания о мерах, кои должно было предпринять в настоящих обстоятельствах. Державин утверждал, что около конторских магазинов, внутри города, должно было сделать укрепления, перевезти туда казну, лодки на Волге сжечь, по берегу расставить батареи и итти навстречу Пугачеву. Бошняк не соглашался оставить свою крепость и хотел держаться за городом. Спорили, горячились — и Державин, вышед из себя, предлагал арестовать коменданта. Бошняк остался неколебим, повторяя, что он вверенной ему крепости и божиих церквей покинуть на расхищение не хочет. Державин, оставя его, приехал в магистрат; предложил, чтобы все обыватели поголовно явились на земляную работу к месту, назначенному Лодыжинским. Бошняк жаловался, но никто его не слушал. Памятником сих споров осталось яз-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вительное письмо Державина к упрямому коменданту[6].

4 августа узнали в Саратове, что Пугачев выступил из Пензы и приближается к Петровску. Державин потребовал отряд донских казаков и пустился с ними в Петровск, дабы вывезти оттуда казну, порох и пушки. Но, подъезжая к городу, услышал он колокольный звон и увидел передовые толпы мятежников, вступающих в город, и духовенство, вышедшее к ним навстречу с образами и хлебом. Он поехал вперед с есаулом и двумя казаками и, видя, что более делать было нечего, пустился с ними обратно к Саратову. Отряд его остался на дороге, ожидая Пугачева. Самозванец к ним подъехал в сопровождении своих сообщников. Они приняли его, стоя на коленах. Услыша от них о гвардейском офицере, Пугачев тут же переменил лошадь и, взяв в руки дротик, сам с четырьмя казаками поскакал за ним в погоню. Один из казаков, сопровождавших Державина, был заколот Пугачевым. Державин успел добраться до Саратова, откуда на другой день выехал вместе с Лодыжинским, оставя защиту города на попечение осмеянного им Бошняка[7].

5 августа Пугачев пошел к Саратову. Войско его состояло из трехсот яицких казаков и стапятидесяти донских, приставших к нему накануне, и тысяч до десяти калмыков, башкирцев, ясачных татар, господских крестьян, холопьев и всякой сволочи. Тысяч до двух были кое-как вооружены, остальные шли с топорами, вилами и дубинами. Пушек было у него тринадцать.

6-го Пугачев пришел к Саратову и остановился в трех верстах от города.

Бошняк отрядил саратовских казаков для поимки языка; но они передались Пугачеву. Между тем обыватели тайно подослали к самозванцу куп-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ца Кобякова с изменническими предложениями. Бунтовщики подъехали к самой крепости, разговаривая с солдатами. Бошняк велел стрелять. Тогда жители, предводительствуемые городским головою Протопоповым, явно возмутились и приступили к Бошняку, требуя, чтоб он не начинал сражения и ожидал возвращения Кобякова. Бошняк спросил: как осмелились они, без его ведома, вступить в переговоры с самозванцем? Они продолжали шуметь. Между тем Кобяков возвратился с возмутительным письмом. Бошняк, выхватив его из рук изменника, разорвал и растоптал, а Кобякова велел взять под караул. Купцы пристали к нему с просьбами и угрозами, и Бошняк принужден был им уступить и освободить Кобякова. Он однако приготовился к обороне. В это время Пугачев занял Соколову гору, господствующую над Саратовом, поставил батарею и начал по городу стрелять. По первому выстрелу крепостные казаки и обыватели разбежались. Бошняк велел выпалить из мортиры; но бомба упала в пятидесяти саженях. Он обошел свое войско и всюду увидел уныние: однако не терял своей бодрости. Мятежники напали на крепость. Он открыл огонь и уже успел их отразить, как вдруг триста артиллеристов, выхватя из-под пушек клинья и фитили, выбежали из крепости и передались. В это время сам Пугачев кинулся с горы на крепость. Тогда Бошняк, с одним Саратовским баталионом, решился продраться сквозь толпы мятежников. Он приказал маиору Салманову выступить с первою половиною баталиона; но, заметя в нем робость или готовность изменить, отрешил его от начальства. Маиор Бутырин заступился за него, и Бошняк вторично оказал слабость: он оставил Салманова при его месте и, обратясь ко второй половине баталиона, приказал распускать знамена и выходить из укрепле-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ния. В сию минуту Салманов передался, и Бошняк остался с шестидесятью человеками офицеров и солдат. Храбрый Бошняк с этою горстью людей выступил из крепости и целые шесть часов сряду шел—пробиваясь сквозь бесчисленные толпы разбойников. Ночь прекратила сражение. Бошняк достиг берегов Волги. Казну и канцелярские дела отправил рекою в Астрахань, а сам 11 августа благополучно прибыл в Царицын.

Мятежники, овладев Саратовом, выпустили колодников, отворили хлебные и соляные анбары, разбили кабаки и разграбили дома. Пугачев повесил всех дворян, попавшихся в его руки, и запретил хоронить тела; назначил в коменданты города казацкого пятидесятника Уфимцева, и 9 августа в полдень выступил из города.—11-го в разоренный Саратов прибыл Муфель, а 14-го Михельсон. Оба, соединясь, поспешили вслед за Пугачевым.

Пугачев следовал по течению Волги. Иностранцы, тут поселенные, большею частию бродяги и негодяи, все к нему присоединились, возмущенные польским конфедератом (неизвестно кем по имени, только не Пулавским; последний уже тогда отстал от Пугачева, негодуя на его зверскую свирепость). Пугачев составил из них гусарский полк. Волжские казаки перешли также на его сторону.

Таким образом Пугачев со дня на день усиливался. Войско его состояло уже из двадцати тысяч. Шайки его наполняли губернии Нижегородскую, Воронежскую и Астраханскую. Беглый холоп Евсигнеев, назвавшись также Петром III, взял Инсару, Троицк, Наровчат и Керенск, повесил воевод и дворян и везде учредил свое правление. Разбойник Фирска подступил под Симбирск, убив в сражении полковника Рычкова, заступившего место Чернышева, погибшего под Оренбургом при начале бунта; гарнизон изменил ему. Симбирск

Пушкинский кабинет ИРЛИ

был спасен однакож прибытием полковника Обернибесова. Фирска наполнил окрестности убийствами и грабежами. Верхний и Нижний Ломов были ограблены и сожжены другими злодеями. Состояние сего обширного края было ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях, на воротах барских дворов, висели помещики, или их управители[8]. Мятежники и отряды, их преследующие, отнимали у крестьян лошадей, запасы и последнее имущество. Правление было повсюду пресечено. Народ не знал, кому повиноваться. На вопрос: кому вы веруете? *Петру Федоровичу или Екатерине Алексеевне?* мирные люди не смели отвечать, не зная—какой стороне принадлежали вопрошатели.

13 августа Пугачев приближился к Дмитриевску (Камышенке). Его встретил маиор Диц с пятью стами гарнизонных солдат, тысячью донских казаков и пятью стами калмыков, предводительствуемых князьями Дундуковым и Дербетевым. Сражение завязалось. Калмыки разбежались при первом пушечном выстреле. Казаки дрались храбро и доходили до самых пушек, но были отрезаны и передались. Диц был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пушками были взяты. Пугачев ночевал на месте сражения; на другой день занял Дубовку и двинулся к Царицыну.

В сем городе, хорошо укрепленном, начальствовал полковник Цыплетев. С ним находился храбрый Бошняк. 21 августа Пугачев подступил с обыкновенною дерзостию. Отбитый с уроном, он удалился за восемь верст от крепости. Против него выслали полторы тысячи донских казаков; но только четыреста возвратились; остальные передались.

На другой день Пугачев подступил к городу со стороны Волги и был опять отбит Бошняком,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Между тем услышал он о приближении отрядов, и поспешно стал удаляться к Сарепте.

Михельсон, Муфель и Меллин прибыли 20-го в Дубовку, а 22-го вступили в Царицын.

Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить *поближе к звездам.* Адъюнкт Иноходцев, бывший тут же, успел убежать.

Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скрываясь в своем шатре с двумя наложницами[9]. Семейство его находилось тут же. Он пустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25-го, на рассвете он настигнул Пугачева в ста пяти верстах от Царицына.

Пугачев стоял на высоте, между двумя дорогами. Михельсон ночью обошел его и стал противу мятежников. Утром Пугачев опять увидел перед собою своего грозного гонителя; но не смутился, а смело пошел на Михельсона, отрядив свою пешую сволочь противу донских и чугуевских казаков, стоящих по обоим крылам отряда. Сражение продолжалось недолго. Несколько пушечных выстрелов расстроили мятежников. Михельсон на них ударил. Они бежали, бросая пушки и весь обоз. Пугачев, переправясь через мост, напрасно старался их удержать; он бежал вместе с ними. Их били и преследовали сорок верст. Пугачев потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен. Остальные рассеялись. Пугачев, в семидесяти верстах от места сражения, переплыл Волгу, выше Черноярска, на четырех лодках, и ушел на луговую сторону, не более как с тридцатью казаками. Преследовавшая его конница опоздала четвертью часа. Беглецы, не успевшие переправиться на лодках, бросились вплавь и перетонули.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Сие поражение было последним и решительным. Граф Панин, прибывший в то время в Керенск, послал в Петербург радостное известие, отдав в донесении своем полную справедливость быстроте, искусству и храбрости Михельсона. Между тем новое, важное лицо является на сцене действия: Суворов прибыл в Царицын.

Еще при жизни Бибикова, государственная коллегия, видя важность возмущения, вызывала Суворова, который в то время находился под стенами Силистрии; но граф Румянцев не пустил его, дабы не подать Европе слишком великого понятия о внутренних беспокойствах государства. Такова была слава Суворова! По окончании же войны Суворов получил повеление немедленно ехать в Москву, к князю Волконскому, для принятия дальнейших препоручений. Он свиделся с графом Паниным в его деревне и явился в отряде Михельсона несколько дней после последней победы. Суворов имел от графа Панина предписание начальникам войск и губернаторам—исполнять все его приказания. Он принял начальство над Михельсоновым отрядом, посадил пехоту на лошадей, отбитых у Пугачева, и в Царицыне переправился через Волгу. В одной из бунтовавших деревень он взял, под видом наказания, пятьдесят пар волов, и с сим запасом углубился в пространную степь, где нет ни леса, ни воды, и где днем должно было ему направлять путь свой по солнцу, а ночью по звездам.

Пугачев скитался по той же степи. Войска отовсюду окружали его; Меллин и Муфель, также перешедшие через Волгу, отрезывали ему дорогу к северу; легкий полевой отряд шел ему навстречу из Астрахани; князь Голицын и Мансуров преграждали его от Яика; Дундуков с своими калмыками рыскал по степи; разъезды учреждены были от

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Гурьева до Саратова, и от Черного до Красного Яра. Пугачев не имел средств выбраться из сетей, его стесняющих. Его сообщники, с одной стороны видя неминуемую гибель, а с другой—надежду на прощение, стали сговариваться и решились выдать его правительству.

Пугачев хотел итти к Каспийскому морю, надеясь как-нибудь пробраться в киргиз-кайсацкие степи. Казаки на то притворно согласились: но сказав, что хотят взять с собою жен и детей, повезли его на Узени, обыкновенное убежище тамошних преступников и беглецов. 14 сентября они прибыли в селения тамошних староверов. Тут произошло последнее совещание. Казаки, не согласившиеся отдаться в руки правительства, рассеялись. Прочие пошли к ставке Пугачева.

Пугачев сидел один в задумчивости. Оружие его висело в стороне. Услыша вошедших казаков, он поднял голову и спросил, чего им надобно? Они стали говорить о своем отчаянном положении и, между тем, тихо подвигаясь, старались загородить его от висевшего оружия. Пугачев начал опять их уговаривать итти к Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они долго ездили за ним и что уже ему пора ехать за ними. Что же? сказал Пугачев, вы хотите изменить своему государю?—Что делать! отвечали казаки и вдруг на него кинулись. Пугачев успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. *Я давно видел вашу измену*, сказал Пугачев и, подозвав своего любимца, илецкого казака Творогова, протянул ему свои руки и сказал: *вяжи*! Творогов хотел ему скрутить локти назад. Пугачев не дался. *Разве я разбойник?* говорил он гневно. Казаки посадили его верхом и повезли к Яицкому городку. Во всю дорогу Пугачев им угрожал местью великого князя. Однажды нашел он способ высвободить руки, выхватил саблю и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пистолет, ранил выстрелом одного из казаков и закричал, чтоб вязали изменников. Но никто уже его не слушал. Казаки, подъехав к Яицкому городку, послали уведомить о том коменданта. Казак Харчев и сержант Бардовский высланы были к ним навстречу, приняли Пугачева, посадили его в колодку и привезли в город, прямо к гвардии капитан-поручику Маврину, члену следственной комиссии[10].

Маврин допросил самозванца. Пугачев с первого слова открылся ему. *Богу было угодно*, сказал он, *наказать Россию через мое окаянство.*—Велено было жителям собраться на городскую площадь; туда приведены были и бунтовщики, содержащиеся в оковах. Маврин вывел Пугачева и показал его народу. Все узнали его; бунтовщики потупили голову. Пугачев громко стал их уличать и сказал: *вы погубили меня*; *вы несколько дней сряду меня упрашивали принять на себя имя покойного великого государя*; *я долго отрицался, а когда и согласился, то всё, что ни делал, было с вашей воли и согласия*; *вы же поступали часто без ведома моего и даже вопреки моей воле.* Бунтовщики не отвечали ни слова.

Суворов между тем прибыл на Узени и узнал от пустынников, что Пугачев был связан его сообщниками и что они повезли его к Яицкому городку. Суворов поспешил туда же. Ночью сбился он с дороги и нашел на огни, раскладенные в степи ворующими киргизами. Суворов на них напал и прогнал, потеряв несколько человек, и между ними своего адъютанта Максимовича. Через несколько дней прибыл он в Яицкой городок. Симонов сдал ему Пугачева. Суворов с любопытством расспрашивал пленного мятежника о его военных действиях и намерениях и повез его в Симбирск, куда должен был прпехать и граф Панин.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пугачев сидел в деревянной клетке на двуколесной телеге. Сильный отряд, при двух пушках, окружал его. Суворов от него не отлучался. В деревне Мостах (во ста сорока верстах от Самары) случился пожар близ избы, где ночевал Пугачев. Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном, резвым и смелым мальчиком, и во всю ночь Суворов сам их караулил. В Коспорье, против Самары, ночью, в волновую погоду, Суворов переправился через Волгу и пришел в Симбирск в начале октября.

Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом.—Кто ты таков? спросил он у самозванца.—*Емельян Иванов, Пугачев*, отвечал тот.—Как же смел ты, вор, назваться государем? продолжал Панин.—*Я не ворон* (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), *я вороненок, а ворон-то еще летает*. Надобно знать, что яицкие бунтовщики, в опровержение общей молвы, распустили слух, что между ними действительно находился некто Пугачев, но что он с государем Петром III, ими предводительствующим, ничего общего не имеет. Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды. Пугачев стал на колена и просил помилования. Он посажен был под крепкий караул, скованный по рукам и по ногам, с железным обручем около поясницы, на цепи, привинченной к стене. Академик Рычков, отец убитого симбирского коменданта, видел его тут и описал свое свидание. [Пугачев ел уху на деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал ему: «добро пожаловать» и пригласил его с ним отобедать. *Из чего*, пишет академик, *я познал его подлый дух*.] Рычков спросил его, как

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мог он отважиться на такие великие злодеяния?— Пугачев отвечал: *виноват пред богом и государыней, но буду стараться заслужить все мои вины.* Говоря о своем сыне, Рычков не мог удержаться от слез; Пугачев, глядя на него, сам заплакал.

Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была решиться[11]. Его везли в зимней кибитке, на переменных обывательских лошадях; гвардии капитан Галахов и капитан Повало-Швейковский, несколько месяцев пред сим бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах. Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его клетки: помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен. В Москве встречен он был многочисленным народом, недавно ожидавшим его с нетерпением и едва усмиренным поимкою грозного злодея. Он был посажен на Монетный двор, где с утра до ночи, в течение двух месяцев, любопытные могли видеть его прикованного к стене, и еще страшного в самом бессилии. Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса. Перед судом он оказал неожиданную слабость духа[12]. Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора. Пугачев и Перфильев приговорены были к четвертованию; Чика—к отсечению головы; Шигаев, Падуров и Торнов—к виселице; осьмнадцать человек — к наказанию кнутом и к ссылке на каторжную работу.—Казнь Пугачева и его сообщников совершилась в Москве, 10 января 1775 года. С утра бесчисленное множество народа столпилось на Болоте, где воздвигнут был высокий намост. На нем сидели палачи и пили вино в ожидании жертв. Около намоста стояли три виселицы,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах, по причине жестокого мороза. Кровли домов и лавок усеяны были людьми; низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг всё заколебалось и зашумело; закричали: везут, везут! Вслед за отрядом кирасир ехали сани с высоким амвоном. На нем, с открытою головою, сидел Пугачев, насупротив его духовник. Тут же находился чиновник тайной экспедиции. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями следовала еще конница и шла толпа прочих осужденных. Очевидец (в то время едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный славою поэта и государственного мужа) описывает следующим образом кровавое позорище:

«Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев, в препровождении духовника и двух чиновников, едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: *на карaул*, и один из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово до меня доходило.

«При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал его громко: ты ли донской казак, Емелька Пугачев? Он столь же громко ответствовал: так, государь, я донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев. Потом, во всё продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем, как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста, духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев, сделав с крестным знамением несколько земных поклонов, обратился

Пушкинский кабинет ИРЛИ

к соборам, потом с утопленным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: *прости, народ православный; отпусти в чем я согрубил пред тобою... прости, народ православный!* При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, повалился навзничь, и в миг окровавленная голова уже висела в воздухе...»[13]

Палач имел тайное повеление сократить мучения преступников. У трупа отрезали руки и ноги, палачи разнесли их по четырем углам эшафота, голову показали уже потом и воткнули на высокий кол. Перфильев, перекрестясь, простерся ниц и остался недвижим. Палачи его подняли, и казнили так же, как и Пугачева. Между тем, Шигаев, Падуров и Торнов уже висели в последних содроганиях... В сие время зазвенел колокольчик; Чику повезли в Уфу, где казнь его должна была совершиться. Тогда начались торговые казни; народ разошелся; осталась малая кучка любопытных около столба, к которому, один после другого, привязывались преступники, присужденные к кнуту. Отрубленные члены четвертованных мятежников были разнесены по московским заставам и, несколько дней после, сожжены вместе с телами. Палачи развеяли пепел. Помилованные мятежники были, на другой день казней, приведены пред Грановитую палату. Им объявили прощение, и при всем народе сняли с них оковы.

Так кончился мятеж, начатый горстию непослушных казаков, усилившийся по непростительному нерадению начальства и поколебавший государство от Сибири до Москвы, и от Кубани до Муромских лесов. Совершенное спокойствие долго еще не водворялось. Панин и Суворов целый

Пушкинский кабинет ИРЛИ

год оставались в усмиренных губерниях, утверждая в них ослабленное правление, возобновляя города и крепости и искореняя последние отрасли пресеченного бунта. В конце 1775 года обнародовано было общее прощение, и повелено всё дело предать вечному забвению. Екатерина, желая истребить воспоминание об ужасной эпохе, уничтожила древнее название реки, коей берега были первыми свидетелями возмущения. Яицкие казаки переименованы были в уральские, а городок их назвался сим же именем. Но следы страшного бунтовщика сохранились еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую—так выразительно—прозвал он *пугачевщиною*.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ

[1] Некоторые из ученых яицких казаков почитают себя потомками стрельцов. Мнение сие не без основания, как увидим ниже. Самые удовлетворительные исследования о первоначальном поселении яицких казаков находим мы в *Историческом и статистическом обозрении уральских казаков*, сочинении А. И. Левшина, отличающемся, как и прочие произведения автора, истинною ученостию и здравой критикою.

«Время и образ казачьей жизни (говорит автор) *лишили* нас точных и несомненных сведений о происхождении уральских казаков. Все исторические об них известия теперь существующие, основаны только на преданиях, довольно поздних, не совсем определительных и никем критически не разобранных.

«Древнейшее, впрочем самое краткое, описание сих преданий находим в доношении станичного атамана яицкого, Федора Рукавишникова, государственной коллегии иностранных дел, 1720 года [1].

«Дополнением и продолжением оного служат: 1. Донесение оренбургского губернатора Неплюева военной коллегии от 22 ноября 1748 года [2]. 2. Оренбургская история Рычкова. 3. Его же. Оренбургская топография. 4. Довольно любопытный рукописный журнал бывшего войско-

[1] Сие доношение, в копии мною найденное в делах архива оренбургской пограничной комиссии, есть то самое, о котором говорит Рычков в своей Топографии; но он Рукавишникова называет Крашенинниковым. Некоторые, достойные вероятия, жители уральские сказывали мне, что атаман сей носил обе фамилии. Л <евшин>.

[2] Отпуск сего донесения нашел я также в архиве оренбургской пограничной комиссии. Л<евшин>.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вого атамана яицкого, Ивана Акутина[1]. 5. Некоторые новейшие акты, хранящиеся в архивах уральской войсковой канцелярии и оренбургской пограничной комиссии.

«Вот лучшие и почти единственные источники для истории уральских казаков.

«То, что писали об них иностранцы, не может быть сюда причислено; ибо большая часть таковых сочинений основана на догадках, ничем не доказанных, часто противоречащих истине и нелепых. Так, например, сочинитель примечаний на Родословную историю татар Абулгази-Баядур-Хана утверждает, что казаки уральские произошли от древних кипчаков; что они пришли в подданство России в след за покорением Астрахани; что они имеют особливый смешанный язык, которым говорят со всеми соседними татарами; что они могут выставить 30 000 вооруженных воинов; что город Уральск стоит в 40 верстах от устья Урала, текущего в Каспийское море и пр.[2]. Все сии нелепости, которые не заслуживают опровержения для русских, приняты однако ж в прочих частях Европы за справедливые. Знаменитый Пуффендорф и Дегинь внесли их, к сожалению, в свои сочинения[3].

«Возвращаясь к вышеупомянутым пяти источникам нашим и сравнивая их между собою, во всех видим ту главную истину, что яицкие или уральские[4] казаки произошли, но о времени поселения их на занимаемых теперь местах не находим положительного и единогласного известия.

«Рукавишников, писавший, как сказали мы, в 1720 году, полагал, что предки его пришли на Яик, *может быть, назад около двух сот лет*, т. е. в первой половине XVI столетия.

«Неплюев повторяет слова Рукавишникова.

«Рычков в Оренбургской истории пишет: *начало сего яицкого войска, по известиям от яицких старшин, произошло около 1584 года*[5]. В Топографии же, сочиненной

---

[1] За список сего журнала, равно как и за другие сведения, на которых основана часть сего описания, обязан я благодарностию некоторым чиновникам уральского войска. Л<евшин>.

[2] Родословной истории о татарах часть 2-я, глава 2-я, также часть 9-я, глава 9-я. Л<евшин>.

[3] Histoire des Huns et Tàt. liv. 19, chap. 2. Л<евшин>.

[4] Далее увидим, когда река Яик получила название Урала. Л.

[5] Известия об уральском войске, помещенные в Орен-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

после Истории, он говорит, что первое поселение казаков на Яике случилось в XIV столетии[1].

«Сие последнее известие основано им на предании, полученном в 1748 году от яикского войскового атамана, Ильи Меркульева, которого отец, Григорий, был также войсковым атаманом, жил сто лет, умер в 1741 году и слышал в молодости от столетней же бабки своей, что она, будучи лет двадцати от роду, знала очень старую татарку, по имени *Гугниху*, рассказывавшую ей следующее: «Во время Тамерлана один донской казак, по имени Василий Гугна, с 30 человеками товарищей из казаков же и одним татарином, удалился с Дона для грабежей на восток, сделал лодки, пустился на оных в Каспийское море, дошел до устья Урала и, найдя окрестности оного необитаемыми, поселился в них. По прошествии нескольких лет, шайка сия напала на скрывшихся близ ее жилища в лесах трех братьев татар, из которых младший был женат на ней, Гугнихе (повествовательнице), и которые отделились от Золотой Орды, также рассеявшейся потому, что Тамерлан, возвращаясь из России, намеревался напасть на оную. Трех братьев сих казаки побили, а ее, Гугниху, взяли в плен и подарили своему атаману». Далее, после нескольких пустых подробностей, также повествовательница рассказывала—«что муж ее еще в детстве слыхал о российском городе Астрахани; что с казаками, ее пленившими, при ней соединилось много татар Золотой орды и русских, что они убивали детей своих и пр.»

«Продолжение ее рассказов сходно с тем, что мы будем описывать за истинное; но изложенное сейчас начало, не взирая на известную ученость, полезные труды и обширные сведения Рычкова о Средней Азии и Оренбургском крае, хронологически невозможно и противно многим несомненным историческим известиям. Поелику же сия повесть принята за единственный и правдоподобнейший источник для истории уральских казаков и поелику она неоднократно повторена в новейших русских и иностранных сочинениях [2], то мы обязанностию почитаем войти в

бургской истории Рычкова, собраны им, по собственным словам его, в 1744 году, а те, которые поместил он в Топографии своей, получены им в 1748 году. Л<евшин>.

[1] См. Сочинения и переводы ежемесячные 1762 года, месяц август. Л<евшин>.

[2] Напр., в хозяйственном описании Астраханской губернии 1809 года в 29 книжке Сына Отечества на 1821 год, и пр. Л<евшин>.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

некоторые, даже скучные, подробности, для опровержения оной:

«1. Если атаман Григорий Меркульев, живший около ста лет, умер в 1741 году, то он родился в 1641, или близ того времени. Столетняя бабка его, рассказывавшая ему такую подробную и важную для всякого казака историю и следовательно умершая не прежде, как когда ему было лет 15, то есть около 1656 года, должна была родиться в 1556 году, или хотя в 1550; Гугниху же узнала она на 20 году своего возраста, т. е. около 1570 года. Положив теперь, что Гугнихе было тогда лет 90, выдет, что она родилась в 1480 году, или, короче сказать, в конце XV столетия. Как же она могла помнить такие происшествия, которые были в XIV столетии, т. е. почти за сто лет до ее рождения: ибо Тамерлан приходил в Россию в 1395 году?[1]

«2. Муж Гугнихи в *малых летах слыхал от стариков, что от реки Яика не очень далеко есть российские города Астрахань и другие*[2]. Известно, что Астрахань взята в 1554 году[3], и так не должно ли здесь предполагать, что сама Гугниха и муж ее жили в XVI столетии? Таковое предположение ближе к истине и, как увидим сейчас, согласно с прочими известиями о начале уральских казаков.

«3. И Гугниха, и Рукавишников, и Рычков в Истории Оренбургской, и предания, мною самим слышанные в Уральске и Гурьеве, единогласно говорят, что уральские казаки происходят от донских. Но во времена Тамерлана донские казаки еще не существовали, и история нигде нам не говорит об них прежде XVI столетия. Даже если принять, что они составляют один и тот же народ с азовскими казаками, то и о сих последних, как пишет г. Карамзин[4], летописи в первый раз упоминают уже в 1499 году, т. е. слишком через сто лет после нашествия Тамерлана.

«4. В XIV столетии Россия еще не свергла ига татарского; границы ее тогда были отдалены от Каспийского моря более, нежели на тысячу верст, и обширная степь, от Дона чрез Волгу до Яика простирающаяся, была покрыта племенами монголо-татарскими. Как же могла горсть

---

[1] История российская, г. Карамзина, том 5, стр. 144. Л<евшин>.

[2] Подлинные слова Рычкова в той же 2 главе Топографии. Л<евшин>.

[3] Той же Истории г. Карамзина, том 8, стр. 222. Л<евшин>.

[4] См. Истор. Рос. государства, том 6, примеч. 495. Л<евшин>.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

буйных казаков не только пробраться чрез такое большое расстояние и чрез тысячи неприятелей, но даже поселиться между ними и грабить их? Миллер, известный своими изысканиями и сведениями в истории нашей, говорит[1]: *пока татары южными российского государства странами владели, о российских казаках ничего не слышно было.*

«Показав несправедливость повести, помещенной Рычковым в Оренбургской топографии, примем первые его об уральском казачьем войске известия, напечатанные в Оренбургской истории; дополним оные сведениями, заключающимися в помянутых доношениях Рукавишникова, Неплюева, и преданиями, мною самим собранными на Урале; сообразим их с сочинениями знаменитейших писателей и предложим читателям следующее историческое обозрение уральских казаков».

[2] О Гугнихе смотри подробное баснословие Рычкова в его Оренбургской истории.

[3] Грамота сия не сохранилась. Старые казаки говорили Рычкову, что оная сгорела во время бывшего пожара. «Не только сия грамота, говорит г. Левшин, без которой нельзя точно определить начала подданства уральских казаков России, но и многие другие, данные им царями Михаилом Феодоровичем, Алексеем Михайловичем и Феодором Алексеевичем, сгорели. Древнейший и единственный акт, найденный Неплюевым в Яицкой войсковой избе, была грамота царей Петра и Иоанна Алексеевичей, 1684 года, где упоминается о прежних службах войска со времен Михаила».

С 1655, то есть с первой службы уральских казаков против поляков и шведов, до 1681 года нет известий о походах их. В 1681 и 1682 годах служили триста казаков под Чигирином. В 1683 послано было из них 500 человек к Мензелинску для усмирения бунтовавших башкирцев, за что, сверх жалованья, деньгами и сукном, повелено было снабжать их артиллерийскими снарядами*. Со времен Петра Великого они были употребляемы в большой части главных военных действий России, как то: в 1696 под Азовом; в 1701, 1703, 1704 и 1707 против шведов; в 1708 году 1225 казаков были опять посланы для усмирения башкирцев; в 1711 году 1500 человек на Кубань; в 1717 году 1500 казаков пошли с князем Бековичем-Черкасским в Хиву; и так далее. *(Г. Левшин.)*

---

[1] В статье *О начале и происхождении казаков. Сочин. и перев. 1760 года. Л*<евшин.>

* Доношение Неплюева и журнал Акутина.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[4] Г. Левшин справедливо замечает, что царские стрельцы вероятно помешали яицким казакам принять участие в возмущении Разина. Как бы то ни было, нынешние уральские казаки не терпят имени его, и слова *Разина порода* почитаются у них за жесточайшую брань.

[5] В те же времена на казаков яицкого войска некто, по прозванию Нечай, собрав себе в компанию 500 человек, взял намерение итти в Хиву, уповая быть там великому богатству, и получить себе знатную добычу. С оными отправился он по Яику реке вверх и будучи у гор, называемых ныне *Дьяковыми*, от нынешнего городка вверх Яика 30 верст, остановился и по казачьему обыкновению учинил совет, или круг, для рассуждения о том своем предприятии, и чтоб избрать человека, для показания прямого и удобнейшего туда тракту. Когда в кругу учинен был о том доклад, тогда дьяк его, или писарь, выступя, стал представлять, коль отважно и не сходно оное их предприятие, изъясняя, что путь будет степной, незнакомой, провианта с ними не довольно, да и самих их на такое великое дело малолюдно. Помянутый Нечай от сего дьякова представления так много рассердился и в такую запальчивость пришел, что, не выходя из того круга, приказал его повесить: почему он тогда ж и повешен, а оные горы прозваны, и поныне именуются *Дьяковыми*.

Отправясь он, Нечай, в путь свой с теми казаками, до Хивы способно дошел и подступя под нее в такое время, когда хивинской хан со всем своим войском был на войне в других тамошних сторонах, а в городе Хиве, кроме малых и престарелых, никого почти не было, без всякого труда и препятствия городом и всем тамошним богатством завладел, а ханских жен в полон побрал, из которых одну он, Нечай, сам себе взял и при себе ее содержал. По таковом счастливом завладении, он, Нечай, и бывшие с ним казаки несколько времени жили в Хиве во всяких забавах и об опасности весьма мало думали; но та ханская жена, знатно полюбя его, Нечая, советовала ему: ежели он хочет живот свой спасти, то б он со всеми своими людьми заблаговременно из города убирался, дабы хан с войском своим тут его не застал; и хотя он, Нечай, той ханской жены наконец и послушал, однако не весьма скоро из Хивы выступил и в пути, будучи отягощен многою и богатою добычею, скоро следовать не мог; а хан, вскоре потом возвратясь из своего походу, и видя, что город его, Хива, разграблен, ни мало не мешкав, со всем своим войском в погоню за ним, Нечаем, отправился и чрез три дни его настиг на реке, именуемой *Сыр-Дарья*, где казаки чрез гор-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ловину ее переправились, и напал на них с таким устремлением, что Нечай с казаками своими хотя и храбро оборонялся, и многих хивинцев побил, но напоследок со всеми имевшимися при нем людьми побит, кроме трех или четырех человек, кои, ушед от того побоища, в войско яицкое возвратились и о его погибели рассказали. В оном войсковых атаманов объявлении показано и сие, яко бы хивинцы с того времени оную горловину, которая из Аральского моря в Каспийское впала, на устье ее от Каспийского моря завалили в таком рассуждении, дабы в предбудущие времена из моря в море судами ходу не было; но я последнее сие обстоятельство, за неимением достовернейших известий, не утверждаю, а представляю оное так, как мне от помянутых войсковых атаманов сказано.

Несколько лет после того яицкие казаки селением своим перешли к устью реки *Чагана*, на то третие место, где ныне Яицкой казачий город находится. Утвердившись же тут селением и еще в людстве гораздо умножась, один из них, по прозванию *Шамай*, прибрав себе в товарищество человек до 300, взял такое ж намерение, как и Нечай, а именно, чтоб еще опыт учинить походом на Хиву для наживы тамошними богатствами. И так, согласясь, пошли вверх по Яику до Илека реки, по которой вверх несколько дней отошед, зазимовали, а весною далее отправились. Будучи около реки Сыр-Дарьи, на степи усмотрели двух калмыцких ребят, которые ходили для звероловства, и разрывали ямы звериные; ибо тогда около оной реки Сыр-Дарьи кочевали еще калмыки. Захватя сих калмыцких ребят, употребляли они их на той степи за вожей, ради показания дорог. И хотя калмыки оных своих ребят у них казаков к себе требовали, но они им в том отказали. За сие калмыки, озлобясь, употребили противу их такое лукавство, что, собравшись многолюдно, скрылись в потаенное низменное место, а вперед себя послали на высокое место двух калмык, и приказали, усмотря яицких казаков, рыть землю и, бросая оную вверх, делать такой вид, якобы они роют звериные ж ямы. Передовые казаки, увидевшие их, подумали, что то еще калмыцкие гулебщики роют ямы, и сказали о том Шаме, своему атаману, и потом все из обозу поскакали за ними. Калмыки от казаков во всю силу побежали на те самые места, где было скрытное калмыцкое войско, и так их навели на калмык, которые все вдруг на них казаков ударили и, помянутого атамана с несколькими казаками захватя, удержали у себя одного атамана, для сего токмо, дабы тем удержанием прежде захваченных ими калмык высвободить; ибо прочих отпустя

Пушкинский кабинет ИРЛИ

требовали оных своих калмычат к себе обратно; но наказной атаман ответствовал, что у них атаманов много, а без вожей им пробыть нельзя, и с тем далее в путь свой отправились; токмо на то место, где прежде с атаманом Нечаем казаки чрез горловину Сыр-Дарьи переправлялись, не потрафили, но прошибшись выше угодили к Аральскому морю, где у них провианта не стало. К тому ж наступило зимнее время; чего ради принуждены они были на том Аральском море зимовать, и в такой великой глад пришли, что друг друга умерщвляя ели, а другие с голоду помирали. Оставшие ж посылали к хивинцам с прошением, чтоб их к себе взяли и спасли б их тем от смерти; почему приехав к ним хивинцы всех их к себе и забрали. И так все оные яицкие казаки 300 человек там пропали. Означенный же атаман Шамай, спустя несколько лет, калмыками привезен и отдан в яицкое войско. *(Топография Оренбургская.)*

[6] Смотри статью г-на С. О *внутреннем состоянии донских казаков в конце XVI столетия*, напечатанную в *Соревнователе Просвещения* 1824 года. Вот что пишет г. Левшин о казацких кругах: «Коль скоро, бывало, получится какой-нибудь указ или случится какое-нибудь общее войсковое дело, то на колокольне соборной церкви бьют *сполох*, или повестку, дабы все казаки сходились на сборное место к войсковой избе, или приказу (что ныне канцелярия войсковая), где ожидает их войсковый атаман. Когда соберется довольно много народа, то атаман выходит к оному из избы на крыльцо, с серебряною позолоченною булавою; за ним с жезлами в руках есаулы, которые тотчас идут в средину собрания, кладут жезлы и шапки на землю, читают молитву и кланяются сперва атаману, а потом на все стороны окружающим их казакам. После того берут они жезлы и шапки опять в руки, подходят к атаману, принимая от него приказания, возвращаются к народу и громко приветствуют оный сими словами: *Помолчите, атаманы молодцы и всё великое войско яицкое!* А наконец, объявив дело, для которого созвано собрание, вопрошают: *Любо ль, атаманы молодцы?* Тогда со всех сторон или кричат: *любо*, или подымаются ропот и крики: *не любо*. В последнем случае атаман сам начинал увещевать несогласных, объясняя дело и исчисляя пользы оного. Если казаки были им довольны, то убеждения его часто действовали; в противном случае никто не внимал ему, и воля народа исполнялась». *(Историч. и статист. обозрение уральских казаков.)*

[7] Уральское казачье войско так же, как и все казаки, не платит государству податей; но оно несет службу и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

обязано во всякое время по первому требованию выставлять на свой счет определенное число одетых и вооруженных конных воинов; а в случае нужды, все, считающиеся на службе, должны выступить в поход. Теперь служащих казаков в уральском войске 12 полков. Из них один в Илецкой и один в Сакмарской станицах. Сии оба полка, как не участвующие в богатых рыбных промыслах уральских, не участвуют и в наряде казаков в армию; но отправляют только линейную службу, т. е. оберегают границу от киргизов. Остальные 10 полков, считающиеся на службе, но действительно не служащие, выставляют на свой счет полки в армию и стражу на линию, по всему пространству земель своих до Каспийского моря. Как первая, так и вторая служба несутся не по очереди, но по найму, за деньги. При первом повелении правительства о наряде одного или нескольких полков, делается раскладка: на сколько человек, считающихся в службе, приходит поставить одного вооруженного, и потом каждый таковый участок общими силами нанимает одного казака с тем, чтобы он сам себя и обмундировал и вооружил. Плата ему простирается рублей до 1000, до 1500 и более; а за 10-месячный поход в Бухарию, для сопровождения бывшей там миссии нашей, по неизвестности земель, платили по 2000 и даже до 3000 руб. каждому казаку. Тот, который, в случае раскладки, не может за себя заплатить, сам нанимается в поход. Иные, нанявшись, сдают свою обязанность другим, иногда с барышем для себя.—Плата тем, кои нанимаются в линейную стражу, самая малая: потому что они, имея в форпостах и крепостях свои собственные домы, скотоводство, мену и всё имущество, невольно идут оберегать границу, хотя впрочем необходимость сия лишает их права участвовать в общих рыбных промыслах.

Обыкновение служить по найму, с одной стороны повидимому несправедливое, потому, что богатый всегда от службы избавлен, а бедный всегда несет ее, с другой стороны полезно: ибо—1-е, теперь всякой казак, выступающий в поход, имеет возможность хорошо одеться и вооружиться, 2-е, он, оставляя семейство свое, может уделить оному довольно денег на содержание во время своей отлучки; 3-е, человек, занимающийся промыслом каким-нибудь или работою, полезен для него и для других, не принужден бросать занятий своих и невольно итти на службу, которую бы отправлял очень неисправно. Отставные казаки уже ни в каких службах не участвуют; а потому и на рыбные ловли без платы ездить не могут. *(Историч. и статист. обозрение уральских казаков.)*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Выписываем из той же книги живое и любопытное изображение рыбной ловли на Урале:

«Теперь обратим внимание на рыболовство уральского войска и рассмотрим оное подробнее как потому, что оно составляет главнейший и почти единственный источник богатства здешних жителей, так и потому, что различные образы производства оного очень любопытны. Прежде же всего заметим, что против города Уральска ежегодно после весеннего половодья делают из толстых бревен чрез Урал загороду или решетку, называемую *учуг*, который останавливает и не пускает далее в верх рыбу, идущую из моря*.

«Главнейшие рыбные ловли, из которых ни одной нельзя начать прежде дня, определяемого войсковою канцеляриею, суть:

«1-я, багренье, разделяющееся на *малое* и *большое*. Первое начинается около 20 или 18 числа декабря и не продолжается долее 25-го; второе начинают около 6 января и оканчивают в том же месяце. Багрят рыбу только от Уральска верст на 200 вниз; далее не продолжают, потому что там производится осенняя ловля.

«Образ багренья таков: в назначенный день и час являются на Урал атаман багренья (всякой раз назначаемый канцеляриею из штаб-офицеров), и все имеющие право багрить казаки, всякой в маленьких одиночных санках в одну лошадь, с пешнею, лопатою и несколькими баграми, коих железные острия лежат на гужах хомута у оглобли, а деревянные составные шесты, длиною в 3, 4, иногда в 12 сажен, тащатся по снегу. Прибыв на сборное место, становится впереди атаман и около его несколько конных казаков, для соблюдения порядка; а за ним рядами все выехавшие багрить. Число сих последних простирается всегда до нескольких тысяч; ежели кто из них осмелится поскакать с места один, то передовые блюстители порядка рубят у него багры и збрую.

«Строгая и справедливая мера сия невольно удерживает на месте казаков, из коих почти у каждого на лице написано нетерпеливое желание скорее пуститься вперед. Этого мало: даже у лошадей их, приученных к сему промыслу, в глазах видно нетерпение скакать. Атаман, на которого все взоры устремлены, ходя около саней своих и приближаясь к ним как будто для того, чтоб садиться,

* По словам стариков, прежде так бывало много в Урале рыбы, что от напору оной учуг ломался и ее прогоняли назад пушечными выстрелами в берега.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и опять отходя, не раз заставляет их ошибаться в сигнале; наконец он действительно бросается в санки, дает знак, пускает во всю прыть лошадь свою, и за ним скачет всё собравшееся войско. Тут уже нет никакого порядка и никому пощады. Всякой старается опередить другого, и горе тому, кто по несчастию вывалится из саней. Если он не будет раздавлен, чему примеров мало помнят, то легко может быть изуродован.

«Прискакав к назначенному для ловли месту»*, все сани останавливаются; всякой выскакивает из них с наивозможною поспешностию, пробивает во льду небольшой проруб, и тотчас опускает в него багор свой. Картина, представляющаяся в сию минуту для зрителей с берегов Урала, обворожительна! Скорость, с каковою все казаки друг друга обгоняют, всеобщее движение, в которое всё приходит тотчас по приезде на место ловли, и в несколько минут возрастающий на льду лес багров, поражают глаза необыкновенным образом. Лишь только багры опущены, рыба, встревоженная шумом скачущих лошадей, поднимается с места, суетится и напирается на багры, опускаемые так, чтобы они на несколько вершков не доходили до дна. В изобильном месте, иногда, еще не пройдет четверти часа от начала багренья, как уже везде на льду видны трепещущие осетры, белуги, севрюги и пр. Если рыба, попавшаяся на багор, столь велика, что один не может ее вытащить, то он тотчас просит помощи, и товарищи его или соседы *подбагривают* ему. На каждый день багренья назначается рубеж, далее которого никто не должен ехать.

«После малого багренья ежегодно отправляют от лица войска некоторое количество наилучшей икры и рыбы ко двору. Приношение сие, как знак верноподданства, издавна существующее, называется *презентом*, или первым кусом. Для ловли такового презента обыкновенно назначается лучшее место или *етов*: и если в оной набагрят мало, то недостающее количество рыбы покупают на сумму войсковой канцелярии. Если же во время багренья для двора, поймают рыбы более, нежели нужно, то остальную запрещается несколько времени продавать, дабы ее не привезли в Петербург прежде посланной от войска. Офицеры,

---

* Места сии называются здесь *етовы* и замечаются осенью по множеству рыбы, которая, расположившись в них зимовать, при восхождении и захождении солнечном на поверхности воды показывается.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с презентом отправляемые, получают денежные награды от двора на путевые издержки, на ковш и саблю.

2-я рыбная ловля есть *весенняя плавня* или *севрюжное* рыболовство, так называемое потому, что в сие время попадаются почти только одни севрюги. Начинается она в апреле, тотчас по вскрытии льда под Уральском, и продолжается около двух месяцев по всему пространству Урала до моря. Для нее, так как и для всех прочих промыслов, назначается день, избирается атаман, и дается ему пушка, по выстрелу из которой все собравшиеся на промысел казаки пускаются с места в маленьких бударах, не помещающих в себе более одного человека, и каждый начинает выкидывать определенной длины сеть свою. Употребляемые в сие время сети состоят из двух полотен, одного редкого, а другого частого, дабы между ними запутывалась рыба, которая весною обыкновенно подымается из моря вверх по Уралу. Один конец таковой сети привязан к плавающему по воде боченку или куску дерева; а другой держит казак за две веревки. Для привала назначается рубеж, и против него на берегу ставка атаманская, близ которой все должны оканчивать ловлю. Окончание возвещается вечером опять пушечным выстрелом. Осетров и белуг, кои в сие время попадаются, по положению должно бросать назад в воду; ибо, во-первых, они тогда еще малы, во-вторых, слишком дешевы. Преступающих сие положение наказывают и отнимают у них всю наловленную рыбу.

3-я, *осенняя плавня*, начинающаяся 1 октября, оканчивается в ноябре; имеет то отличие от весенней, что, во-первых, в оной употребляются сети совсем другого рода, т. е. сплетенные на подобие мешка, которым рыбу как бы черпают*, во-вторых, при каждой из сетей сих, *ярыгами* называемых, находятся два человека в двух бударках по обеим сторонам. Начинают осенний промысел так же, как и прочие, под начальством особого атамана, из назначенного рубежа. Дабы один большою сетью или ярыгою не захватил более пространства и следовательно более рыбы, нежели другой, у коего сеть меньше, то определена однажды навсегда длина всех сетей. Когда на одном месте выловят всю рыбу, то опять собираются туда, где атаман, и едут далее до следующего рубежа, или, говоря языком казаков, делают другой *удар*.

---

* Это потому, что рыба в сие время избрала место на зимовку.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Осенняя плавня производится только с того места, где оканчивается багренье, т. е. верстах в 200 от Уральска и до моря*.

«4-я, неводами; начинают ловить зимою, также по назначению канцелярии; но не собранием, а по одиночке, кто где желает. Невод пропускается под льдом на шесте, который направляют, куда хотят, посредством прорубов.

«5-я, рыболовство *аханное* или *аханами*, т. е. особого рода сетями; производится около половины декабря и только в море, т. е. недалеко от Гурьева. В день, назначенный для начала сего промысла, начальник оного раздает всем желающим и имеющим право ловить участки по жребию. Участки все равны, т. е. каждому казаку отводится равное пространство на определенное число аханов определенной же меры. Чиновники получают по чинам своим по два, по три и более участков.

«Ахан, опущенный в море под лед, вешается в перпендикулярном к поверхности положении и придерживается на обоих краях и на средине тремя веревками или петлями, для коих делаются три проруба, и в кои вдевают палки или шестики на льду над прорубами лежащие.

«Установленные таким образом аханы требуют только того, чтоб промышленник от времени до времени подходил к ним, за средину подымал каждый из среднего проруба, или, как здесь говорят, *наслушивал*, и если по тяжести почувствует, что в нем уже запуталась какая-нибудь рыба, то вытаскивал бы его, снимал добычу и потом опять по-прежнему устанавливал. Сей способ ловли чрезвычайно выгоден для тех, которые занимаются оным; но, не допуская рыбы вверх Урала, он делает подрыв багренным промышленникам.

«6-я, *Курхайской лов* бывает обыкновенно весною и только в море, или, лучше сказать, на взморье. Он производится посредством сетей, которые в перпендикулярном к поверхности воды положении привязываются на концах и средине к трем шестам, вбитым в дно морское. Рыбу, идущую из моря и запутывающуюся в сии сети, снимают в лодки, на коих разъезжает промышленник около своих снастей.

«7-я, лов крючками, навешенными на веревку, которая также тремя петлями удерживаема бывает под льдом, менее всех сказанных значителен.

---

* Каждый казак имеет при сем лове у себя работника. За полутора или двумесячные труды должен он ему заплатить от 70 до 100 рублей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«О ловле удочками и пр., по маловажности, нечего и говорить».

С нынешнего 1821 года, по дозволению высшего начальства, в первый раз начали казаки рыбную ловлю в Чалкажском озере или по здешнему морце, за 80 верст от Уральска в киргизской степи находящемся.

Рыбы, попадающиеся в Урале в наибольшем количестве, суть: осетр, белуга, шип, севрюга, белая рыбица, судак, лещ, щука, берш, сазан, сом, головли. Осетры ловятся иногда пудов в 7, 8 и даже до 9. Белуги пудов в 20, 30, а редко и в 40; первые, чем больше, тем лучше и дороже; вторые чем больше, тем хуже и дешевле. Но вообще вся рыба теперь стала мельче прежнего от уменьшения вод в море и Урале. Цены икре и рыбе в багренье не имеют сравнения с ценами в весенний лов; в продолжение сего последнего они вчетверо ниже: ибо время года не позволяет сберегать рыбу иначе, как посолив ее.

Соль казаки уральские получают или из Индерского и Грязного соленых озер, находящихся недалеко от границы в степи киргизской, или из озер, по берегам Эмбы лежащих. Есть также и около Узеней небольшие соленые озера.

[8] Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с востоком. С благодарностию помещаем здесь сообщенный им отрывок из не изданной еще его книги о калмыках:

Нет сомнения в том, что *Убаши* и *Сэрын* предприняли возвратиться на родину по предварительному сношению с алтайскими своими единоплеменниками, исполненными ненависти к Китаю. Они, вероятно, думали и то, что сия держава, по покорении Чжуньгарии, вызвала оттуда свои войска обратно, а в Или и Тарбагтае оставила слабые гарнизоны, которые соединенными силами легко будет вытеснить; в переходе же чрез земли киргиз-казаков тем менее предполагали опасности, что сии хищники, отважные пред купеческими караванами, всегда трепетали при одном взгляде на калмыцкое вооружение. Одним словом, калмыки в мыслях своих представляли, что сей путь будет для них, как прежде всегда было, приятною прогулкою от песчаных равнин Волги и Урала до гористых вершин Иртыша. Но случилось совсем противное: ибо встретились такие обстоятельства, которые были вне всех предположений.

Чжуньгарское ойратство на востоке, некогда страш-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ное для Северной Азии, уже не существовало: и *волжские калмыки*, долго бывшие под российским владением, по выходе за границу, считались беглецами, коих российское правительство, преследуя оружием своим, предписало и киргиз-казакам на каждом, так сказать, шагу останавливать их вооруженною рукою. Китайское пограничное начальство, по первому слуху о походе *торготов* на восток, приняло с своей стороны все меры осторожности*, и также предписало казакам и кэргызцам не дозволять их проходить пастбищными местами; в случае же их упорства отражать силу силою. Мог ли хотя один кэргызец и казак остаться равнодушным при столь неожиданном для них случае безнаказанно грабить?

Российские отряды, назначенные для преследования беглецов, по разным причинам, зависевшим более от времени и местности, не могли догнать их. Бывшие яицкие казаки в сие самое время начали уже волноваться и отказались от повиновения. Оренбургские казаки хотя выступили в поход и в половине февраля соединились с Нурали, ханом Меньшой казачьей орды: но, за недостатком подножного корма, вскоре принуждены были возвратиться на границу. После обыкновенных переписок, требовавших довольного времени, уже 12 апреля выступил из Орской крепости отряд регулярных войск и успел соединиться с ханом Нурали: но калмыки между тем, подавшись более на юг, столько удалились, что сей отряд мог только несколько времени, и то издали, тревожить тыл их; а около Улу-тага, когда и солдаты и лошади от голода и жажды не в состоянии были итти далее, начальник отряда Траубенберг принужден был поворотить на север и чрез Уйскую крепость возвратиться на линию**.

Но киргиз-казаки, несмотря на то, вооружились с величайшею ревностию. Их ханы: Нурали в Меньшой, Аблай в Средней и Эрали в Большой орде, один за другим нападали на калмыков со всех сторон; и сии беглецы целый год должны были на пути своем беспрерывно сражаться, защищая свои семейства от плена и стада от расхищения.

---

* Китай содержит в Чжуньгарии охранных войск не более 35 000, которые растянуты по трем дорогам: от Кашгара до Халми, от Или до Баркюля и от Чугучака до Улясутая, на пространстве не менее 7000 верст; почему пограничное китайское начальство в Чжунгарии не могло спокойно смотреть на приближение волжских калмыков.

** См. опис. Кирг.-Кайс. орд и степей г. Левшина, ч. II, стр. 256.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Весною следующего (1772) года кэргызцы (буруты) довершили несчастие калмыков, загнав в обширную песчаную степь по северную сторону озера Балхати, где голод и жажда погубили у них множество и людей и скота.

По перенесении неимоверных трудностей, по претерпении бесчисленных бедствий, наконец калмыки приближились к вожделенным пределам древней их отчизны: но здесь новое несчастие представилось очам их. Пограничная цепь китайских караулов грозно преградила им вход в прежнее отечество, и калмыки не иначе могли проникнуть в оное, как с потерею своей независимости. Крайнее изнеможение народа принудило Убаши с прочими князьями поддаться китайской державе безусловно. Он вышел из России с 33.000 кибиток, в коих считалось около 169.000 душ обоего пола. При вступлении в Или из помянутого числа осталось не более 70.000 душ *. Калмыки в течение одного года потеряли 100. 000 человек, кои пали жертвою меча или болезней, и остались в пустынях Азии в пищу зверям, или уведены в плен и распроданы по отдаленным странам в рабство.

Китайский император предписал принять сих несчастных странников и новых своих подданных с примерным человеколюбием. Немедленно доставлено было калмыкам вспоможение юртами, скотом, одеждою и хлебом. Когда же разместили их по кочевьям, тогда для обзаведения еще было выдано им: лошадей, рогатого скота и овец 1.125.000 гол.; кирпичного чаю 20.000 мес. **, пшеницы и проса 20. 000 чет.; овчин 51.000; бязей*** 51. 000; хлопчатой бумаги 1. 500 пуд; юрт 400; серебра около 400 пуд.

Осенью того же года *Убаши* и князья *Цебок-Дорцзи*, *Сэрын*, *Гунгэ*, *Момыньту*, *Шара-Кэукынь* и *Цилэ-Мупир* препровождены были к китайскому двору, находившемуся в Жэхэ. Сии князья, кроме *Сэрына*, были ближайшие родственники хана *Убаши*, потомки *Чакдор Чжаба*, старшего сына хана *Аюки*. Один только *Цебок-Дорцзи* был правнук

---

* Так показал китайскому правительству *Убаши* с прочими князьями. В книжке: *Си-юй-Вынь-цзянь-лу* число бежавших из России калмыков увеличено. Ошибка сия произошла от того, что сочинитель упомянутой книжки писал свои записки по сказаниям простых калмыков. См. Опис. Чжуньг. и В. Туркест.—стр. 186 и след.

** Место или ящик содержит в себе 36 кирпичей или плиток чая, из коих каждая весит около $3^1/_2$ ф.

*** *Бязью* в Туркестане называется белая бумажная ткань, которая бывает неодинакой меры.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Гуньчжаба, младшего сына хана *Аюки*. *Убаши* получил титул Чжорикту Хана; а прочим князьям, в том числе и остававшимся в Или, даны разные другие княжеские титулы. Сии владельцы при отъезде из Жэхэ осыпаны были наградами; по возвращении же их в Или три дивизии из торготов размещены в Тарбагатае, или в Хурь-хара-усу, а *Убаши* с четырьмя дивизиями *торготов* и *Гуньгэ с хошотами* поселены в Харашаре по берегам Большого и Малого Юлдуса*, где часть людей их обязана заниматься хлебопашеством под надзором китайских чиновников**. Калмыки, ушедшие в китайскую сторону, разделены на 13 дивизий.

Российское правительство отнеслось к китайским министрам, чтоб, по силе заключенного между Россиею и Китаем договора, обратно выдали бежавших с Волги калмыков; но получило в ответ, что китайский двор не может удовлетворить оной просьбы по тем же самым причинам, по которым и российский двор отказал в выдаче *Сэрына*, ушедшего из Чжуньгарии на Волгу, для спасения себя от преследования законов.

Впрочем волжские калмыки, повидимому, вскоре и сами раскаялись в своем опрометчивом предприятии. В 1791 году получены с китайской стороны разные известия, что калымки намереваются возвратиться из китайских владений, и по прежнему отдаться в российское подданство. Вследствие оных известий уже предписано было сибирскому начальству дать им убежище в России и поселить их на первый случай в Колыванской губернии***.

Но кажется, что калмыки, быв окружены китайскими караулами и лазутчиками, и разделены между собою значительным пространством, не имели никакой возможности к исполнению своего намерения.

[9] Полевые команды состояли из 500 человек пехоты, конницы и артиллерийских служителей. В 1775 году они заменены были губернскими баталионами.

[10] Умет—постоялый двор.

---

* В Вост. Туркестане от Или на юго-восток.

** Возвращение *торготов* из России в Чжуньгарию описано в *Синь-цзянь-чжи-лао*: начальной тетради на лист. 51—56.

*** См. Полн. собр. росс. зак. Т. XXIII, № 16937.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ВТОРОЙ

[1] Пугачев на хуторе Шелудякова косил сено. В Уральске жива еще старая казачка, носившая черевики его работы. Однажды, нанявшись накопать гряды в огороде, вырыл он четыре могилы. Сие обстоятельство истолковано было после как предзнаменование его участи.

[2] Малыковских управительских дел земский Трофим Герасимов и Мечетной слободы смотритель Федот Фадеев, и сотник Сергей Протопопов, в бытность его в Мечетной слободе, письменно объявили: Мечетной слободы крестьянин Семен Филипов был в Яицке за покупкою хлеба, а ехал оттуда с раскольником Емельяном Ивановым. Сей в городке Яицке подговаривал казаков бежать на *реку Лобу*, к турецкому султану, обещая по 12 рублей жалованья на человека, объявляя, что у него на границе оставлено до 200 тысяч рублей, да товару на 70 тыс., а по приходе их паша-де даст им до 5 миллионов. Некоторые казаки хотели было его связать и отвести в комендантскую канцелярию, но он-де скрылся и находится вероятно в селе Малыковке.

Вследствие сего вышедший из-за польской границы с данным с Добрянского форпосту пашпортом для определения на жительство по реке Иргизу, раскольник Емельян Иванов был найден и приведен ко управительским делам выборным Митрофаном Федоровым, и Филаретова раскольничьего скита иноком Филаретом, и крестьянином Мечетной слободы Степаном Васильевым с товарищи,— оказался *подозрителен, бит кнутом;* а в допросе показал: что он Зимовейской служилый казак Емельян Иванов Пугачев, от роду 40 лет; с той станицы бежал великим постом сего 72 года в слободу Ветку за границу, жил там недель 15, явился на Добрянском форпосте, где сказался вышедшим из Польши; и в августе месяце, высидев тут 6 недель в карантине, пришел в Яицк и стоял с неделю у казака Дениса Степанова Пьянова. А всё-де говорил он пьяный, а об подданстве султану, и встрече пашею и 5 мил. не говаривал,—а имел-де он намерение в *Симбирскую провинциальную* канцелярию явиться, для определения к жительству на реке Иргизе. По резолюции дворцовых дел был он отправлен под караулом с мужиками малыковскими, а сообщено сие в коменд. канцелярию, учрежденную в городе Яицке 19 декабря 1772. *(Промемория от дворцовых малыковских дел в комендантскую канцелярию, учрежденную в городе Яицке, декабря 18, 1772 года, поданная смотрителем Иваном Расторгуевым.)*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Крестьянин Семен Филипов содержался под караулом до самого 1775 года. По окончании следствия над Пугачевым и его сообщниками, велено было его освободить и сверх того, о награждении его, Филипова, яко доносителя в Малыковке о начальном прельщении злодея Пугачева, представить на рассмотрение правительствующему сенату. *(См. сентенцию 10 января 1775 года.)*

[3] «Оному Пугачеву, за побег его за границу в Польшу и за утайку по выходе его оттуда в Россию о своем названии, а тем больше за говорение возмутительных и вредных слов, касающихся до побега всех яицких казаков в Турецкую область, учинить наказание плетьми и послать, так как бродягу и привыкшего к праздной и продерзкой жизни, в город Пелым, где употреблять его в казенную работу. 6 мая 1773». *(Записки о жизни и службе А. И. Бибикова.)*

[4] Форпост Будоринский в 79 верстах от Яицкого городка.

[5] Илецкий городок в 145 верстах от Яицкого городка и в 124 от Оренбурга. В нем находилось до 300 казаков, Илецкие казаки были тут поселены статским советником Кириловым, образователем Оренбургской губернии.

[6] Крепость Рассыпная, выстроенная при том месте, где обыкновенно перебирались киргизцы в брод через Яик. Она находится в 25 верстах от Илецкого городка, а в 101 от Оренбурга.

[7] В 1773 году Оренбургская губерния разделялась на четыре *провинции*: Оренбургскую, Исетскую, Уфимскую и Ставропольскую. К первой принадлежали дистрикт (уезд) Оренбургский, и Яицкой городок со всеми форпостами и станицами, до самого Гурьева, также и Бугульминская земская контора. Исетская провинция заключала в себе Зауральскую Башкирию и уезды Исетской, Шадринский и Окуневский; Уфимская провинция—уезды Осинский, Бирский и Мензелинский. Ставропольскую провинцию составлял один обширный уезд. Сверх сего, Оренбургская губерния разделялась еще на восемь *линейных дистанций* (ряд крепостей, выстроенных по рекам Волге, Самаре, Яику, Сакмаре и Ую); сии дистанции находились под ведомством военных начальников, пользовавшихся правами провинциальных воевод. *(См. Бишинга и Рычкова.)*

[8] Ставропольская канцелярия ведала дела крещеных калмыков, поселенных в Оренбургской губернии.

[9] Нижне-Озерная находится в 19 верстах от Рассыпной и в 82 от Оренбурга. Она выстроена на высоком берегу Яика. — Память капитана Сурина сохранилась в солдатской песне:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Из крепости из Зерной,
На подмогу Рассыпной,
Вышел капитан Сурин
Со командою один, и проч.

[10] Неизвестный автор краткой исторической записки: Histoire de la révolte de Pougatschef [1], рассказывает смерть Харлова следующим образом:

Le major Charlof avait épousé, quelques semaines, la fille du colonel Jélagin, jeune personne très aimable. Il avoit été dangereusement blessé en défendant la place et on l'avoit rapporté chez lui. Lorsque la forteresse fut prise, Pougatschef envoya chez lui, le fit arracher de son lit et emmener devant lui. La jeune épouse, au désespoir, le suivit, se jeta aux peids du vainqueur, et lui demanda la grâce de son mari.—Je vais le faire pendre en ta présence,—répondit le barbare. A ces mots, la jeune femme verse un torrent de larmes, embrassa de nouveau les pieds de Pougatschef et implora sa pitié; tout fut inutile et Charlof fit pendu à l'instant même en présence de son épouse. A peine eut-il expiré que les cosaques se saisirent de la femme et la forcèrent d'assouvir la passion brutale de Pougatschef.—Автор находит тут невероятности и пускается в рассуждения. Les peuples les plus barbares respèctent les moeurs jusqu'à un certin point, et Pougatschef avoit trop de bon sens pour commettre devant ses soldats etc. [2].

---

[1] <История восстания Пугачева.>

[2] <Майор Харлов несколько недель тому назад женился на дочери полковника Елагина, очень милой молодой особе. Он был опасно ранен, защищая крепость, и его отнесли домой. Когда крепость была взята, Пугачев послал к нему, велел стащить его с кровати и привести к себе. Молодая жена, в отчаянии, последовала за ним, бросилась к ногам победителя и просила о помиловании мужа.—Я его повешу на твоих глазах,—ответил варвар. При этих словах молодая женщина, проливая потоки слез, снова обняла ноги Пугачева, умоляя о милосердии; всё было напрасно, и Харлов был тут же повешен на глазах у жены. Едва он испустил дух, как казаки бросились на его жену и принудили ее удовлетворить грубую страсть Пугачева... Даже самые варварские народы считаются до известной степени с требованиями нравственности и у Пугачева было слишком много здравого смысла, чтобы он мог совершить в присутствии своих солдат и т. д.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Болтовня; но вообще вся записка замечательна, и вероятно, составлена дипломатическим агентом, находившимся в то время в Петербурге.

[11] Крепость Татищева при устье реки Камыш-Самары основана Кириловым, образователем Оренбургской губернии, и названа от него Камыш-Самарою. Татищев, заступивший место Кирилова, назвал ее своим именем: *Татищева пристань*. Находится в 28 верстах от Нижне-Озерной и в 54 (прямой дорогою) от Оренбурга.

[12] Чернореченская в 36 верстах от Татищевой и в 18 от Оренбурга.

[13] Сакмарской город, основанный при реке Сакмаре, находится в 29 в. от Оренбурга. В нем было до 300 казаков.

[14] Показание крестьянина Алексея Кирилова от 6 октября 1773 года. (*Из Оренбургского архива.*)

[15] Повешены два курьера, ехавшие в Оренбург, один из Сибири, другой из Уфы, гарнизонный капрал, толмач-татарин, старый садовник, некогда бывший в Петербурге и знавший государя Петра III, да приказчик с рудников Твердышевских.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ

[1] См. Приложения, I [1].

[2] Журнал осаде, веденный в губернаторской канцелярии, помещен в любопытной рукописи академика Рычкова. Читатель найдет ее в Приложении. Я имел в руках три списка, доставленные мне гг. Спасским, Языковым и Лажечниковым.

[3] Билов выступил из Оренбурга 24 сентября. В этот день губернатор давал у себя бал. Весть о Пугачеве разошлась на бале.

[4] Сержант сей назывался Иван Костицын. Участь его неизвестна. Его допрашивал подполковник В. Могутов.

[5] См. Приложения, III.

[6] В донесении малыковской земской конторы сказано о Пугачеве: *оказался подозрителен, бит кнутом*. См. в Примечаниях на II главу, примечание 2.

[7] Падуров, в последствии времени повешенный, писал Мартемьяну Бородину, увещевая его покориться Пугачеву: «А ныне вы называете его (самозванца) донским казаком

---

[1] <«Документальные приложения», составляющие 2-ю часть «Истории Пугачевского бунта», в настоящем издании не перепечатываются.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Емельяном Пугачевым и яко бы у него ноздри рваные и лейменой. А по усмотрению моему, у него тех признаков не имеется».

[8] По совету одного из чиновников (говорит Рычков).

[9] Меновый двор, на котором с азиатскими народами, чрез всё лето до самой осени, торг и мена производятся, построен на степной стороне реки Яика, в виду из города, расстоянием от берега версты с две; ближе строить его было невозможно, потому что прилегло всё место низменное и водопоемное. В нем находится пограничная таможня; лавок вокруг всего двора 246, да анбаров 140. Внутри же построен особый двор для азиатских купцов с 98 лавками и 8 анбарами. В 1762 году полавочных денег взималось 4854 рубля. Меновый двор укреплен батареями. *(Топография Оренбургской губернии.)*

[10] Der kläglichste Zustand des Orenburgischen Gouvernements ist weit kritischer als ich ihn beschreiben kann, eine reguläre feindliche Armee von zehntausend Mann würde mich nicht in Schrecken setzen, allein ein Verräther mit 3000* Rebellen macht ganz Orenburg zittern — — — Meine aus 1200 Mann bestehende Garnisonist noch das einzige Komando worauf ich mich verlasse, durch die Gnade des Höchsten haben wir 12 Spions aufgefangen etc [1]. *(Письмо Рейнсдорпа к гр. Чернышеву от 9 октября 1773.)*

[11] *Бердская казачья слобода*, при реке Сакмаре. Она обнесена была оплотом и рогатками. По углам были батареи. Дворов в ней было до двухсот. Жалованных казаков считалось до ста. Они имели своего атамана и особых старшин.

[12] В городе убито 7 человек, в том числе одна баба, шедшая за водой.

[13] В другой раз Пугачев, пьяный, лежа в кибитке, во время бури сбился с дороги и въехал в Оренбургские ворота. Часовые его окликали. Казак Федулев, правивший лошадьми, молча поворотил и успел ускакать. Федулев, недавно умерший, был один из казаков, предавших самозванца в руки правительства.

---

* Рейнсдорп в сем числе не считает башкирцев.

[1] <Плачевное положение Оренбургской губернии еще ужаснее, чем я могу описать; меня бы не испугала регулярная вражеская армия в 10 тысяч человек, а между тем один предатель с тремя тысячами мятежников держит в трепете весь Оренбург — — — Мой гарнизон, состоящий из 1200 человек—единственная военная сила, на которую я могу положиться. По милости всевышнего, мы поймали 12 шпионов и т. д.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[14] Слышано мною от самого Дмитрия Денисовича Пьянова, доныне здравствующего в Уральске.

[15] Кажется, Пугачев и его сообщники не полагали важности в этой пародии. Они в шутку называли также Бердскую слободу—Москвою, деревню Каргале—Петербургом, а Сакмарской городок—Киевом.

[16] Так пишет Кар в письме к графу Чернышеву от 11 ноября 1773.

[17] Овяно-Петровский завод принадлежал купцу Твердышеву, человеку предприимчивому и смышленому. Твердышев нажил свое огромное имение в течение семи лет. Потомки его наследников суть доныне одни из богатейших людей в России.

[18] Деревня Юзеева во 120 верстах от Оренбурга.

[19] То есть, депутат в комиссии составления нового уложения. Депутатов было 652 человека. Им розданы были, для ношения в петлице, на золотой цепочке золотые овальные медали, с изображением на одной стороне вензелевого и. в. имени, а на другой пирамиды, увенчанной императорскою короною, с надписью: *Блаженство каждого и всех;* а внизу: *1766 год, декабря 14 день.*

[20] Из сего калмыцкого полковника сделали капитана Калмыкова.

[21] При сем сражении пойман был один из первых зачинщиков бунта, Данила Шелудяков. Старый наездник принял оренбургских казаков за своих, и подскакал к ним с повелениями. Казак схватил его за ворот; Пугачев, некогда живший у него в работниках, любил его и звал своим отцом. На другой день, не нашед его между убитыми, многие подъезжали к городу и требовали его выдачи. Дня через два, перед светом, три человека подъехали к городскому валу и требовали опять Шелудякова. Им отвечали: приведите к нам и сына его (Пугачева), и обещали за то 500 рублей награждения. Они отъехали молча. Шелудяков был пытан, и умер дней через пять.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОЙ

[1] У Декалонга со Станиславским было до 5000 войска. Но все они были растянуты на великом пространстве от крепости Верхоянцкой до Орской. Декалонг их не сосредоточил, боясь оставить линейные крепости без обороны.

[2] Орская крепость на степной стороне реки Яика, в двух верстах от реки Ори, выстроена в 1735 году под названием Оренбурга. Она имела изрядные земляные укрепле-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ния. В ней всегда находился командир Оркой дистанции и двойное число гарнизона, по причине близкочующих орд.

[3] Корф, после сражения 14 ноября, подсылал к Пугачеву казака с предложениями о сдаче Оренбурга и с обещанием выдти к нему навстречу. Пугачев осторожно подъезжал к Оренбургу и, усомнясь в искренности предложений, скоро возвратился в Берду.

[4] Рейнсдорп, потеряв надежду победить Пугачева силой оружия, пустился в полемику не весьма приличную. В ответ на дерзкие увещания самозванца он послал ему письмо, с следующею надписью: *Пресущему злодею и от бога отступившему человеку, сатанину внуку, Емельке Пугачеву.* Секретари Пугачева не остались в долгу. Помещаем здесь письмо Падурова, как образец канцелярского его слога. «Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну. Пресквернoе ваше увещевание здесь получено, за что вас, яко всесквернoго общему покою ненавистника, благодарим. Да и сколько ты себя, по действу сатанину, ни ухищрял, однако власть божию не перемудришь. Ведай, мошенник: известно (да и по всему тебе, бестия, знать должно), сколько ты ни пробовал своего всесквернoго щастия, однако щастие ваше служит единому твоему отцу, сатане. Разумей, бестия, хотя ты по действу сатанину во многих местах капканы и расставил, однако ваши труды остаются вотще, а на тебя здесь хотя веревочных не станет петель, а мы у Мордвина, хоть гривну дадим, мочальных (возмем), да на тебя веревку свить можем; не сумневайся, мошенник, из б... сделан. Наш всемилостивейший монарх, аки орел поднебесный, во всех армиях на один день бывает; а с нами всегда присутствует. Да и — б мы вам советовали, оставя свое невредие, придти к нашему чадолюбивому отцу и всемилостивейшему монарху; егда придешь в покорение, сколько твоих озлоблений ни было, не только во всех *извинениях* всемилостивейше прощает, да и сверх того вас прежнего достоинства не лишит; а здесь не безызвестно, что вы и мертвечину в честь кушаете, и тако объявя вам сие, да и пребудем по склонности вашей ко услугам готовы. Февраля 23 дня 1774 года».

[5] Я не имел случая читать эту речь. Помещаем письмо, сочиненное также Державиным по тому же поводу.

«Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобедимая императрица!

«Дражайшее нам и потомкам нашим неоцененное слово, сей приятный и для позднейшего рода казанского дворянства фимиам, сей глас радости, вечной славы нашей и вечного нашего веселия, в высочайшем вашего император-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ского величества к нам благоволении слыша, кто бы не получил из нас восторга в душу свою, чье бы не возыграло сердце о толиком благополучии своем? Облиста нас в скорби нашей и печали свет милосердия твоего! А потому, если бы кто теперь из нас не радовался, тот бы по истине еще худо изъявил усердие свое отечеству и вашему императорскому величеству, даянием некоторой части имения своего на составление корпуса нашего. И бысть угодна наша жертва перед тобою; се счастие наше, се восхищение душ наших!

«Но, всемилостивейшая государыня, ваше императорское величество обыкнуть соизволили взирать на малые знаки усердия, как на великие; изливая окрест престола щедроты благоутробия своего, изливаете оные и в страны отдаленные; осиявая лучами милости своея всех купно и всех везде своим человеколюбием милуете; а потому конечно и посильное даяние долга нашего, собственно самим же нам нужное, ваше императорское величество, толь милостиво и благоугодно нас принять соизволили, «*Сей есть прямо образ мыслей благородных*, ваше императорское величество в честь нам сказать изволили. Что ж мы из самого высочайшего нам признания заключить должны? Не сущее ли одно токмо матернее побуждение к исполнению долга нашего? Не милосердие ли одно? За то мы похвалу получаем, что истинное дело наше! но кроме особливыя и заслугу превышающия почести, хвалится ли за то священнослужитель, что он всенародно бога молит? Кроме неописанныя вашего императорского величества к нам милости достойны ли мы дворяне за то похвалы особливой, что они хотят защищать свое отечество? Они суть щит его, они подпора престола царского. Пепел предков наших вопиет к нам и зовет нас на поражение самозванца. Глас потомства уже укоряет нас, что в век преславной, великой Екатерины могло возникнуть зло сие; кровь братий наших, еще дымящаяся, устремляет нас на истребление злодея. Что ж мы медлили? Чего давно не доставало нам, дабы совокупно поставить грудь свою противу хищника? Ежели душа у дворянина есть, то все у него есть ко ополчению. Чего же не доставало? не усердия ли нашего? Нет! мы давно горели им, мы давно собиралися и хотели пренебречь жизнь свою; а теперь, по милости вашего императорского величества, есть у нас и согласитель мыслей наших. Руководством его составился у нас корпус. Избранный в нем начальник трудится, товарищи его усердствуют, все в порядке. Имение наше готово на пожертвование.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кровь наша на излияние, души наши на положение; умрем,—кто не имеет мыслей сих, тот не дворянин.

«Но сколь ни велик восторг должности нашей, сколь ни жарко рвение сердец наших, однако слабы бы были силы наши на истребление гнусного врага нашего, если б ваше императорское величество не ускорили войсками своими в защищение наше, а паче всего присылкою к нам его превосходительства Александра Ильича Бибикова. Может быть, мы бы были и по сю пору в нерешимости составить корпус наш, ежели б не он подал нам свои благоразумные советы. Он приездом своим рассыпал туман уныния, носящегося над градом здешним. Он ободрил души наши. Он укрепил сердца, колеблющиеся в верности богу, отечеству и тебе, всемилостивейшая государыня; словом сказать он оживотворил страну, почти умирающую. Величие монарха паче познается в том, что он умеет разбирать людей и употреблять их во благовремении; то и в сем не оскудевает вашего императорского величества тончайшее проницание; на сей случай здесь надобен министр, воин, судия, чтитель святыя веры. По прозорливому вашего императорского величества изволению, мы всё сие в Александре Ильиче Бибикове видим; за всё сие из глубины сердец наших любомудрой душе твоей восписуем благодарение.

«Но едва успеваем сказать здесь, всемилостивейшая государыня, вашему императорскому величеству крайние чуствия искренности нашей за милости твои; едва успеваем воскурить пред образом твоим, великая императрица, нам священным и нам любезным, кадило сердец наших за благоволения твои; уже мы слышим новый глас, новые от тебя радости нового нам твоего великодушия и снисхождения. Что ты с нами делаешь? в трех частях света владычество имеющая, славимая в концах земных, честь царей, украшение корон, из боголепия величества своего, из сияния славы своея, снисходишь и именуешься нашею *казанскою помещицею!* о радости для нас неизглаголанной, о счастия для нас неокончаемого! се прямо путь к сердцам нашим! се преславное превозношение праху нашего и потомков наших. Та, которая дает законы полвселенной, подчиняет себя нашему постановлению! Та, которая владычествует нами, подражает нашему примеру! тем ты более, тем ты величественнее.

«И так, исполнением долга нашего хотя мы не заслуживаем особливого вашего императорского величества нам признания, любезного и нам дражайшего товарищества твоего; однако высочайшую волю твою разверстым принима-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ем сердцем и почитаем благополучием, начертаваем неоцененные слова благоволения твоего с благоговением в память нашу. Признаем тебя своею помещицею, принимаем тебя в свое сотоварищество. Когда угодно тебе, равняем тебя с собою. Но за сие ходатайствуй и ты за нас у престола величества твоего. Ежели где силы наши слабы совершить усердие наше, помогай нам и заступай нас у тебя. Мы более на тебя, нежели на себя, надеемся.

«Великая императрица! чем же воздадим мы тебе за твою матернюю любовь к нам, за сии твои несказанные нам благодеяния? Наполняем сердца наши токмо вящшим воспламенением искоренить из света злобу, царства твоего недостойную. Просим царя царей, да подаст он нам в том свою помощь, а вашему императорскому величеству, истинной матери отечества, с любезным вашего императорского величества сыном, с сею бесценною надеждой нашею, и с дражайшею его супругою, в безмятежном царстве, многие лета благоденствия».

[6] Монахиня Евпраксия Кириловна, бабка Александра Ильича. Он ею был воспитан; в семействе своем почиталась она праведною.

[7] См. в Приложении письмо Бибикова к графу Чернышеву от 24 января 1774 года.—5 января того же года писал он к Философову: «Терпение мое час от часу становится короче, в ожидании полков, ибо ежечасно получаю страшные известия; с другой же стороны, что башкирцы с всякою сволочью партиями разъезжают, заводы и селения грабят и делают убийства. Воеводы и начальники отовсюду бегут с устрашением, и глупая чернь охотно на обольщение злодейское бежит навстречу к ним же. Не могу тебе, мой друг, подробно описать бедствие и разорение здешнего края, следовательно, суди и о моем по тому положении. Скареды и срамцы здешние гарнизоны всего боятся, никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки, и только что рапорты страшные присылают. Пугачевские дерзости и его сообщников из всех пределов вышли; всюду посылают манифесты, указы. День и ночь работаю как каторжный, рвусь, надседаюсь и горю как в огне адском; но варварству предательств и злодейству не вижу еще перемены, не устает злость и свирепство, а можно ли от домашнего врага довольно охраниться, всё к измене, злодейству и к бунту на скопищах. Бог один всемогущ, обратит всё сие в лучшее. Я при моих заботах непрестанно его прошу, и проч.

[8] Снег в Оренбургской губернии выпадает иногда на три аршина.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[9] См. в Приложении письмо Бибикова к графу Чернышеву.

[10] Не должно терять из виду тогдашнее разделение государства на губернии и провинции.

[11] В 1774 году уведено в плен киргизцами до 1380 человек.

[12] См. в Записках Храповицкого (в 1791 году) весьма любопытный разговор государыни о Густаве III.

[13] См. Переписку Вольтера с императрицею.

[14] Помещаем здесь показания жены Пугачева, Софьи Дмитриевой, в том виде, как они были представлены в Военную Коллегию.

Описание известному злодею и самозванцу какого он есть свойства и примет, учиненное по объявлению жены его, Софьи Дмитриевой.

1. Мужа ее, войска Донского, Зимовейской станицы служилого казака, зовут Емельян Иванов сын, прозывается Пугачевым.

2. Отец его родной был той же Зимовейской станицы служилой казак, Иван Михайлов сын Пугачев же, который в давних годах умре.

3. Тому мужу ее ныне от роду будет лет сорок, лицом сухощав, во рту верхнего спереди зуба нет, который он выбил салаской*, еще в малолетстве в игре, а от того времени и до ныне не вырастает. На левом виску от болезни круглый белый признак, от лица совсем отменный, величиною с двукопеечник; на обеих грудях, назад тому третий год, были провалы, отчего и мнит она, что быть надобно признакам же. На лице имеет желтые конопатины; сам собою смугловат, волосы на голове темно-русые, по-казацки подстригал, росту среднего, борода была клином, черная, небольшая.

4. Веру содержал истинно православную; в церковь божию ходил, исповедовался и святых таин приобщался, на что и имел отца духовного, Зимовейской же станицы священника Федора Тихонова; а крест ко изображению совокуплял большой с двумя последними пальцами.

5. Женился тот муж ее на ней, и она шла, оба первобрачные, назад тому лет с 10, и с которым и прижили детей пятерых, из коих двое померли, а трое и теперь в живых. Первый сын Трофим десяти лет, да дочери вторая Аграфена по седьмому году, а третья Христина по четвертому году.

---

* Технический термин у кулачных бойцов, значит удар по челюстям.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

6. Оный же муж ее, назад тому три года, послан на службу во вторую армию, где и был два года, и оттуда, ныне другой год, за грудною болезнию, о которой выше значит, по весне отпущен, а посему и был в доме одно лето, в которую бытность и нанял вместо себя в службу в Бахмуте на Донце казака, а как его звать и прозвания, да и где теперь находится, не знает;—а после сего

7. В октябре месяце 772 года он, оставивши ее с детьми, неведомо куда бежал, и где был, и какие от него происходили дела, об оном, как он ничего не сказывал, так и сама не знала; а

8. 773 года, в великом посту, тот муж ее тайным образом пришел к хуторскому их дому вечером под окошко, которого она и пустила; но того ж самого часа объявила казакам, а они, взявши его, повели к станичному атаману, а он-де отправил в Верхнюю Чирскую станицу, к старшине, но о имени его не упомнит, а оттуда в Черкаской; но не довезя однакож до оного, в Цымлянской станице бежал и потому, где теперь находится, не ведает.

9. Во время ж той мужа ее поимки, сказывал он атаману и на сборе всем казакам, что был в Моздоке, но что делал, потому ж не знает.

10. Писем он к ней, как с службы из армии, так и из бегов своих никогда не присылывал; да и чтоб в станицу их или к кому другому писал, об оном не знает; он же вовсе и грамоте не умеет.

11. Что же муж ее точно есть упоминаемый Емельян Пугачев, то сверх ее самоличного с детьми сознания и уличения, могут в справедливость доказать и родной его брат Зимовейской же станицы казак Дементий Иванов сын Пугачев (который ныне находится в службе в 1-й армии), да родные ж сестры, из коих первая Ульяна Иванова, коя ныне находится в замужестве той же станицы за казаком Федором Григорьевым, по прозванию Брыкалиным, а вторая Федосья Иванова, которая также замужем за казаком из Прусак Симоном Никитиным, а прозвания не знает, кой ныне жительство имеет в Азове, которые все мужа ее также знают довольно.

12. Речь и разговор муж ее имел по обыкновению казацкому, а иностранного языка никакого не знал.

13. Домом они жили в Зимовейской станице своим собственным, который по побеге мужа (что дневного пропитания с детьми иметь стало не от чего) продала за 24 руб. за 50 коп. Есауловской станицы казаку Ереме Евсееву на слом, который его в ту Есауловскую станицу по сломке и перевез; а ныне особою командою паки в Зимовейскую

Пушкинский кабинет ИРЛИ

станицу перевезен и на том же месте, где он стоял и они жили, сожжен; а хутор их, состоящий так же неподалеку Зимовейской станицы, сожжен же.

14. Сама же та Пугачева жена, казачья дочь, и отец ее был Есауловской станицы служилый казак, Дмитрий, по прозванию Недюжин, а отчества не припомнит, потому что она после него осталась в малолетстве, и после ж которого остались и теперь вживе находятся, дочери его, а ей сестры родные, первая Анна Дмитриева, в замужестве Есауловской станицы за казаком Фомою Андреевым, по прозванию Пилюгиным, который и находится в службе тому ныне 8-й год, а в которой армии, не знает. Вторая Василиса Дмитриева, в замужестве также Есауловской станицы за казаком Григорием Федоровым по прозванию Махичевым; да третий сын отца ее, а ей брат родной Иван Дмитриев, по прозванию Недюжин, живет в Есауловской же станице служилым казаком, и по отъезде ее в здешнее место, был при доме своем и к наряду в службу в готовности.

Прилагаю не менее любопытное извлечение из показания бывшего в 1771 году Зимовейской станицы атаманом отставного казака Трофима Фомина:

«В 1771 году, в феврале месяце, Емельян Пугачев отбыл в город Черкаск для излечения болезни, со взятым у меня станичным билетом и через месяц возвратился на карей лошади. На допрос мой, где он ее достал, отвечал он: на станичном сборе, что купил в Таганрожской крепости конного казацкого полку у казака Василия Кусачкина. Но казаки, не поверя ему, послали его взять письменный вид от ротного командира. Пугачев и поехал, но пред его возвращением зять его, Прусак, бывший Зимовейской станицы казак, а ныне состоящий в Таганрогском казацком полку, явился у нас, и на станичном сборе показал, что он с женою и Василий Кусачкин, да еще третий, по уговору Пугачева, бегали за Кубань на Куму реку, где он (Прусак), побывав малое время, оставил их и возвратился на Дон По чему и отправил я при станичном рапорте в Черкаск Прусака с *женою* и родною *ее* матерью, по причине их побега. В декабре того же года Пугачев был пойман в его хуторе и содержался под караулом. Намерен был я его, как праздношатающегося, выдать находящемуся тогда в сыске и высылке беглых всякого звания людей, старшине Михайле Макарову. Но Пугачев со станичной избы из-под караула бежал, и уже чрез три месяца на том же хуторе пойман, и показал на станичном сборе, что был в Моздоке, почему при рапорте и послан мною к старшине Макарову в нижнюю Черкаскую станицу, а

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сей чрез нашу станицу послал уже его при рапорте в Черкаск. Когда его провели, увидя по подорожной, что послан он был в колодке, которой на нем уже не было, приказал я ему набить другую, и отослал его в верхнюю Курмоярскую станицу, от которой в принятии оного Пугачева расписку получил. Через две недели спустя, от старшины Макарова по всем станицам прислано было объявление, что оный Пугачев бежал с дороги, и не иначе ежели явится где, изловить; а как он бежал, не знаю».

За неумением грамоте, Василий Ермолаев руку приложил.

[15] Г. Левшин пишет, что самозванец показывал сии пятна легковерным своим сообщникам и выдавал их за какие-то царские знаки. Оно не совсем так: самозванец, хвастая, показывал их, как знаки ран, им полученных.

[16] Многие и воспользовались сим разрешением; несмотря на то, история Пугачевского возмущения мало известна. В Записках о жизни и службе А. И. Бибикова мы находим самое подробное известие об оном, но сочинитель довел свой рассказ только до смерти Бибикова. Книжка, изданная под заглавием: *Михельсон в Казани*, есть не что иное, как весьма любопытное письмо архимандрита Платона Любарского, напечатанное почти без всякой перемены, с приобщением незначущих показаний. Г. Левшин в своем, Историческом и статистическом обозрении уральских казаков слегка коснулся Пугачева. Сей кровавый и любопытный эпизод царствования Екатерины мало еще известен.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЯТОЙ

[1] Крещеные калмыки, поселенные в Оренбургской губернии, разделялись на оренбургских и ставропольских. См. в Рычкове (в его Оренбургской топографии) подробное о них известие.

[2] Державин, в объяснениях на свои сочинения, говорит, что он имел счастие освободить около полуторы тысячи пленных колонистов от киргизов. Державин написал свои Записки, к сожалению, еще неизданные.

[3] Бунтовавшие башкирцы жестоко усмирены были генерал-лейтенантом князем Урусовым, прозванным, как Силла, счастливым, ибо всё ему удавалось.

[4] См. в Приложении письмо Бибикова к фон-Визину. Письмо сие, вместе с другими драгоценными бумагами, доставлено было родственниками и наследниками фон-Визина князю Вяземскому, занимавшемуся биографией автора Недоросля. Надеемся в непродолжительном вре-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мени издать в свет сие замечательное по всем отношениям сочинение.

[5] Малолеток, не достигший 14-тилетнего возраста.

[6] Илецкая Защита находится от Оренбурга в 62 верстах в степи за рекою Уралом, на самом том месте, где добывается славная илецкая соль. «Добывание оной соли», пишет Рычков, «уже издавна на том месте, сперва от башкирцев, а потом и от крепостных обывателей, чинилось, но о построении сей крепости определение учинено уже в прошлом 1753 году октября 26 числа, по состоявшемуся в правительствующем сенате того ж 1753 года мая 24 числа указу, коим в Оренбурге и в принадлежащих к оному новых крепостях и селениях учредить казенные соляные магазины и продажу илецкой и эбелейской соли чинить по тогдашней указанной цене по 35 коп. пуд; для чего тогда ж и соляное правление в городе Оренбурге учреждено. Явившийся тогда подрядчик, оренбургских казаков сотник Алексей Углицкой, обязался той соли заготовлять и ставить в оренбургской магазин четыре года, на каждый год по пятидесяти тысяч пуд, а буде вознадобится то и более, ценою по 6 коп. за пуд, своим коштом, а сверх того в будущий 1754 год, летом построить там своим же коштом, по указанию от инженерной команды, небольшую защиту оплотом с батареями для пушек, тут же сделать несколько покоев и казарм для гарнизону и провиантской магазин, и на все жилые покои в осеннее и зимнее время ставить дрова, а провиант, сколько б там войсковой команды ни случилось, возить туда из Оренбурга на своих подводах, что всё и учинено, и гарнизоном определена туда из Алексеевского пехотного полка одна рота в полном комплекте; а иногда по случаям и более военных людей командируемо бывает, для которых, яко же и для работающих в добывании той соли людей (коих человек ста по два и более бывает), имеется там церковь и священник с церковными служителями. *(Топография Оренбургская.)*

[7] Тоцкая крепость, при устье реки Сороки, в 206 верстах от Оренбурга. Выстроена при Кирилове, в 1736 году.— Сорочинская крепость, главная на самарской дистанции, в 176 верстах от Оренбурга и в 30 от Тоцкой.

[8] Крепость Новосергиевская от Сорочинской в 40, а от Оренбурга в 136 верстах. Выстроена при тайном советнике Татищеве, под именем *Тевкелева Брода*, и переименована при Неплюеве в Новосергиевскую.

[9] Переволоцкая, большою дорогою в 78 верстах от Оренбурга, а прямо степью в 60. Выстроена в верховье реки Самары.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[10] Les rebelles restèrent si tranquilles à Tatitscheva, que le Prince lui-même doutait qu'ils fussent dans cette place. Pour en apprendre des nouvelles, il envoya trois cosaques qui s'approchèrent de la forteresse, sans rien apercevoir. Les rebelles leur envoyèrent une femme, qui leur présenta du pain et du sel, selon l'usage des Russes, et qui, interrogée par les cosaques, les assura que les rebelles après avoir été dans la place, en étoient tous sortis. Lorsque Pougatchef crut avoir trompé les cosaques par cette ruse, il fit sortir de la forteresse quelques centaines d'hommes pour s'emparer d'eux. L'un des trois fut tué et le second pris; mais le troisième s'échappa et vint rendre compte à Galitzin de ce qu'il venoit de voir. Aussitôt le Prince résolut de marcher sur la place dans le jour même et d'attaquer l'ennemi dans ses retranchements. *(Histoire de la révolte de Pougatschef.)* [1]

[11] Бибиков в письме от 26 марта:

«Мы потеряли 9 офицеров и 150 рядовых убито; 12 офицеров ранено и 150 рядовых. Вот какая была пирушка! А бедный мой Кошелев * тяжело в ногу ранен; боюсь, чтоб не умер, хотя Голицын и пишет, что не опасно».

[12] Рычков пишет, что Шигаев велел связать Пугачева и Хлопушу. Показание невероятное. Увидим, что Пугачев и Шигаев действовали заодно несколько времени после бегства их из-под Оренбурга.

[13] Пугачев, вопреки общему мнению, никогда не бил монету с изображением государя Петра III, и с надписью Redivivus et ultor [2] (как уверяют иностранные писатели).

---

[1] <Мятежники вели себя так тихо в Татищевой, что сам князь начал сомневаться, действительно ли они там. Чтобы разузнать это, он послал трех казаков, которые приблизились к крепости, ничего не заметив. Мятежники выслали к ним женщину, которая поднесла им хлеб-соль по русскому обычаю и на вопросы казаков уверила их, что мятежники, побывав в станице, все ушли оттуда. Пугачев, полагая, что он обманул казаков этой хитростью, выслал из крепости несколько сот человек, чтобы захватить их. Один из трех казаков был убит, другой захвачен, но третий убежал и доложил Голицыну обо всем, что видел. Князь тотчас же решил выступить в Татищеву в тот же день и атаковать врага в его укреплениях. *(История пугачевского бунта.)*>

* Р. А. Кошелев, впоследствии обергофмейстер.

[2] <Воскресший мститель.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Безграмотные и полуграмотные бунтовщики не могли вымышлять замысловатые, латинские надписи, и довольствовались уже готовыми деньгами.

[14] La victoire que Votre Altesse vient de remporter sur les rebelles rend la vie aux habitants d'Orenbourg. Cette ville bloquée depuis six mois et réduite à une famine affreuse retentit d'allegresse et les habitants font des voeux pour la prospérité de leur illustre libérateur. Un poude de farine coutoit déjà 16 roubles et maintenant l'abondance succède à la misère. J'ai tiré un transport de 500 четверть de Kargallé et j'attends un autre de 1000 d'Orsk. Si le détachement de Votre Altesse réussit de captiver Pougatschef, nous serons au comble de nos souhaits et les Baschkirs ne manqueront pas de chercher grâce. *(Письмо Рейнсдорпа к кн. Голицыну от 24 марта 1774.)* [1]

[15] Слобода Сеитовская (она ж и Каргалинская), часто упоминаемая в сей истории, находится в 20 верстах от Берды, а от Оренбурга в 18-ти. Названа по имени казанского татарина Сеита-Хаялина, первого, явившегося в оренбургскую канцелярию с просьбой об отводе земель под поселение. В Сеитовской слободе числилось до 1200 душ, состоящих на особых правах.

[16] По своем разбитии, Чика с Ульяновым остановились ночевать в Богоявленском медеплавиленном заводе. Приказчик угостил их и, напоив допьяна, ночью связал и представил в Тобольск. Михельсон подарил 500 рублей приказчиковой жене, подавшей совет напоить беглецов.

[17] В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли черные кудри свежа вода моет?» И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп.

[18] Следующие любопытные подробности взяты мною из весьма замечательной статьи *(Оборона Яицкой крепости*

[1] <Победа, одержанная вашей светлостью над мятежниками, возвращает жизнь жителям Оренбурга. Этот город, подвергшийся шестимесячной осаде и истерзанный голодом, теперь шумно ликует, и жители его возносят молитвы за благополучие своего славного освободителя. Пуд муки стоил уже 16 рублей, а теперь нищета сменяется изобилием. Я получил транспорт с 500 четвертей из Каргалы и ожидаю другой с 1000 четвертей из Орска. Если отряду вашей светлости удастся захватить Пугачева, все наши желания исполнятся, и башкирцы не замедлят просить помилования.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

от партии мятежников), напечатанной в *Отечественных записках* П. П. Свиньина. В некоторых показаниях следовал я журналу Симонова, предполагая более достоверности в официальном документе, нежели в воспоминаниях старика. Но вообще статья неизвестного очевидца носит драгоценную печать истины, неукрашенной и простодушной.

[19] Слова сии сохранены Державиным в Оде его на смерть Бибикова.—Последняя строфа должна была быть вырезана на его гробе:

Он был искусный вождь во брани,
Совета муж, любитель муз,
Отечества подпора тверда,
Блюститель веры, правды друг;
Екатериной чтим за службу,
За здравый ум, за добродетель,
За искренность души его.
Он умер, трон обороняя:
Стой, путник! стой благоговейно.
Здесь Бибикова прах сокрыт.

[20] Императрица велела спросить у вдовы покойного, чего она собственно для себя желала; супруга Бибикова просила обеспечить судьбу одного из родственников ее мужа, служившего под его начальством.

[21] Державин, до конца своей жизни чтивший память первого своего покровителя, узнав, что сын А. И. Бибикова намерен был издать записки о жизни и службе отца, написал о нем следующие строки:

«Посвятив краткую, но наполненную славными деяниями жизнь свою на службу отечеству, Александр Ильич Бибиков по всей справедливости заслужил уважение и признательность соотечественников; они не престанут воспоминать с почтением полезные обществу дела сего знаменитого мужа и благословлять его память.

«Читая о службе и переменах в оной сего примерного государственного человека, всякой легко усмотрит необыкновенные его способности, мужество, предусмотрение, предприимчивость и расторопность, так, что он во всех родах налагаемых на него должностей с отличием и достоверностию был употребляем; везде показал искусство свое и ревность, не токмо прежде, в царствование императрицы Елизаветы, но и во многих поручениях от Екатерины Великой, ознаменованные успехами. Он был хороший генерал, муж в гражданских делах проницательный, справедливый и честный; тонкий политик, одаренный умом просвещен-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ным, всеобщим, гибким, но всегда благородным. Сердце доброе его готово было к услугам и к помощи друзьям своим, даже и с пожертвованием собственных своих польз; твердый нрав, верою и благочестием подкрепленный, доставлял ему от всех доверенность, в которой он был неколебим; любил словесность, и сам весьма хорошо писал на природном языке; знал немецкий и французский язык, и незадолго пред смертию выучил и английский; умел выбирать людей, был доступен и благоприветлив всякому; но знал однако важною своею поступью, соединенною с приятностию, держать подчиненных своих в должном подобострастии. Важность не умаляла в нем веселия, а простота не унижала важности. Всякий нижний и высший чиновник его любил и боялся. Последний подвиг к защите престола и к спасению отечества соверша, кончиною своею увенчал добродетельную жизнь, к сожалению всей империи, тогда пресекшуюся».

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ШЕСТОЙ

[1] См. Рычкова Историю Оренбургскую.

[2] Histoire de la révolte de Pougatschef.

[3] Троицко-Саткинской завод, один из важнейших в Оренбургской губернии, на речке Сатке, в 254 верстах от Уфы.

[4] Зелаирская крепость находится в самом центре Башкирии, в 229 верстах от Оренбурга. Она выстроена в 1755 году после последнего башкирского бунта (перед пугачевским).

[5] Державин в примечаниях к своим сочинениям говорит, что князь Щербатов, князь Голицын и Брант перессорились, друг к другу не пошли в команду, дали скониться новым злодейским силам, и расстроили начало побед.

[6] <Примечания в издании Пушкина нет.>

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ СЕДЬМОЙ

[1] В сентенции сказано было, что Пугачев ворвался в город изменою суконщиков. Следствие доказало, что суконщики не изменили; напротив, они последние бросили оружие и уступили превосходной силе.

[2] Впоследствии Вениамин был оклеветан одним из мятежников (Аристовым) и несколько времени находился в немилости. Императрица, убедясь в его невинности,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вознаградила его саном митрополитским и прислала ему белый клобук при следующем письме:

«Преосвященнейший митрополит,
Вениамин казанский!

По приезде моем, первым попечением было для меня рассматривать дела бездельника Аристова; и узнала я, к крайнему удовольствию моему, что невинность вашего преосвященства совершенно открылась. Покройте почтенную главу вашу сим отличным знаком чести; да будет оный для всякого всегдашним напоминанием торжествующей добродетели вашей; позабудьте прискорбие и печаль, кои вас уязвляли; припишите сие судьбе божией, благоволившей вас прославить по несчастных и смутных обстоятельствах тамошнего края; принесите молитвы господу богу; а я с отменным доброжелательством есмь.

Екатерина».

Ответ Вениамина митрополита Казанского.

«Всемилостивейшая Государыня!

«Милость и суд беспримерные Вашего императорского величества, кои на мне соизволили удивить пред целым светом, воскресили меня от гроба, возвратили жизнь, которую я от младых ногтей посвятил на службу по Бозе в непоколебимой верности вашему монаршему престолу и отечественной пользе, сколько от меня зависит; а продолжалась она пятьдесят три года; но которую клевета, наглость и злоба против совести и человечества исторгнуть покушались. Неоцененным монарших ваших щедрот залогом, который с несказанным чувствованием моего сердца сподобихся приняти на главу мою, покрыся, и отъяся поношение мое, поношение мое в человецех. Что ж воздам тебе, правосуднейшая в свете монархиня, толико попечительному о спасении моем господеви? Истощение всей дарованной мне вашим высокомонаршим великодушием жизни в возблагодарение не довлеет; разве до последнего моего издыхания вышнего молить не престану день и нощь, да сохранит дражайшую жизнь вашу за толь сердобольное сохранение моей до позднейших человеку возможных лет; да ниспошлет с высоты святые своея на венценосную главу вашу вся благословения, коими древле благословен был Соломон. Крепкая десница господа сил да отвращает во вся дни живота от превожделенного здравия вашего недуги, от неусыпных трудов утомление, от возрастающей и проц-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ветающей славы зависть и злобу; да будет дом, держава и престол ваш яко дние неба. С таковым моим усердствованием и всеподданническою верностию, пока дух во мне пребудет, есмь.

Вашего императорского величества всеподданнейший раб и богомолец.

смиренный Вениамин митрополит Казанский».

[3] Генерал-маиор Нефед Никитич Кудрявцев, сын Никиты Алферьевича, пользовавшегося доверенностию Петра Великого, в чине поручика гвардии Преображенского полка, участвовал в первом Персидском походе; в царствование Анны Иоанновны сражался противу турков и татар, а при императрице Елисавете противу пруссаков; вышел в отставку при императрице Екатерине II. Тело его погребено в той церкви, где он был убит. *(Извлечено из неизданного Исторического словаря, составленного Д. Н. Бантыш-Каменским.)*

[4] Так говорит автор исторической записки «Histoire de la révolte de Pougatschef»; в официальных документах, бывших у меня в руках, я ничего о том не отыскал. Достоверно однакож то, что семейство Пугачева находилось при нем до 24 августа 1774 года.

[5] Иван Иванович Михельсон, генерал от кавалерии и главнокомандующий Молдавскою армиею, родился около 1735 года, умер в 1809. Под его начальством находился в начале славной службы своей князь Варшавский. Михельсон в глубокой старости сохранял юношескую живость, любил воинские опасности и еще посещал передовые перестрелки.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ОСЬМОЙ

[1] Их было три брата. Старший, известный дерзким покушением на особу короля Станислава Понятовского; меньшой с 1772 года находился в плену и жил в доме губернатора, которым был он принят, как родной.

[2] Слышано мною от К. Ф. Фукса, доктора и профессора медицины при Казанском университете, человека столь же ученого, как и любезного и снисходительного. Ему обязан я многими любопытными известиями касательно эпохи и стороны, здесь описанных.

[3] Пред сим цена соли, установленная Пугачевым, была по 5 коп. за пуд; подушный оклад по 3 коп. с души; жалованье военным чинам обещал он утроить, а рекрутский набор производить через каждые 5 лет.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[4] За сообщение бумаг, обнаруживающих сношения Перфильева с правительством (обстоятельство вовсе неизвестное), обязаны мы благодарностию А. П. Галахову, внуку капитана гвардии, на коего правительством возложены были в то время важные поручения.

[5] Граф Петр Иванович Панин, генерал-аншеф, орденов св. Андрея и св. Георгия первой степени кавалер, и проч., сын генерал-поручика Ивана Васильевича, родился в 1721 году. Начал службу свою под начальством фельдмаршала графа Миниха; в 1736 году находился при взятии Перекопа и Бахчисарая. Во время семилетней войны служил генерал-майором, и был главным виновником успеха Франкфуртского сражения. 1762 года пожалован он в сенаторы. 1769 назначен он был главнокомандующим второй армии. 1770 взяты им Бендеры; в том же году вышел он в отставку. Возмущение Пугачева вызвало снова Панина из уединения на поприще трудов политических. Он скончался в Москве в 1789 году, на 69 году от рождения.

[6] См. Приложения, II.

[7] Показания казаков Фомина и Лепелина. Они не знают имени гвардейского офицера, с ними отряженного к Петровску; но Бошняк в своем донесении именует Державина.

[8] В то время издан был список (еще не весьма полный) жертвам Пугачева и его товарищей; помещаем его здесь:

Описание, собранное поныне из ведомостей разных городов, сколько самозванцем и бунтовщиком Емелькою Пугачевым и его злодейскими сообщниками осквернено и разграблено божиих храмов, также побито дворянства, духовенства, мещанства и прочих званий людей, с показанием, кто именно и в которых местах.

В городе Казани: Ворвавшись они в город, и входя во храмы божии в шапках, с оружием, грабили и выгоняли укрывающихся там людей. А именно: В Казанском богородицком соборе, во Владимирском соборе, в церкви Московских чудотворцев, в церкви Николая чудотворца, именуемого Тольского, в церкви Николая чудотворца, именуемого Низкого, в церкви Живоначальныя троицы, в церкви Воскресения христова, в церкви Варламия Хутынского, в церкви Пресвятыя богородицы грузинския, в церкви Вознесения господня, в церкви Тихвинския пресвятыя богородицы, в церкви четырех евангелистов, в церкви Алексея человека божия, в Троицком Федоровском монастыре, в церкви Рождества пресвя-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тыя богородицы, в Петропавловском соборе, не могши отбить дверей, стреляли с паперти в окошки.

В городе Цывильске, в церкви Казанския богородицы.

В Чебоксарском уезде, приходских церквах: в селе Сретенском, в селе Богоявленском, селе Успенском, селе Введенском.

В оных церквах злодеи не только грабили и убивали, но и святые иконы кололи и утварь церковную раздирали.

Тоже самое делали Пензенской провинции: в городе Петровске, в церкви Казанския богородицы, в селе Чардыме, в приходской церкви.

Нижегородской губернии, в Арзамасском уезде: в селе Черковском, в приходской церкви. Алатырского уезда: в селе Сутяжном, в приходской церкви, в селе Семеновском, в приходской церкви, в городе Курмыше, в соборной церкви Николаевской и Троицкой.

Курмышского уезда, в приходских церквах: в селе Шуматове, селе Шумшевашах, селе Больших Туванах, селе Алменеве, селе Усе.

Воронежской губернии, в Нижнем Ломове: в Богородском казанском монастыре.

Оренбургской губернии: в Оренбургском предместии, в церкви Георгиевской, на Меновом дворе, в церкви Захария и Елезаветы, святые иконы вынуты из мест своих и повержены на землю, и некоторые расколоты.

В загородном губернаторском доме, в церкви святого Иоанна предтечи тож учинено.

В Сакмарском городке
» Татищевой крепости
» Рассыпной »
» Сорочинской »
» Тоцкой »
» Магнитной »
» Карагайской »

} В приходских сих крепостей церквах, входя, злодеи оклады с икон и всю утварь церковную грабили.

Бугульминского ведомства, в селе Спасском, в приходскую церковь въезжали на лошадях, и грабили церковную утварь.

В селе Борисоглебском, и в Каникинской слободе, в приходских церквах то ж делали.

Пермской провинции: В разных церквах делали грабежи, а в некоторых и в царские двери входили, как то: на Юговском Осокина заводе, в селе Крестовоздви-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

женском, в селе Дубенском, на Ижевском казенном заводе, в селе Березовке, в селе Троицком, Олшина тож, Осинского уезда в селе Крылове, на Юго-Камском заводе, в селе Николаевском, в Троицкой крепости.

Да сожжены церкви: на Саткинском заводе, в пригороде Осе, на Петропавловском и Воткинском заводах, в Икосове винокуренном заводе, Златоустовском и Сатковском заводах, Авзяно-Петровском заводе.

Сверх того, по Оренбургской линии злодеи, шед даже до Троицкой крепости, церкви божии сожигали, и образа находили после разбросаны, а иные и расколоты.

В городе Казани убиты до смерти: генерал-маиор Нефед Кудрявцев, полковник Иван Родионов, сын его артиллерии отставной капитан Александр Родионов, коллежский советник Казимир Гурской, коллежские ассесоры: Петр Брюховский, Федор Попов с женою, премьер-маиор Данила Хвостов, капитаны: Василий Онучин, Лука Ефимов, поручик Александр Маслов. Подпоручики: Иван Богданов, Иван Носов, Гаврила Нармоцкой. Прапорщики: Павел Лелин, Андрей Герздорф, Алексей Тарбеев. Комиссары: Лука Ефимов, Иван Пономарев, лекарский ученик Иван Михайлов. При гимназии информаторы: немецкого класса: Аарон Тих, рисовального: Иван Кавелий, ученик Иван Петров, часовой мастер Шильд, отставной секретарь Александр Голдобин. Регистраторы: Иван Ворохов, Григорий Овсяников. Канцеляристы: Иван Карпов, Александр Акишев, Герасим Андроников, подканцелярист Степан Попов. Унтер-офицеры: сержант Иван Белобородов, вахмистр Онисим Нармоцкой, подпрапорщики: Степан Реутов, Иван Неудашнов, каптенармус Дмитрий Стрелков. Солдаты: Степан Печищев, Леонтий Чекалин. Счетчики: Онисим Колотов, Никита Спиридонов, Федор Калашников. Инвалидные: Денис Ерофеев, Гаврила Юдин, слесарь Фризиус, седельник Гросман, конюх Иван Красногоров. Купцы: Максим Васильев, Иван Назарьев, сын его: Гаврила Назарьев, Кирила Ларионов, Иван Котельников, Козма Игнатьев, Григорий Мордвинов, Борис Ростовцев, Иван Пирожников, Михайла Евстифеев, Федор Тюленев, Яков Нижегородов, Роман Федоров, Михайла Сухоруков, Василий Рыбников, Филип Кашкин. Цеховые: Иван Коренев, Петр Ильин, Михайла Расторгуев, Иван Фролов, Петр Белоусов, Петр Качанов, Илья Петров, Григорий Смирнов, Алексей Андреев, Иван Сапожников, Василий Киселев, Василий Федосеев, Федор

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Востряков. Дворовые люди: Управителя Петра Кондратьева: Прокофий Алексеев, капитана Аристова: Федор Вербовский, архитектора Кафтырева Гаврила Васильев, секретаря Аристова Козма Яковлев, маиора Хвостова Петр Степанов, майорши Ивановой Данила Ильин, капитана Левашева: Алексей Никифоров, Никифор Федоров, Петр Григорьев, Антип Андреев, Данила Власов, Денис Григорьев, Петр Афанасьев; купца Каменева Михайла Иванов; бригадира Люткина Прокофий Шелудяков. Экономические крестьяне: Иван Данилов, Иван Прокофьев, Иван Кондратьев. Казанской суконной фабрики мастеровые и работники: Степан Шумихин, Давыд Пономарев, Яков Герасимов, Кондратий Петров, Петр Самойлов.

Да сгорели в Казанском магистрате: ратман Афанасий Шапошников, копиист Федор Копылов.

В Свияжском уезде убиты до смерти: инвалидной команды полковой обозной Палкин, копиист Федоров.

В Цывильске убиты до смерти в городе: воевода, коллежский ассесор Петр Копьев, штатной команды прапорщик Алексей Абаринов, секретарь Попов и его жена Татьяна Степанова, дворовых людей мужеского пола шесть, женского два, канцелярист один, купец один.

В уезде: священников четыре, дьячок один, пономарь один, матросов три, новокрещенных два.

В Чебоксарском уезде убиты до смерти: Чебоксарской морской инвалидной команды: капитан с сыном, прапорщиков два, подпрапорщик один, штатной команды солдат один, прапорщик Иван Тихомиров с женою его, экономического правления копиист один, престарелых матросов четыре, да молодой один, священников двенадцать, дьяконов пять, дьячков два; купец один.

В Царевококшайском уезде убиты до смерти: Свияжской провинции отставной канцелярист Андрей Дмитриев, священник один, полковой обозной один, подъячий один, малолетный один.

В городе Пензе убиты до смерти: воевода Андрей Всеволожский, товарищ Петр Гуляев. Подпоручики: Михайла Суровцев, Федор Слепцов Секретари: Степан Дудкин, жена его, да сын, подпоручик Игнатий Дудкин, Сергей Григорьев с женою, с сыном и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с двумя дочерьми. Приказные служители, Андрей Петров, Гаврила Елисеевской, Федор Иконников, Василий Терехов с женою, Иван Дмитриев, Семен Терехов, Иван Аврамов. В уезде: генерал-маиор Алексей Пахомов с женою, секунд-маиор Иван Веревкин, с женою, поручик Флор Слепцов, капитаны: Алексей Тутаев, Гаврила Юматов, помещик Скуратов, маиорша Дарья Селивачева, поручик Петр Иванов, подпоручик Борис Яковлев и дети Романовы, сержант Петр Неклюдов с женою и с сыном, секунд-маиор Иван Стяшкин, жена его Татьяна Степанова, маиорша Федосья Назарьева с сестрою Марьею Даниловою, с двумя дочерьми, с племянницею Федосьею Шемяковою, поручик Иван Пилюгин с женою и с дочерью девицею Ольгою, отставной драгун князь Михайла Звенигородской, квартирмистр Ермолай Стяшкин с женою и с сыном Иваном, маиор Егор Мартынов с женою Афимьею Яковлевою, с сыном Сергеем и с женою его, полковник Никифор Хомяков, маиор Иван Стяшкин жена его Татьяна Степанова, поручик Степан Башен, прапорщик Евдоким Степанов, прапорщика Александра Стромилова дети, сыновья: Михайла, Николай, дочь Авдотья, да брат родной Сергей, прапорщик Фаддей Зеленской с женою, прапорщик Сергей Грязев с женою, вдова маиорша Анисья Безобразова, капитанша Елена Романова, капитан Григорий Раков, маиор Василий Кологривов с женою, прапорщик Козма Бартенев, маиора Михайла Мартынова дети: Николай, Савва, надворная советница Грабова, помещица Анна Репьева, регистратор Алексей Дертев, прапорщик Кадышев, надворная советница Прасковья Ермолаева с сыном, помещица Дарья Халабурдина, поручик Иван Лунин, поручика князя Павла Барятинского жена Прасковья Гаврилова с малолетною дочерью, прапорщик Андрей из дворян, да однодворец Михайла Слепцовы, секретарь Сергей Сверчков с женою его Настасьею Ивановою, вахмистр Яков Жмакин с дочерью его, девкою Мариною, прапорщик Николай Агафонников с женою и с матерью, секунд-маиор Лев Дубенской с женою; подъячий из дворян Василий Агафонников с женою, капитанши Марфы Киреевой дочь, девица Анна, маиор Иван Веревкин с женою, сержант Тимофей Авксентьев, поручик Максим Дмитриев, капитан Михайла Киреев с дочерью, поручик Андрей Пансырев, капитан Иван Дмитриев, прапорщик Иван Тутаев, поручик Егор Морев с женою Анною Петровою, граф Гаврила Головин, маиорша Елена Варыпаева, подпоручик Александр Гладков, дворянская жена Прасковья Проскуровская, архи-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тектор, смоленский шляхтич Федор Яковлев, поручик Жмакин, капитан Иван Именников, вдова Елена Юрасова, дворянская жена Наталья Бекетова, вдова Пелагея Шахмаметева и дочь ее, девица, однодворец Иван Юрасов. Прапорщики: Иван Буланин, Иван Нетесев, Степан Романов, подпоручик Лев Ергаков с женою, капитан Алексей Козлов, секунд-маиор Ивашев, подпоручик Николай, да гвардии капрал Василий Киселевы, поручик Гаврила Алферьев, маиор Никита Костяевской с женою, капитан Тутаев с женою, подпоручика Василья Митькова дочери: Наталья, Марья; сыновья: Алексей и Михайла, да свояченица его, девица Пелагея Квашнина. Саранский воевода Василий Протасьев с женою и с сыном, поручик Федор Левин с женою и с сыном Алексеем, экономической казначей, секунд-маиор Федор Григоров с женою, маиорша Авдотья Возницына с дочерью, вдовы дворянки: Анна и Прасковья Проскуровские, помещик Семен Литомгин с женою, поручик Иван, да подпоручик Максим Тоузаковы, вдова подполковница Марфа Агарева, однодворческая жена Пелагея Метлина, маиор Григорий Зубарев с женою и с детьми, двумя сыновьями, с дочерью девицею, поручик Федор Бекетов с женою Марьею Егоровою, маиорша Катерина Конабеева, дворянская жена Варвара Тургенева, княгиня Анна Мустафина, подпоручика Гаврилы Левина жена с детьми, сыновьями: Дмитрием, Николаем, да с дочерью, гвардии капральша Федосья Ермолаева с дочерью вдовою, прапорщицею Авдотьею Юрьевою, подпрапорщик Степан Пересекин с женою, сыном Гаврилом, дочерьми: Катериною, Аграфеною, Анною, Авдотьею; маиор Федор Кашкаров, жена его с дочерьми, малолетными детьми, и одна француженка, протоколист Петр Иванов с женою Татьяною Дмитриевою и с детьми премьер-маиором Семеном Ивановым, с женою Елисаветою Михайловою и с сыном Петром, недоросль Дмитрий Иванов, маиорша Лукерья Ивина с сыном Алексеем, с дочерью Пелагеею, вахмистр Михайло Брюхов с женою, прокурорша Марфа Агарева, секунд-маиор Николай Степанов с женою, дворянская жена Пелагея Ховрина, поручик Алексей Зубецкой с женою, помещица Авдотья Жедринская, вахмистр Никита Никифоров, помещик Никита Подгорнов, титулярный советник Иван Ползамасов с сыном Сергеем, подпоручика Василия Золотарева жена, камер-лакей Яков Выдрин с женою, подпоручик Алексей Слепцов с женою Аграфеною Сергеевою, подпоручица Катерина Платцова, прапорщица Анна Чуфарова, легкой полевой команды подпоручик Иван Обухов, вахмистр Яков

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Жмакин с дочерью Мариною, сержант Иван Кашкаров с вятем, ассесором Никитою Иевлевым, с женою его Матреною Михайловою и с их дочерью Марьею, титулярный советник Иван Алферьев с женою, однодворческая жена Дарья Чарыкова, однодворцы: Семен Федорчуков, Петр Митюрин, легкой полевой команды солдат один, штатной команды два солдата, вахмистр Иван Симонов, однодворцев четыре, пахатных солдат три, четыре священника, и один из них с женою, понамарь один, прапорщика Ивана Буланина приказчик, капитана Ивана Осоргина приказчик, графа Гаврила Головкина приказчик, вахмистра Якова Якушкина приказчик, лейб-гвардии капитана князя Михайла Долгорукова приказчик, полковника Петра Волконского приказчик, капитана Николая Загоскина приказчик, вдовы Анны Смагиной два старосты, вдовы Пелагеи Грецовой приказчик, с женою и дочерью, княжны Марьи Долгоруковой приказчик, с женою, кадета Петра Загряжского приказчик, капитана Василья Новикова приказчик, подпоручика Николая Зыбина приказчик, сержанта Сергея Мартынова дворовой человек, бригадирши Аграфены Киселевой приказчик, архитектора, смоленского шляхтича Яковлева дворовых два человека, поручика Сергея Тухачевского приказчик, прапорщика Ивана Буланина дворовой человек, прапорщика Афанасья Сумарокова дворовый человек, графа Андрея Шувалова староста один, выборных два, статского советника Афанасья Зубова дворовой человек, маиора Нилы Акинфиева два приказчика и один кучер, коллежской ассесорши Катерины Бахметевой дворовой человек, штык-юнкера Аблязова управитель, полковника Степана Ермолаева приказчик, капитана Николая Владимирова дворовой человек, статского советника Ивана Ермолаева приказчик, секунд-маиора Александра Соловцова дворовой человек, иноземец Иван Миллер, архитектора Василия Баженова земской, генеральши Екатерины Левашевой приказчик, сержантов Андрея и Ивана Левиных приказчик, с женою, девиц Анны и Марьи Языковых приказчикова жена, новокрещенных два, надворной советницы Прасковьи Ермолаевой крестьянин, коллежского ассесора Петра Хлебникова крестьянин, капитана Василия Новикова крестьянин, подполковника Степана Ермолаева крестьянин один, женки две, статского советника Афанасья Зубова крестьянин, девицы Ольги Назарьевой крестьянин.

В Симбирском уезде убиты до смерти: полковница, вдова Марья Теплова, помещица вдова Домна Поспелова, сестра ее, милитинского дворянина

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Якова Агненова жена Ульяна Александрова, подпоручик Иван Манахтин, маиор Василий Аристов с дочерью, девицею, помещицы, вдовы Прасковья и Анна, Петровы дочери, Насакины, симбирского баталиона полковник и комендант Андрей Рычков, экономический казначей, поручик Тишин с женою и два малолетных сына, экономический крестьянин Александр Васильев, подполковник Василий Языков, маиор Александр Родионов, подполковника Никиты Философова приказчик Василий Ерофеев, подполковника Петра Зимнинского приказчик Тимофей Михайлов, фабриканта Воронцова формовальщик Алексей Адрианов.

В городе Петровске убиты до смерти: воеводской товарищ, секунд-маиор Буткевич, теща его Марья Иванова, секретарь Лука Яковлев с женою Марьею Михайловою и с сыном Петром, штатной команды барабанщик Иван Хомутинников, пахотный солдат Игнатий Ношкин, солдата Хорулева жена Авдотья Васильева.

В уезде: подполковница, вдова Ирина Никитина, дочь Дурасова, капитана Николая Коптева сын, младенец Лев, корнет Михайла Шильников с женою Прасковьею Макаровою, и малолетный сын Григорий, сержанта Самсона Каракозова жена Екатерина, маиорша, вдова Анисья Безобразова, помещики: Николай да Василий Киселевы, приказчик их Афанасий Семенов, помещиков Григория и Игнатия Киселевых приказчик Степан Матвеев, прапорщик Иван Яковлев, прапорщик Гаврила Власьев, прапорщик Николай Чемодуров, подпоручик Федот Бекетов с женою Марьею, капитан-поручика Федора Мейса жена Софья, поручика Николая Бахметева крестьянин Иван Иванов, пахотный солдат Фаддей Скапинцев, малороссиянин Иван Озерецкой.

В Козмодемьянском уезде убиты до смерти: священников два, дьяконов два, дьячок один, семинарист один.

В Пермском уезде убиты до смерти: Екатеринбургского ведомства: капитан Воинов, подпоручик Посохов, солдат один; Юговских заводов управитель, шихтмейстер Яковлев, унтер-шихтмейстер Бахман, князь Михайла Михайловича Голицына приказчик Михайла Ключников, подъячий Василий Клестов, питейной продажи целовальник один, графа Романа Ларионовича Воронцова Ягошихинского завода унтер-шихтмейстер Манаков. Священники: Василий Козмин, Аникий Борисов, Родион Леонтьев; дьячок Иван Попов, дьячок Илья Петров, экономических дел копиист Петр

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Курбатов, атаман Колесников, отставной капрал Лукиан Омельянов, Юговских заводов плавильщик Козма Орлов. Пушкари: Демид Сочин и Никифор Совин, экономической крестьянин Алимпий Карманов, крестьянин Гаврила Трегубов, князя Голицина крестьян четырнадцать человек, графа Строганова крестьян три человека. Государственных: крестьянин Егор Зуев, и еще семь человек, сотник Яков и крестьянин Михайла Поповы, крестьянин Софронов, Ермолай Меденников, Федор Бурков, Иван Осетров, крестьянин Ермаков, и еще два человека, крестьянская девка.

В городе Ставрополе убиты до смерти: Бригадир и ставропольский комендант Иван фон-Фегезаг, воеводской товарищ, надворный советник Сергей Милкович, секретарь Семен Микляев. Ставропольского баталиона секунд-маиоры: Павел Алашеев, Алексей Карачев, Никита Семенов. Капитаны: Григорий Калмыков, Петр Лабухин. Поручики: Афанасий Семенов, Дмитрий Новокрещенов. Прапорщики: Яков Дворянинов, Василий Трофимов, Федор Попков, Василий Плешивцев; лекарь Иван Финк.

В уезде отставные: секунд-маиор Артемий Бережнев. Прапорщики: Филат Струйкис, Петр Поляков; подпрапорщик Петр Тургенев с сыном Иваном, сержант Михайла Кулыгин. Ставропольского баталиона сержанты: Иван Свешников, Василий Гущин, Яков Петров, Михайла Савушкин, Семен Львов; подпрапорщик Иван Фомин, капрал Лука Матвеев.

Солдаты: Игнатий Буторин, Фрол Бердняков, Петр Вагин, Митрофан Мухановский, Никита Козлов, Василий Григорьев, Григорий Колесников, Афанасий Кондуков, Гурий Ульянов, денщик Максим Андреев, Ставропольского духовного управления копиист Василий Татлин. Дворовые люди: прапорщика Филата Струйского: Елизар Семенов, помещицы Аграфены Стрекаловой: Егор Горох, Осип Александров, помещицы Прасковьи Чемесовой: Иван Михайлов, ясачной крестьянин Осип Звонарев, разночинец Михайла Васильев. Ставропольского Калмыцкого корпуса: ротмистр Никанор Буратов, солдат Иван Шонбо.

Нижегородской губернии, в Нижегородском уезде убиты до смерти: графа Николая Головина приказчик Алексей Тетеев с женою Настасьею, брат его Иван Тетеев с сыном Василием.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Выборные: Андрей Киреев, Иван Фадеев, крестьянин Павел Кордюков, немец один, француз один, артиллерии капитана, князь Петра Дадияна, приказчик Петр Кучин с женою Дарьею.

В городе Алатыре убиты до смерти: премьер-маиор Роман Грабов с женою Катериною, коллежский ассесор Галактион Кляпиков, землемер, подпоручик Федор Вишняков с женою Анною и братом его двоюродным, Федором Прокофьевым; секретарь Василий Попов с женою Авдотьею Ивановою, с детьми, дочерьми: Варварою, Глафирою, с сыном Алексеем, и матерью Матреною Васильевою, протоколист Матвей Леонтьев с женою Марьею, с детьми, сыном, Николаем, дочерьми: Анною и Александрою, капитан Иван Недоростков с женою. Штатной команды солдаты: Алексей Зенкин, Тимофей Запылихин.

В уезде: прокурор Василий Кривской, капитан Николай Лихутин с женою Анною Ивановою, сержант Иван Любовцов, маиорша Федосья Назарьева, капитан Петр Зубатов, из дворян капрал Александр Зиновьев, маиор Семен Марков, из дворян каптенармус Афанасий Ананьин, прапорщик Василий Мещеринов, помещица Прасковья Телегина, помещица, вдова Авдотья Тимашева, полковника Федора Волкова свояченица Татьяна Иванова, прапорщик Василий Мертваго с женою Пелагеею Ивановою, маиор Борис Мертваго, вахмистр Андрей Назарьев, капитан Алексей Матцынев с женою Мариною Алексеевою, коллежского ассесора Ивана Мачавариянова свояченица Нина Егорова, экономического казначея князь Василья Туркистанова жена Ирина Борисова.

При экономическом винокуренном заводе: прапорщики: Алексей Гедеев с женою Еленою Романовою, Василий Дуров с женою Авдотьею Васильевою, помощник Сергей Бедауров с женою Александрою Петровою. Поручика Саввы Остренева жена Анна Егорова, ассесора Мачавариянова дочь, девица Файна Иванова, племянник его Николай Гаврилов, инвалидного секунд-маиора Чеботарева жена Анна Иванова, мать ее Авдотья Гедеева, племянница ее, девица Марья Туркманова, арлатовской дворцовой волости управитель, секунд-маиор Михайла Нелидов, поручик Иван Смолков с женою Афимьею Ивановою, мать его, маиорша Дарья Никитина, прапорщика Дмитрия Жмакина жена Анисья Андреева, маиора Растригина жена Авдотья Козмина, мать его Прасковья Михайлова; дети его, дочери: Ирина, Федосья, Фекла, поручик Андрей Саврасов с женою Афи-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мьею Матвеевою, теща его Анна Кирилова, дворянин Егор Пазухин с женою Марьею Алексеевою; дети его, сын Алексей, дочери: Анна, Елизавета, дворянина Федота Захарина дочь, девица Татьяна, помещика Ивана Салманова теща Авдотья Афанасьева, жена Акулина Лукьянова, сын его Николай, дворянин Афанасий Яхонтов с женою Домною Никитиною; дети их, сын Степан, дочери: Пелагея, Дарья; дворянин Феопемпт Яхонтов с женою Екатериною Семеновою; дети их, сыновья: Дмитрий, Павел, дочери: Авдотья, Акулина; теща Авдотья Антонова; капрал Иван Салманов, капитанша, вдова Анна Брюхова, дворянская жена Прасковья Телегина, поручик Иван Алабин, солдат Василий Шебалин, прапорщик Григорий Куроедов с женою Анною Ивановою, дворянка Прасковья Апраксина, капитанша, вдова Ирина Аленина, помещица Варвара Василисова, капитан Николай Страхов, мать его, вдова поручица Домна Данилова, помещик Василий Апраксин с женою Анисьею Дмитриевою, сын его, прапорщик Алексей, прапорщик Иван Ашанин с женою Авдотьею Семеновою, вдова помещица Агафья Тахтарова, капитан Иван Ляхов, капитана Ивана Полумордвинова сын Михайла, прапорщик Иван Анцыфоров с женою Анною Романовою, девка Вера Данилова, вдова Марья Данилова, подполковница вдова Прасковья Кишенская, сын ее, маиор Николай, малолетный Аврам, дворянская жена вдова Анисья Неронова, сын ее, поручик Иван с женою Прасковьею Андреевою, гвардии прапорщик Иван Стечкин с женою Василисою Петровою, помещик Ефим Неронов; дети его: сын Алексей, дочери: Наталия, Анна, Мавра; помещица Федосья Лаптева, прапорщик Григорий Неверов, прапорщик Григорий Нагаткин с женою Феклою Васильевою; дети, сын Петр, дочь, девица Акулина; прапорщик Андрей Теренин, помещица Авдотья Варыпаева, прапорщик Василий Теренин, сержант Козма Теренин, дворянка Прасковья Григорьева, дворянка Прасковья Иванова, солдатская жена Анна Осипова, помещик, князь Артамон Чегодаев с женою Натальею Ивановою.

Прапорщики: Федор <и> Борис Брюховы, поручица, вдова Прасковья Брюхова, сержант Сергей Ананьин с женою Марьею Васильевой, дочь его Надежда; канцелярист Федор Крюковской, прапорщик Александр Грязнов, дворянин Зураб Давыдов, служитель его Яков Андреев, прапорщик из грузин Евсевий Семенов, канцелярист Михайла Соколовской, писарь Никита Верин, прапорщик Василий Тимашев с женою Катериною Ан-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тоновою, дочь его: девица Елисавета, помещица Марья Пучкова, капитан Яков Бурцов, подпоручик Василий Шалимов с женою Акулиною Ильиною, приемыш девка Анна, университетского учителя Грачевского дочь Вера, дворянин Дмитрий Пасмуров с женою Ириною Федоровою, капитан Михайла Ашанин, капитанша Прасковья Павлова, сын ее, капитан Василий, его сын, сержант Федор, прапорщик Василий Шишкин, фурьер Василий Бабушкин с женою Марфою Ивановою, и дочь его Елисавета, поручик Александр Зимнинской с женою Авдотьею Григорьевою, прапорщик Василий Кошкин, прапорщик Василий Зимнинской с женою Мариамною Васильевою, маиор Никифор Юрасов, прапорщик Семен Юрасов с женою Татьяною Моисеевою, дворян два человека: один мужского, а другой женского пола, князь Борис Дивеев, подпрапорщик Ефим Шукин, протоколиста Матвея Леонтьева мать Ирина, Данилы Куткина жена Анна Федорова, староста Тимофей Федотов, секунд-маиора Андрея Кикина староста Федор Гаврилов, десятской Федор Агафонов, помещика Алексея Сеченова приказчик Захар Андреев, маиора Ивана Протасьева приказчик Петр Васильев, помещика Петра Пазухина староста Андрей Алексеев, помещика Ивана Ананьина староста Федор Иванов. Крестьяне: Макар Федоров, Андрей Николаев, помещицы Варвары Языковой дворовой человек Евдоким Фирсов, помещика Нилы Панова крестьянин Авдей Федоров, секунд-маиора Афанасья Давыдова дворовые люди: Прокофий Прохоров, Степан Данилов, арзамасская купецкая жена Марья Федорова, полковника Федора Волкова приказчик Иван Козмин, сын его Евграф; помещика Алексея Бахметева приказчик Иван Петров с женою Федосьею Романовою, генерал-маиора и кавалера Михайлы Кречетникова дворовый человек Максим Леонтьев, староста Карп Иванов, артиллерии подполковника Льва Пушкина дворовой человек Семен Иванов, генерал-поручика Ивана Левашева приказчик Федор Логинов с женою Татьяною Федоровою и с дочерью Елисаветою, Ефим Иванов, Аверьян Борисов, подполковника Григорья Бахметева выборный Алексей Игнатьев, гвардии капрала Егора Кроткого человек Михайла Егоров, капитана Алексея Матцынева приказчик Дементий Дмитриев, секунд-маиора Петра Акинфиева приказчик Александр Васильев. Экономического ведомства крестьяне: Прокофий Афанасьев, Иван Володимиров, Михей Яковлев; полковника князь Александра Одоевского приказчик Григорий Лебедев, помещика Александра Зимнинского приказчик Никита

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Моисеев с женою Прасковьею Андреевою, бригадира Иевлева приказчик Степан Семенов, солдатская жена Фекла Семенова. Графа Ивана Петровича Салтыкова: штуцмейстер Иван Штепсин, приказчик Антон Дроздов, староста Анкудин Феклистов, приказчик Никита Алымов с женою и с дочерью, приказчик Алексей Головлев, земской Иван Вернеев, крестьянин Иван Трофимов, приказчик Петр Протопопов, крестьянин Федор Вайцов. Графа Андрея Петровича Шувалова: приказчик Тимофей Щепотев с женою Настасьею Ивановою, земской Филипп Петров, экономический крестьянин Михей Яковлев, приказчик Михайла Савельев с женою Авдотьею Федоровою, приказчик Борис Турчанинов, приказчик Кондратий Филиппов. Священники: Яков Федоров, Василий Алексеев, Афанасий Иванов, Иван Прохоров, Антип Борисов, Иван Борисов, диакон Федор Михайлов.

В Арзамасском уезде убиты до смерти: гвардии конного полка секунд-ротмистр Иван Исупов с женою Ириною Петровою и с дочерьми Еленою и вдовою Настасьею, титулярного советника Ивана Бахметева дочь, священник Василий Алексеев, поручика Николая Языкова служитель Сергей Борисов, капитана Петра Ермолова дворовой человек Егор Васильев, приказчик Парфен, секунд-маиора князь Ивана Кольцова-Масальского земской Семен Алексеев, прапорщика Алексея Дубенского приказчик Кондратий Андреев, служитель Иван Гуняев.

В городе Курмыше убиты до смерти: секунд-маиоры: Василий Юрлов, Дмитрий Маковнев, вдова Наталья Ульянина. Курмышской канцелярии: квартирмистр Александр Филиппов, канцелярист Михайла Еремеев.

В уезде священники: Афанасий Дмитриев. Алексей Семенов, Василий Антонов, Гаврила Евтропов. Гаврила Михайлов, Андрей Степанов, Михайла Дмитриев, Петр Иванов, Андрей Алексеев, Григорий Матвеев, Михайла Васильев, Федор Алексеев. Диаконы: Андрей Федоров, Василий Гаврилов, Григорий Гаврилов, Константин Васильев, Иван Михайлов, Иван Никифоров, Иван Андреев, Михайла Иванов, Алексей Андреев, Иван Андреянов. Дьячки: Петр Иванов, Иван Григорьев, Корнил Васильев, Иван Васильев, Василий Никитин, Петр Афанасьев, Василий Иванов, Сергей Григорьев. Понамари: Петр Иванов, Матвей Иванов, Василий Тимофеев, Егор Антонов, Петр и Агафон Федоровы, Дмит-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

рий Федоров, Илья Михайлов, Семен Кузьмин, статского советника Ивана Ермолаева приказчик Яков Реутов. Курмышской инвалидной команды: поручик Тимофей Муромцов, солдат Дмитрий Гусев, подпоручик Иван Мантуров, с детьми Кирилом и Николаем, помещика Лариона Любятинского староста Афанасий Васильев; коллежской советницы Прасковьи Стражиной человек Федор Тимофеев; прапорщик Андрей Крашев, Цывильской канцелярии секретарь Никита Попов, и жена его Татьяна Степанова. Дворовых людей: мужеского пола четыре, женского два, малолетных два, матрос Абрам Васильев, духовных дел кописта Павла Попова сын Василий, матрос Иван Львов, священника Семена Иванова жена Прасковья Степанова, сотник Иван Илдеряков. Крестьяне: Дмитрий Перфильев, Петр Никитин.

Города Ядринска в разных местах убиты до смерти: священников и причетников с их женами тридцать восемь.

Города Оренбурга в крепостях убиты до смерти:

В Чернореченской крепости: капитан Нечаев.

В Татищевой: комендант полковник Елагин с женою.

В Рассыпной: комендант, секунд-маиор Веловской с женою, капитан Савинич, поручик Кирпичев, прапорщик Осипов, священник один, воинских нижних чинов, регулярных и нерегулярных, двенадцать.

В Сорочинской: регулярных шесть, разночинцев пять.

В Бузулукской: маиора Племянникова приказчик и староста, регистратора Арапова работник.

В Борской: отставной капитан Петр Рогов, помещичьих крестьян два человека.

В Пречистенской: отставных двенадцать человек.

В Зелаирской: адъютанта Бурунова жена Матрена Иванова с прочими отставных с женами ж в числе четырех человек, с пятью обоих полов младенцами.

В Магнитной: священник один, капитан Сергей Тихановской с женою, отставных солдат двое.

В Нижне-Озерной: комендант, секунд-маиор Харлов с женою и братом ее.

В стоящей на Самарской дистанции деревне Милоховой: отставной капитан Трофим Милохов.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В городе Троицке убиты до смерти: воевода, секунд-маиор Варфоломей Сталповской, товарищ, капитан князь Алексей Чегодаев, с приписью Михайла Скóрняков, Троицких дворцовых управительских дел управитель гоф-фурьер Андрей Половинкин. В уезде оного: Троицкой штатной команды солдаты: Савелий Волов, Степан Федоров, Петр Горбунов, разночинец Трофим Образцов, дворцовой крестьянин Григорий Павлов, канцеляриста Ивана Григорьева дворовой человек Антон Яковлев.

В городе Краснослободске убиты до смерти: воевода, секунд-маиор Иван Селунской, секретарь Василий Тютрюмов, помещик, капитан Данила Сталыпин. В уезде оного: поп Иван Яковлев, казенного дворцового Троицко-Острожского винокуренного завода сержант Никита Голов.

Дворцовых управительских дел: в должности стряпчего канцелярист Степан Снежницкой, канцелярист Семен Дубровской, дворянин Никита Степанов, дворянин Юдин.

В городе Наровчате убиты до смерти: воевода Афанасий Ценин, в должности секретаря регистратор Семен Корольков, капрал Степан Кашин, священник Иван Иванов, города Инсары воеводского товарища Юматова дворовый человек Савелий Иванов, проезжавший человек один, Наровчатской канцелярии отставной копиист Александр Соколов, помещика Арапова дворовой человек Василий Аникеев, дворовой крестьянин Иван Сорокин.

В городе Инсаре убиты до смерти: священники: Козма Семионов, Андрей Миронов. Инсарской инвалидной команды секунд-маиоры: Василий Денисьев, и жена его Наталья Петрова, Андрей Кузьмин, и жена его Фекла Емельянова. Капитаны: Дмитрий Куприн, жена его Татьяна Григорьева; Иван Щербаков, жена его Марфа Иванова; Петр Кресников. Поручик: Михайла Юрлов, жена его Прасковья Юдина. Подпоручики: Алексей Пьянкин, жена его Меланья Евсевьева, сестра его Меланья Тимофеева, Алексей Корнилов, Нефед Онуфриев, Андрей Карякин, жена его Ирина Иванова, подпоручика Андрея Турмышева жена Пелагея Петрова. Прапорщики: Прокофий Соколов, жена его Настасья Тимофеева, Николай Козлов, Савва Агафонов, жена его Степанида Степанова, ротный квартирмистр Иона Стунетов, сержант Гаврила Маклаков, каптенармуса Прокофья Страхова жена Ак-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

синья Васильева. К а п р а л ы: Иван Васильев, Игнатий Салынин, жена его Февронья Филиппова, Михайла Матвеев, жена его Авдотья Федорова, Василий Теплов, жена его Прасковья Игнатьева, Павел Филимонов. С о л д а т ы: Агап Голубчиков, Захар Крылов, Данила Прокофьев, Авдей Мелихов, Иван Юдин, Никита Бельянинов, Василий Ногин, Владимир Иванцов, Федор Трофимов, Степан Евстигнеев, Алексей Пирожков, Иван Вилкин, Александр Караулов, Козма Паршин, Михайла Бакаев, Федор Назаров, Иван Букаев, Тит Хомов, Осип Леонтьевской, Петр Шадрин, Яков Мадрыгин, Федот Федоров, жена его Агафья Григорьева, Гаврила Лосев, жена его Прасковья Васильева, Василий Петин, жена его Устинья Артемьева, Елисей Чеканов, жена его Настасья Иванова, солдата Герасима Киселева жена Ненила Титова, солдата Григория Иконникова жена Федосья Степанова, канцелярист Иван Андреев. И н с а р с к о й ш т а т н о й к о м а н д ы: С о л д а т ы: Борис Шульгин, Антон Камшилин, сторож Перфил Герасимов, купец Филипп Соснин. П о д п о р у ч и к и: Алексей Голосеин, Федор Голосеин, сестра его Анна Иванова, корнет Дмитрий Голосеин, жена его Матрена Никитина, московского купца Рюмина приказчик Максим Евстратов.

П е н з е н с к о г о у е з д а: из дворян отставной драгун Егор Ульянин, жена его Настасья Михайлова, сестра ее Катерина Михайлова ж.

А л а т ы р с к о г о у е з д а: поручик Прокофий Лукин, жена его Пелагея Никифорова.

Н а р о в ч а т с к о г о у е з д а: прапорщик Николай Ермолов.

Т е м н и к о в с к о г о у е з д а: татар шестнадцать человек, помещика Платона Орлова приказчик, а как его звали неизвестно.

В И н с а р с к о м у е з д е: поручика Василья Губарева крестьянин Тимофей Гаврилов, секунд-маиор Василий Ягодинской, жена его Татьяна Иванова, недоросль князь Анисим Чюрмантеев, жена его Авдотья Данилова, артиллерии маиор Николай Нечаев. И н с а р с к о й и н в а л и д н о й к о м а н д ы с е к у н д-м а и о р ы: Гаврила Помелов, Кирила Муратов, поручик Петр Долгов, частной смотритель, капитан князь Максим Чюрмантеев; помещицы Елисаветы Шепелевой приказчик Андрей Карпов, коллежской ассесор Иван Кожин, жена его Татьяна Сергеева, дочери их, девицы: Аграфена, Авдотья, Варвара, мать его Кожина, Авдотья Николаева; премьер-маиор Семен Мерзлятьев, жена его Анна Петрова; управитель, пра-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

порщик Перфилий Унковской, подполковника Дмитрия Чуфаровского приказчик Яков Никифоров, жена его Афимья Матвеева, поручика Андрея Мневского жена Катерина Михайлова, отставной солдат Павел Енолеев, поручик Ермолаев, дворянин Веденяпин, помещица Мещеринова.

В Шацком уезде убиты до смерти: поп Осип, диакон Василий, дьячок, пономарь Михайла, прапорщица Анна Мальцова, помещица Александра Ханыкова, приказчик Фома Никифоров, питейных сборов служитель, однодворец Игнат Белозерцов, поручик Яков Огалин с сыном Львом, помещицы княгини Дашковой приказчик Тимофей Федоров, питейных сборов служитель, кунгурской купец Яков Носков, однодворческие дети: Степан и Петр Подъяпольские, генерал-маиора Никиты Смирнова приказчик Иван Петров, жена его Улита Иванова, титулярной советницы Анны Постниковой приказчик Андрей Родионов, целовальник один, помещика Николая Колычева приказчик Михайла Андреев с женою, помещица вдова Татьяна Пятова, помещица Агафья Якутина, корнет Евстрат Евсюков, писчики: Иван Кучуров, Степан Дивеев, помещика Кольцова-Мосальского приказчик Восков, подполковник Осип Кузмищев, однодворец Матвей Тверитинов, поручики: Филип Тенишев, Николай Реткин, вахмистр Козма Марков, помещика Александра Васильчикова приказчик, полковника Василия Измайлова приказчик Семен Мартынов, полковника князь Александра Большого-Черкасского сотской Степан Федоров.

В городе Темникове убиты до смерти: питейных сборов поверенной Яков Кленов, поручица вдова Прасковья Ребинина, капитан Дмитрий Кочеев, подпоручик князь Михайла Мансырев, прапорщик Николай Ермолов, гвардии капрал, князь Илья Еникеев, жена его Матрена Давыдова, гвардии капрал, князь Василий Девлеткильдеев, капитана Александра Мошкова приказчик Терентий Иванов, татарин Аися Халеев.

В Тамбовском уезде убиты до смерти: поручика Афанасия Сатина приказчик, из дворян отставной ротный квартирмистр Максим Досекин, из однодворцев отставной капрал Василий Мишин, надворного советника Ивана Мосолова крестьянин Семен Бирюков.

В городе Нижнем Ломове убиты до смерти: священник Иван Иванов, поручик Петр Анучин, секунд-маиор Степан Евсюков, капитан Яков Калмыков, поручик Иван Семаков, прапорщик Тихон Маслов, прапорщик Василий Клишов, маиор Иван Соколов.

В уезде: секретарь Никита Григорьев сын Подгор-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нов, жена его Ирина Степанова, сноха его Авдотья Петрова, прапорщик Иван Слепцов, жена его Акулина Алексеева, подпоручик Алексей Слепцов, жена его Аграфена Сергеева, капитан Лаврентий Слепцов, каптенармус Федор Слепцов, жена его Марья Степанова, прапорщик Василий Лепунов, сержант Александр Микешин, жена его Анна Андреева, князь Михайла Мансырев, прапорщик Петр Скорятин, капитан князь Семен Мамлеев, прапорщик князь Спиридон Мамлеев, поручик князь Михайло Ишеев, прапорщика Василья Гедеева жена Анна Филатьева, поручица Авдотья Малахова, поручица Евгения Исаева, подпрапорщик Иван Малахов, жена его Марья Михайлова, дочь девица Агафья, князь Василий Петров сын Кугушев, маиор Федор Никифоров, надворный советник Василий Иванчин, жена его Авдотья Родионова, сын их поручик Аким Иванчин, жена его Ирина Федорова, протоколист Михайла Дедекин.

В городе Верхнем Ломове убиты до смерти: премьер-маиор Иван Болоцкой, капитаны: Иван Степанов, Иван Дьяконов; подпоручик Никита Суколенов, поручик Нефед Евлахов, солдат Федор Лепилин, из дворян канцелярист Михайла Смирнов, жена его Афимья Иванова, воеводского товарища Нетецкого дворовой человек Дмитрий Никитин, воеводской товарищ титулярной советник Петр Нетецкой, дворянская жена вдова Ульяна Сурина, надворной советник Никифор Хомяков, подпоручик Капитон Вышеславцов, помещика Василья Титова приказчикова жена Ульяна Козмина, надворной советник Иван Богданов, жена его Наталья Иванова, прапорщик Ефим Юматов, жена его Ирина Леонтьева, дочь их малолетная Марья, прапорщик Пантелей Трунин, жена его Прасковья Ефимова, поручик Федор Мосолов, фурьер Иван Мещеринов, канцелярист Никифор Смирнов, секунд-маиора Ивана Вышеславцова жена Лукерья Иванова, вахмистр Максим Хомяков, дворянин Петр Веденяпин, сын его поручик Кондратий, помещика Матвея Дубасова крестьянин Спиридон Анофриев, капитанша Анна Болкошина, инвалидной солдат Лукиан Курочкин, корнет Иван Мещеринов, прапорщик Артамон Шмаков, поручика Константина Веденяпина жена Пелагея Леонтьева, подпоручика Михайла Веденяпина жена Марья Алексеева, маиор Иван Григоров, племянница его Авдотья Иванова, экономической казначей, поручик Андрей Молчанов, подпоручика Алексея Вышеславцова жена Матрена Иванова, прапорщик Григорий Евсюков, прапорщика Пантелея Трунина крестьянин, а как зовут, неизвестно, по-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мещика Языкова приказчик Егор Григорьев, вдова пору чица Татьяна Врацкая, татарин Бикмай Дубин, незнаемой офицер, помещица Авдотья Волженская, подпоручик Василий Вышеславцов, поручика Фоки Исаева жена Евгения Андреева, генерал-поручика и кавалера Амплея Шепелева служитель Иван Уланов.

Самарской дистанции, в Борской крепости, убиты до смерти: переводчик Арапов, отставной капитан Петр Рогов, Хилковских крестьян два человека, отставных конной гвардии два, тайного советника Обухова крестьян два.

В городе Саратове убиты до смерти: отставной прапорщик Артамон Шахматов, полевой артиллерии сержант Павел Шахматов, отставной прапорщик Козма Рахманинов, поручика Матвея Селезнева жена, вдова Марья Иванова, отставной прапорщик Алексей Протопопов, отставной прапорщик Афанасий Толпыгин, из дворян коллежский регистратор Иван Аврамов, жена его Ирина Иванова, бывшего саратовского коменданта Томаса Юнгера жена, вдова Шарлотта Крестьянова, корнет Гаврила Болотин, жена его Фекла Алексеева, дети: Федор, Григорий, дочь Степанида, теща того Болотина, Марфа Ильина, дворянина Алексея Болотина жена Авдотья Степанова, дети: сын Никифор, дочери: Меланья, Марфа; дворянин Степан Родионов, отставной прапорщик Михайла Ахматов, дворянин Яков Болотин, отставной прапорщик Григорий Автамонов сын Быков. Саратовского баталиона секунд-маиоры: Петр Астафьев, Иван Мосолов. Капитаны: Семен Агишев, Василий Портнов, Андрей Маматов, Алексей Тагаев. Поручики: Иван Пирогов, Михайла Меренков. Прапорщики: Иван Уланов, Евдоким Портнов, лекарь Иоган Рамелов, бывший в городе Петровске смотритель над межевщиками коллежской ассесор Борис Наикул, команды его: подпоручик Федор Спижарнов, прапорщик Петр Скуратов, корнет Петр Калмыков. Ведомства конторы опекунства иностранных: поручики: Михайла Ермолаев с женою, Иван Широков с женою, прапорщик Иван Ушаков, протоколист Иван Образцов, регистратор Иван Винш, аптекарь Иван Аменде. Артиллерийского первого фузелерного полку: капитан князь Андрей Баратаев, поручик Михайла Буданов, подпоручик Василий Хотяинцов, штык-юнкер Адриан Федоров, лекарь Семен Рудзевич.

В городе Дмитриевске, что на Камышенке, убиты до смерти: полковник и Дмитриевской ко-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мендант Каспар Меллин, капитан Семен Агишев, городовой лекарь Степан Беляев, жена его Катерина Федорова, дочь девица Матрена.

Бывшие в Николаевской слободе при соляном комиссарстве: присутствующий, титулярной советник Илья Башилов, поручик Сергей Богатырев.

В городе Царицыне убиты до смерти: легкой полевой команды командир секунд-маиор барон фон-Диц. Капитаны: Дмитрий Шеншин, Иван Шилов. Поручики: Дмитрий Денисьев, Александр Рокотов, адъютант Семен Романов. Прапорщики: Александр Палчевский, Илья Булашев, Иван Буткевич, лекарь Даниель Амбразиус.

Царицынских баталионов, первого: поручик Иван Климов. Второго: подпоручик Алексей Книгин.

В Волском войске убиты до смерти: войсковой старшина Григорий Поляков, депутат Андрей Дьячонков, Московского легиона казачьей команды отставной прапорщик Иван Хуторсков. Казаки: Петр Зайченков, Петр Греков, Яков Греков.

В Новохоперском уезде: частный смотритель Новохоперского баталиона, подпоручик Павел Еглевской, подпоручик Филипп Тенишев, однодворец Матвей Тверитинов, господ Нарышкиных приказчик Лука Невзоров, малороссиянин Николай Ракитинов; означенных же господ Нарышкиных приказчик Иван Евреинов, жена его Наталья, теща его Татьяна Григорьева.

[9] См. Benjamin Bergmann's, nomadische Streiferein u. s, w.

[10] Маврин с 1773 года находился при Бибикове; он отряжен был от Секретной комиссии в Яицкой городок, где и производил следствие. Маврин отличился умеренностию и благоразумием.

[11] Императрица 22 октября 1774 года писала Вольтеру: Volontiers, monsieur, je satisferai votre curiosité sur le compte de Pougatschef: ce me sera d'autant plus aisé, qu'il y a un mois qu'il est pris, ou pour parler plus exactement qu'il a été lié et garotté par ses propres gens dans la pleine inhabitée entre le Volga et le Jaïck, où il avait été chassé par les troupes envoyées contre eux de toutes parts. Privés de nourriture et de moyens pour se ravitailler, ses compagnons excédés d'ailleurs des cruautés qu'ils commettoient et espérant obtenir leur pardon, le livrèrent au commandant de la forteresse du Jaïck qui l'envoya à Simbirsk au général comte Panine. Jl est présentement en chemin pour

Пушкинский кабинет ИРЛИ

être conduit à Moscou. Amené devant le comte Panine, Il avoua naïvement dans son interrogatoire qu'il étoit cosaque du Don, nomma l'endroit de sa naissance, dit qu'il était marié à la fille d'un cosaque du Don, qu'il avoit trois enfants, que dans ces troubles il avoit épousé une autre femme, que ses frères et ses neveux servoient dans la première armée, que lui-même avoit servi, les deux première campagnes, contre la Porte, etc.etc.

Comme le général Panine a beaucoup de cosaques du Don avec lui, et que les troupes de cette nation n'ont jamais mordu à l'hameçon de ce brigand, tout ceci fut bientôt vérifie par les compatriotes de Pougatschef. Jl ne sait ni lire, ni écrire, mais c'est un homme extrêmement hardi et déterminé. Jusqu'ici il n'y a pas la moindre trace qu'il ait été l'instrument de quelque puissance, ni qu'il ait suivi l'inspiration de qui que ce soit. Jl est à supposer que M-r Pougatschef est maître brigand, et non valet d'âme qui vive.

Je crois qu'après Tamerlan il n'y en a guère un qui ait plus détruit l'espèce humaine. D'abord il faisoit pendre sans rémission, ni autre forme de procès toutes les races nobles, hommes femmes, et enfants, tous les officiers, tous les soldats qu'il pouvoit attraper: nul endroit où il a passé n'a été épargné, il pilloit et saccageoit ceux même, qui pour éviter ses cruautés, cherchoient à se le rendre favorable par une bonne réception: personne n'étoit devant lui à l'abri du pillage, de la violence et du meurtre.

Mais ce qui montre bien jusqu'où l'homme se flatte, c'est qu'il ose concevoir quelque éspérance. Ul s'imagine, qu' à cause de son courage, je pourrai lui faire grâce, et qu'il ferait oublier ses crimes passés par ses services futurs. S'il n'avait offensé que moi, son raisonnement pourrait être juste et je lui pardonnerois. Mais cette cause est celle de l'empire qui a ses loix[1].

---

[1] <Я охотно удовлетворю, сударь, ваше желание узнать правду о Пугачеве: мне это тем легче сделать, что месяц тому назад он был захвачен, точнее говоря, связан и закован своими собственными людьми на необитаемой равнине между Волгою и Яиком, куда он был загнан войсками, посланными против него со всех сторон. Лишенные провианта и возможности добыть его, товарищи Пугачева, пресытившись к тому же жестокостями, которые они совершали, и надеясь добиться прощения, доставили его к коменданту Яицкой крепости, который отправил его в Симбирск к генералу графу Панину. В настоящее время он находится по пути в Москву. При-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[12] Le marquis de Pougatschef dont vous me parlez encot re dans votre lettre du 16 décembre, a vécu en scélerat e- va finir en lâche. Jl a paru si timide et si faible en sa prison qu'on a été obligé de le préparer à sa sentence avec précaution. crainte qu'il ne mourût de peur sur le champ [1].

(Письмо императрицы к Вольтеру, от 29 декабря 1774 года.)

веденный к графу Панину, он чистосердечно признался на допросе, что он донской казак, назвал место своего рождения, сказал, что он был женат на дочери одного донского казака, что имел троих детей, что во время смуты он женился на другой женщине, что его братья и племянники служили в первой армии, что он сам служил, участвовал в двух первых кампаниях против Порты, и т. д. и т. д.

Так как в войске генерала Панина много донских казаков и так как войска этой народности никогда не попадались на удочку этого разбойника, то всё это было вскоре проверено при помощи земляков Пугачева. Он не умеет читать и писать, но это человек чрезвычайно смелый и решительный. До сих пор не найдено никаких указаний на то, чтобы он являлся орудием какой-либо державы или был кем-либо подстрекаем. Надо полагать, что г. Пугачев просто заправский разбойник, а не чей-либо слуга.

Мне кажется, что после Тамерлана не было человека, который бы истребил столько людей. Начну с того, что он беспощадно, без всякого суда, вешал всех лиц дворянского происхождения, мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, которых ему удавалось захватить; ни одно место, где он побывал, не было пощажено: он грабил и разорял даже тех, кто, желая спастись от его жестокости, пытались расположить его к себе, миролюбиво его встречая; никто не был защищен от грабежа, насилия и убийств с его стороны.

Но до чего человек способен заблуждаться—показывает то, что он осмеливается питать какую-то надежду. Он воображает, что, во внимание к его храбрости, я могу помиловать его и что своими будущими заслугами он заставит забыть свое преступное прошлое. Если бы он оскорбил только меня, его расчет мог бы оказаться правильным, и я простила бы его. Но здесь затронуты интересы империи, которая имеет свои законы.>

[1] <Маркиз Пугачев, о котором вы меня снова спрашиваете в письме от 16 декабря, жил как злодей и кон-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[13] «В скором времени по прибытии нашем в Москву, я увидел позорище для всех чрезвычайное, для меня же и новое: смертную казнь; жребий Пугачева решился. Он осужден на четвертование. Место казни было на так называемом *болоте*.

«В целом городе, на улицах, в домах, только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. Наконец, по убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтоб мы ни на шаг от него не отходили.

«Это происшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною верностию описать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось.

«В десятый день января тысяча семьсот семьдесят пятого года, в восемь или девять часов по полуночи, приехали мы на болото; на середине его возвдвигнут был эшафот, или лобное место, вкруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб, по причине жестокого мороза. Тут же находился и обер-полицейместер Архаров, окруженный своими чиновниками и ординарцами. На высоте или помосте лобного места увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фрунта всё пространство болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг всё восколебалось, и с шумом заговорило: *везут*, *везут*! Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной высоты сани, и в них сидел Пугачев; насупротив духовник его, и еще какой-то чиновник, вероятно секретарь Тайной экспедиции, за санями следовал еще отряд конницы.

«Пугачев с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в чертах его лица ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет; роста среднего, лицом смугл и бледен; глаза его сверкали; нос имел кругловатый; волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином.

чит жизнь как трус. Он оказался таким робким и слабым в своей тюрьме, что пришлось осторожно подгототовить его к приговору, из боязни, чтобы он сразу не умер от страха.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев, в препровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: *на караул*; и один из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово до меня доходило.

«При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» Он столь же громко ответствовал: «Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев». Потом, во всё продолжение чтения манифеста он, глядя на собор, часто крестился между тем как сподвижник его Перфильев *, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста, духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, оборотясь к соборам; потом с утороплепным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: «прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою; прости, народ православный!»—При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же». *(Из неизданных записок И. И. Дмитриева.)*

[14] Подробности сей казни разительно напоминают казнь другого донского казака, свирепствовавшего за сто лет перед Пугачевым, почти в тех же местах и с такими же ужасными успехами. См. Relation des particularités de la rebellion de Stenko-Razin contre le grand Duc de Moscovie. La naissance, le progrès et la fin de cette rebellion avec la manière dont fut pris ce rebelle, sa sentence de mort et son execution, traduit de l'Anglois par C. Desmares. MDCLXXXII[1].—Книга сия весьма редка; я видел один

* По словам других свидетелей, Перфильев на эшафоте одурел от ужаса; можно было принять его бесчувствие за равнодушие.

[1] <Подробный отчет о восстании Стеньки Разина против великого князя московского. Начало, развитие и конец этого восстания с описанием того, как был захва-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

экземпляр одной в библиотеке А. С. Норова, ныне принадлежащей князю Н. И. Трубецкому.

[15] См. Приложения, I.

<ЗАМЕТКИ К «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»>[1]

1

Стран. 16. Пугачев был уже пятый самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не только в простом народе, но и высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил, или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?

2

Стран. 18. Пугачев говорил, что сама императрица помогла ему скрыться.

3

Стран. 20. Первое возмутительное воззвание Пугачева к Яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или *публикации* Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов.

чен этот мятежник, его смертного приговора и казни. Перевел с английского С. Демар. 1682.>

[1] <Заметки эти представлены были Пушкиным 25. I. 1835 г. Николаю I, как материал, который он «не решился напечатать», но который «может быть любопытен для его величества». Ссылки на страницы соответствуют первому изданию «Истории Пугачевского бунта». В квадратных скобках обозначены строки, сохранившиеся только в черновом автографе заметок.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

4

Стран. 25. Бедный Харлов, накануне взятия крепости, был пьян, но я не решился того сказать, из уважения его храбрости и прекрасной смерти.

5

Стран. 34. Сей Нащокин был тот самый, который дал пощечину Суворову (после того Суворов, увидя его, всегда прятался и говорил: боюсь, боюсь, он дерется). Нащокин (Воин Васильевич) был один из самых странных людей своего времени. Сын его написал его записки: отроду не читывал я ничего забавнее. Государь Павел Петрович любил его и при восшествии своем на престол звал его в службу. Нащокин отвечал государю: Вы горячи и я горяч; служба в прок мне не пойдет. Государь пожаловал ему деревни в Костромской губернии, куда он и удалился. Он был крестник императрицы Елисаветы и умер в 1809 году.

6

Стран. 54. Чернышев (тот самый, о котором государыня Екатерина II говорит в своих записках был некогда камер-лакеем. Он был удален из Петербурга повелением императрицы Елисаветы Петровны[1]. Императрица Екатерина, вступив на престол, осыпала его и брата своими милостями. Старший умер в Петербурге комендантом крепости.

[1] [Он и брат его были любимцами Петра III, который сделал одного полковником и дал ему полк, а второго подполковником. Екатерина пожаловала первого бригадиром и сделала С.-Петербургским комендантом, а брата его (повешенного)—полковником и комендантом Симбирским. Петербургский комендант в старости своей был в связи с Травиной: он целый день проводил в ее доме, сидя под окном, а на заре отправлялся в крепость.]

Пушкинский кабинет ИРЛИ

7

Стран. 55. Карр был пред сим употребляем в делах, требовавших твердости, и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Карр это доказал). [В Радоме он был сторожем Радзивилла.] Разбитый двумя каторжниками он бежал под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и горячки. Приехав в Москву, он хотел явиться с оправданиями к князю Волхонскому, который его не принял. Карр приехал в благородное собрание, но его появление произвело такой шум и такие крики,что он принужден был поспешно удалиться. Ныне общее мнение если и существует, то уже гораздо равнодушнее, нежели как бывало в старину. Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел однакоже смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью.

8

Стран. 56. [Придворные отношения А. И. Бибикова чрезвычайно любопытны. Это один из благороднейших характеров того времени.] Императрица уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила. В начале ее царствования был он послан в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров. Бибиков возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину (что весьма не понравилось государыне). [Свобода его мыслей и всегдашняя его оппозиция были известны]; Бибикова подозревали благоприятствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол государя великого князя. [Существовала ли такая партия или нет—другой

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вопрос.] Сим призраком беспрестанно смущали государыню, и тем отравляли сношения между матерью и сыном, которого раздражали и ожесточали [неправые подозрения], ежедневные мелочные досады и подлая дерзость временщиков. Бибиков не раз бывал посредником между императрицей и великим князем. Вот один из тысячи примеров: великий князь, разговаривая однажды о военных движениях, подозвал полковника Бибикова (брата Александра Ильича) и спросил, во сколько времени полк его, в случае тревоги, может поспеть в Гатчину? На другой день Александр Ильич узнает, что о вопросе великого князя донесено, и что у брата его отымают полк. Александр Ильич, расспросив брата, бросился к императрице и объяснил ей, что слова великого князя были не что иное, как военное суждение, а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала: скажи брату своему, что в случае тревоги, полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчино.

★

[Стран. 64. Ив. Ив. Дмитриев описывал мне Корфа, как человека очень простого, а жену его, как маленькую и старенькую дуру; муж и жена открывали всегда губернаторские балы манаветом à la reine. Он в старом мундире времен Петра I-го, она в венгерском платье и в шляпе с перьями.]

9

Стран. 73. Густав III, изъявляя в 1790 году все свои неудовольствия, хвалился тем, что он, несмотря на все представления, не воспользовался смятением, произведенным Пугачевым.—Есть чем хвастать, говорила государыня, что король не вступил в союз с беглым каторжником, вешавшим женщин и детей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

10.

С т р а н. 78. Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-тилетняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал.—Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом?—Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович. Когда упомянул я о его скотской жестокости, старики оправдывали его, говоря: не его воля была: наши пьяницы его мутили.

11

С т р а н. 82. [Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерено идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию? Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Феодоровичем, и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил, что за ним идут три полка. (Слышал от сенатора Баранова».)] И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости.

12

С т р а н. 84. Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозмож-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ных мучений. [«Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали.] Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков), простили, отрезав им носы и уши».— Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта.

13

Стран. 93. Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (1775), и сказала: как он хорош, настоящая куколка. Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменнически. Москва обвиняла Потемкина...

14

Стран. 135. [Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один из дворян не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему.] Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым. Прапорщик Минеев и несколько других офицеров были прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и проч. А Шванвичь только ошельмован преломлением над головою шпаги. Екатерина уже готовилась освободить дворянство от телесного наказания. Шванвичь был сын кронштадтского коменданта, разрубившего некогда палашом, в трактирной ссоре, щеку Алексея Орлова (Чесменского).

Пушкинский кабинет ИРЛИ

15

Стран. 137. Кто были сии смышленные сообщники, управлявшие действиями Самозванца? — Перфильев? Шигаев?—Это должно явствовать из процесса Пугачева, но к сожалению я его не читал, не смев распечатать без высочайшего на то соизволения.

16

Стран. 138. Молодой Пулавский был в связи с женою старого Казанского губернатора.

17

Стран. 145. В Саранске архимандрит Александр принял Пугачева со крестом и евангелием, и во время молебствия, на ектении упомянул государыню Устинию Петровну. Архимандрит предан был гражданскому суду, в Казани, 13 окт. 1774 года в полдень приведен он был в оковах в собор. Его повели в алтарь и возложили на него полное облачение. Солдаты с примкнутыми штыками стояли у северных дверей. Протопоп и протодиакон поставили его посреди церкви, во всем облачении и в оковах. После обедни был он выведен на площадь; ему прочли его вины. После того сняли с него ризы, обрезали волоса и бороду, и сослали на вечное заточение. Народ был в ужасе и жалел о преступнике. В указе было велено вывести Александра в одежде монашеской. Но Потемкин (Петр Сергеевич) отступил от сего, *для большего ефекта*.

18

Стран. 157. Настоящая причина, по которой Румянцев не захотел отпустить Суворова, была зависть, которую питал он к Бибикову, как вооб-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ще ко всем людям, коих соперничество казалось ему опасным. [Вместо Суворова прислал он Щербатова. Императрица Екатерина не любила Румянцева за его низкий характер.]

19

Стран. 164. Падуров, как депутат, в силу привилегий, данных именным указом, не мог ни в каком случае быть казнен смертью. Не знаю, прибегнул ли он к защите сего закона; может быть он его не знал; может быть судьи о том не подумали; тем не менее казнь сего злодея противузаконна. [Вот один из тысячи примеров, доказывающих необходимость адвокатов.]

Общие замечания

Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны. (NB Класс приказных и чиновников был еще малочислен, и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева. Шванвичь один был из хороших дворян.)

Все *немцы*, находившиеся в средних чинах, сделали честно свое дело: Михельсон, Муфель, Меллин, Диц, Деморин, Дуве etc. Но все те, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия: Рейнсдорп, Брант, Карр, Фрейман, Корф, Валленштерн, Билов, Декалонг, etc. etc.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно.

Нет худа без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии слишком пространные разделились; сообщение всех частей государства сделалось быстрее etc.

<ЗАМЕТКИ О ШВАНВИЧЕ>

Немецкие указы Пугачева были писаны рукою Шванвича.

Отец его, Александр Мартынович, был маиором и Кронштадским комендантом, после переведен в Новгород. Он был высокий и сильный мужчина. им разрублен был Алексей Орлов в трактирной ссоре. Играя с Свечиным в ломбер, он имел привычку закуривать свою пенковую трубочку, а между тем заглядывать в карты. Женат был на немке. Сын его старший недавно умер. (Слышал от Н. Свечина.)

Анекдот о разрубленной Шванвичем щеке любопытен. Четыре брата Орловы (потомки стрельца Адлера, пощаженного Петром Великим за его хладнокровие перед плахою) были до 1762 году бедные гвардейские офицеры, известные буйной и беспутной жизнью. Народ их знал за силачей, и никто в Петербурге с ними не осмеливался спорить, кроме Шванвича, такого же повесы и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

силача, как и они. Порознь он мог сладить с каждым из них, но вдвоем Орловы брали над ним верх. После многих драк, они между <собою> положили, во избежание напрасных побоев, следующее правило: один Орлов уступает Шванвичу, и где бы его ни встретил—повинуется ему беспрекословно. Двое же Орловых, встретя Шванвича, берут перед ним перед, и Шванвич им повинуется. Таковое перемирие не могло долго существовать. Шванвич встретился однажды с Фед. Орловым в трактире и, пользуясь своим правом, овладел бильярдом, вином и девками. Он торжествовал, как вдруг, откуда ни возьмись, является тут же Алексей Орлов, и оба брата, по силе договора, отымают у Шванвича вино, бильярд и девок [а его самого в толчки выгоняют]. Шванвич, уже хмельной, хотел воспротивиться. Тогда Орловы вытащили его из дверей. Шванвич, в бешенстве, стал дожидаться их у выхода, притаясь за воротами. Через несколько минут вышел Алексей Орлов. Шванвич обнажил палаш, разрубил ему щеку и ушел; удар пьяной руки не был смертелен, однакож Орлов упал. Шванвич долго скитался, боясь встретиться с Орловыми.

Через несколько времени произошел переворот, возведший Екатерину на престол, а Орловых на первую степень в государстве. Шванвич почитал себя погибшим. Орлов пришел к нему, обнял его и остался с ним приятелем. Сын Шванвича, находившийся в команде Чернышева, имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г. А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора.

<1834—1835>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ОБ ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА

(Разбор статьи, напечатанной в «Сыне Отечества», в январе 1835 года.)[1]

Несколько дней после выхода из печати «Истории Пугачевского бунта» явился в «Сыне Отечества» разбор этой книги. Я почел за долг прочитать его со вниманием, надеясь воспользоваться замечаниями неизвестного критика. В самом деле, он указал мне на *одну* ошибку и на *три* важные опечатки. Статья вообще показалась мне произведением человека, имеющего мало сведений о предмете, мною описанном. Я собирался при другом издании исправить замеченные погрешности, оправдаться в несправедливых обвинениях и принести изъявление искренней моей благодарности рецензенту, тем более, что его разбор написан со всевозможной умеренностию и благосклонностию.

Недавно в «Северной Пчеле» сказано было, что сей разбор составлен покойным Броневским, автором «Истории Донского войска». Это заставило меня перечесть его критику и возразить на оную в моем журнале, тем более, что «История Пугачевского бунта», не имев в публике никакого успеха, вероятно не будет иметь и нового издания.

В начале своей статьи, критик, изъявляя сожаление о том что «История Пугачевского бунта» писана вяло, холодно, сухо, а не пламенной кистью Байрона и проч., признает, что эта книга «есть драгоценнейший материал, и что будущему историку, и без пособия нераспечатанного еще дела о Пугачеве, не трудно будет исправить *некоторые поэтические вымыслы*, *незначащие недосмотры*, и дать сему мертвому материалу жизнь новую и бли-

[1] <Разбор этот напечатан был в «Современнике» 1836 г., кн. 3.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стательную». За сим г. Броневский отмечает сии поэтические вымыслы и недосмотры «не в суд и осуждение автору, а единственно для пользя наук, для его и общей пользы». Будем следовать за каждым шагом нашего рецензента.

Критика г. Броневского.

«На сей-то реке (Яике),—говорит г. Пушкин,—в XV столетии явились донские казаки».

Выписанное в подтверждение сего факта из «Истории уральских казаков» г. Левшина (см. прим. 1. 3—8 стр.) долженствовало бы убедить автора, что донские казаки пришли на Яик в XVI, а не в XV, столетии, и именно около 1584 года.

Объяснение.

Есть разница между *появлением* казаков на Яике и *поселением* их на сей реке. В русских летописях упоминается о казаках не прежде как в XVI столетии; но предание могло сохранить то, о чем умалчивала хроника. Наша летопись в первый раз о татарах упоминает в XIII столетии, но татаре существовали и прежде. Г. Левшин неоспоримо доказал, что казаки поселились на Яике не прежде XVI столетия. К сему же времени должно отнести и существование полу-баснословной Гугнихи. Г. Левшин, опровергая Рычкова, спрашивает: как могла она (Гугниха) помнить происшествия, которые были *почти* за сто лет до ее рождения? Отвечаю: так же, как и мы помним происшествия времен императрицы Анны Иоанновны,—по преданию.

Критика г. Броневского.

Вся первая глава, служащая введением к «Ист. Пуг. бун.», как краткая выписка из сочинения г. Левшина, не имела, как думаем, никакой нужды в огромном примечании к сей главе (26 стр. мелкой печати), которое состав-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ляет почти всю небольшую книжку г. Левшина. Книжка эта не есть древность, которой за деньги купить нельзя; посему почтенный автор мог и должен был ограничить себя указанием, откуда первая глава им заимствована.

Объяснение.

Полное понятие о внутреннем управлении яицких казаков, об образе жизни их и проч. необходимо для совершенного объяснения Пугачевского бунта; и потому необходимо и *огромное* (т. е. пространное) примечание к 1-й главе моей книги. Я не видел никакой нужды пересказывать по-своему то, что было уже сказано как нельзя лучше г-м Левшиным, который, по своей благосклонной снисходительности, не только дозволил мне воспользоваться его трудом, но еще и доставил мне свою книжку, сделавшуюся довольно редкою.

Критика г. Броневского.

«Известно,—говорит автор,—что в царствование Анны Иоанновны Игнатий Некрасов успел увлечь за собою множество донских казаков в Турцию». Стр. 16.

Некрасовцы бежали с Дона на Кубань в царствование Петра Великого, во время Булавинского бунта, в 1708 году. См. Историю Д. войска, Историю Петра Великого Берхмана, и другие.

Объяснение.

Что Булавин и Некрасов бунтовали в 1708 году, это неоспоримо. Неоспоримо и то, что в следующем сей последний оставил Дон и поселился на Кубани. Но из сего еще не следует, что при императрице Анне Иоанновне не мог он со своими единомышленниками перейти на турецкие берега Дуная, где ныне находятся селения Некрасовцев. В истории Петра I-го в последний раз об них упоминается в 1711 году, во время переговоров при Пруте. Не-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

красовцы поручены *покровительству Крымского хана* (к великой досаде Петра I, требовавшего возвращения беглецов и наказания их предводителя). Положившись на показания рукописного Исторического Словаря, составленного учеными и трудолюбивыми издателями «*Словаря о святых и угодниках*», я поверил, что Некрасовцы перешли с Кубани на Дунай во время походов графа Миниха, в то время, как запорожцы признали снова владычество русских государей*. *Но это показание несправедливо*: Некрасовцы оставили Кубань гораздо позже, именно в 1775 году. Г. Броневский (автор «Истории Донского войска») и сам не знал сих подробностей; но тем не менее благодарен я ему за дельное замечание, заставившее меня сделать новые успешные исследования.

Критика г. Броневского.

«Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен *Силин*. Послано повеление в Черкаск сжечь дом Пугачева... Государыня не согласилась по просьбе начальства перенесть станицу на другое место, хотя бы и *менее выгодное*; она согласилась только переименовать Зимовейскую станицу Потемкинскою». Стр. 74.

В 1772 году войсковой атаман Степан Ефремов, за недоставление отчетов об израсходованных суммах, был арестован и посажен в крепость; вместо его пожалован из старшин в наказные атаманы Алексей Иловайский. Силин не был донским войсковым атаманом. Из Донской истории не видно, чтобы правительство приказало сжечь дом Пугачева; а видно только, что, по прошению донского начальства, Зимовейская станица перенесена *на выгоднейшее место* и названа Потемкинскою. См «Историю Д. войска», стр. 88 и 124 части I.

---

* Изменник Орлик, сподвижник Мазепы, современник Некрасова, был тогда еще жив и приезжал из Бендер уговаривать старинных своих товарищей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Объяснение.

В 1773 и 74 году войсковым атаманом Донского войска был *Семен Сулин* (а не Силин). Иловайский был избран уже на его место. У меня было в руках более пятнадцати указов на имя войскового атамана Семена Сулина и столько же докладов от войскового атамана Семена Сулина. В «Русском Инвалиде», в нынешнем в 1836 году, напечатано несколько донесений от полковника Платова к войсковому атаману Семену Никитичу Сулину во время осады Силистрии в 1773 году. Правда, что в «Истории Донского войска» (сочинении моего рецензента) не упомянуто о Семене Сулине. Это пропуск важный и, к сожалению, не единственный в его книге.

Г. Броневский также несправедливо оспоривает мое показание, что послано было из Петербурга повеление сжечь дом и имущество Пугачева, ссылаясь опять на свою «Историю Донского войска», где о сем обстоятельстве опять не упомянуто. Указ о том, писанный на имя атамана Сулина, состоялся 1774 года января 10 (№ казнь Пугачева совершилась ровно через год, 1775 года 10 января). Вот собственные слова указа:

«Двор Ем. Пугачева, в каком бы он худом или лучшем состоянии ни находился, и хотя бы состоял он в развалившихся токмо хижинах, имеет Донское войско, при присланном от обер-коменданта Крепости Св. Димитрия штаб-офицере, собрав священный той станицы чин, старейшин и прочих оной жителей, при всех их сжечь, и на том месте через палача или профоса пепел развеять; потом это место огородить надолбами, или рвом окопать, оставя на вечные времена без поселения, как осквернение жительством на нем все казни лютые и истязания делами своими превосшедшего злодея, которого имя останется мерзостию навеки, а особ-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ливо для Донского общества, яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени,— хотя отнюдь таким богомерзким чудовищем ни слава войска Донского, ни усердие оного, ни ревность к Нам и Отечеству помрачиться и ни малейшего нарекания претерпеть не может».

Я имел в руках и донесение Сулина о точном исполении указа (иначе и быть не могло). В сем-то донесении Сулин от имени жителей Зимовейской станицы просит о дозволении перенести их жилища с земли, осквернённой пребыванием злодея, на другое место, *хотя бы и менее удобное.* Ответа я не нашел; но по всем новейшим картам видно, что Потемкинская станица стоит на том самом месте, где на старинных означена Зимовейская. Из сего я вывел заключение, что государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую.

Критика г. Броневского.

Автор не сличил показания жены Пугачева с его собственным показанием; явно, что свидетельство жены не могло быть верно: она, конечно, не могла знать всего и, конечно, не всё высказала, что знала. Собственное же признание Пугачева, что он скрывался в Польше, должно предпочесть показанию станичного атамана Трофима Фомина, в котором сказано, что будто бы Пугачев, отлучаясь из дому в разное время, кормился м и л о с т ы н е ю!! и в 1771 был на Куме.—Но Пугачев в начале 1772 года явился на Яик с польским фальшивым паспортом, которого он на Куме достать не мог.

На Дону по преданию известно, что Пугачев до Семилетней войны промышлял, по обычаю предков, на Волге, на Куме и около Кизляра; после первой Турецкой войны скрывался между польскими и глуховскими раскольниками. Словом, в мирное время иногда приходил в дом свой на короткое время; а постоянно занимался воровством и разбоем в окрестностях Донской земли, около Данкова, Таганрога и Острожска.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Объяснение.

Показания мои извлечены из оффициальных, неоспоримых документов. Рецензент мой, укоряя меня в несообразностях, не показывает, в чем оные состоят. Из показаний жены Пугачева, станичного атамана Фомина и наконец самого самозванца, *в конце* (а не в начале) 1772 года приведенного в Малыковскую канцелярию, видно, что он в 1771 году отпущен из армии на Дон, по причине болезни; что в конце того же года, уличенный в возмутительных речах, он успел убежать и, тайно возвратясь домой в начале 1772 года, был схвачен и бежал опять. Здесь прекращаются сведения, собранные правительством на Дону. Сам Пугачев показал, что весь 1772 год скитался он за польской границею и пришел оттуда на Яик, кормясь милостынею (о чем Фомин не упоминает ни слова). Г. Броневский, выписывая сие последнее показание, подчеркивает слово *милостыня* и ставит несколько знаков удивления (!!); но что ж удивительного в том, что нищий бродяга питается милостынею? Г. Броневский, не взяв на себя труда сличить мои показания с документами, приложенными к «Истории Пугачевского бунта», кажется, не читал и манифеста о *преступлениях казака Пугачева*, в котором именно сказано, что он *кормился от подаяния*. (См. манифест от 19 декабря 1774 г., в «Приложении к Истории Пугачевского бунта».)

Г. Броневский, опровергая свидетельство жены Пугачева, показания станичного атамана Фомина и оффициально обнародованное известие, пишет, что *Пугачев в начале 1772 года* явился на Яике *с польским фальшивым паспортом*, *которого он на Куме достать не мог*. Пугачев *в начале* 1772 года был на Кубани и на Дону; он явился на Яик *в конце* того же года не с польским *фальшивым* пас-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

портом, но с русским, данным ему от начальства, им обманутого, с Добрянского форпоста. Предание, слышанное г. Броневским, будто бы Пугачев, *по обычаю предков* (!), промышлял разбоями на Волге, на Куме и около Кизляра, ни на чем не основано и опровергнуто оффициальными, достовернейшими документами. Пугачев был *подозреваем* в воровстве (см. показание Фомина); но до самого возмущения Яицкого войска *ни* в *каких разбоях не бывал.*

Г. Броневский, оспоривая достоверность неоспоримых документов, имел, кажется, в виду оправдать собственные свои показания, помещенные им в «Истории Донского войска». Там сказано, что природа одарила Пугачева *чрезвычайной живостию и с неустрашимым мужеством дала ему и силу телесную и твердость душевную*; но что, *к несчастию, ему не доставало самой лучшей и нужнейшей прикрасы—добродетели*; что отец его был убит в 1738; что двенадцатилетний Пугачев, *гордясь своим одиночеством, своею свободою, с дерзостию и самонадеянием вызывал детей равных с ним лет на бой, нападал храбро, бил их всегда*; что в одной из таких забав убил он предводителя противной стороны; что по пятнадцатому году он *уже не терпел никакой власти*; что на двадцатом году *ему стало тесно и душно на родной земле*; что честолюбие мучило его; что вследствие того он сел однажды на коня и *пустился искать приключений в чистое поле*; что он поехал на восток, *достигнул Волги и увидел большую дорогу*; что, встретив четырех удальцев, начал он с ними грабить и разбойничать; что, *вероятно*, он занимался разбоями только во время мира, а во время войны служил в казачьих полках; что генерал Тотлебен, во время Прусской войны, увидев однажды Пугачева, сказал окружавшим его чиновникам: «*чем боле смотрю на сего казака, тем более поражаюсь*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сходством его с великим князем», и проч. и проч. (См. «Историю Донского войска». Ч. II. гл. XI.) Всё это ни на чем не основано и заимствовано г. Броневским из пустого немецкого романа «Ложный Петр III», не заслуживающего никакого внимания. Г. Броневский, укоряющий меня в каких-то *поэтических вымыслах*, сам поступил неосмотрительно, повторив в своей «Истории» вымыслы столь нелепые.

Критика г. Броневского.

«Шигаев, думая заслужить себе прощение, задержал Пугачева и Хлопушу и послал к оренбургскому губернатору сотника Логинова с предложением о выдаче самозванца». Но в поставленном тут же под № 12 примечании автор говорит, что сие показание Рычкова невероятно: ибо Пугачев и Шигаев, после бегства их из-под Оренбурга, продолжали действовать заодно.

Если показание Рычкова невероятно, то в текст и не должно было его ставить: если же Шигаев только в крайнем случае в самом деле думал предать Пугачева, то это обстоятельство не мешало продолжать действовать заодно с Пугачевым: ибо беда еще не наступила. Историку, конечно, показалось трудным сличать противоречащие показания и выводить из них следствия; но это его обязанность, а не читателей.

Объяснение.

Выписываю точные слова текста и примечание на оный:

«После сражения под Татищевой, Пугачев с 60 казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам-пят в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На воза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что всё пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачева и Хлопушу, послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца, и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами.

«*Примечание.* Рычков пишет, что Шигаев велел связать Пугачева. Показание невероятное. Увидим, что Пугачев и Шигаев действовали заодно несколько времени после бегства их из-под Оренбурга».

Шигаев, человек лукавый и смышленый, мог под каким ни есть предлогом *задержать* нехитрого самозванца; но не думаю, чтоб он его *связал*: Пугачев этого ему бы не простил.

Критика г. Броневского.

Стр. 97. «Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Тибинск, куда после Чесноковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены казаками и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу». В примечании же 16-м (стр. 51), принадлежащем к сей V главе, сказано совсем другое, именно: «По своем разбитии, Чика с Ульяновым остановилися ночевать в Богоявленском Медноплавильном заводе. Приказчик угостил их и, напоив до пьяна, ночью связал и представил в Тобольск. Михельсон подарил 500 руб. приказчиковой жене, подавшей совет напоить беглецов».

Место действия находилось в окрестностях Уфы, а посему приказчик не имел нужды отсылать преступников в Тобольск, находящийся от Уфы в 1145 верстах.

Объяснение.

Если бы г. Броневский потрудился взглянуть на текст, то он тотчас исправил бы опечатку, находящуюся в примечании. В тексте сказано, что

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ульянов и Чика были выданы Михельсону в *Табинске* (а не в *Тобольске*, который слишком далеко отстоит от Уфы, и не в Тибинске, который не существует).

Критика г. Броневского.

«Солдатам начали выдавать в сутки только по четыре фунта муки, т. е. десятую часть меры обыкновенной». Стр. 100.

Солдат получает в сутки два фунта муки, или по три фунта печеного хлеба. По означенной выше мере выйдет, что солдаты во время осады получали двойную порцию, или что весь гарнизон состоял из 20 только человек. Тут что нибудь да не так.

Объяснение.

Очевидная опечатка вместо *четыре фунта* должно читать *четверть фунта*, что и составит около *десятой части* меры обыкновенной, т. е. двух фунтов печеного хлеба. Смотри статью «Об осаде Яицкой крепости», откуда заимствовано сие показание. Вот собственные слова неизвестного повествователя: «Солдатам стали выдавать в сутки только по четверти фунта муки, что составляет десятую часть обыкновенной порции».

Критика г. Броневского.

В примечании 18, стр. 52, сказано, что оборона Яицкой крепости составлена по статье, напечатанной в «Отечественных Записках», и по журналу коменданта полковника Симонова. Как автор принял уже за правило помещать вполне все акты, из которых он что-либо заимствовал, то журнал Симонова нигде до сего не напечатанный, заслуживал быть помещенным в примечаниях также вполне, как Рычкова—об осаде Оренбурга, и архимандрита Платона—о сожжении Казани.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Объяснение.

Я не мог поместить все акты, из коих заимствовал свои сведения. Это составило бы более десяти томов: я должен был ограничиться любопытнейшими.

Критика г. Броневского.

Стр. 129. «Михельсон, оставя Пугачева вправе, пошел прямо на Казань и 11 июля вечером был уже в 15 верстах от нее.—Ночью отряд его тронулся с места. Поутру, в 45 верстах от Казани, услышал пушечную пальбу!..» Маленький недосмотр!

Объяснение.

Важный недосмотр: вместо *в 15 верстах*, должно читать: *в пятидесяти*.

Критика г. Броневского.

«Пугачев отдыхал сутки в Сарепте, оттуда пустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25 августа на рассвете, он настигнул Пугачева в ста пяти верстах от Царицына. Здесь Пугачев, разбитый в последний раз, бежал, и в семидесяти верстах от места сражения переплыл Волгу выше Черноярска». Стр. 155—156.

Из сего описания видно, что Пугачев переплыл Волгу в 175 верстах ниже Царицына; а как между городом и Чернояром считается только 155 верст, то из сего выходит, что он переправился чрез Волгу ниже Черноярa в 20 верстах.—По другим известиям, Пугачеву нанесен последний удар под самым Царицыном, откуда он бежал по дороге к Черноярy, и в сорока верстах от Царицына переправился через Волгу, то есть верстах в десяти ниже Сарепты.

Объяснение.

Выписываю точные слова текста:

«Пугачев стоял на высоте, между двумя дорогами. Михельсон *ночью обошел его* и стал противу мятежников. Утром Пугачев опять увидел пред

Пушкинский кабинет ИРЛИ

собою своего грозного гонителя; но не смутился, а смело пошел на Михельсона, отрядив свою пешую сволочь противу донских и чугуевских казаков, стоящих по обоим крылам отряда. Сражение продолжалось недолго. Несколько пушечных выстрелов расстроили мятежников. Михельсон на них ударил. Они бежали, брося пушки и весь обоз. Пугачев, переправясь через мост, напрасно старался их удержать, он бежал вместе с ними. Их били и преследовали сорок верст. Пугачев потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен. Остальные рассеялись. Пугачев в семидесяти верстах от места сражения переплыл Волгу, выше Черноярска, на четырех лодках, и ушел в луговую сторону, не более как с тридцатью казаками. Преследовавшая его конница опоздала четвертью часа. Беглецы, не успевшие переправиться на лодках, бросились вплавь, и перетонули».

Рецензент пропустил без внимания главное обстоятельство, поясняющее действие Михельсона, который *ночью обошел* Пугачева, и, следственно разбил его, погнал не *вниз*, *а вверх* по Волге, к Царицыну. Таким образом мнимая нелепость моего рассказа исчезает. Не понимаю, каким образом военный человек и военный писатель (ибо г. Броневский писал военные книги) мог сделать столь опрометчивую критику на место столь ясное само по себе!

Критика г. Броневского.

К VI главе 6 примечания не достает. См. 123 и 55 стр. На карте не означено многих мест, и даже городов и крепостей. Это чрезвычайно затрудняет читателя.

Объяснение.

Цыфр, означающий ссылку на замечание, есть опечатка.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Карта далеко неполна; но оная была необходима, и я не имел возможности составить другую, более совершенную.

Г. Броневский заключает свою статью следующими словами:

«Сии немногие недостатки ни мало не уменьшают внутреннего достоинства книги, и если бы нашлось и еще несколько ошибок, книга, по содержанию своему, всегда останется достойною внимания публики».

Если бы все замечания моего критика были справедливы, то вряд ли книга моя была бы достойна внимания публики, которая вправе требовать от историка, если не таланта, то добросовестности в трудах и осмотрительности в показаниях. Знаю, что оправдываться опечатками легко; но, надеюсь, читатели согласятся, что *Тобольск* вместо *Табинск*; *в пятнадцати верстах* вместо *в пятидесяти верстах* и наконец *четыре фунта* вместо *четверти фунта* более походят на опечатки, нежели следующие errata, которые где-то мы видели: *Митрополит*—читай: *простой священник, духовник царский*; *зала в тридцать саженей вышины*—читай:*зала в пятнадцать аршин вышины*; *Петр I из Вены отправился в Венецию*—читай: *Петр I из Вены поспешно возвратился в Москву.*

Рецензенту, наскоро набрасывающему беглые замечания на книгу, бегло прочитанную, очень извинительно ошибаться; но автору, посвятившему два года на составление ста шестидесяти осьми страничек, такое небрежение и легкомыслие были бы непростительны. Я должен был поступать тем с большею осмотрительностью, что в изложении военных действий (предмете для меня совершенно новом) не имел я тут никакого руководства, кроме донесений частных начальников, показаний казаков, беглых крестьян, и тому подобного,—показаний, часто друг другу противоречащих, преуве-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

личенных, иногда совершенно ложных. Я прочел со вниманием всё, что было напечатано о Пугачеве, и сверх того 18 толстых томов in-folio разных рукописей, указов, донесений, и проч. Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память исторической критикою.

Сказано было, что «История Пугачевского бунта» не открыла ничего нового, неизвестного. Но вся эта эпоха была худо известна. Военная часть оной никем не была обработана: многое даже могло быть обнародовано только с *высочайшего* соизволения. Взглянув на «Приложения к Истории Пугачевского бунта», составляющие весь второй том, всякой легко удостоверится во множестве важных исторических документов, в первый раз обнародованных. Стоит упомянуть о собственноручных указах Екатерины II, о нескольких ее письмах, о любопытной летописи нашего славного академика Рычкова, коего труды ознаменованы истинной ученостию и добросовестностию—достоинствами столь редкими в наше время, о множестве писем знаменитых особ, окружавших Екатерину: Панина, Румянцева, Бибикова, Державина и других... Признаюсь, я полагал себя вправе ожидать от публики благосклонного приема, конечно, не за самую «*Историю Пугачевского бунта*», но за исторические сокровища, к ней приложенные. Сказано было, что историческая достоверность моего труда поколебалась от разбора г. Броневского. Вот доказательства, какое влияние имеет у нас критика, как бы поверхностна и неосновательна она ни была!

Теперь обращаюсь к г. Броневскому, уже не как к рецензенту, но как к историку. .

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В своей «Истории Донского войска» он поместил краткое известие о Пугачевском бунте. Источниками служили ему: вышеупомянутый роман «Ложный Петр III», «Жизнь А. И. Бибикова», и наконец предания, слышанные им на Дону. О романе мы уже сказали наше мнение. «Записки о жизни и службе А. И. Бибикова» по всем отношениям очень замечательная книга, а в некоторых и авторитет. Что касается до преданий, то если оные, с одной стороны, драгоценны и незаменимы, то, с другой, я по опыту знаю, сколь много требуют они строгой поверки и осмотрительности. Г. Броневский не умел ими пользоваться. Предания, собранные им, не дают его рассказу печати живой современности, а показания, на них основанные, сбивчивы, темны, а иногда и совершенно ложны.

Укажем и мы на *некоторые вымыслы* (к сожалению, не поэтические), на некоторые *недосмотры* и явные несообразности.

Приводя вышеупомянутый анекдот о Тотлебене, будто бы заметившем сходство между Петром III и Пугачевым, г. Броневский пишет: «Если анекдот сей справедлив, то можно согласиться, что слова сии, просто сказанные, хотя в то время не сделали на ум Пугачева большого впечатления, но впоследствии могли подать ему мысль называться императором». А через несколько страниц г. Броневский пишет: «Пугачев принял предложение яицкого казака Ивана Чики, более его дерзновенного, называться Петром III»—Противоречие!

Анекдот о Тотлебене есть вздорная выдумка. Историку не следовало о нем и упоминать и того менее выводить из него какое бы то ни было заключение. Государь Петр III был дороден, белокур, имел голубые глаза: самозванец был смугл, сухощав, малорос; словом, ни в одной черте не сходствовал с государем.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Страница 98. «12 Генваря 1773, раскольники (в Яицком городке) взбунтозались и убили как генерала (Траубенберга), так и своего атамана».

Не в 1773, но в 1771. См. Левшина, Рычкова, Ист. Пугач. бунта, и пр.

Стран. 102. «Полковник Чернышев прибыл на освобождение Оренбурга и 29 апреля 1774 года сражался с мятежниками; губернатор не подал ему никакой помощи» и проч.

Не 29 апреля 1774 г., а 13 ноября 1773; в апреле 1774 года разбитый Пугачев скитался в Уральских горах, собирая новую шайку.

Г. Броневский, описав прибытие Бибикова в Казань, пишет, что в то время (в январе 1774) *самозванец в Самаре и Пензе был иринят народом с хлебом и солью.*

Самозванец в январе 1774 года находился под Оренбургом и разъезжал по окрестности оного. В *Самаре он никогда не бывал, а Пензу взял уже после сожжения Казани*, во время своего страшного бегства, за несколько дней до своей собственной погибели.

Описывая первые действия генерала Бибикова и медленное движение войск, идущих на поражение самозванца к Оренбургу, г. Броневский пишет: «Пугачев, умея грабить и резать, не умел воспользоваться сим выгодным для него положением. Поверив распущенным нарочно слухам, что будто от Астрахани идет для нападения на него несколько гусарских полков с донскими казаками, он долго простоял на месте, потом обратился к низовью Волги и через то упустил время, чтобы стать на угрожаемом нападением месте».

Показание ложное. Пугачев всё стоял под Оренбургом и не думал обращаться *к низовью Волги.*

Г. Броневский пишет: «Новый главноначальст-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вующий граф Панин не нашел *на месте* (на каком месте?) всех нужных средств, чтобы утишить пожар мгновенно и не допустить распространение оного за Волгою».

Граф П. И. Панин назначен главноначальствующим, когда уже Пугачев переправился через Волгу и когда пожар уже распространился от Нижнего-Новгорода до Астрахани. Граф прибыл из Москвы в Керенск, когда уже Пугачев разбит был окончательно полковником Михельсоном.

Умалчиваю о нескольких незначащих ошибках, но не могу не заметить важных пропусков. Г. Броневский не говорит ничего о генерал-майоре Каррe, игравшем столь замечательную и решительную роль в ту несчастную эпоху. Не сказывает, кто был назначен главноначальствующим по смерти А. И. Бибикова. Действия Михельсона в Уральских горах, его быстрое, неутомимое преследование мятежников оставлены без внимания. Ни слова не сказано о Державине, ни слова о Всеволожском. Осада Яицкого Городка описана в трех следующих строках: «Он (Мансуров) освободил Яицкий Городок от осады и избавил жителей от голодной смерти: ибо они уже употребляли в пищу землю».

Политические и нравоучительные размышления*, коими г. Броневский украсил свое повест-

---

* Например: «Нравственный мир, так же как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла: то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий.

Я не имел случая изучать историю Дона и потому не могу судить о степени достоинства книги г. Броневского; прочитав ее, я не нашел ничего нового, мне неизвестного; заметил некоторые ошибки, а в описании эпохи мне знакомой—непростительную опрометчивость. Кажется, г. Броневский не имел ни средств, ни времени совершить истинно исторический памятник. «Тяжкая болезнь—говорит он в начале «Истории Донского войска»—принудила меня отправиться на Кавказ. Первый курс лечения Пятигорскими минеральными водами хотя не оказал большого действия, но, по совету медиков, я решился взять другой курс. Ехать в Петербург и к весне назад возвращаться было слишком далеко и убыточно; оставаться на зиму в горах слишком холодно и скучно; и так 15 сентября 1831 года отправился я в Новочеркасск, где родной мой брат жил на службе с своим семейством. Осьмимесячное мое пребывание в городе Донского войска доставило мне случай познакомиться со многими почтенными особами Донского края» и проч. «Впоследствии уверившись, что в словесности нашей не достает истории Донского войска, имея досуг и добрую волю, я решился пополнить этот недостаток» и проч.

Читатели г. Броневского могли, конечно, удивиться, увидя вместо статистических и хронологических исследований о казаках подробный отчет о лечении автора; но кто не знает, что для больного

доказывает, как низко может падать человек и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, и я с радостию вырвал бы страницу сию из труда моего».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

человека здоровье его не в пример занимательнее и любопытнее всевозможных исторических изысканий и предположений! Из добродушных показаний г. Броневского видно, что он в своих исторических занятиях искал только невинного развлечения. Это лучшее оправдание недостаткам его книги.

А. П.

<1836>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ЗАПИСКИ БРИГАДИРА МОРО-ДЕ-БРАЗЕ

(Касающиеся до Турецкого похода 1711 года)

В числе иноземцев, писавших о России, Моро-де-Бразе заслуживает особенное внимание. Он принадлежал к толпе тех наемных храбрецов, которыми Европа была наводнена еще в начале XVIII столетия и которых Вальтер Скотт так гениально изобразил в лице своего капитана Dalgetty.

Моро был родом французский дворянин. Вследствие какой-то ссоры принужден он был оставить полк, в котором служил офицером, и искать фортуны в чужих государствах. В начале 1711 года, услыша о выгодах, доставляемых Петром I иностранным офицерам, приехал он в Россию и принят был в службу полковником. Он был свидетелем несчастному походу в Молдавию, и после Прутского мира был отставлен от службы с чином бригадира. Он скитался потом по Европе, предлагал свои услуги то Австрии, то Саксонии, то Венецианской республике, получал отказы и вспоможения, сидел в тюрьме, и проч.

Он был женат на вдове, женщине хорошей дворянской фамилии, и которая для него переменила своё вероисповедание. Она, как кажется, была то, что французы называют une aventurière[1]. В 1714

[1] <Авантюристка.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

году г-жа Моро-де-Бразе была при дворе государыни великой княгини, супруги несчастного царевича, но не ужилась с молодым графом Левенвольдом и была выслана из Петербурга.

В 1735 году Моро издал свои записки под заглавием: Mémoires politiques, amusans et satiriques de messire J. M. d. B. c. de Lion, colonel du régiment de dragons de Casanski et brigadier des armées de sa m. czarienne, à Veritopolis chez Jean Disantvrai. 3 volumes[1]. В сих записках слишком часто принужден он оправдывать то себя, то свою жену. Они не имеют ни прелести Гамильтона, ни оригинальности Казановы; слог их столь же тяжел, как и неправилен. Впрочем Моро писал свои сочинения с небрежной уверенностью дворянина, а смотрел на их успех с философией человека, знающего цену славе и деньгам. «Qui que vous soyez, ami lecteur», говорит он в своем предисловии: «quelqe élevé que soit votre génie, quelques supérieures que soient vos lumières, quelque délicate, enfin que soit votre manière de parler et d'écrire, je ne vous demande point de grâce et vous pouvez vous égayer en critiquant ces amusements, que je laisse à la censure publique; mais en vous donnant carrière à mes dépens et aux vôtres, car il vous en coûtera votre argent pour lire mes ouvrages, souvenez-vous qu'un gallant homme qui se trouve au fond du nord, avec des gens la plupart barbares dont il n'entend pas la langue seroit bien à plaindre, s'il ne savoit pas se servir d'une plume pour sédesennuyer en écrivant tout ce qui se passe sous ses yeux. Vous

[1] <Воспоминания политические, забавные, обличительные господина Ж<ана> М<оро> д<е> Б<разе> г<рафа> Лионского, полковника Казанского драгунского полка и бригадира войск его царского величества, в Веритополисе у Жана Дизан-вре (Истинноградe у Ивана Правдина). 3 тома.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

savez qu'il n'est pas donné à tout le monde de penser et d'écrire finement. Sur ce pied vous m'excuserez, s'il vous plait, s'entend, par la raison qu'il y auroit bien des gens inutiles, s'il n'y avoit que ceux qui pensent et qui écrivent dans le goût rafiné qui s'en mêlassent; vous y perdriez les nouvelles de ces pays perdus, que je vous donne, où les bonnes plumes ne sont pas famillières. Adieu, lecteur mon ami, critiquez; plus il y aura de censeurs, mieux mon libraire s'en trouvera. Ce sera une marque qu'il débitera mon livre et qu'il retirera les fruits de sont travail.

Sunt sanis omnia sana»[1].

Записки Моро перемешаны с разными стихотворениями, иногда чрезвычайно вольными, большею частию собранными им; ибо он, вероятно, по своей драгунской привычке, располагал иногда

[1] <Кто бы ты ни был, друг читатель, сколь бы ни был возвышен твой ум, сколь бы ни был ты просвещен, сколь бы ни была, наконец, изыскана твоя манера говорить и писать,—я отнюдь не прошу снисхождения, и ты можешь позабавиться, критикуя эти шутки, которые я выношу на общий суд; но если я даю тебе возможность повеселиться на мой счет и на твой собственный тоже,—ибо чтение моих сочинений будет стоить тебе денег,—помни все же, что порядочный человек, находящийся на далеком севере среди людей, по большей части невежественных, языка которых он не понимает, был бы весьма достоин сожаления, если бы не умел владеть пером, чтобы развлечься описанием всего, что происходит перед его глазами. Ты знаешь, что не всякому дано мыслить и писать остроумно. В этом отношении ты меня извинишь,—если, конечно, пожелаешь,—приняв во внимание, что оказалось бы слишком много ненужных людей, если бы только умеющие мыслить и писать изящно занимались этим; ты бы лишился в этом случае доставляемых мною сведений об этих затерянных странах, где искусные перья редки. Прощай, друг мой читатель, критикуй; чем больше будет критиков, тем лучше для моего издателя. Это будет залогом того, что он распродаст мою книгу и извлечет пользу из своего труда. Для здоровых всё здорово.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чужою литературной собственностию, как неприятельскою.

Впрочем он и сам написал множество стихов. Выпишем несколько строф из его оды к королю Августу, как образец его поэтического таланта.

En quittant le Brabent j'épousai la querelle
Du czar, votre allié, je cru le bien servir,
J'ai même cru longtems pouvoir lui convenir.
Et quoiqu'il agréa mon zèle,
Je fus contraint de revenir.

*

Le sang que j'ai versé, les pertes que j'ai faites
D'un équipage entier que je n'ai point gagné
Qui fut par le Turban dans ce combat pillé
Furent les tristes interprètes
Qui m'anoncèrent mon congé.

*

Renvoyé sans argent du fond de la Russie
Etranger, sans patron et toujours malheureux,
Je cherche le secours d'un prince généreux
A qui je viens offrir ma vie
Egalement comme mes voeux.

*

Ne croyez, grand roi, qu'ardent en espérance,
J'ose vous demander plus que mon entretien,
Dans mon état présent, que je ne me sais rien,
Un peu d'honneur pour ma naissance
Un peu de bien pour mon soutient [1].

---

[1] <Покинув Брабант, я примкнул к делу царя,
Вашего союзника, и я надеялся, что хорошо ему служил,
Я даже долго надеялся, что мои услуги ему угодны.
И однако, хотя он принял мое усердие,
Я был вынужден его оставить.

Кровь, мною пролитая, понесенная мною потеря
Всего моего багажа, отнюдь мною не заработанного
И разграбленного людьми в тюрбанах во время сражения,—
Таковы были печальные толмачи,
Возвестившие мне мою отставку.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Эти стихи доказывают, что финансы отставного бригадира находились не в цветущем состоянии. Впрочем Август велел выдать ему триста гульденов, и Моро был очень доволен; должно признаться, что ода и того не стоила.

Рассказ Моро-де-Бразе о походе 1711 года, лучшее место изо всей книги, отличается умом и веселостию беззаботного бродяги; он заключает в себе множество любопытных подробностей и неожиданных откровений, которые можно подметить только в пристрастных и вместе искренних сказаниях современника и свидетеля.

Renvoyé sans argent du fond de la Russie [1].

Моро не любит русских и недоволен Петром; тем замечательнее свидетельства, которые вырываются у него поневоле. С какой простодушной досадою жалуется он на Петра, предпочитающего своих полудиких подданных храбрым и образованным иноземцам! Как живо описан Петр во время сражения при Пруте! С какой забавной ветренностию говорит Моро о наших гренадерах, qui, quoique russes, c'est à dire peu pitoyables, vouloient monter à cheval pour secourir ces braves hongrois[2], на что чувствительные немцы, их на-

---

Отосланный без денег из глубины России,
Иностранец, без покровителя и вечно несчастный,
Я ищу помощи у великодушного государя,
Которому предлагаю свою жизнь
Вместе с пожеланиями ему счастья.

Не подумайте, великий король, что, питая пылкие надежды,
Я дерзаю просить о большем, нежели о пропитании,—
Нет, в моем нынешнем положении, без гроша за душой,
Я прошу немного чести ради моего благородного происхождения
И немного средств, чтобы поддержать мое существование.>

[1] <Отосланный без денег из глубины России.>

[2] <Которые, хоть и русские, следовательно мало жалостливые, хотели сесть на лошадей и броситься на помощь храбрым венгерцам.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чальники, не хотели однако согласиться. Мы не хотели скрыть или ослабить и порицания, и вольные суждения нашего автора, будучи уверены, что таковые нападения не могут повредить ни славе Петра Великого, ни чести русского народа. Предлагаем «Записки бригадира Моро», как важный исторический документ, который не должно смешивать с нелепыми повествованиями иностранцев о нашем отечестве.

Начинаю с замечательнейшего и самого блестящего из событий, коим был я свидетель в этой глухой стороне: именно с войны, объявленной султаном Петру Алексеевичу, императору Великой и Малой России. Но, дабы представить ее в истинном виде, мне должно будет описать предшествовавшие обстоятельства. Позвольте мне* обратиться к тому времени, как шведский король Карл XII, восторжествовав над Фридериком-Августом, королем польским и курфирстом саксонским и над его царским величеством**, бросился в Саксонию, возвел на польский престол Станислава, и принудил Августа отказаться от короны с сохранением единого королевского титула. В это время шведский король мог заключить честный и выгодный мир, предлагаемый ему царем. Положение его было самое счастливое: у него было до 40 000 прекрасного войска, обыкшего к боям и целые десять лет избалованного победами; у войска всего было вдоволь: оно обогатилось в Саксонии, не без обиды и притеснений обывателям. Главная цель шведского короля была им достигнута. Фридерик-Ав-

---

* Моро-де-Бразе относится в своих записках к неизвестной даме.

** Должно было прибавить: и над датским королем Фридериком IV, который начал Северную войну и первый почувствовал когти Шведского льва.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

густ был низвержен. Он мог отделаться от прочих своих неприятелей миром, которого они сами домогались. Вспомним, что Карл XII был главным посредником при заключении Ризвицкого мира. Он мог обезоружить Европу, воюющую за испанское наследство, если бы только объявил себя противником стороне несогласной на общий мир. Даже было о том и предложение, устроенное г-м де Бонаком, французским чрезвычайным послом при его дворе; но герцог Малбруг отвратил удар, прибыв в Саксонию и успев задарить г-на Пипера английским и голландским золотом*. Сей министр из благодарности разрушил меры, уже принятые для утверждения общего мира, и завлек Карла XII в преследование Петра в пределы областей его царского величества—роковое предприятие, дорого ему стоившее!

Шведский король вышел из Саксонии со всеми своими полками. Он оставил в Польше, для поддержания Станислава, им коронованного, 20 000 войска (в том числе 9 000 новоприбывшего из Швеции) под начальством генерала графа Крассау, а сам пошел к Днепру, переправился чрез него, несмотря на все препятствия, и приближился к самой Полтаве, где его царское величество остановился и укреплялся, предав огню и разорению

---

* Так вообще думали в Европе. Вольтер с этим не согласен: Il est certain que Charles étoit infléxible dans le dessein d'aller détroner l'Empereur des Russes, qu'il ne recevoit alors conseil de persoune et qu'il n'avoit pas besoin des avis du comte Piper pour prendre de Pierre Alexiowitz une vengeance qu'il cherchoit depuis longtemps.— *Histoire de Charles XII*.

<Достоверно известно, что Карл был непоколебим в своем решении свергнуть с престола русского императора, что он не слушался в этом ничьих советов и не нуждался в увещаниях графа Пипера, чтобы отомстить Петру Алексеевичу, чего он давно добивался —*История Карла XII*.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

собственную землю, дабы отнять у неприятеля способы к пропитанию.

Вся Европа видела конец несчастного похода и падение короля, дотоле непобедимого. Войско его было уничтожено или захвачено в плен. Его совет, чиновники, за ним последовавшие, имели ту же участь; сам король, дабы не попасться в руки своим врагам, пробился с тремя стами конных в турецкую землю, за Днестр, в соседство буджацких татар и искал убежища в Бендерах.

Это удивительное поражение изменило все его дела не только в Польше, но и в собственном его государстве. Крассау, получив о том известие и не будучи в состоянии держаться долее в Польше, поспешно удалился в Померанию. Станислав за ним последовал, страшась попасть в руки приверженцам Августовым.

Польский король обнародовал манифест, в котором отказывался от мира, им заключенного с Карлом XII, объявляя, что принужден был на оный согласиться, дабы избавить свои наследственные области от насилия шведских войск, разорявших Саксонию, и что министры, им употребленные для переговоров, некстати обязали его и преступили его предписания. Потом явился он в Польше и, поддерживаемый великим гетманом Синявским, имея в своей власти коронное войско и множество приверженцев, он снова вступил на престол и попрежнему признан законным королем.

С другой стороны, король датский, видя, что Карл в Турции, а что войско его уничтожено, и полагая, что ему легко будет завоевать Саксонию и далее вступить в Швецию, обратил туда свои войска. Генералы его вторгнулись в сию соседственную область, предмет всегдашней его зависти. Но шведы, большею частию кое-как и кой-где набранные люди, разбили их на-голову. Датское

Пушкинский кабинет ИРЛИ

войско бежало, подрезав жилы у ног лошадей, дабы не могли они служить неприятелю, и бросив казну, обоз и артиллерию.

Его царское величество, пользуясь разбитием неприятеля, двинул поспешно полки свои в Лифляндию. Между тем короли датский и польский должны были в одно время войти в Померанию, дабы произвести диверсию и облегчить царю завоевание провинции, которой он давно добивался и от которой он уже успел *отщипнуть** Нарву, дабы защитить Петербург—новый, укрепленный городок, выстроенный им на реке *Нерве* (Nérva) в начале войны.

Сего не довольно: новое бедствие поразило Швецию, где в отсутствие короля учрежден был совет из лучших и благоразумнейших голов всего государства: явилась чума в Стокгольме, в Саксонии, в Померании и во всей Лифляндии, где свирепствовала во всей своей силе. В сие-то время его царское величество вознамерился овладеть Лифляндией и начал свои завоевания осадою Риги. Город принужден был к сдаче более чумою, нежели силою оружия и бомбами, которые, без сего божьего наказания, не принесли бы царю великой пользы.

Около сего времени прибыл я в Ригу проситься в службу к его царскому величеству, твердо решившись скорее умереть с голоду, нежели воевать противу отечества моего и вредить его пользе.

Царь, после взятия Риги, поручил князю Меньшикову взять Ревель и Пернау, города укрепленные, имеющие гавани на Балтийском море.

Князь Меньшиков завоевал их тем же средством, каким взята была Рига; чума предала их в его руки и увенчала его лаврами, меж тем как осы-

---

* Dont il avoit déjà écorné Narva.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пала кипарисом несчастную Лифляндию, Курляндию, Литву и Пруссию.

После Ревеля и Пернау князь Меньшиков, не нашед Выборга достойным своего личного присутствия, отрядил к оному генерал-лейтенанта Брекольса (Brecols)* с достаточным числом войска, а сам отправился в Петербург отдать во всем отчет его царскому величеству**. Он принят был как победитель; его пожаловали губернатором Лифляндии. (Он уже был герцогом Ингерманландским.)

Порта испугалась быстроте сих завоеваний. Султан и его сановники предвидели, что сосед их, если усилится, то нанесет им современем большие огорчения. Завоевание Азова*** лежало у них на сердце, тем более, что царь в укреплении оного сделал значительные улучшения и содержал в нем морское войско, притесняя тем турецкую торговлю на Черном море, если уж не вовсе ее уничтожая. Сверх того, для защиты Азова и окрестностей оного, Петр выстроил новые крепости. Всё это, при помощи происков шведского короля, понудило Порту объявить войну его царскому величеству. Царь получил о том известие по прибытии князя Меньшикова и по распределении войск по квартирам после столь многотрудной кампании. Он стал не-на-шутку заботиться о приуготовлениях к будущему походу, дабы предупредить, буде возможно, опасного неприятеля, который на него навязывался.

---

* Беркгольц, генерал-маиор.

** Всё это писано наобум. Выборг взят был не Беркгольцем, но сдался генерал-адмиралу графу Апраксину, в присутствии самого царя, 11 июля 1710 года. Пернау взят 14 августа того же года не князем Меньшиковым, а генералом Боуром, отряженным из-под осажденной Риги. Ревель взят им же, Боуром, 29 сентября и проч.

*** Asof, sur la Mer-Noire, пишет Моро.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Генерал-лейтенант Беркгольц взял Выборг, но не без потери и не без труда. Царь однакож, в знак благоволения, прислал ему свой портрет, осыпанный алмазами, и повелел войска, осаждавшие Выборг, Ревель и Пернов (кроме конницы), распределить по сим городам. Всей же коннице, кроме нескольких драгун, приказано итти в Верхнюю-Польшу и в Польскую-Россию (dans la Haute-Pologne et dans la Russie Polonaise), где легче было ее продовольствовать нежели в Лифляндии, коей все почти селения опустошены были чумою*.

Около ноября месяца курьер от князя Меньшикова привез уполномоченному генерал-комиссару лифляндскому, барону Левенвольду, приказание собрать рижских дворян и объявить им, что князь через месяц прибудет в Ригу для принятия от них присяги в верности и подданстве его царскому величеству. Между разными новостями князь прислал Левенвольду и условия, недавно предложенные Портою царю, во избежание войны, неминуемой в случае несогласия с его стороны. Я жил у Левенвольда. Мы провожали вместе часы веселия на досуге. Он показал мне эти условия; они состояли из семи статей:

I. Возвратить Азов, а укрепления, вновь приложенные к прежним, также и новые крепости, выстроенные по берегам Черного моря, разорить.

II. Расторгнуть совершенно союз, заключенный с Фридериком-Августом, курфирстом саксонским, и принять Станислава королем польским.

III. Возвратить всю Лифляндию и вообще всё завоеванное русскими шведскому королю, а Петербург разорить и срыть до основания.

IV. Заключить наступательный и оборонительный союз с королями Карлом XII и Станиславом

---

* Отселе рассказ Моро становится достоверным.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

противу Фридерика-Августа, курфирста саксонского, если курфирст возобновит притязания свои на польский престол, им уступленный Станиславу.

V. Казакам возвратить прежнюю вольность и преимущества.

VI. Возвратить *натурой или иначе* всё, что король шведский потерял через Полтавское сражение.

VII. Морское войско и флот отвести к Воронежу и с ним к Черному морю не приближаться.

Если б его царское величество находился в положении шведского короля, то и тут Порта не могла бы предложить ему условия более притеснительные. За то их и не приняли. Стали сильно готовиться к войне, дабы доказать Порте, что его величество не дошел еще до того, чтобы мог выслушивать таковые предложения.

Между тем как царь созывал совет за советом для определения мер, нужных противу столь опасного неприятеля, повсюду приготовляли войско к выступлению в поход по первому приказанию. Посреди сих приуготовлений, и в самое то время, как государь более всего казался озабоченным, курляндский герцог женился в Петербурге на племяннице государя. Брак сей праздновал князь Меньшиков и праздновал по царски. Но молодой герцог так был невоздержан на пирах, данных по тому случаю, и так много пил венгерского (к чему русские привыкли), что шесть дней после свадьбы он занемог на обратном пути в свои владения, на первом ночлеге, и умер чрез пять дней. Об нем очень жалели его подданные и все те, которые имели честь быть с ним знакомы. Многие полагали, что не одно венгерское вино было причиною его смерти, но и наслаждения брачные. Герцог был любезный молодой человек и много обещал.

Несколько времени спустя после погребального

Пушкинский кабинет ИРЛИ

его шествия чрез Ригу в Митаву, столицу курляндского герцогства, где должен был он быть похоронен между гробами герцогов, своих предков, князь Меньшиков из Ревеля и Пернова, где принимал он присягу дворянства, прибыл в Ригу для той же церемонии. В три дня князь привел к концу препоручение, на него возложенное, и возвратился в Петербург.

Его царское величество отправил из Петербурга своих генералов, каждого к своей дивизии, и повелел генерал-фельдмаршалу графу Шереметеву вывести в поле полки, назначенные к походу, и самому следовать за ними к Днестру, где вся армия должна была собраться.

С другой стороны, повелел он адмиралу и вицадмиралу, находившимся при его особе, ехать в Азов, а сам отправился в Москву. Там осмотрел он рекрутов, набранных по его повелению, и отправил их к Смоленску, где их ожидал отряд, дабы препроводить в Подолию для распределения по полкам. Царь потом занялся последними приготовлениями, отправил казну и сам наконец поехал в Польшу, поручив князю Меньшикову надзор над неприятелем в Лифляндии.

24 февраля 1711 года дивизия князя Репнина, стоявшая около Ревеля и Пернова, выступила в поход к Подолии, назначенной сборным местом для всех войск. Барон Алларт, один из искуснейших генералов его царского величества, выступил из Литвы с своею дивизией; то же сделали генералы Вейде и барон д'Энгсберг.

Имев честь быть приняту полковником Казанского драгунского полка и бригадиром войска его царского величества, получил я приказание ехать в свой полк и к своей бригаде, находившейся в Польской России на зимних квартирах. Я имел дозволение взять из Курляндии драгунов, сколько

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мне их понадобится, для доставления всего нужного мне и людям моим во время столь долгого пути: от Риги до Сороки, что на Днестре, к стороне Молдавии, где соединилась армия, считается 266 немецких миль, или 532 французских лье. Я повиновался данному мне приказанию и отправился в эту дальнюю дорогу с двадцатью только драгунами. Я ехал на Митаву, Вильну, Новогрудск, Слуцк, Давидоградск (от коего в шести французских лье переправился через Днепр, реку опасную, не имеющую берегов, и разливающуюся направо и налево, на расстояние нескольких лье), потом на Полоны, Острог, Мазибушь, Леополь, Замосц, Тарнаполь, Сатанов и Шарград (Разград?), где настиг я армию. Сей последний город был некогда весьма обширен и имел знатную торговлю. Но во время войн Польши с Портою турки его опустошили; теперь одни развалины свидетельствуют о том, чем был он прежде.

Генерал-фельдмаршал граф Шереметев, вследствие своих повелений, нашел в Бродах всю свою кавалерию, собранную начальником оной, генералом Янусом. Фельдмаршал пошел к Могилеву с нею и с пехотными полками Ингерманландским и Астраханским, сопровождавшими его от самой Риги. Тут и переправился он через Днестр в трех разных местах и занял Молдавию. Господарь отложился от Порты, передался фельдмаршалу и привел к нему до шести тысяч плохой молдавской конницы; их всадники большею частию вооружены стрелами или полупиками, подобно казакам; все они ужасные воры.

Дивизия генерала Алларта достигла Днестра, первая изо всей пехоты. Вслед за ним прибыли в тот же день генералы Брюс и Гинтер со всею артиллерией и своими полками. Барон Алларт

Пушкинский кабинет ИРЛИ

переправился чрез Днестр на понтонах и поспешил занять укрепление в Сороке, чему никто и не думал воспротивиться.

Сорок пять лет перед тем, крепость эта выдержала славную осаду. 40 000 турок и 40 000 татар, под предводительством сераскира, принуждены были, после шестимесячных тщетных усилий, со стыдом отступить, покинув лагерь и всю артиллерию, за что сераскир заплатил своею головою.

Генерал Алларт нашел хорошие подземельные погреба, несколько сабель, несколько боченков пороху, но мало съестных припасов.

Il y ordonna des ouvrages extérieurs qu'il traça lui-même et un pont sur le Niester qui eut pour tête le chateau fort bon pour le pays et deux doubles tenailles en queue[1].

Генерал Алларт, сверх многих других достоинств, есть один их лучших инженеров своего времени. Он умеет искусно разведать местные обстоятельства, расположиться лагерем, воспользоваться выгодами и начертать верную карту театру войны.

Покамест, по его приказанию, войско занималось работами, генерал-лейтенант Брюс переправил артиллерию под прикрытием неразлучных с нею полков канонерских и бомбардирских; он расположил свой парк влево от укрепления, на полуострове, образуемом рекою.

30 мая дивизия генерала Адама Вейде заняла днестровские высоты в получасе от Сороки, в прекрасной долине, куда прибыл в тот же день генерал-барон Денсберг. На другой день, 31 мая,

---

[1] <Он приказал соорудить внешние укрепления, план которых сам начертал, и мост через Днестр, упирающийся в укрепление, достаточно хорошее для этой местности, и замыкающийся с другого конца двумя двойными тенальными укреплениями.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

генерал князь Репнин стал там же на левой стороне линии.

Его царское величество из Москвы отправился в польский Ярослав, где, по просьбе его, собраны были королем польские сенаторы, с тем, чтобы принудить, если возможно, республику соединиться с Россиею противу неверных. Но сенаторы решили иначе: положено было республике, держась условий Карловицкого мира, никаким образом не мешаться в эту новую войну, ибо довольно было ей и своих междоусобий.

Не успев в своем намерении, государь отправился в армию в сопровождении генерала Рене, остававшегося в окрестностях Ярослава с частию конницы для охранения особы его величества.

12 июня* (ст. стиля) государь прибыл на берег Днестра с императрицею, с своими министрами, с казною, с Преображенцами и Семеновцами (les Breobrasenski et Simonowski), своею гвардиею; полки сии, хотя пехотные, но в походе садятся на конь и идут с литаврами, штандартами и трубами (тоже и Ингерманландский и Астраханский). В лагере или в городе им возвращают барабаны.

13 июня, по утру, его величество делал смотр пехоте; после обеда посетил он мост, уже оконченный попечениями генерала Алларта, также и новые укрепления Сороки. Государь был очень доволен. Потом осмотрел он артиллерию и возвратился в свой лагерь.

---

* У Моро поставлено здесь 2 июня: ошибка или опечатка. В журнале Петра Великого сказано: «со 12 день (июня) прибыли (их величества) с гвардией к реке Днестру, где случились с пехотными дивизиями генерала Вейде и Алларта»; отселе и от того же числа Петр написал несколько писем.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

14-го был у его величества большой военный совет; на нем присутствовали все генералы, которые могли только приехать. И на сем-то совете предприняты были государем, по внушению его министров и русских генералов, меры, произведшие бедствия, которые можно было избежать, если б обратили порядочное внимание на положение, в коем находилось войско, на местные обстоятельства и на состояние земли, в которую готовились вступить; одним словом, если бы его величество согласился с мнением своих *немецких* генералов*, которые, кроме его славы и пользы, ничего в виду не имели.

Прежде нежели опишу то, что произошло на знаменитом этом совете, я должен дать вам понятие о состоянии армии. Трудно поверить, чтобы столь великий, могущественный государь, каков без сомнения царь Петр Алексеевич, решившись вести войну противу опасного неприятеля, и имевший время к оной приготовиться в продолжение целой зимы, не подумал о продовольствии многочисленного войска, приведенного им на Турецкую границу! А между тем, это сущая правда. Войско не имело съестных запасов и на восемь дней, и могло, если оных не находилось в Молдавии, быть уничтожено не неприятелем, а голодом. Это затруднительное положение известно было всем; генералы, министры, сам государь это знал: комиссары посланы были им в Венгрию для закупки быков, а в Украйну для забрания баранов и муки.

Совет, собранный его величеством на берегу Днестра, и который решил судьбу всей кампании, составляли: великий канцлер граф Головкин, барон Шафиров и господин Сава (Рагузинский)—

---

* Иностранных. См. далее объяснение самого Моро. Как заметно, что здесь говорит иностранец, приверженный к своей партии.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

все трое тайные советники (то же, что во Франции министры), генерал Рене, князь Репнин, Адам Вейде, князь Долгорукий и Брюс (все генералы или лейтенант-генералы). Они составляли партию русских. Партию немцев составляли генералы: барон Алларт и барон Денсберг и лейтенант-генералы барон Остен и Беркгольц. Это разделение на две партии в России признано всеми. Русские, когда им везет, и слушать не хотят о немцах; но коль скоро по своей неопытности попадут они в беду, то уже ищут помощи и советов у одних немцев, и русская партия прячется со стыдом и унынием; ее не видать и не слыхать.

Стали рассуждать о том, что надобно было делать. Войско было собрано, а о турках было не слыхать, как будто бы в мирное время. Правда, несколько тысяч буджацких татар несколько времени пред сим учинили набег на Русскую Украйну и на землю казаков (en Cozaquie), где они пожгли и ограбили селения, отогнали скот и захватили людей; но при приближении наших полков они уже не смели показываться, и лагерь наш был в совершенном спокойствии. Генерал-фельдмаршал граф Шереметев, стоявший близ Ясс, в самой Молдавии, был точно в том же положении.

Совет начался. Немецкие генералы первые имели честь предложить свое мнение. Они полагали нужным оставаться на берегах Днестра, по двум важным причинам: во-первых, для узнания неприятельских намерений; во-вторых, дабы дать армии отдохнуть после долгого похода. Они представили, что съестные запасы, без которых никакая армия не может существовать, могут быть без больших расходов доставляемы по Днестру; что можно будет устроить магазины в Польше; что, занимая берега Днестра, не должно, однако, оставаться в бездействии, но что, напротив того,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

надобно итти к Бендерам, которые взять можно в скором времени, укрепить и сделать из них и крепость, и военный магазин en y établissant un pont de communication[1]; что Сорока, находясь уже во власти его величества и будучи укреплена, есть также крепость и магазин; что то же самое можно сделать и в Могилеве (на Днестре), и что таким образом его величество будет иметь три входа в Молдавию, при всех трех переправах через Днестр, и три магазина для своих войск; что турки, будучи принуждены проходить степью, потеряют лошадей, прежде нежели до нас достигнут; что им почти невозможно будет взять наши крепости, защищаемые многочисленным и исправным войском; что вероятно не решатся они их осадить, и того менее переправляться через Днестр и строить мосты в присутствии войск его величества; что если его величество в настоящих обстоятельствах захочет ввести армию свою в Молдавию, то он может ее лишиться и помрачить славу свою; что, по показанию сорокинских жителей, должно, по крайней мере, пять дней проходить необитаемую степь, где нельзя найти ни воды, ни хлеба; что сторона, находящаяся за степью, не изобилует хлебом, ибо оного недостаточно даже на продовольствие жителей, хотя та часть Молдавии мало заселена; что если в Яссах и по ту сторону сего города и было чем продовольствоваться, то наша конница, стоящая там, в три недели, вероятно, всё уже потребила; что пример шведского короля слишком еще свеж, и что не должно отважиться сделать ошибку еще важнейшую, углубляясь в незнакомую землю, о коей все доселе получаемые сведения ничего благоприятного не предвещают.

В заключение, немцы просили его величество

---

[1] <Наведя там мост для сообщения.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

быть уверену, что, представляя ему дело, каково оно есть, они не имели ничего в виду, кроме его собственной славы; что когда займем мы берега Днестра и устроим магазины, турки, покусясь на что бы то ни было, утратят свои силы все или отчасти, между тем как его величество, имея тыл свой свободным, усилит свои войска, будет в состоянии с пользою употребить полки, оставленые в Польше, и после кампании уже безо всякого препятствия проводить неприятеля в его собственную землю и там расположится по своей воле и приготовится к завоеваниям, прежде нежели турки успеют вытти из зимних своих квартир.

Мнение сие было самое здравое; но русские ему воспротивились. Генерал Рене, хотя родом и курляндец, но по положению своему придерживающийся стороны министров, возразил, что неприлично было бы его величеству защищать реку с такими прекрасными войсками; что в случае истощения запасов, должно будет их достать в самой неприятельской земле; что области греческие, по примеру молдавского господаря, готовы были возмутиться при первом вступлении наших полков в турецкие границы; что, по донесениям генерал-фельдмаршала графа Шереметева, за степью до Дуная армию можно будет продовольствовать; что стыдно было бы тратить деньги на построение магазинов, когда можно делать это на счет неприятеля; что надобно войти и углубиться в турецкие земли; что турки будут полууничтожены уже и тем, что увидят сильное войско его величества посреди их областей, готовое предписывать им законы; что пример шведского короля здесь вовсе нейдет; что полки наши те же самые, которые разбили его и готовы разбить турков; что таково его мнение, и что славнейшего и полезнейшего способа его царскому величеству избрать невозможно.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С сим мнением согласились русские министры и генералы, и как оно льстило и честолюбивым видам государя, ему охотно последовали, и вопреки благоразумному мнению немцев положено было переправиться через Днестр и войти в степи.

Рассуждая о сем движении, все мы сильно обвиняли тех, которые его присоветывали его величеству. Ясно было, что государь принужден будет отступиться от своих намерений. Но зная, что русский народ склонен к спокойствию, ленив и не любит военных трудов, мы уверены были, что царские министры, опасаясь слишком продолжительной войны, нарочно завлекали государя в неудачу, дабы уменьшить в нем пыл воинский и принудить его к покою. Таково было, по крайней мере, мнение почти всех иностранцев.

---

16 июня, рано утром, дивизии генералов Алларта и Денсберга выступили в поход; 17-го его величество с Преображенцами, Семеновцами, своими министрами и всею свитою пошел в авангард и вступил в степи. За ним следовал генерал-поручик Брюс с артиллерией. Арьергард составляли дивизия генерала Вейде и конница, приведенная из Ярославля генералом Рене и которую его величество поручил в мое начальство, приказав мне следовать за ним. Дивизия князя Репнина осталась в Сороке для окончания работ и для принятия запасов, которые, по приказанию его величества, должны были быть туда доставлены*.

Генералы Алларт и Денсберг, вышед из степей, прибыли в лагерь генерал-фельдмаршала, который находился в трех милях от Ясс на выгодном местоположении.

---

* В журнале Петра Великого сказано: «и стояли тут (при городке Сороке) Аллартова дивизия до 20-го июня, а Вейдова и князя Репнина до 22».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Его величество не долго томился в пустынях; маршируя днем и ночью, достигнул он прекрасной долины, орошаемой Прутом, где и расположил свой лагерь тылом к реке. Он тотчас отправил бочки с водою, на собственных подводах и на лошадях свиты своей, полкам, идущим по степям. Но сие пособие принесло им более вреда, нежели пользы. Солдаты бросились пить с такою жадностию, что многие перемерли. Мы лишились множества людей от безводицы. Жары нестерпимы в сих местах, где видно только небо да горы раскаленного песку, без деревьев, без жителей и без воды*.

Дивизия Вейдова и артиллерия, после шестидневного перехода чрез ужасные сии пустыни, соединилась с лагерем его величества. 23 июня государь ездил осматривать лагерь генерал-фельдмаршала и принял в подданство молдавского господаря. С ним было только триста рейтаров. Он пожаловал господарю свой портрет, осыпанный алмазами (что впоследствии времени пригодилось сему турецкому даннику). В тот же вечер его величество возвратился в свой лагерь, и на другой день приказал наводить два моста на Пруте.

Здесь спокойно оставались мы от 22 до 29 июня, как будто в самое мирное время, ожидая запасов, которые князь Репнин должен был доставить и привезти. 26 фельдмаршал и господарь посетили его императорское величество. Войско стояло в строю. Им отдали честь по всему фрунту, и сам государь салютовал саблею, стоя перед Преображенским полком, как генерал-поручик своей армии.

---

* Степи Буджацкие не песчаные; они стелются злачной, зеленой равниною, усеянною курганами. Море здесь пользуется правом рассказчика. Правда, что в 1711 году эти степи были голы: трава съедена была саранчею.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Они приглашены были на торжество, празднуемое ежегодно его величеством в память Полтавского сражения, случившегося 27 июня, по старому стилю.

Все генералы с утра явились к его величеству, дабы вслед за ним отправиться в артиллерийскую церковь, где отслушал он обедню и где придворный священник* целых полтора часа говорил проповедь, им сочиненную на случай сего счастливого дня.

Полки выстроены были в боевом порядке и составляли три фаса одного каррея; артиллерия занимала четвертый. После обедни стрельба началась с правой стороны артиллерии и продолжалась по всем фасам; полки стреляли по мере приближения к ним огня. После того все генералы следовали за его величеством к его палаткам, где, в земле, был утвержден стол необыкновенной длины, и за которым насчитал я до ста десяти кувертов с каждой стороны.

Его величество находился в центре стола. По правую руку сидел молдавский господарь, по левую граф Головкин, министры, барон Шафиров и Сава (Сава Владислав Рагузинский); на углах стола генералы, генерал-поручики, генерал-маиоры, бригадиры и полковники и прочие, каждый по своему чину, поместились за этим же столом. Кроме Венгерского вина, ничто мне не понравилось. Оно было отличное, то есть то, которое доходило до меня, ибо полковники, сидевшие ниже, пили другое, а подполковникам подносили особливо, капитанам еще хуже и так далее. (Что показалось мне скупостию, недостойной великого государя.) Капитаны Преображенские и Семеновские разносили вина: каждый прислуживал шести

---

* Феофан Прокопович.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

персонам, имея в своем распоряжении трех слуг для перемены стаканов и бутылок. Тут-то, милостивая государыня, вино льется как вода; тут-то заставляют бедного человека, за грехи его, напиваться, как скотину. Во всякой другой службе пьянство для офицера есть преступление; но в России оно достоинство. И начальники подают тому пример, подражая сами государю*.

Императрица, с своей стороны, угощала армейских дам. Почти все иностранные генералы имели с собою своих жен и детей, по той причине, что в случае разлуки срок свидания неизвестен, и что, по недостатку почты, никто от своих не получает известия. Если же и придут письма, то генералы и министры имеют похвальную привычку никогда их не отдавать. Можно переписываться только чрез министров иностранных, но не всегда можно быть с ними в сношении. Я говорю по собственному опыту: в течение четырнадцати месяцев я только мог однажды писать к моей милой графине (которая оставалась в Данциге), и то через барона Лоца, посланника короля польского при дворе его царского величества.

Мало дам явилось к императрице. Генеральша Алларт и генерал-маиорша Гинтер одни представились к ее величеству и были милостиво приняты.

Обед государя продолжался целый день, и никому не позволено было вытти из-за стола прежде одиннадцатого часу вечера. Пили, так уж пили (on y but ce qui s'appelle boire). Всякое другое вино наверно меня убило бы, но я пил настоящее

---

* В старину пили не по нашему. Предки наши говаривали: пьян да умен—два угодья в нем. Впрочем, пьянство никогда достоинством не почиталось. Петр I, указав содержать при монастырях офицеров, отставленных за болезнями, именно исключает больных от пьянства и распутства.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Токайское, то же самое, какое подавали и государю, и оно дало мне жизнь.

Около пяти часов вечера один из адъютантов князя Репнина привез письма к его величеству. Генерал давал знать, что 4000 быков, 8000 баранов и 800 маленьких польских тележек с рожью, мукою (et de grit) отправлены были к нам. Государь тут же распределил, что куда доставить, и приказал тот же час отправить часть в лагерь генерал-фельдмаршалу.

---

28 июня мосты были готовы. Артиллерия потянулась через Прут по мосту, назначенному для двора. Вейдова дивизия переправилась по другому, назначенному для войск, и расположилась лагерем в Ясской долине, в двух милях от прежнего лагеря.

29 июня (по нашему приходится 10 июля, ибо русские держатся еще старого стиля), в день святого Петра, в именины его царского величества, я, следуя обычаю, со всеми генералами пришел поздравить государя. Он принял милостиво наши приветствия и всех нас оставил у себя обедать. Государь празднует и этот день, и обедает с своими министрами и офицерами, когда находится в своей армии.

Около пяти часов генерал-фельдмаршал граф Шереметев приказал мне, чтоб я послал моего адъютанта, стоявшего за мною, посадить кавалерию мою на́-конь и велел ей итти вперед к своему лагерю с моим экипажем. Фельдмаршал сказал мне, что мне нужны будут только мои лошади, что я останусь при нем и что он берется быть моим вожатым. Я отдал приказ адъютанту. Кавалерия была в порядке, а экипаж мой заложен. У русских обыкновенно употребляются телеги, ибо вьючные

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лошади и лошаки не могли бы выдержать обыкновенные походы их войск (5 à 600 lieux).

Накануне знали, что близ лагеря фельдмаршальского произошло маленькое сражение. 20 000 татар показались на утренней заре и ударили (врассыпную, по своему обычаю) на передовой пикет, составленный из 600 человек конницы, под начальством подполковника Ропа (de Roop) конно-гренадерского полка моей бригады. Неприятель пробился сквозь отряд, несмотря на все старания командира. Число превозмогло, отряд был окружен отовсюду. Один капитан, родом из Лотарингии, наделал тут чудеса и был убит, к сожалению всех офицеров, знавших его. Подполковник взят был в плен, и убито 250 рядовых. Всё это произошло в виду бригадира Шенсова* (Chensof), родом русского, который был отряжен с 2500 человек конницы на подкрепление Ропа и не сделал ни малейшего движения.

Генерал Янус, начальствующий в отсутствие фельдмаршала, при сем случае сделал всё, что только было возможно, чтоб исправить сию неудачу и предупредить большее несчастие. Он велел выехать четырем конно-гренадерским полкам и всячески старался уговорить бригадира Шенсова, чтоб он, по крайней мере, хоть показался неприятелю. Но офицер сей отвечал, что он получил приказание охранять лагерь, а не искать неприятеля. Наши конно-гренадеры рассеяли эту сволочь и освободили лагерь (le front du camp).[1]

Никогда генерал Янус не говорил мне без бешенства об этом происшествии и о маневре

---

* Таковой фамилии нет ни в книгах нашего дворянства (старинного), ни в списках офицеров того времени. Кажется, дело идет о Шневищеве, одном из начальников драгунских полков, набранных в 1699 году.

[1] <Передовые линии лагеря.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бригадира Шенсова. А еще должно глотать такие пилюли не морщась и не жалуясь, потому что его величество и фельдмаршал неохотно выслушивают жалобы и не любят видеть ясные доказательства, чтобы у кого-нибудь из русских недоставало ума или храбрости*.

Как войска скоро соединятся, то позвольте, милостивая государыня, исчислить вам их силы и познакомить вас с генералами, которые начальствовали полками.

Главнокомандующий — генерал-фельдмаршал граф Шереметев. (Его величество во время дела занимает место генерал-лейтенанта.)

Дивизия Вейдова состояла из 8 пехотных полков, каждый из 1400 человек состоящий. Всего 11 200 человек; начальниками оной были: генерал Вейде, генерал-лейтенант Беркгольц (Brecols), генерал-маиоры Голосин (Goloccin) и де-Буш, и бригадиры граф Ламберти и Боэ.

Дивизия Репнина, состоящая из такого же числа полков и людей. Начальники оной: генерал князь Репнин, генерал-лейтенант князь Долгорукий, генерал-маиоры Альфендель и Бом и бригадиры Буш и Голицын.

Дивизия барона Алларта, во всем равная двум первым, была под начальством генерала Алларта, генерал-лейтенанта барона Остена и бригадиров Стафа и Лессе.

Дивизия барона Денсберга, также равная другим, находилась в команде генерала барона Денсберга и бригадира барона Ремкимга (Remquimgue), его зятя.

Не худо заметить, что русские дивизионные

---

* Благодарим нашего автора за драгоценное показание. Нам приятно видеть удостоверение даже от иностранца, что и Петр Великий и фельдмаршал Шереметев принадлежали партии р у с с к о й.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

начальники имели комплектное число подчиненных им генералов; немцы же оного не имели; особенно барон Денсберг, у которого не было ни генерал-лейтенантов, ни генерал-маиоров, а только один бригадир, зять его. Это происходило от черного коварства генерал-фельдмаршала, не любившего иностранцев, какой бы нации ни были, и не подавшего им никакой помощи, нарочно для того, чтоб вводить их в ошибки и чтоб иметь случай упрекать его царское величество за привязанность его к иноземцам. Однакож барон Денсберг есть тот самый, который с таким великодушием и храбростию защищал Кельскую крепость, осаждаемую герцогом Виллером в начале прошедшей войны. Он доказал, что был достоин начальствовать не только двенадцатитысячным отрядом, но и целыми армиями.

Полки Преображенский, Семеновский, Ингерманландский и Астраханский составляли 15 батальонов, всего 15 000 человек, и были под начальством самого его царского величества, генерал-лейтенанта князя Голицына и бригадира графа Шереметева (сына фельдмаршала); сюда же принадлежали полки канонерский и бомбардирский, каждый из 1500 человек состоявший.

Дивизия генерала Януса, состоявшая из 8 полков, каждый из 1000 человек, была под начальством помянутого генерала, генерал-маиоров Волконского и Вейсбака и бригадиров Моро-де-Бразе, графа Лионского, и Шенсова.

Дивизией Рене, равной по числу полков и людей, начальствовали генерал Рене, генерал-маиоры Витман и Шариков (Chericof), самый образованный, вежливый и любезный изо всех мне знакомых русских, и два бригадира.

Еще один драгунский полк, составлявший гвардию князя Меньшикова, не соединился с

Пушкинский кабинет ИРЛИ

армией и остался в Яссах с 2 000 избранных фузиляров, между тем как войско двинулось в Молдавию.

Гвардейский эскадрон его царского величества, состоящий из 300 рейтаров (maitres, reitres?), сопровождал государя в его поездках и другой службы не нес.

Все сии отряды составляли на Днестре 79 800 наличного войска. Каждый полк был укомплектован призванными рекрутами.

Артиллерия состояла из 60 пушек разного калибра, от двадцати до четырех-фунтовых, из 16-ти понтонов на телегах и из 200 подвод с ящиками пороховыми, не считая телег, нагруженных бомбами и ядрами.

Кроме сей артиллерии, в каждом полку пехотном и конном находились четыре малые орудия двух и трех-фунтовые. Они всегда следуют за полком с малыми своими ящиками и с нужными офицерами. Их зовут корпусными детьми (ce qu'ils appellent les enfants des corps)*.

При каждом полке находятся также малые телеги с аммуницией, которая, в случае нужды, всегда под рукою, что очень хорошо придумано и достойно похвалы.

Таковы были силы его царского величества. Здесь не считаю 10 000 казаков и 6 000 молдаван, годных только для опустошения земли, как и татаре. Сей армии было бы весьма достаточно, чтобы управиться с турками, если б ею хорошо предводительствовали, если б во время ввели ее в неприятельские земли и если б ее не разделили, как впоследствии увидите.

29 июня его царское величество сидел за столом до семи часов вечера. Встав изо стола, держал он

* Кадеты?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

совет. Генерал Рене предложил отрядить 15 000 человек в Валахию, хорошую сторону, в которой всего было много и которая могла продовольствовать армию. Он утверждал, что валахский воевода*, будучи одной нации и одного исповедания с молдавским господарем, не замедлит покориться, соединит войско свое с войсками его величества и доставит нам жизненные запасы.

Генерал-поручик Беркгольц был единственный немец на сем совете. Он сильно воспротивился предложению генерала Рене, по причине той, что турки побеждали всякий раз, как против них войска действовали отдельно. Он привел в пример принца Карла V (Лотарингского), который во второй поход, после снятия Венской осады, разделил на четыре отряда свое войско, дабы удобнее оное продовольствовать, и видел, как турки разбили все четыре отряда один за другим, не могши подать им никакой помощи. Но все его рассуждения пропали втуне. Было положено отрядить войско, а начальство поручено генералу Рене, как подавшему первый на то совет. Кроме сих 15 000 отряженных в Валахию** 4000 должны были оставаться в Сороке, дабы сберегать нам отступления и для сопровождения провианта, в случае, если б мы остались в Молдавии: 2000 в Могилеве, через который можно было воротиться в случае неудачи, да 3000 в Яссах, для охранения Молдавии и для удержания жителей в повиновении.

Фельдмаршал с 9-ти часов вечера сел верхом, и я, вслед за ним, прибыл в его лагерь. Господарь остался с его царским величеством. Он был сред-

---

* Бранкован, господарь Валашский, еще прежде Кантемира был с Петром в переговорах и обещал ему с ним соединиться.

** У Рене было восемь драгунских полков (5056), баталион Ингерманландцев, да 5000 молдаван.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

него роста, сложен удивительно стройно, прекрасен собою, важен и с самой счастливой физиономией. Он был учтив и ласков; разговор его был вежлив и свободен. Он очень хорошо изъяснялся на латинском языке, что было весьма приятно для тех, которые его разумели.

Мы догнали мою конницу в версте от фельдмаршальского лагеря, куда и прибыли в 4 часа утра. Тут увидел я в первый раз летучих кузнечиков (саранчу). Воздух был ими омрачен: так густо летали они. Не удивляюсь, что они разоряют земли, через которые проходят, ибо в Молдавии видел я иссохшее болото, покрытое высоким тростником, который съеден был ими на два вершка от земли.

Остальной лагерь его величества перешел через Прут 30 июня. Мост, через который переправился государь с своею свитою, был тотчас разобран; другой оставлен под охранением 500 гренадеров для дивизии князя Репнина, которую ожидали.

Фельдмаршал, возвратясь в свой лагерь, велел призвать бригадира Шенсова и высказал ему всё, что заслуживало его гнусное поведение, о котором донесено ему было при его приезде одним драгунским полковником моей бригады. Он приказал бригадным маиорам отрядить по 20 человек с каждой бригады для устроения двух мостов, находившихся в тылу нашего лагеря, дабы ему беспрепятственно можно было, в случае нужды, итти соединиться с его величеством. Это стоило труда, потому что мосты наведены были на малых челнах, из выдолбленных пней, кое-как собранных по берегам Прута. Медные понтоны оставались при его величестве для надобностей его собственных. Того же самого числа (30 июня) генерал Рене прибыл к фельдмаршальскому лагерю и собрал полки, долженствовавшие итти в Валахию под его начальством. Он выступил на другой день по утру

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и уже в армию не возвращался. Он соединился с кавалерией уже в Польской России, после кампании, когда армия там отдыхала.

В лагере его царского величества и в фельдмаршальском оставались в бездействии до самого 7 июля. В сей день фельдмаршал получил от государя приказание оставить постепенно лагерь и перевести свою малочисленную армию за реку, находившуюся у него в тылу. Фельдмаршал ездил осматривать долину, назначенную им для нового лагеря, и, возвратясь, в тот же день отдал в приказ, что полки станут переправляться один после другого во избежание смятения, могущего произойти на мостах в случае, если войска выступят все в одно время.

Генерал Янус, на которого возложено было исполнение сего, взял с собою бригадира Шенсова, дабы в случае нападения от приятеля во время переправы, иметь достаточную причину не употреблять офицера столь ненадежного. Он оставил его у моста, с двумя маиорами и 20-ю драгунами, для надзирания за исправностию в исполнении приказов.

8 июля, на утренней заре, экипаж барона Денсберга, с несколькими полками переправились по мосту, назначенному для пехоты. Между тем, экипажи генерала Януса потянулись было по мосту, назначенному для кавалерии. Но фельдмаршал, сам заблагорассудив оставить лагерь, приказал переправить прежде свои, а отальным экипажам генерала Януса не позволил переправиться прежде полков Астраханского и Ингерманладского с их обозами. Фельдмаршал во всяком случае рад был делать неприятность иностранным генералам.

9 июля с утра войско и обозы потянулись и только малая часть успела переправиться, как

Пушкинский кабинет ИРЛИ

более 30 000 татар явились перед лагерем. Войско остановили и тотчас выстроили в боевом порядке, под прикрытием рогаток. Пикет отозвали; по приказанию генерала Януса, два баталиона гренадер поставлены были на оба фланга и в сем расположении стали ожидать приближения татар, дабы угостить их картечью из тридцати орудий. Фельдмаршал, генерал барон Денсберг, генерал-лейтенант барон Остен и бригадир барон Ремкимг приехали из нового лагеря, где они находились с прошедшего дня. Фельдмаршал был очень доволен мерами, принятыми генералом Янусом для защищения старого лагеря в случае нечаянного нападения. Он отослал генерала Денсберга с его бригадиром к новому лагерю, для охранения оного, а в старом оставил только генерал-лейтенанта Остена под начальством генерала Януса, с полками, не успевшими еще переправиться. Их было довольно против и вдвое большего числа татар.

Но как они час от часу умножались, то фельдмаршал приказал казакам и молдаванам (находившимся в новом лагере) прогнать и преследовать неприятеля. Они пустились с быстротою неимоверною, но которая час от часу более и более ослабевала. С обеих сторон всё кончилось скаканием, да кружением.

Один капитан, родом венгерец, вступивший в службу его царского величества, так же как и многие из его соотечественников, после падения его светлости принца Рогоци, находился в лагере с несколькими венгерцами, в надежде быть употребленным в дело. Он уговорил отряд казачий поддержать его, обещаясь доказать, что не так-то мудрено управиться с татарами. Казаки обещались от него не отставать. Он бросился с своими двенадцатью венгерцами в толпу татар и множество их перерубил, пробиваясь сквозь их кучи и рас-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

севая кругом ужас и смерть. Но казаки их не поддержали, и они уступили множеству. Татары их окружили, и все тринадцать пали тут же, дорого продав свою жизнь; около их легли 65 татар, из коих 14 были обезглавлены. Всех менее раненый из сих храбрых венгерцев имел 14 ран. Все, бывшие, как и я, свидетелями их неуместной храбрости, сожалели о них. Даже наши конные гренадеры, хотя и русские, т. е. хоть и не очень жалостливые сердца, однакож просились на коней, дабы их выручить; но генерал Янус не хотел взять на себя ответственности и завязать дело с неприятелем*.

Пока татаре привлекали на себя наше внимание, генерал Янус, предвидя, что наше отступление могло быть обеспокоено еще большим числом татар и даже самими турками, приказал переправить все корпусные экипажи, всех лошадей драгунских и прочей кавалерии и остальные экипажи офицеров, дабы тем удобнее отступить до нового лагеря теснинами, ведущими к мостам, что и производилось во весь тот день и в ночи.

Между тем татаре, не видя никакого движения в лагере, где полки наши стояли все еще в боевом порядке за рогатками, ожидая смело их нападения, около третьего часа пополудни отступили, наскакавшись вдоволь, и, таким образом, дали генералу Янусу возможность безопасно переправиться в новый лагерь, куда вступил он самый последний (10 июля).

Он приказал разобрать оба моста и караулить лодки. По нашу сторону реки они могли пригодиться. К ним нарядили капитана с двумястами гренадер.

---

* Кажется, русские варвары в этом случае оказались более жалостливыми, нежели иностранцы, ими предводительствовавшие.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Того же дня фельдмаршал отдал приказ отрядить по 200 человек с бригады для делания фашинных мостов через большой и глубокий ручей, называемый Малым-Прутом и протекавший во сте шагах от нашего нового лагеря, дабы в случае нужды можно было тотчас выступить.

Мосты поспели к полудню 11 июля. В 5 часов вечера один из генерал-адъютантов его царского величества привез фельдмаршалу приказ, вследствие коего мы 12 июля оставили лагерь, и в одной миле от оного нашли его царское величество. Вся армия там соединилась и таким образом расположилась вся на одной линии. Царь с полками: Преображенским, Семеновским, Астраханским и Ингерманландским стоял по левую сторону, и следственно в авангарде. Дивизии Алларта, Денсберга, Инуса со всею остальною кавалерией, Брюс с артиллерией и Вейде стояли на правой руке, лицом к горе и имея Прут у себя в тылу.

13-го армия пошла в поход, принимая влево. Экипажи составляли вдоль Прута вторую колонну. Мы прошли три мили до ночи и расположились лагерем, приняв вправо (en faisant à droite). Пространство между рекою и горами не позволяло нам расшириться и составить две линии. Мы стали в том порядке, как стояли накануне и как целый день маршировали (т. е. в одну линию).

14-го мы подвинулись еще на три мили, не видав ни города, ни деревни, но кое-где близ лесов рассеянные лачужки, которые показались нам жалкими обителями. Это нас удивило, тем более, что на наших картах по берегам Прута назначено было множество городов и деревень. Мы стали лагерем так же, как и в предыдущие два дни.

15-го армия прошла еще три мили; но переход через крутую гору, находящуюся на самом берегу реки, остановил войско. Мы достигли места, на-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

значенного для лагеря, не прежде как в три часа пополуночи. Мы в тот день видели за сей горою старинную могилу одного молдавского государя. Она имела вид четвероугольной пирамиды, будучи гораздо шире в основании нежели в высоте.

Молдаване, следовавшие за армиею, из коих многие хорошо говорили по-латыни, рассказали нам о ней следующее предание:

Государь, покоящийся в сей могиле, был великий воин, но несчастный во всех своих предприятиях. Учинив нападение на земли одного из своих соседей, он привлек его в свои собственные владения. Оба войска сошлись и сразились в той долине. Кровопролитная битва длилась два дня. Молдавский государь остался победителем; неприятельское войско было им истреблено или захвачено в плен, а противник его найден был между мертвых тел, пронзенный одиннадцатью стрелами. Но победитель, в то самое время, как приносил богу благодарения, умер от раны, полученной им в том сражении, и которой он сгоряча не почувствовал. Он не имел детей, и войско избрало себе в государи одного их своих начальников. Первым повелением нового государя было каждому воину, каждому молдавскому жителю и каждому рабу принести на три фута земли на сие место. Он после того воздвигнул эту земляную пирамиду, в средине коей находится комната со сводом. Там похоронено тело его предшественника, а комната наполнена сокровищами, принадлежавшими его врагу. Потом вход в комнату был заделан и пирамида окончена. На вершине ее находилась площадка, сохранившаяся доныне; на ней возвышался трофей из оружия убитых, ныне уже не существующий. Повествователь присовокупил, что все из государей, властвовавших потом, которые хотели проникнуть в сокровенную комнату,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

умерли прежде, нежели могли вынуть хоть один камень заграждавшего входа. Курган показался нам тщательно покрытым дерном. Мы спросили у нашего молдавана: кто смотрит за могилою? Он отвечал, что жители, поселенные кругом в трех милях отселе, ежегодно в марте и в сентябре месяце приходят стричь могилу ножницами, подобными тем, кои употребляются нашими садовниками. Он прибавил, что когда того не делают, тогда бывает неурожаи. В заключение, он нас уверял, что с тех пор, как саранча напала на их землю, всё было ею разорено, кроме пространства, заключенного в этих трех милях окружности, куда она не залетала, хотя была везде, и с боков и сзади.

Этой истории и ее последствиям мы поверили только отчасти, хотя повествователь и хвалился быть дворянином и военным человеком.

16-го его царское величество приказал выслать 1000 человек конных гренадер, под начальством г. полковника Ропа, с двумя вожатыми, данными царю самим господарем, следовавшим за его величеством со всем своим молдавским двором. Полковник Роп имел повеление изъездить всю сторону, находившуюся влево от армии, вдоль Прута, дабы удостовериться, возможно ли неприятелю напасть на нас с тыла? Он возвратился вскоре и объявил нам, что капитан, наряженный с двумястами гренадерами для охранения лодок, составлявших мосты фельдмаршальского лагеря, и который подвигался вместе с армией, был убит, а с ним и все его люди. Жители, бывшие при полковнике, видели его за две мили от лагеря и показали ему побоище. Они сказывали, что татаре, в числе 20 000, переправились через реку, каждый держась за хвост своей лошади, и неожиданно напали на

Пушкинский кабинет ИРЛИ

капитана в одной теснине, где он и погиб с своим отрядом.

Это заставило его царское величество расположить вдоль реки гренадерские взводы в некотором расстоянии один от другого, имевшие между собою коммуникацию и начальствуемые одним подполковником, двумя капитанами и четырьмя поручиками.

В тот же день генерал князь Репнин, сделав усиленный переход, стал на той же линии и занял правую руку или арьергард.

Армия наша, вся вместе состоявшая из 79 800 человек, не считая казаков и молдаван, и по отряжении войск в Валахию и на охранение Сороки, Могилева и Ясс, все еще составлявшая 55 000, уже не составляла и 47 000, как то оказалось на смотру, сделанном 17 июля по приказанию государя: следствие беспрестанных трудов, перенесенных полками, из коих пехотные шли без отдыха от самого 24 февраля (нов. ст.). По счастию, смертность пала по большей части на одних рекрут, которые видимо таяли. Это могу я доказать моими табелями, которые я сохранил. Из всех четырех полков моей бригады, составлявших 4 000 человек, на сем смотру 724 оказались убывшими, из коих только 56 убиты в помянутом сражении при пикете.

17-го генералу Янусу повелено быть готову выступить рано утром со всею нашею конницею и с генералами, ею начальствовавшими, и явиться за час перед светом в палатки его царского величества, дабы получить от него приказания касательно того похода. Как я имел честь приносить ему приказы и всякий день приходить узнавать от него, не было ли чего прибавить для бригады, то я явился к нему. Он просил меня приехать за ним на другой день за полтора часа до свету и сопроводить его к царю, к чему я с охотою и при-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

готовился. И так 18-го перед светом явились мы к его царскому величеству.

Государь отдал генералу свои повеления, и как ни он, ни я по-русски не разумели, то его величество повелел их объяснить на французском и немецком языке, и вручил нам тот же приказ, писанный по-русски с латинским переводом на обороте.

Приказ состоял в том, чтобы нам итти по реке Пруту восемь миль (или 16 лье) до того места, где турки, по донесениям скороходов или шпионов (coureurs ou espions), должны были наводить свои мосты. Если бы генерал их нашел, то должен он был на них ударить и уничтожить их работу, коли только мосты не могли нам пригодиться и остаться в наших руках. Во всяком случае он должен был известить обо всем государя через четырех драгунов, посланных <через> полчаса один после другого. В случае же, если турков не встретим, то итти к Дунаю и там остановиться, о чем также донести.

Выслушав приказ и хорошо его поняв, мы приступили к исполнению оного, хотя генерал и я не без смеху видели, что употреблены были драгуны, и кавалерия на атаку укрепленных мостов (têtes-de-pont). Мы выступили из лагеря в 5 часов и пошли по одной линии, эскадрон за эскадроном. Экипажи наши тянулись в другую линию вдоль берега Прута, во избежание нечаянного нападения. Мы отрядили вперед на довольно большое расстояние двух конных гренадер с обнаженными палашами, за ними шестеро других с одним унтер-офицером, и подкрепили их двумя стами рейтаров (? maîtres), дабы могли они выдержать первые выстрелы и дать нам время с выгодою атаковать неприятеля. В таком порядке как мы, так и наш обоз, шли без помешательства и довольно скоро. Около 11-ти

Пушкинский кабинет ИРЛИ

часов утра, прошед не более как 2 мили (или 4 французских лье), вдруг очутились мы совсем неожиданно в теснине весьма узкой, ибо река протекала ближе к горе, около которой мы всё еще тянулись. Генерал Янус, г. Видман (генерал-маиор) и я поехали к передовому отряду гренадер, которые остановились и дали нам знать, что чем далее они ехали, тем уже становилась дорога.

Генерал Янус приказал войску остановиться для отдыха, и мы отправились высматривать местоположение. Земля, неприметно возвышаясь, закрывала от нас сторону, находившуюся перед нами. Когда достигли мы последней точки сего возвышения, увидели перед собою широкую долину и, казалось, весьма гладкую, а вдали множество белых голов, скачущих по долине с большою ловкостию и быстротою. Мы тотчас съехали влево, в густоту дерев, растущих на берегу Прута. Мы подъехали как можно ближе к неприятелю и наконец усмотрели два укрепления (deux têtes-de-pont fraisées et palissadées en forme de demi-lune)[1], защищаемые множеством пехоты, которую признали мы впоследствии, по ее колпакам, за янычаров. За ними увидели мы два готовые моста, через которые крупной рысью переправлялась конница и соединялась с тою, которая находилась уже в долине.

Высмотрев всё добрым порядком, все вместе и каждый особо: генерал Янус, Видман и я, мы возвратились рысью тою же дорогою и соединились с нашими полками. Тут мы держали совет все трое между собою, ибо генерал не имел никакой доверенности к князю Волконскому и к Вейсбаху (генерал-маиорам), а того менее к бригадру Шенсову.

---

[1] <Два предмостных укрепления, огражденных наклонными кольями и сваями, в форме полулунья.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Нечего было терять времени. Мы решились спешить нашу конницу и выстроить ее в карре, поставя экипажи в средине. Генерал написал письмо к государю. Мы перенесли нашу маленькую артиллерию в арьергард и на оба фланга, между третьим и четвертым рядом (войско выстроено было в 4 шеренги). Мы приказали артиллерийским офицерам зарядить пушки картечью, а конным гренадерам, составлявшим наш арьергард (или фронт каррея со стороны турок), не стрелять без приказания, что бы ни случилось, и лечь на брюхо при первой команде. Когда наши 32 орудия были установлены, тогда мы вывели из рядов слабых и больных солдат, большею частию рекрут, и приказали им держать лошадей, находившихся, как и экипажи, в центре каррея. Мы препоручили авангард князю Волконскому, правый фланг авангарда Вейсбаху, величайшему трусу во всей Германии, а левый бригадиру Шенсову. Видман и я, по воле генерала, остались при его особе.

Отроду мы не видывали офицеров столь смущенных, как наших трех авангардных генералов. Беспокойство их очень забавляло нас в арьергарде и вселяло в нас истинную к ним жалость.

В сем порядке мы двинулись, дабы возвратиться туда, отколе мы пришли (?). Генерал Янус, Видман и я дивились исправности сведений, доставляемых его царскому величеству его шпионами: в двух милях от лагеря находили мы два моста, наведенные и укрепленные, когда предполагали найти их еще только начатыми в 8-ми милях, и то не наверное. Вдруг драгун, оставленный нами в тылу, выстрелил вместо сигнала и прискакал к нам. Мы скомандовали полуоборот направо арьергарду, полуоборот вправо и влево флангам, и таким образом составили фрунт со всех четырех сторон. Только что успели выстроиться, как уви-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дели мы две толпы в чалмах, скачущие треугольником и ревущие во все горло, как бешеные, думая нас уничтожить. Но как скоро они приближились, первый ряд наших гренадеров лег на земь, и мы встретили их залпом из 12 орудий миниатюрной нашей артиллерии, что удержало их стремление, охладило их пылкость и лишило их очень многих товарищей. Однакож это не помешало им нас окружить. Но, встретя со всех сторон отпор и видя, что нападать на нас опасно, они довольствовались тем, что издали досаждали нам и огнестрельным оружием, и своими стрелами.

Здесь, милостивая государыня, должен я вам чистосердечно признаться, что будучи приучен к огню шестью генеральными сражениями и четырнадцатью осадами, при коих присутствовал я с тех пор, как служу, между прочими при осаде Монмелияна в 1691 и Намура в 1692, я столько опасаюсь огня, сколько то надлежит человеку доброму и твердому; но мысль о стрелах была для меня столь ужасна, что я внутренне боялся их, того не показывая. Однакож, когда я увидел их малое действие, я к ним привык и стал смотреть на них, как на чучела, стыдясь моего панического страха.

Было два часа пополудни на наших часах, как турки к нам приближились и с нами поздравствовались. С той поры до десяти часов вечера более пятидесяти тысяч их сидели у нас на шее, не смея ни ударить на нас, ни расстроить нас. Единственный их успех состоял в замедлении нашего марша. Они так часто нас останавливали, что от двух часов до десяти прошли мы не более как четверть мили. Ночью, однако, сделали они важную ошибку, которой мы и воспользовались, не имея никакой охоты пропустить случай соединиться с нашим центром, т. е. со всею армией: они все, без изъятия,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

при наступлении ночи ретировались в ту сторону, откуда явились. Заметив сие, генерал отправил адъютанта на лучшей своей лошади с донесением государю обо всем, что произошло с тех пор, как имел он честь писать его величеству. Он решился итти ночью, как можно поспешнее, и мы прошли более мили довольно скоро и безо всякого препятствия. Теперь признаюсь, что если бы господа белые колпаки отрезали нам дорогу, выставя пред нами толпу своей конницы и оставя таковую же у нас в тылу, то мы принуждены были бы ночью стоять и, может быть, не успели бы на другой день соединиться с нашей армией и были бы принуждены уступить усталости, если уж не силе.

Турки догнали нас на рассвете в бо́льшей силе, нежели накануне, но всё без пехоты и без артиллерии. Они беспокоили нас стрельбою беспрерывною. Около 5 часов утра увидели мы пехоту, приближающуюся к нам на помощь и которая гордым и медленным своим движением вселила робость в скакунах и наездниках: генерал барон Денсберг со всею дивизией шел на обеспечение нашего отступления. Корпус его соединился с нашим; он сменил наших конных гренадер, находившихся беспрестанно в арьергарде, двумя своими гренадерскими баталионами и дал почувствовать неприятелю беспрерывным и сильнейшим огнем, что не так-то легко было нас смять и помешать нам соединиться с армиею*.

Армия его царского величества не ожидала, когда мы выступали, чтобы мы к ней возвратились

---

* Петр негодовал на генерала Януса; в журнале его сказано: «и конечно мог оный Янус их задержать (турков), ежели б сделал так, как доброму человеку надлежит». Но, как замечает генерал Бутурлин в истории русских походов, ничто не могло помешать визирю перейти Прут повыше того места и стать в тыл русской армии.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с таким прекрасным и многочисленным обществом. Однако так случилось к величайшему нашему сожалению, и едва вступили мы в лагерь, как увидели противоположную гору покрытою неприятельскими полками.

Генерал-фельдмаршал тремя пушечными выстрелами дал сигнал всей линии выстроиться в боевом порядке, что и было тотчас исполнено. Как турки подступали с левой стороны, то Преображенцы, Семеновцы и полки Ингерманландский и Астраханский вытерпели по большей части огонь неприятельский и во весь тот день почти не имели покоя.

Я не говорил, милостивая государыня, о потере, претерпенной нами во время отступления, и, может быть, полагаете вы, что мы никого не потеряли. Это было бы слишком счастливо. Довольно уж и того, что мы не погибли под усилиями пятидесяти тысяч человек, сражавшихся противу 8 и менее. Мы лишились одного подполковника, двух капитанов, трех поручиков. Ранены были: подполковник моего полка, два поручика и триста с чем-то драгунов и других конных рядовых; раны большею частию были легкие. Генерал барон Денсберг потерял одного пехотного полковника, о котором весьма сожалели, семь или восемь раненых офицеров, 160 рядовых убитыми и 246 ранеными—всё это менее чем в два часа с половиною времени. Нет сомнения, что весь наш отряд был бы истреблен, если бы неприятель ранее мог нас заметить. Но он дал нам время выстроиться в карре, что и способствовало нам удержаться и спасло нас от смерти или рабства.

Около пяти часов вечера, 19 июля, его царское величество приказал призвать своих генералов, дабы советоваться с ними о том, на что надлежало

Пушкинский кабинет ИРЛИ

решиться. Генералы: Янус, Алларт, Денсберг, генерал-поручики Остен и Беркгольц явились, но ни один из генералов русских, ни из министров его величества не показались. Даже и генерал-фельдмаршала тут не было. Генерал Янус взял меня с собою, и таким образом был я свидетелем всему, что ни происходило. На сем-то совете генерал Янус упрекнул его величество в небрежении, оказываемом иностранным его генералам, к которым прибегали только тогда, как дела были уже в отчаянном положении. Он сказал, что неслыханное дело, чтобы он, будучи начальником всей кавалерии и первым генералом армии, не был заранее уведомлен о предположениях всего похода. Он жаловался потом на неуважение министров и русских генералов и в заключение сказал его царскому величеству, что те же самые люди, которые завлекли его в лабиринт, должны были и вывести. Все иностранные генералы с большим удовольствием слушали генерала Януса. Царь всячески старался обласкать его, и так убедительно просил от него советов, что не на шутку стали думать об исправлении запутанного положения, в котором находилась армия.

Турок, слишком приближившийся к нашему левому флангу во время нашего отступления, схвачен был шестью нашими конными гренадерами и приведен к генералу Янусу, который приставил к нему строгий караул и тотчас по вступлении в лагерь отослал его к государю.

Пленного допросили. Он показал, что турецкая армия состояла из ста пятидесяти тысяч, т. е. из 100 000 конницы и 50 000 пехоты, что вся конница должна была к вечеру соединиться, но что пехота, при которой находилось 160 артиллерийских орудий, не могла прибыть прежде, как к завтрашнему дню около полудня.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По сим известиям, после оказавшимся достоверными, приняты были в совете следующие меры:

Положено было армии воротиться назад, устроясь в карре и оградясь рогатками; экипажи, конница и артиллерия должны были оставаться в центре, и в таком порядке надлежало было стараться по возможности совершить небесславное отступление. Недостаток конницы более всего мог нам повредить. Наши лошади были совсем изнурены, а турецкие свежи и сильны.

Отдан был приказ вследствие сих положений. Армия всё еще находилась в боевом порядке, на одной линии, с своими рогатками перед собою. Повелено было всем генералам и офицерам уменьшить по возможности свои экипажи и жечь всё ими бросаемое.

При наступлении ночи государь, государыня императрица, министры и весь двор перенеслись на правую сторону с левой, которая стала авангардом. Между тем готовились устроить баталион-карре, что и сделано было в ночь. Гора, по которой рассеяна была турецкая конница, явилась нам вся в огнях, разложенных неприятелем.

Не нужно сказывать вам, что ночь эта прошла в смятении и беспорядке. Мы видели, что турки на горе то двигались вперед, то шли назад, и не могли судить о их намерении иначе, как наугад. Генерал барон Алларт, генерал барон Остен и я, мы занимали тот же пост и находились близко друг от друга. И как главным предметом была для нас гора, занимаемая неприятелем, то мы только и старались понять, что происходило там и к чему клонились эти марши и контр-марши, замеченные нами перед наступлением ночи. Мы подумали, что намерение неприятеля было окружить нашу армию и напасть на нее со всех сторон. Это казалось нам очевидно по движению полков, которые возвра-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щались к тому месту, откуда пришли, дабы обойти левый наш фланг и растянуться вдоль берега Прута, с коего имели предосторожность снять все наши посты.

Неприятелю легче было судить о наших движениях. Он стоял над нами на высоте, и лагерь наш был освещен, как среди белого дня, бесчисленным множеством фур и телег, сожигаемых вследствие повеления.

В эту ночь не прошли мы четверти мили. Мы осмотрелись уже на рассвете, и тогда только увидели опасность, в которой находились. Постарались исправиться, каждый на своем посту. Одной только важной ошибки, сделанной князем Репниным, не могли исправить прежде целых шести часов.

Генерал сей начальствовал правым флангом нашего карре и не рассудил, что, как ни медленно подвигалась голова отряда, хвост его непременно должен следовать за нею рысью и вскачь, дабы не отставать; он прошел усиленным маршем, думая, что всё дело состояло в том, чтоб уйти как можно далее. Таким образом разрезал он фланг, и чем далее подвигался, тем шире становился промежуток, им оставленный.

Экипажи, заключенные в центре, растянулись на просторе, полагая себя огражденными рогатками, и так-то растянулись, что большая часть отделилась от батальона-карре и шла в степи безо всякого прикрытия. Турки, заметив оплошность и видя, что экипажи составляли угол, не защищенный никаким отрядом, скользнули вдоль правого фланга под нашим огнем, отрезали все экипажи, вышедшие из батальона, и захватили их. Экипажей было тут довольно: более двух тысяч пятисот карет, колясок, телег малых и больших попались в руки неприятелю. Здесь-то, милостивая государ-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

рыня, потерял я свою карету и весь свой обоз. Я успел спасти только une petite paloube[1] с моим бельем и платьем довольно порядочным.

Несколько дам были умерщвлены с детьми своими в каретах. Жена полковника Ропа, взятого в плен в сражении при пикете, погибла с тремя своими детьми. Почти все слуги, управлявшие экипажами или тут же замешавшиеся, имели ту же участь.

Ошибка князя Репнина была замечена, но слишком поздно. Послан был к нему один из адъютантов его величества с повелением остановиться. Между тем выставили несколько артиллерийских орудий в промежуток правого фланга, дабы отогнать неприятеля и воспрепятствовать ему прорваться. Целых пять часов употреблено было на исправление ошибки непростительной для генерала. Турки, окружавшие нас со всех сторон и с утра самого не оставлявшие нас в покое, усилили огонь во время долгого нашего растаха.

Это было причиною тому, что турецкая пехота и артиллерия в течение дня успела нас догнать.

Генерал барон Алларт был легко ранен в руку; зять его подполковник Лиенро (Lienrot) ранен был смертельно близ него; генерал-маиор Волконский также. Все трое были на левом фланге, на углу фрунта арьергарда (près de L'angle du front de l'arrière garde). Генерал-лейтенант барон Остен ранен был в правое плечо, что не помешало ему надзирать за безопасностию своего поста, где чрезвычайно стало жарко, когда догнала нас турецкая пехота.

Около пяти часов вечера фрунт нашего батальонкарре дошел до реки Прута. Его величество при-

---

[1] <Маленькую повозку.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

казал остановиться и выстроиться. Арьергард, сделав полуоборот направо, стал нашим правым флангом, а правый фланг левым. Едва успели мы произвести сие нужное движение, как турки уперлись своими обоими флангами к реке и заключили нас с трех сторон двойною линией, расположенной полукружием. Несколько времени спустя, горы, находящиеся по той стороне реки, заняты были шведами, поляками Киевского Палатина и буджацкими татарами.

Выстроенные в батальон-карре и со всех сторон обращенные лицом к неприятелю, мы завалили землею наши рогатки, и пока часть полков погребала нас, остальная производила беспрестанный огонь на неприятеля, который с своей стороны также укреплялся.

Около семи часов, как я возвращался к генералу Янусу, начальствовавшему на правом фланге, где находился и мой пост, исполнив данное им поручение, я был ранен пулею в правую руку, но довольно легко, и мог остаться на своем месте, где люди падали в числе необыкновенном, ибо неприятельская артиллерия почти не давала промаха. В восемь часов вечера три орудия были у меня сбиты. Его величество, посетивший мой пост, как и прочие, приказал их исправить в ночь и к ним присовокупить двенадцатифунтовое орудие.

Могу засвидетельствовать, что царь не более себя берег, как и храбрейший из его воинов. Он переносился повсюду, говорил с генералами, офицерами и рядовыми нежно и дружелюбно (avec tendresse et amitié), часто их расспрашивая о том, что происходило на их постах.

При наступлении ночи роздали нам, по 800 на каждый полк, новоизобретенных ножей, с трех сторон острые как бритвы, которые, будучи сильно

Пушкинский кабинет ИРЛИ

брошены, втыкались в землю; нам повелели их бросать не прежде, как когда неприятель вздумает нас атаковать. В эту ночь неприятель сделал только два покушения: одно при свете фейерверка на пост, занимаемый генерал-поручиком Остен-Сакеном, а другое на пост генерал-майора Буша. Их отразили с той и другой стороны. Они приближились снова уже на рассвете и дали знать о себе беспрерывным огнем из ста шестидесяти пушек, поддержанных беспрестанной стрельбою их конницы и пехоты.

Будем справедливы: генералы Янус, Алларт и Денсберг, генерал-поручик Остен и Беркгольц, генерал-майоры Видман и Буш и бригадир Ремкимг сделали более, нежели можно пересказать. Между тем, как русские начальники показывались только ночью, а днем лежали под своими экипажами, генералы иностранные были в беспрестанном движении, днем поддерживая полки в их постах, исправляя урон, нанесенный неприятелем, давая отдыхать солдатам наиболее усталым и сменяя их другими, находившимися при постах, менее подверженных нападению неприятеля.

Должно конечно отдать им эту справедливость, и не лишнее будет, если признаемся, что его царское величество им обязан своим спасением, как и спасением своей царицы, своих министров, своей казны, своей армии, своей славы и величия. Из русских же генералов отличился один князь Голицын, ибо если князь Волконский и был ранен, то так уже случилось от его несчастия, а не через его собственную храбрость.

Коли ночь показалась нам коротка, потому что не были мы обеспокоены, то утро за то показалось нам очень долгим, по причине быстрого и беспрестанного неприятельского огня, от которого много мы терпели, по крайней мере, на правом нашем

Пушкинский кабинет ИРЛИ

фланге, со стороны фрунта. Войско, приближенное к реке, было совсем безопасно.

Около девяти часов утра его величество, коему небезъизвестно было, что иностранные генералы одни могли спасти его армии, приказал позвать их в центр экипажей, где находилась его палатка. Генерал Янус, которого царь приглашал особенно вместе с бароном Остеном, взял меня с собою к его величеству. Государь милостиво осведомился о моей ране, которая очень меня беспокоила, потому что я только еще промывал ее вином, данным мне генерал-майором Бушем. У меня не было ни капли. Телеги мои были в числе тех, которыми овладели турки.

Государь, генерал Янус, генерал-поручик Остен и фельдмаршал держали долгое тайное совещание. Потом они все подошли к генералу барону Алларту, лежавшему в карете по причине раны, им полученной, и тут, между каретою сего генерала и каретою баронессы Остен, в которой находилась г-жа Буш, положено было, что фельдмаршал будет писать к великому визирю, прося от него перемирия, дабы безопасно приступить к примирению обоих государей.

Трубач генерала Януса отправился с письмом, и мы ожидали ответа, каждый на своем посту, как объявили нам о смерти генерала-маиора Видмана.

Это была невозвратная потеря для царя. Видман был человек достойный и честный, прямой, правдивый, добрый товарищ и хороший кавалерийский офицер, основательно знавший свое дело. Все об нем сожалели, тем более, что он находился не на своем посту: он служил в дивизии генерала Рене и должен был бы с ним отправиться в Валахию, еслиб его царское величество не оставил его в своей армии, из уважения к нему.

Не прошло двух часов по отъезде трубача, как

Пушкинский кабинет ИРЛИ

увидели мы, что он возвращается с агою янычаров. Турок прибыл на пост, где находился генерал-поручик Беркгольц, и сказал ему на арабском языке, на котором Беркгольц изъяснялся хорошо, что великий визирь соглашался на требуемое перемирие и давал нам знать, чтобы мы прекратили наш огонь (что и с их стороны будет учинено), и чтобы мы присылали комиссаров для переговоров о мире.

Мы не дождались повелений генерал-фельдмаршала и остановили огонь, каждый на своем посту, и в минуту на той и другой стороне водворилось спокойствие.

Не прошло и двух часов со времени, что перемирие было объявлено и что барон Шафиров отправился в лагерь великого визиря в качестве комиссара с препоручением трактовать о мире, как увидели мы всю турецкую армию около наших рогаток: турки приехали нас навестить и полюбоваться нами в нашей клетке. Наконец они так приближились, что генералы наши возымели подозрение, особенно генерал Янус, который послал г. Беркгольца к великому визирю, прося его приказать войску своему возвратиться в окопы и учредить караулы для удержания турок в повиновении, что с нашей стороны должны были сделать и мы.

Генерал-лейтенант Беркгольц возвратился с тем же янычарским агою, который одним словом погнал всю турецкую армию в ее окопы. Он расставил потом караулы (vedettes) со стороны их, а мы с нашей.

Признаюсь, милостивая государыня, изо всех армий, которые удалось мне только видеть, никогда не видывал я ни одной прекраснее, величественнее и великолепнее армии турецкой. Эти разноцветные одежды, ярко освещенные солнцем, блеск

Пушкинский кабинет ИРЛИ

оружия, сверкающего на подобие бесчисленных алмазов, величавое однообразие головного убора, эти легкие, но завидные кони, всё это на гладкой степи, окружая нас полумесяцем, составляло картину невыразимую, о которой, несмотря на всё мое желание, я могу вам дать только слабое понятие.

Когда увидели, что дело клонилось к миру не на шутку, мы отдохнули, переменили белье и платье. Вся наша армия, начиная с царя, походила на трубочистов: пот, пыль и порох так покрывали нас, что мы друг друга уже не узнавали. Менее нежели через три часа все явились в золоте, всякий оделся как можно великолепнее.

22-го вечером узнали через барона Шафирова, прибывшего из турецкого лагеря для объяснений с его величеством о некоторых спорных пунктах и через час уехавшего обратно, что всё шло хорошо, и что конечно мир будет заключен.

Не могу, милостивая государыня, здесь не упомянуть о благоразумном поступке, который заставил нас уважать турецкий народ. Какой-то спаги, или, что всё равно, всадник, перешел за указную черту и явился близ моего поста, где прогуливался я с сыном барона Денсберга, подполковником в Белоозерском полку, и с генерал-маиором Вейсбахом.

Этот спаги говорил что-то нашим драгунам, находившимся за рогатками, размахивая своей саблею и полагая, видно, что мы понимали его наречие. Офицер, разъезжавший около их лагеря, заметил, что спаги перешел за положенную черту, и, давая знак возвратиться в лагерь, с твердостью выговаривал ему. Спаги его не послушался; офицер, после двукратного требования, приближился к нему молча и махом своей сабли чисто отрубил руку, которая упала с саблею к нашим ногам; потом, продолжая путь свой с тем же хладнокровием, простился с

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нами, коснувшись рукою чалмы своей. Спаги не стал тратить времени и ускакал во весь опор, оставя руку и саблю у ног молодого Денсберга. Сейчас поступок неверного служит уроком для христиан, с какою строгостию должно хранить свое слово, данное и неприятелям.

22-е и 23-е числа прошли в нетерпеливом ожидании столь нужного и столь желаемого мира. Положение, в котором мы недавно находились, того требовало. Оно было ужасно. Смерть или рабство— не было средины. Нам должно было выбрать из двух одно, еслиб великий визирь сделал свое дело и служил с усердием государю своему. Надлежало ему только быть осторожным, укрепляться в окопах и оставаться в бездействии. Армия наша не имела провианта; пятый день большая часть офицеров не ели хлеба; тем паче солдаты, которые пользуются меньшими удобностями. Лошади были изнурены (étoient depuis le même temps au filet); некоторые генералы имели при себе несколько кулей овса и кое-как поддерживали своих лошадей, остальные же кони лизали землю и были так изнурены, что когда пришлось употребить их в дело, то не знали, седлать ли, запрягать ли их, или нет.

Вечером 23 июля (по старому стилю) бригадиры получили приказ отобрать розданные ножи, по 800 на каждый полк, и побросать их ночью в реку через надежных офицеров. Узнали также, что в артиллерийском парке зарыто было множество пороху, бомб, гранат и ядер, также и оружия, предварительно сломанного, что предвещало нам конец нашим бедствиям.

Наконец, милостивая государыня, 24-го увидели мы одну из придворных повозок (paloube), в которой везли 200 000 червонцев золотом и вещами, обещанных бароном Шафировым в подарок великому визирю. В полдень его царское величество

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чрез своего генерал-адъютанта объявил всем генералам, что он заключил с Портою твердый, нерушимый и вечный мир, и приказал дать знать о том всем офицерам и рядовым своей армии.

Если бы сказали нам 22-го июля утром, что мир заключен будет таким образом 24-го, то всякий почел бы, конечно, мечтателем и сумасшедшим того, кто б осмелился ласкать нас надеждою на такое несбыточное счастие. Я помню, что когда трубач генерала Януса отправился с письмом фельдмаршала, в котором просил он перемирия, генерал сказал нам, возвращаясь к нашим постам, что тот, кто завел его царское величество в это положение, должен был быть величайшим безумцем всего света; но что если великий визирь примет наше предложение в настоящих обстоятельствах, то это первенство принадлежит ему. Богу угодно было, чтоб генерал неверных ослеплен был блеском двухсот тысяч червонцев, для спасения великого множества честных людей, которые, поистине, находились в руках турок.

В час пополудни оттоманы обнародовали мир, и почти в то же время фельдмаршал отдал приказ армии выступить в поход в шесть часов вечера, в новом боевом порядке, коего план роздан был всем генералам, дабы каждый из них занял свое место. Войско должно было выступить из лагеря с распущенными знаменами, с барабанным боем и с флейтами перед каждым полком.

Не нужно было приказывать офицерам, у коих оставались еще экипажи, их облегчить: необходимость и так уж того требовала. Множество добра побросали в лагере, ибо лошади едва таскались, изнуренные и чуть живые.

Прежде нежели оставим лагерь, вы позволите, милостивая государыня, исчислить вам потерю обеих армий в эти четыре дня. Достоверно, что

Пушкинский кабинет ИРЛИ

его царское величество лишился не более, как 4800 человек убитыми. Из генералов убит один г. Видман; два полковника, пять подполковников, 18 капитанов и 26 нижних чинов разделили с ним ту же участь. Турки чистосердечно признались нам, что они потеряли убитыми 8900 человек, между прочим, одного любимца их султана и множество офицеров.

24-го, в 6 часов вечера, армия выступила в поход центром правого фланга. Четыре батальона, в нем находившиеся, составляли фрунт под командою генерала барона Денсберга, генерал-маиора Альфенделя и бригадира Моро-де-Бразе (Moreau de Brasey, comte de Lion en Beauce). Прочие генералы следовали по старшинству: Адам Вейде и князь Голицын составляли аррьергард, а солдаты несли рогатки, как и во время сражения. Армия, составляя батальон-карре, гордо прошла мимо турок, выстроенных в одну линию, в долине, по левую нашу руку. Мы шли до самой ночи по берегу Прута, который был от нас вправо, а горы влево.

Один французский инженер, по имени Терсон, человек самый честный, уважаемый царем и русскими, приятель всего света, удостоверил меня, что есть люди, имеющие верные предчувствия о своей смерти. Сей француз подружился со мною в Риге, где я узнал его; и когда шесть месяцев после встретились мы в той же армии, он часто делал мне честь навещать меня и довольствоваться моей хлеб-солью. В тот день, когда возвратились мы в лагерь, в сопровождении неприятелей, он ко мне пришел поздравить меня с достославным нашим отступлением и с тем, что генерал Янус благосклонно отзывался ему обо мне, радуясь, что в сем случае имел меня при себе. Я отвечал, что генерал Янус отдавал свои приказания с такою ясностью, что офицеру, как бы тупо ни было его

Пушкинский кабинет ИРЛИ

понятие, невозможно было их не выполнить. Умирая с голоду, я ел с большим аппетитом то, что мог еще найти годного в моих запасах, и Терсон последовал моему примеру. Тут открыл он мне за тайну, что ему из Молдавии не вытти и что он оставит в ней свои кости. Я всячески старался рассеять его мрачное предчувствие, но тщетно. Заключили мир: армия выступила. Терсон прибыл к моему посту и довольно долго со мною разговаривал. Я стал смеяться над его предчувствием, доказывая его ложность, ибо мир был заключен. Он отвечал, что генерал Янус, которому также он открылся, делал ему то же рассуждение, но что он и мне даст тот же ответ, как и генералу, именно, что он из Молдавии еще не вышел, и что мы успеем над ним посмеяться, когда войско перейдет за Днестр. Несколько времени спустя, он меня оставил и поехал к генералу Янусу, который, страдая подагрой, ехал в карете вдоль правого фланга во сте шагов от фрунта. Поговорив с ним немного, он оставил его по некоторой нужде. Один из татар, следовавших за нашей армией, в намерении что-нибудь подцепить, проскакав мимо его, воткнул в него копье и оставил его мертвым, не сняв даже с него шляпы. Генерал Янус послал за мною своего адъютанта и показал мне его тело, принесенное к батальону гренадерами, и которое было еще тепло. Мы жалели об нем от всего сердца и дивились, между тем, предчувствиям, которые оспоривал я с упрямством. Фельдмаршал послал трубача к великому визирю с жалобой на нарушение условий. Трубач возвратился ночью с предписанием вешать всех татар, которые попадутся нам в руки, гоняясь за нашей армией.

При совершенном наступлении ночи, его царское величество велел остановиться батальону-карре. Мы выстроились как можно исправнее. Мы распо-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ложились на биваках. Ночлег был краток и ночь чрезвычайно дождлива.

Не правда ли, что вы находите меня нечувствительным в отношении к вашему полу, ибо до сих пор не говорил я вам о всем, что претерпели дамы, находившиеся в нашей армии? Вообразите их себе, милостивая государыня, посреди ужасов четыредневного сражения, подверженных тем же опасностям, как и мы; кареты их прострелены были пулями, разбиты пушечными ядрами, и эти милые дамы должны были попасться в плен, если не погибнуть в нечаянном нападении, коего мы только и опасались. Не знаю, более ли они страдали во время битвы, нежели радовались о своем избавлении; но знаю, что генерал-майорша Буш, три недели после, не могла еще оправиться от страха, ею претерпенного в те четыре дня, как мы имели дело с турками.

Как об условиях мира хранили глубокое молчание, то мы (иностранцы) никого и не расспрашивали, а рассуждали о них между собою, не сомневаясь, чтоб они не были весьма тягостны для его царского величества. Однако мы узнали обо всем в походе (25 июля) и совсем неожиданным для нас образом.

Армия выступила в поход на рассвете с экипажем, уменьшенным, по крайней мере, двумя третями. В полдень пришли мы в тряснину, где мы так долго простояли в начале нашего похода. Я был один из начальников авангарда или фрунта нашего батальон-карре, который, для большей удобности экипажей, разделился при входе в теснину. Мы первые прибыли в долину, находящуюся за тесниною: место приятное, окруженное густыми деревьями и огражденное слева высокими, лесистыми горами, а справа рекою Прутом, разливающим

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на свои берега прохладу, которой мы и воспользовались. Там настигли меня сначала генерал-маиор Буш, а вслед за ним генерал барон Остен. Все трое мы проголодались. Карета госпожи Буш ехала невдалеке. Муж ее послал спросить, нет ли у ней, чем бы нам пообедать. Эта милая дама прислала нам бутылку венгерского вина, четыре холодных цыпленка, хлеба довольно черствого, но всё ж хлеба, и мы, при приближении такого сильного сикурса, избрали местоположение и стали работать с одинаковою жадностью. Бутылка нашлась недостаточной для утоления нашей жажды: мы послали за подкреплением, которое и было нам доставлено с тою же любезностию. Только что мы кончили наш обед, фельдмаршал на нас наехал и попросил нас угостить трех пашей, присланных от великого визиря к его царскому величеству, покаместь государь не даст им ответа. Мы к ним отправились. Один из них говорил хорошо по-немецки и еще лучше по-латыни. Он достался на мою долю; друзья мои довольствовались оба одним из остальных, говорившим только по-немецки. В минуты первых приветствий слуги фельдмаршальские разбили шатер, постлали наземь ковер турецкий, на который усадили мы наших трех пашей. Они сели, сложив ноги крестом, и велели принести себе трубки, коих чубуки столь были длинны, что головки их лежали на земле.

Сначала разговор наш был общий. Они сказали нам, что великий визирь послал их предложить его царскому величеству 2000 человек спаги для отогнания татар, нас преследующих, и из коих шестеро ночью были пойманы, не считая тридцати убитых нашими конными гренадерами. Наконец, паша, говоривший по-латыни, коль скоро узнал, что я француз, подозвал меня к себе и громко объявил, что французы были приятели туркам. Тогда,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вступив в частные рассуждения, я спросил у него, по какой причине и на каких условиях заключили они мир? Он отвечал, что твердость наша их изумила, что они не думали найти в нас столь ужасных противников; что, судя по положению, в котором мы находились, и по отступлению, нами совершенному, они видели, что жизнь наша дорого будет им стоить, и решились, не упуская времени, принять наше предложение о перемирии, дабы нас удалить. Он объявил, что в первые три дня артиллерия наша истребила и изувечила множество из их единоземцев, что у них было 8000 убитых и 8000 раненых, и что они поступили благоразумно, заключив мир на условиях, почетных для султана и выгодных для его народа.

Вы чувствуете, милостивая государыня, что, увидя случай отозваться с похвалою о нашей армии, я не стал скромничать и, признаюсь, отроду не хвастал я с таким усердием и не встречал подобной доверенности. Потом я сказал ему, что, будучи доволен изъяснением причин, по которым заключили они мир, я хотел бы знать и условия оного; он охотно исполнил мое желание, выпивая кофе, который между тем им подносили. И вот они, сии условия, которые тем более изумили меня, что, основываясь на предложениях, показанных мне в Риге Левенвольдом, я полагал короля шведского истинною причиною войны.

1) Его царское величество возвратит туркам Азов, срыв новые укрепления оного, также и крепости, выстроенные им по берегу.

2) Флот свой и морское войско переведет он в Воронеж и не будет иметь другой, ближайшей пристани к Черному морю, кроме как Воронежской.

3) Казакам возвратит их старинную вольность, а Польше Украйну польскую, так же как и Эльбинг и другие города, им захваченные.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

4) Выведет без изъятия все полки, находящиеся в разных частях Польши, и впредь ни под каким предлогом и ни в каком случае не введет их обратно сам или через своих генералов.

5) Наконец его царское величество даст королю шведскому свободный пропуск в его государство, даже, в случае нужды, и через свои владения, с конвоем, который дан будет от султана; также не станет никаким образом тревожить короля во время проезда его через польские владения, обязуясь в то же время удержать и Фридерика-Августа, курфирста саксонского, от всякого неприязненного покушения, как на особу короля, так и на конвой, его сопровождающий.

Таковы были условия мира, столь полезного и столь нужного для славы его царского величества. Прибавьте к тому и 200 000 червонцев, подаренных великому визирю (что подтверждено мне было моим пашею).

Он сказал мне, что спустя час по отступлении армии нашей, шведский король переехал через Прут на челноке, сделанном из выдолбленного пня, пустив лошадь свою вплавь, и сам-шест прискакал в лагерь великого визиря; что король говорил ему с удивительною гордостию и между прочим сказал, что «если один из его генералов вздумал бы только заключить таковой мир, то он отрубил бы ему голову, и что ему, визирю, должно то же самое ожидать от султана». На всю эту брань великий визирь отвечал только то, что он имел от султана приказание, и что он ничего не делал без согласия одного министра (de Sa Hautesse), находящегося в его лагере, и своего военного совета.

Мы разговаривали обо всем этом, как фельдмаршал пришел нам объявить, что его величество принимает учтивое предложение великого визиря. Паши откланялись, взяв с собою шестерых татар,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

схваченных нами ночью, и отослали их связанных к великому визирю для примерного наказания.

Я всегда воображал себе турков людьми необыкновенными; но мое доброе о них мнение усилилось с тех пор, как я на них насмотрелся. Они большею частию красивы, носят бороду, не столь длинную, как у капуцинов, но снизу четыреугольную, и холят ее, как мы холим лошадей. Эти паши, хотя все трое разного цвета, имели красивейшие лица. Тот, с кем я разговаривал, признался мне, <что> ему было 63 года, а на взгляд нельзя было ему дать и сорока пяти.

Армия наша, расстроившая батальон-карре при входе в теснину, разделилась в долине, находящейся при выходе из оной. Его царское величество с Преображенцами, Семеновцами, Астраханцами и Ингерманландцами стал в авангарде, в двух милях от теснины. Генерал-лейтенант Брюс с артиллерией и дивизия князя Репнина следовали за его величеством и расположились лагерем в полуторе мили; генерал барон Денсберг в одной мили; генерал барон Алларт в полумили с кавалерией, которою командовал он по приказанию его величества, ибо г. Янус страдал в это время подагрою. Дивизия же Адама Вейде осталась при выходе из теснины. Двухтысячный турецкий отряд разделился на три части: одна осталась в тылу армии, а две другие расположились по ее флангам. В таком расположении и наблюдая все те же дистанции, мы пошли на Яссы, где надеялись найти все запасы, нужные для обратного нашего похода через степи. Мы достигли сего города в шесть переходов, каждый в четырех милях состоявший. Там оставались мы четыре дня и запаслися всем, что́ могли только найти.

Много претерпел бы я во время сего перехода, если бы генерал барон Алларт, зная что я потерял

Пушкинский кабинет ИРЛИ

весь мой экипаж, не снабдил меня великодушно повозкою, четверкою лошадей и прекрасною палаткой с ее маркизою. А как в повозочке моей (paloube) с одеждой и бельем находилась и постеля, то я в своем несчастии почитал себя счастливейшим из смертных.

Дав четырехдневный отдых своей армии и собрав запасы для перехода через степи, его царское величество повел нас вдоль Прута до Станопа (Stanope), по дороге не столь трудной и дальней, как Сороцкая. В Станопе мы стояли опять четыре дня, по той причине, что его величество приказал навести один только мост для переправы всей армии.

Здесь расстались мы с тремя пашами и с их отрядом. Дорогой имел я честь несколько раз с ними разговаривать, а однажды и обедать вместе у генерал-лейтенанта барона Остена. Они попросили рису, вареного на молоке, и наелись им, насыпав кучу сахара. Мы никак не могли заставить их пить Венгерского вина, как ни просили; они предпочитали кофе, сваренный по их обычаю, и который пили они целый день.

От Станопа армия в четыре дня пришла к Могилеву на Днестр, куда прибыл уж Сороцкий гарнизон, истребив мост и наружные укрепления города. Новый мост, который должно было навести на Днестре, задержал нас тут еще восемь дней. Буджацкие татаре вздумали было нас беспокоить. Казачий полковник заманил из по-своему в засаду. 160 были убиты, шестеро взяты в плен, и фельдмаршал велел их повесить всех на одном дереве, на самой высокой из соседних гор, дабы устрашить тех, которые вздумали бы опять нас беспокоить в нашем лагере или фуражировке, что не переставали они чинить с нами от самого Станопа.

Мост был готов, и армия спокойно переправилась в трое суток. Шесть батальонов гренадер

Пушкинский кабинет ИРЛИ

остались в аррьергарде лагеря, из опасения, чтоб татаре, кроющиеся в горах, не потревожили переправы наших последних полков. Но они оказались более благоразумными, нежели мы предполагали; проученные последнею своею неудачей, они уже не показывались, и отступление наше совершилось со всевозможным спокойствием.

Во время нашего пребывания в лагере за Днестром в Подолии его царское величество пожелал узнать в точности потерю, им понесенную в сей краткий, но трудный поход. Приказано было каждому бригадиру представить к следующему утру подробную опись своей бригаде, определив состояние оной в первый день вступления нашего в Молдавию и то, в котором находилась она в день отданного приказа. Воля его царского величества была исполнена: из 79 800 людей, состоявших на лицо при вступлении нашем в Молдавию, если вычесть 15 000, находящихся в Валахии с генералом Рене, оставаться надлежало 64 800, но оказалось только 37 515. Вот всё, что его царское величество вывел из Молдавии. Прочие остались на удобрение сей бесплодной земли, отчасти истребленные огнем неприятельским, но еще более поносом и голодом.

На третий день нашего пребывания в новом лагере, куда припасы стекались изобильно из Каменца и других городов подольских, государь, императрица, свита их и министры (за исключением барона Шафирова и графа Шереметева, оставленных в лагере турецком заложниками мира) отправились incognito в десять часов вечера, под прикрытием одного только гвардейского эскадрона, к Ярославу. Там, по приказанию государя, приготовлены были суда, на которых он Вислою отправился в Торн, где императрица, в то время брюхатая на седьмом месяце, располагалась ро-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дить. Это был первый ее ребенок с того времени, как она признана была императрицей: честь, коей она достойна более многих принцесс, которые должны бы краснеть от стыда, видя, что женщина ничтожного происхождения (une femme de rien), безо всякого образования, не воспитанная в чувствах величия и душевной возвышенности, свойственных высокому рождению, поддерживает сан императорский со всею честию, величием и умом, которые можно было бы только ожидать от самой знатнейшей крови.

На другой день отъезда его величества, фельдмаршал с всею армией выступил в поход и остановился лагерем в Шарграде, куда, по его приказанию, съехались все генералы из разных мест, где они находились, ибо армия была распределена по разным направлениям для удобства продовольствия и фуражировки.

Когда генералы собрались в палатках фельдмаршала, он объявил им, что его царское величество, заключив мир с турками, не имел уже надобности в столь великом числе генералов, что он имел повеление от государя отпустить тех из них, которые, по их большому жалованию, наиболее были ему тягостны, что он именем его царского величества благодарит их за услуги, ими оказанные, особенно в сей последний поход; потом он роздал абшиды генералам, коим прилагаю здесь список, включая в том числе тех, которые оставили службу его величества с 1 января 1711 года.

Список генералам, отпущенным его царским величеством или оставившим его службу без отпуску.

Фельдмаршал генерал-лейтенант Гольц отошел без отпуску, не получив 60 000 экю и более должного ему жалованья. Генерал Янус отошел без

Пушкинский кабинет ИРЛИ

отпуску по той же причине. Генерал барон Денсберг отпущен с абшидом. Генерал-лейтенант барон Остен отпущен с абшидом. Генерал-лейтенант Беркгольц отпущен с обшидом. Генерал-лейтенант Ностиц, эльбингский комендант, отошел без абшида, самовольно удовлетворив себя 50 000 экю, которые считал за государем. Бригадир граф де-Фриз отошел без отпуска. Бригадир Моро-де-Бразе (comte de Lion en Beauce) отпущен с абшидом. Бригадир Боэ отпущен с абшидом. Бригадир барон Ремкимг отпущен с абшидом. Бригадир граф Ламберти отпущен с абшидом. Барон Денсберг, кавалерийский полковник, отпущен также с абшидом. Полковник от инфантерии Миропс отпущен также с абшидом. На следующий же 1712 г. отпущены с абшидом генерал барон Алларт и генерал-лейтенант Флюгель. 14 иностранных полковников отпущено с абшидом; некоторые же отошли сами. 22 подполковника отпущены с абшидом, отчасти отошли. 156 капитанов отпущены или отошли сами.

Фельдмаршал не слишком много истратил денег, отпуская всех сих офицеров, ибо никому ничего не заплатил; и до сих пор за ним пропадает жалования моего за тринадцать месяцев*, по 130 рублей на месяц (рубль стоил 5 франц. ливров): я получал 70 рублей как бригадир, 40 как полковник и 20 как капитан.

Генерал барон Денсберг имел ужасную схватку с фельдмаршалом касательно денег; но это ни к чему не послужило. Делать было нечего; мы решились терпеть. Генерал барон Денсберг, генерал-лейтенант барон Остен и я отправились вместе через Satanope (Тарнаполь), (где мы встретили

---

* Кажется, слышишь храброго капитана Dalgetty, жалующегося на недоимки и неисправность в платеже жалованья.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

полки генерала Рене, возвращающиеся из Валахии, и которые там обогатились в той же мере, как мы обнищали) и потом через Замосц в Леополь, где целый месяц отдыхали от трудов нашего сумасбродного похода. В сем-то городе познакомился я с госпожею коронною старостиной и ее сестрою, госпожею великою хорунжихою. Обе они сестры великому коронному гетману Синявскому. Сии дамы оказали мне множество вежливостей; между прочим получил я от старостины прекрасного испанского табаку, который оживил мой нос, совсем изнемогавший без сей благодетельной помощи, для меня необходимой.

Из Леополя мы приехали в Варшаву, где отдыхали еще один месяц. Оттуда Вислою отправился я с бароном Остеном и его супругою в Данциг, где нашел я мою жену и семейство мое, умноженное одною наследницею, милым и прекрасным ребенком.

<1835>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От редакции 5

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ
1824—1837 гг.

Статьи и заметки в журналах
1824—1829 гг. (Ред. Ю. Г. Оксман).

Письмо к издателю „Сына отечества“ 11
О г-же Сталь и о г. А. М<ухано>ве 12
О предисловии г-на Лемонте к переводу басен
И. А. Крылова 15
Отрывки из писем, мысли и замечания . . . 21
Отрывок из литературных летописей 29
<Заметка о „Ромео и Джюльете“ Шекспира> 35

Статьи и заметки в „Литературной
газете“ 1830—1831 гг.

(Ред. Н. К. Козмин).

1. В отделе „Библиография“ 1830 г.
„Илиада“ Гомерова 37
„История русского народа“ Н. А. Полевого.
Статья I 38
Статья II 41
„Юрий Милославский, или русские в 1612 году“
М. Н. Загоскина 45
„Денница“. Альманах на 1830 г., изданный
М. Максимовичем 47
„Карелия, или заточение Марфы Иоановны
Романовой“ Федора Глинки 57

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Стр.

1. В отделе „Смесь“ 1830 г.
<О некрологии генерала Н. Н. Раевского> . 64
<О переводе романа Б. Констана „Адольф“> —
<О литературной критике> 65
<О записках Самсона> 66
<О разговоре у княгини Халдиной Фонвизина> 67
<О статьях князя Вяземского> 68
<Объяснение к заметке об „Илиаде“ 69
<О записках Видока> 70
3. В отделе „Библиография“ 1831 г.
„Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme“, „Les Consolations poésies par Sainte-Beuve“ 72

Статьи и заметки в альманахе и журналах 1831—1833 гг.
(Ред. Ю. Г. Оксман).

<Заметка о „Полтаве“> 86
Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов 87
Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем 97
<Письмо к редактору „Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“> 103
<О сочинениях П. А. Катенина> 104

Статьи и заметки в „Современнике“ 1836 г. (Ред. Ю. Г. Оксман)

1. Статьи.
Собрание сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского 107
Российская академия 122
Французская академия 123
Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной . . . 151
Вольтер 161
Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836 171
Анекдоты 182
Джон Теннер 186
2. Рецензии и заметки в отделе „Новые книги“
Вастола, или желания 217
Вечера на хуторе близ Диканьки 218
Об обязанностях человека. Сочинения Сильвио Пеллико 219

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Стр.

Словарь о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижках благочестия местночтимых 222
Новый роман 225
Кавалерист-девица . . . . . —
Ключ к „Истории государства российского„. Н. М. Карамзина . . . . . —

3. Редакционные предисловия, послесловия, полемические и информационные заметки.

<Послесловие к „Долине Ажитугай"> . . . 226
Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным . . . . . —
От редакции 227
Письмо к издателю 229
<Примечание к повести „Нос"> 236
<Примечание к слову „богадельня" в статье „Прогулка по Москве"> . . . . . —
Объяснение . . . . . —
<Заметка о „Старине и новизне"> 238
От редакции:
I. „Современник" будет издаваться" . . . 239
II. „Издатель „Современника" не печатал" . . 240
III. „Обстоятельства не позволили" . . . . . —
IV. „В первом томе „Современника" 241
V. „Редакция „Современника" не может" . . —

Статьи и заметки, предназначавшиеся для „Современника"

(Ред. Ю. Г. Оксман)

Александр Радищев 242
Последний из свойственников Иоанны д'Арк . 256
<О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая"> 260
<Начало статьи о Железной Маске.> 272
<Три повести Н. Павлова> 275
Записки Чухина. Сочин <ение Фаддея Булгарина>etc 276
<Недовольные, комедия в четырех действиях, сочинение М. Н. Загоскина> . . . . . —
<Примечание к записке „О древней и новой России"> 277
<Примечание о памятнике князю Пожарскому и гр<аждании> Минину> . . . . . —

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Стр.

История Пугачевского бунта (Ред. П. Е. Щеголев) 281

<Заметки к Истории „Пугачевского бунта„> (Ред. Ю. Г. Оксман) 446

<Заметки о Шванвиче> (Ред. Ю. Г. Оксман) 454

Об истории Пугачевского бунта. Разбор статьи, напечатанной в „Сыне отечества“ в январе 1835 г. (Ред. Ю. Г. Оксман) 456

Записки бригадира Моро-де-Бразе, касающиеся до турецкого похода 1711 года (Ред. Ю. Г. Оксман) 476

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ответственный редактор С. И. Кавтарадзе
Технический редактор Н. И. Гарвей
Корректор Е. Н. Семяновская

Переплет работы А. П. Радищева
Барельеф работы П. И. Таежного

☆

Заказ Изд-ва № 112 Тираж 25 000
Уполномоч. Главлита № Б-35566
Сдано в набор 29 апреля 1934
Подп. к п. 28 июля 1934
Форм. бум. 72×94 в $^{1}/_{32}$
Заказ типогр. № 492
$17^{1}/_{8}$ печ. л.
$8^{9}/_{16}$ б. л.

☆

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ